

Великие романы

Алан Мур

Иерусалим

«Издательство АСТ»

2015

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

Мур А.

Иерусалим / А. Мур — «Издательство АСТ», 2015 — (Великие романы)

ISBN 978-5-17-102374-4

Нортгемптон, Великобритания. Этот древний город некогда был столицей саксонских королей, подле него прошла последняя битва в Войне Алой и Белой розы, и здесь идет настоящая битва между жизнью и смертью, между временем и людьми. И на фоне этого неравного сражения разворачивается история семьи Верналлов, безумцев и святых, с которыми когда-то говорило небо. На этих страницах можно встретить древних демонов и ангелов с золотой кровью. Странники, проститутки и призраки ходят бок о бок с Оливером Кромвелем, Сэмюэлем Беккетом, Лючией Джойс, дочерью Джеймса Джойса, Буффало Биллом и многими другими реальными и вымышленными персонажами. Здесь судьбу людей может определить партия в бильярд, время течет по-иному, под привычным слоем реальности скрываются иные измерения, а история нашего мира обретает зримое воплощение.

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-17-102374-4

© Мур А., 2015

© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Прелюдия	6
Книга первая	32
Сонм англов	33
Страсти по ASBO	50
Неприкаянные	65
Место обозначено крестом	87
Новые времена	105
Был слеп – и вижу свет	122
Атлантида	143
Как хочешь, так и делай [45]	172
Ветер, что колеблет ЕЕ фартук	187
Чу! Радости внеми!	211
Конец ознакомительного фрагмента.	214

Алан Мур Иерусалим

*Посвящается моей семье, всем людям из Боро, а также Одри
Вернон, лучшей аккордеонистке, которую знали наши потрескавшиеся
улицы*

© Alan Moore, 2015.

© Сергей Карпов, перевод, 2021

Дизайн обложки: 2021 © R. Perin

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Прелюдия Неоконченный труд

Альме Уоррен, пяти лет от роду, казалось, что они, похоже, ходили за покупками – она, ее брат Майкл в коляске и их мамка Дорин. Наверное, они были в «Вулворте». Не в том, который на Золотой улице, нижнем «Вулворте», а в верхнем, на полпути по склону освещенной витринами Абингтонской улицы, где еще есть кафе с мятно-зеленой плиткой и огромный циферблат весов успокаивающего красного цвета, как у магнита, которые стояли у деревянной лестницы в дальнем конце.

Девочка – маленькая крепышка, плотная, словно отлитая под давлением, – не помнила, чтобы придерживала перед Дорин двойные створки захватанных латунно-стеклянных дверей, пока та выкатывала коляску в бархатную суету светящейся снаружи главной улицы. Альма пыталась восстановить в памяти хоть какую-нибудь примету, которую могла увидеть на этом проторенном маршруте, – возможно, горящий знак, торчащий над магазином дождевиков Кендалла на углу Рыбной улицы, где «К» отважно шагала против шквалистого ветра, раскрыв мультяшный зонтик в вытянутой руке-палке без ладони, – но ничего не шло на ум. Более того, если задуматься, Альма не помнила о походе практически ничего. Все до освещенной фонарями мостовой, на которой она теперь оказалась и шагала под скрип коляски Майкла и ритмичный цокот каблучков матери, – все скрывал таинственный туман.

Спрятав подбородок от вездесущей закатной прохлады в застегнутый воротник макинтоша, Альма разглядывала поблескивающие камни, мерно ложившиеся под гипнотизирующие шаги тупоносых башмаков с пряжкой. Ей казалось, что самое вероятное объяснение провала в воспоминаниях – это обыкновенная рассеянность. Вероятнее всего, в течение всей скучной вылазки она витала в облаках, и, хотя видела все знакомые места, не обращала на них внимания, ее увлекло ленивое течение собственных мыслей, омут фантазий и сора, что баламутился между болтающихся косичек, под заколками-бабочками поблекшего розового цвета и хрупкими, как карболка. Практически каждый день она выходила из транса, вырывалась из кокона замыслов и воспоминаний и понимала, что оказалась уже в нескольких террасах ¹ от последнего места, которое заметила, так что отсутствие памятных деталей нынешней прогулки по магазинам отнюдь не было поводом для беспокойства.

Абингтонская улица, думала она, – вот самый подходящий вариант для стартовой точки, именно поэтому теперь они держат путь вдоль южного края опустевшей Рыночной площади к переулку по соседству с «Осборном», откуда дальше начнут взбираться по Швецам, толкая Майкла мимо кирпичного блока Рыбного рынка с его морским запахом и высокими завешанными пылью окнами, затем скатятся под горку по Серебряной улице, перейдут площадь Мэйорхолд и попадут напрямик в Боро – родной дом среди скособоченных переплетений узких проходов.

Каким бы успокаивающим ни казалось Альме это объяснение, ее по-прежнему снедало ощущение, что в рассуждениях что-то не сходится. Если они только что вышли из «Вулворта», значит, сейчас не может быть позже пяти часов, когда все магазины в городском центре еще открыты, – так почему же в Рынке не горит ни одно окно? Не сочтется бледно-зеленоватое свечение из пасти ворот в пассаже «Эмпорий», что находится в верхней половине наклонной площади, черным-черна витрина «Липтона» на ее западной границе – без обычного тепла цвета сырной корки. Если на то пошло, разве не должны рыночные торговцы прямо сейчас убирать

¹ Терраса – распространенное англоязычное название блокированной застройки, при которой малоэтажные дома стоят стена к стене и занимают целую сторону улицы. (Здесь и далее прим. пер.)

свои товары, закрывать на ночь лотки, весело перекликаться, пиная испорченные фрукты или папиросную бумагу, складывать столики, чтобы забросить их с оглушительным дребезгом и лязгом в угловатые фырчащие фургоны, напоминающие кареты скорой помощи, кузова которых звенят, словно гонги, с каждой новой порцией груза?

Но нет никого на широком пространстве, уходил в пустую темноту открытый ветрам склон. Лишь торчали из гусиной кожи влажной брусчатки покосившиеся столбы, разделяющие отсутствующие лотки, – промокшие оглобли, пожеванные с одного конца, как карандаши, и вкопанные с другого в ржавые дыры меж горбатых булыжников площади. Остался всего один растрепанный навес – слишком жалкая добыча для вора, – время от времени влажно шлепающий осиротелым крылом поверх тихого полусонного бормотания ветра, и этот звук резко отражался от высоких зданий, стеной окружающих площадь. В ее центре, черный на сажи-сто-сером, вонзался в помойную лужу ночи железный памятник – ажурный викторианский стебель, что расцветает фестончатым бутоном, увенчанным медным шаром, словно какой-то доисторический чудовищный цветок, одинокий и окаменевший. У его ступенчатого поста-мента, как знала Альма, из щелей и трещин упорно пробивались незаметные клочки изумруд-ной травы – наверное, не считая матери, брата и ее самой, тем вечером единственные живые существа на площади, хоть она их и не видела.

Где же остальные матери, волочащие детей по сияющим и зазывным озерцам у витрин по пути домой, к чаю? Где же уставшие мужчины с несчастными лицами, которые поодиночке плелись от фабрик, держа одну руку в пустом кармане синих брюк, а в другой – потертую лямку наплечного вещмешка? Над черепичными крышами, нависшими над площадью, не виднелось ни жемчужной ауры подбрюшья черного неба, ни белых электрических лучей, льющихся от изящного фасада «Гамона», словно бы весь Нортгемптон разом выключили, словно бы наступила полночь. Но что Альма и ее брат с матерью делали здесь в такой поздний час, когда магази-ны закрыты, а вытянутые стеклянные глаза их запертых дверей становятся недружелюбными, холодными, отсутствующими, как будто они тебя не признают, не желают видеть?

Семена вслед за мамкой, вцепившись жаркой ладошкой в прохладную металлическую ручку коляски и не поспевая, так что Дорин приходилось волочить ее за собой, Альма уже начинала волноваться. Ведь если все не так, разве не может случиться что угодно? Бросив взгляд на полускрытый шарфом профиль матери, Альма не увидела и следа беспокойства в добрых, чутких голубых глазах, прикованных к мостовой, или в безропотной линии, в которой сомкнулись ее розовые губы. Если есть повод бояться, если они в беде – кому знать, как не мамке? Но что, если рядом таится что-то ужасное – призрак, или медведь, или убийца, – а матери никто не сказал? Что, если оно их поймает? Кусая нижнюю губу, Альма снова попытала-сь вспомнить, где они втроем были перед тем, как выйти на жуткую мощеную площадь.

В тенях, лужей разлившихся в южной части рынка, грузная девочка с облегчением заме-тила, что в безлюдном мраке все же горит хотя бы один огонек – прямоугольник снежного света, который падал из большого окна газетной лавки на углу Барабанного переулка, изгиба-ясь на вытертых желтеющих камнях улицы. Словно уловив нарастающие дурные предчувствия дочери, мать Альмы взглянула на нее и улыбнулась, кивая на витрину лавки – теперь та нахо-дилась не более чем на расстоянии трех колясок.

– Глянь. Свято место пусто не бывает, кто-то ищо работает, а?

Альма кивнула, обрадованная и успокоенная, а в скрипящей коляске одобрително пнул изножье Майкл, качая головой с золотистыми кудрями, совсем как у мальчика с картины «Мыльные пузыри»². Поравнявшись с лавкой, малышка заглянула через высокие чистые стекла в сияние необставленного помещения, где, похоже, всю кипела работа – в ночные

² Картина Джона Эверетта Милле, получившая в Англии известность благодаря тому, что ее задействовали в рекламе мыла Pears.

часы корпели над ремонтом плотники, видимо, не желая в обычные часы прерывать торговлю. За козлами на голом новеньком паркете трудились четверо или пятеро, стучали и тесали под голой лампочкой, и Альма заметила, что они стояли босыми в опилках и стружке, похожей на тонкие завитки масла. Плотники что, не боятся заноз? На всех были простые белые балахоны, доходившие до щиколоток. У всех – коротко подстриженные ногти, гладкая кожа – лучисто-чистая, словно они только что вышли из хорошей бани, а на влажных плечах еще лежала корочка лавандового талька в форме континентов. Все рабочие казались строгими и сильными, но не злыми, а волосы у многих, склонивших головы во время нелегкого и шумного занятия, опускались до самых плеч стиранных роб.

Один из артели стоял в стороне от своих четырех коллег, наблюдая за их работой. Альма решила, что он главный. В отличие от остальных, его робу венчал капюшон, скрывавший все лицо над носом. Волос не было видно, но почему-то Альма не сомневалась, что они темнее и короче, чем у его товарищей, а затылок под складками сизого капюшона выстрижен почти под ноль. Он был чисто выбрит, как и остальные, по-мужски красив, судя по чертам, что она разглядела в чернильной тени капюшона, заполняющей глазницы и прячущей глаза под прозрачной маской грабителя. Словно почувствовав взгляд ребенка из-за стекла, мужчина обратил улыбку в их сторону, буднично подняв руку в приветствии, и с замиранием сердца, не веря своим глазам, Альма поняла, кто это такой.

Размеренный скрип коляски и звенящие пистонные выстрелы каблучков матери замедлились и остановились, когда Дорин тоже взглянула в освещенное окно на ночных работников и их бригадира в капюшоне.

– Вот те номер. Гляди-к, детки, Фрит-Бор с евойными англами.

«Англы», наверное, выражение из Боро, так плотников или белодеревщиков зовут, подумала Альма, но другое имя было ей незнакомо, и она озадаченно нахмурилась, глядя в нежные смеющиеся глаза Дорин – словно мамка решила, что Альма туго мыслит и в ее возрасте должна бы уже знать, что значит «Фрит-Бор».

Дорин легонько цокнула языком.

– И, што за стих на тя нашел. Этш Фрит-Бор. Третий Бора то бишь. Скок раз я об нем грила, да лутше раз самой увидеть.

Альма действительно слышала о Третьем Боро – или, по крайней мере, так ей казалось. Эти два слова так и дразнили память, и она поняла, что это имя носил тот, кого она узнала в тот же миг, когда он помахал ей, – так плотника называли, когда не хотели упоминать другое его имя. Третий Боро ³, если она поняла правильно, означало что-то наподобие «сборщика податей» или «урядника», только с бо́льшим дружелюбием и уважением, куда величественней, чем даже Рыжий граф – граф Спенсер, болтающийся на вывеске одного паба. Она перевела взгляд с матери на диораму частично перестроенной газетной лавки, людей за честным трудом, залитых сиянием, – из-за витрины, похожей на стекло аквариума, казалось, словно стройка велась в теплой и светящейся воде. Человек в капюшоне, Третий Боро, все еще улыбался Дорин и ее детям, но уже не махал, а манил, приглашая войти.

Мамка со скрипом развернула на четверть оборота коляску на тротуаре, обрамляющем затихший заброшенный рынок, и направила Майкла в стеклянную дверь лавки, вкатив по пандусу с мозаикой из исхоженных бежевых и бирюзовых стекляшек между дверным проемом и скользкой улицей. Все еще держась пухлой ручкой за коляску и волочась вслед за матерью, Альма, неуверенно шаркая, замедлила шаг. Она где-то слышала или у нее откуда-то создалось впечатление, что такой аудиенции устаиваются только те, кто умер – она еще не до конца

³ Фрит-Бор, или Frith-Borh, – староанглийское понятие раннего средневековья, предшествовавшее «круговой поруке» и обозначавшее как уклад для сохранения законности и порядка, так и тех, кто следил за его соблюдением и сбором дани. «Frith» – многоохватное понятие, которое переводится как «мир», «благополучие», «стабильность общества», а «Borh» – как «клятва», «приверженность».

понимала, что такое смерть, но знала, что ей бы она не понравилась. Один из работников с ниспадающими локонами – такими светлыми, едва ли не белыми, – теперь отложил пилу и подошел придержать дверь, а в уголках его глаз возникли добродушные морщинки. Заметив нерешительность девочки, мать обернулась и заговорила ободряющим тоном:

– Ох и нюня ты, Альма, ей-ей. Он тя не укусит, а с людьми редко када выдается. Заглянь поздороваться, а то примет за невеж.

Наклоненной головой с коричневыми кудряшками от бигуди под краешком черного шарфа и напористо оттопырившимся бортом зимнего пальто на полном бюсте Дорин чем-то напоминала Альме голубей: их беззаботное спокойствие, их разноцветные рябые шейки, воркующую музыку их голосов. Альма вспомнила, как однажды ей приснилось, что они с матерью были в их гостинной на дороге Андрея, на западной границе Боро. Во сне Дорин гладила, а ее дочка сидела на коленях в мягком кресле, рассеянно сосала протертую ткань спинки и глазела в сумерки на заднем дворе за окном. Над забором со стороны соседей проступала заброшенная конюшня с черными дырками, словно вымаранными словами в секретных документах, там, где в крыше не хватало черепицы. В дырки взлетали и садились трепещущие голубиные силуэты, почти невидимые – бледные завитки дыма на фоне темноты холма со школой, что высился позади. Мамка обернулась к Альме от гладильной доски и торжественно сказала о птицах, искавших ночлег.

– Они – куда уходят мертвые.

Девочка проснулась раньше, чем успела спросить, что это значит: то ли голуби – призраки людей, человеческие души, которые принимают такой вид после смерти, то ли они каким-то образом одновременно существуют на небесах, куда уходят мертвые, и среди стропил обветшавшего сарая в соседском дворе. Она понятия не имела, почему этот сон пришел на ум именно сейчас, когда она следовала за Майклом и матерью из ночи в омытую светом лавку через дверь, которую терпеливо придерживал сребровласый столяр, облаченный в халат.

Лавка, куда вели два входа – с рынка и за углом, с Барабанного переуллка, внутри была просторнее, чем ожидала Альма, – хотя девочка поняла, что отчасти так казалось потому, что здесь не было полок для газет, кассы или стоек; ни единого покупателя. Помещение наполняло благоухание свежеструганого дерева – что-то среднее между ароматами консервированного персика и табака, – новенький паркет под ногами был приятно упругим, как охотничий лук, в углах скопились невыметенные опилки. Стоило женщине, девочке и младенцу ступить внутрь, как беловолосый мастеровой, придерживавший дверь, отправился к недопиленной доске, но, прежде чем вернуться к прерванному занятию, улыбнулся Альме и ее брату с озорной лукавинкой, словно они все вместе участвовали в какой-то секретной, но чудесной игре.

Не зная, каким выражением на это ответить, Альма скорчила вялую гримасу, которая не говорила ни о чем, затем оглянулась на Майкла. Тот воодушевленно выпрямился в коляске, растягивая пожеванные ремни безопасности – те самые, которые несколько лет назад берегли Альму: из красной кожи, с шелушащимся и расколупанным позолоченным узором в виде головы коня, что постепенно исчезал из виду. Майкл заливался довольным смехом, поднимая руки, смыкая и размыкая пальчики, словно старался ухватить молочный свет, воздух, щеко-чущую рождественскую атмосферу этого необычного мгновения в уголке страшноватой полуночной площади, словно хотел поймать это все, затолкать в ротик и слопать. Его огромная голова с профилем мальчика с мыла «Фейри Соуп» запрокидывалась назад, он подпрыгивал, озирался, моргал и гугукал с тем удовольствием, из-за которого сестра втайне считала, что, даже для двухлетнего, Майкл – довольно поверхностный ребенок, слишком увлеченный простыми радостями, чтобы относиться к жизни всерьез. Позади него, за витриной лавки, стояла сплошная тьма – рынок исчез, пропало все, кроме их слабых отражений, висящих в темноте, будто магазин газет и журналов остался один-одинешенек и летел в пучинах космоса. Над ее

головой, где-то у штукатурки высокого потолка, раздались взрослые голоса – мамка благодарила человека в капюшоне за то, что он пригласил их войти и разрешил представить его детям.

– Эт архаровец в коляске – Майкл, а эт Альма. Она у нас в школу ходит, да, в Ручейном переулке. Не стой столбом, поздоровайся с Трёшным Боро.

Альма застенчиво подняла взгляд к Третьему Боро, выдавив неслышное «Здравствуйте». Вблизи он казался постарше матери – наверное, лет тридцати. В отличие от остальных работников, белых, как церковный мрамор, он был куда смуглее – коричневый от тяжелой работы под солнцем. А может, он родом из каких-нибудь жарких и далеких краев, вроде Палестины – страны, о которой пели старшеклассники в школьном актовом зале, куда ходили на утренние молитвы, а тот находился всего в трех каменных ступенях от детской раздевалки первогодки Альмы, где крючки обозначались паровозиками, воздушными змеями и котиками, а не именами мальчиков и девочек. «Квинквиремы Ниневии и далекого Офира...» ⁴ – так начиналась песня, с названиями и словами, такими красивыми, печальными и давно ушедшими.

Третий Боро присел на корточки к Альме, с той же доброй улыбкой, и она почувствовала запах его кожи – немножко похожий на тост с мускатным орехом. Увидела ковбойскую ямочку на подбородке, будто кто-то бросил в него дротиком, но глаз в ленте тени от заостренного края капюшона разглядеть по-прежнему не могла. Позже Альма не могла вспомнить, каким был его голос, двигались ли губы, когда он к ней обратился. Только в одном она была уверена – это был мужской голос, глубокий и искренний, и звучал он не аристократически, но в то же время без неряшливых кухонных акцентов Боро. Скорее, вспоминался голос диктора по радио, и она его словно не слышала ушами, а чувствовала нутром, теплый и уютный, как воскресный ужин. *Здравствуй, малышка Альма. Ты знаешь, кто я такой?*

Альма вздрогнула, ее мысли вдруг наполнились громом, звездами и нагими плачущими людьми. Слишком стесняясь назвать по имени, но желая дать ему понять, что узнала его, она попыталась напеть первый куплет песни «Все яркое и прекрасное» ⁵, которая всегда напоминала ей о маргаритках, надеясь, что он поймет ее неуклюжую робкую шутку и не рассердится. Его улыбка стала чуть шире, и Альма с облегчением поняла, что он разгадал ее намерение. Все еще на корточках, мужчина в робе на миг повернул покрытую голову, чтобы изучить Майкла, прежде чем протянуть бронзовую от солнца руку и пригладить золотые пружинки младенческих волос. Ее братик захлопал в ладоши и захихикал, довольно лопоча, как попугайчик, и Третий Боро разогнулся и поднялся во весь рост, чтобы продолжить беседу с мамкой.

Вполуха слушая взрослый разговор над головой, Альма празднично разглядывала лавку и четверых работников, орудующих молотками, рубанками и пилами. Несмотря на одинаковые белые халаты и стрижки одного фасона, между собой они похожи не были – у одного посередине лба торчала большая родинка, тогда как другой был темный, с ежиком на голове и каким-то заморским видом, – и все же казалось, что они из одной семьи, братья или хотя бы близкие родственники. Ей стало интересно, из чего сделаны их халаты. Материал был простым и прочным, как хлопок, но мягким на вид, с синими, как лед, тенями в складках, – так что, наверное, дороже хлопка. Должно быть, такие рабочие фартуки носят старшие плотники, или «англы», рассудила Альма, и насилу припомнила то ли название ткани, то ли название фирмы, которое когда-то слышала. «Анчар» или «Бахча»? Что-то в этом духе.

Дорин обходительно беседовала со старшиной в капюшоне и время от времени вежливо поддакивала – Альма вспомнила те случаи, когда пыталась объяснять ей самые сложные свои рисунки, и поняла, что мамка на самом деле не имеет ни малейшего представления, о чем ей толкуют, но не хотела никого обидеть или показаться равнодушной. Наверное, она, между прочим, поинтересовалась у Третьего Боро, как продвигается работа, решила Альма, и во

⁴ Стихотворение Джона Мейсфилда «Грузы» (Cargoes, 1902).

⁵ Псалом Сесила Александра All things bright and beautiful, 1848.

время ответа была поневоле вынуждена стоять и подавать уместные – как надеялась Дорин – междометия удивления, одобрения или озабоченности. Как и во многих других разговорах между старшими, Альма улавливала суть только отдаленно, и то сомневалась, правильно или нет. Странные обороты и случайные выражения закреплялись в сознании, из них получалась вешалка с ненадежными крючками, на которые Альма накидывала приблизительные нити связей, соединяя один факт с другим в полотно домыслов и откровенных гаданий, пока либо не получала пунктирное представление о подслушанном, либо не забивала голову запутанными и абсурдными недоразумениями, в которые впоследствии верила еще долгие годы.

В этом случае, стоя и слушая аккомпанемент матери – без слов и разной тональности – к монологу Третьего Боро, она пробиралась между шаткими валунами взрослой речи и изо всех сил старалась представить общую картину происходящего – одну из своих диорам цветными мелками, но в голове, где все разрозненные части встали бы в сколько-то вразумительном порядке. По догадке Альмы, мать спросила, что здесь строят, и, судя по ответу, плотники готовили нечто под названием Портимот ди Норан – Альма знала, что никогда прежде не слышала этих слов, но в то же время звучали они так верно, словно она знала их всю жизнь. Это же какой-то суд, этот Портимот ди Норан, да? Где разберут все прения, и каждый получит по заслугам? Хотя в данном случае Альме казалось, что Третий Боро имел в виду что-то из столярничества, словно «Портимот ди Норан» – название какого-то замысловатого стыка. Говорилось, что в нем совокуплялись поднимающиеся линии – Альме показалось, это значит, что линии «сходятся», и потому она представила осьминожье соединение, как, наверное, в деревянном куполе церкви, где в середине одним ловким узлом связываются все изогнутые лакированные балки. Почему-то ей показалось, что в самом сердце постройки, в обрамлении из полированного палисандра будет заложен крест из грубого камня.

Словно в подтверждение такой трактовки Третий Боро теперь говорил, как хорошо, что здесь, в центре, есть столько дубов, которые выдержат распределяющиеся вес и напряжение. С этими словами он положил бронзовую руку на плечо Дорин, из-за чего реплика показалась Альме двусмысленной. Он говорил о дубах, что усеивали городские луга, или же делал Дорин какой-то комплимент, подразумевая, что их мать – дуб, древесный столп, который безропотно понесет на себе любые тяготы? Маме так или иначе слова пришлись по душе – она стыдливо сложила губки и хмыкнула, словно ей было смешно от самой мысли, что она достойна такой похвалы.

Человек в капюшоне убрал ладонь с рукава Дорин, продолжая объяснять, что начинание под его руководством необходимо воплотить к определенному времени, и потому работникам приходилось работать не покладая рук день и ночь, чтобы закончить подряд. Альме это показалось нелогичным. Она была уверена, что предприятие Третьего Боро – одно из самых многолетних в городе, старше компаний с участками на Медвежьей улице, с разошедшимися воротами, которые ведут в таинственные дворы причудливых форм и на облезавших табличках над ними все еще можно различить имена бывших владельцев. Некоторые пабы, говорил ей папка, стоят здесь со времен короля Якова, и Альме казалось, что постройка этого самого Портимот ди Норана длится не меньше, и продлится еще сотню лет, пока Третий Боро, как прежде, будет выверять каждый пустяк, лишь бы убедиться, что все правильно. Почему же тогда его тон казался таким безотлагательным, спросила она себя. Если до окончания оставались целые столетия, почему идет речь о тягостных сроках? Альма решила, что человеку под капюшоном приходилось планировать наперед дальше, чем большинству, – возможно, из-за более серьезной долгосрочной ответственности.

Она стояла на новеньких пружинистых досках пола, напоминающих палубу корабля – из той же песни, что она слышала у школьников в актовом зале: «гордые испанские галеоны, плывущие от перешейка», или как-то так. По-прежнему сжимая ручку детской коляски, она наблюдала за усердием не жалеющих сил прилежных плотников, чем-то неуловимо напомина-

ющих внешностью моряков, хотя их длинные белые фартуки наводили на мысли о пекарях. Она уже почти не обращала внимания на беседу прораба с матерью, потому что запоздало и неожиданно осознала, что пилы, молотки и дрели работников выглядели так, будто отлиты из настоящего золота, а в рукоятках на местах, где полагалось быть головкам шурупов, блистали бриллианты. Удивляясь сама себе, что не заметила этого раньше, Альма вспомнила о Третьем Боро и матери, только когда в их тихих переговорах всплыло знакомое имя.

Они говорили о чем-то под названием «Дознание Верналлов» – насколько она смогла понять, каком-то слушании, где решалось, где находятся и кому принадлежат все закоулки, подворотни, стены и углы мира. Судя по тому, что говорили Дорин и господин в капюшоне, единственно эти тяжбы и предназначалось вместить незавершенному сооружению – только с ними в уме оно и воздвигалось, – но внимание девочки привлек не столько смысл дознания, сколько его наименование. Верналл – фамилия ее родственников по папиной линии. Хорошенько покопавшись в памяти, Альма поняла, что не так уж мало знает о семейной истории из подслушанных разговоров взрослых – даже то, о чем она ранее и не знала, что знала. К примеру, Мэй – мама папы, неумолимая и грозная бабка Альмы и Майкла, – была Верналл до замужества с Томом Уорреном, дедушкой Альмы, – он умер за несколько лет до того, как она родилась. Второй ее дедушка тоже умер, вспомнила она, папа Дорин – Джо Свон, жизнерадостный широкоплечий малый с моржовыми усами, умерший от туберкулеза, который он заработал, когда ходил на баржах, и известный Альме только по выцветшей овальной фотографии, висевшей на стене в гостиной и скрывавшейся во мраке под рейкой для картин. Девочка не знала своих дедушек, потому не ощутила на себе их влияния и не скучала по ним. Однако того же нельзя было сказать о бабушках – ни о бабуле Кларе, матери Дорин, с которой они жили, ни о бабке Мэй, обосновавшейся в доме за поляной рядом с церковью Святого Петра, на заросшей юго-западной окраине Боро.

Мэй Уоррен, в девичестве Мэй Верналл, была сущим дредноутом с веснушками – почти каждую субботу она плыла по кафелю крытого Рыбного рынка, рассекая толпу и оставляя в кильватере лишь пустоту, набирая скорость с каждым тяжелым шагом, словно нарастающий снежный шар жизнерадостной зловредности: конопатые брыли, на которых покоился подбородок, содрагались при всяком движении, а внимательные смородинки глаз, вдавленные в пышный кровавый пудинг лица, поблескивали в предвкушении очередного несъедобного лакомства, за которым она пожаловала на рынок. За требухой ли, за трубачами ли, похожими на мускулистых рыжих слизняков, а то и за нарубленными угрями в лярде. Альма верила, что бабка съест что угодно и не поперхнется – если придется, даже другого человека, – но ведь Мэй была смертоведкой на Зеленой улице и в окрестностях. Смертоведками звались женщины, которые приводили людей в этот мир и помогали им уйти, когда те заканчивали свои земные дела, так что они явно немало видали на своем веку. Как гласила легенда, родилась Мэй прямо на Ламбет-уок среди плевков и сора в канавах. Теперь она жила в одиночестве на углу Зеленой улицы в заплесневевшем домике с газовым освещением и входной дверью над перекошенными ступеньками, который словно выдумало нечеловеческое воображение и где когда-то выросли папа Альмы – Томми – и половина ее тетюшек и дядюшек. В семье считалось, что Мэй стала сварливой и огроподобной с возрастом – после жизни, полной разочарований, но еще в семье считалось, что Верналлы страдают от наследственного безумия.

У Снежка Верналла – папы Мэй, прадедушки Альмы, – как говорили в семье, «ум за разум зашел», и под конец жизни он ел цветы; для Альмы это звучало сочно и сказочно, но не так уж и плохо. Рассказывали, что в детстве у Снежка были рыжие волосы, но со временем они лишились цвета примерно в то же время, когда отец Снежка Эрнест, прапрадедушка Альмы, лишился разума и тоже побелел во время работы художником и реставратором в лондонском соборе Святого Павла еще в девятнадцатом веке. Безумие Эрнеста передалось и Снежку, и сестре Снежка, Турсе Верналл. Турса, как говорили, несмотря на помешательство, виртуозно

играла на аккордеоне, как и красавица кузина папы Альмы – Одри Верналл, дочь Джонни, сына Снежка. В конце войны Одри выступала в танцевальном ансамбле под управлением своего отца, а сейчас обитала в дурдоме на углу, если свернуть по дороге к Берри-Вуд.

Повернуться, свихнуться, ум за разум, шарики за ролики: в семье Альмы многие делали этот мысленный поворот. Она воображала, будто при этом внутри разума вдруг появляется угол, который нельзя заметить издали, в отличие от сгиба улицы. Он невидимый или почти невидимый – возможно, прозрачный, как теплица или привидение. Линии угла по отношению ко всем остальным линиям мыслей лежат совершенно непредсказуемо, а потому вместо того, чтобы пойти прямо, вниз или вбок, они ведут куда-то еще – в таком направлении, что нельзя ни нарисовать, ни даже вообразить, – и стоит завернуть за этот скрытый угол, как ты потерял навек. Оказываешься в лабиринте, который прежде не видел и о котором даже не догадывался, и все тебя жалеют, когда видят, как ты в нем блуждаешь, но, наверное, уже вряд ли захотят водиться с тобой так же, как раньше.

Ум за разум, очевидно, заходил у очень многих людей, но Альма по-прежнему была уверена, что за этим незримым поворотом одиноко, пусто и никогда никого нет, кроме тебя самого. Ты в этом не виноват, но все равно это почему-то стыдно, почему-то бабуля Клара такого не одобряет, это позор для семьи. Вот почему о Верналлах никто не говорил, и вот почему Альма едва ли не с испугом слушала, как мамка и Третий Боро в почтительных тонах обсуждают запланированное «Дознание Верналлов» – это слушание по межеванию, из-за которого столько хлопот. Неужели эта семейная линия Альмы на самом деле особенная, или же наименование дознания – простое совпадение? А если речь не о семье Альмы, то что же такое Верналл?

Ей показалось, что это похоже на название какого-нибудь стародавнего ремесла, которое по прошествии многих лет осталось в памяти в виде одной только фамилии. Например, отец Альмы Томми Уоррен, работавший на пивоварне, однажды рассказал ей, что словом «купер» много лет назад называли людей, ладивших бочки, так что предки ее лучшей подруги Дженет Купер, скорее всего, были бондарями. Конечно, это все равно не объясняло, что такое Верналл или что Верналлы делают. Возможно, имя связано с дознанием об углах, потому что дело Верналлов – присматривать за межами и углами? Альме стало интересно, нет ли среди углов, за которыми они следили, того, за который зашли умы Эрнеста, Снежка, Турсы и несчастной Одри Верналл, но мысль ни к чему не привела и затухла сама по себе.

Еще без всякой видимой причины имя Верналл напоминало ей о траве и о том, как пах после покоса заросший пятачок на дороге Андрея близ Спенсеровского моста, о зеленых травинках, пробивающихся из подземной темноты в солнечный мир, – хотя как это соотносится с межами и углами, она и сама объяснить не могла. В воображении она видела дом бабки в обшарпанном конце Зеленой улицы, между кирпичей которого росли сорняки и даже маки, пустившие корни в железнодорожную сажу – истинные уличные обои Боро: черная квашня, висящая гармошкой на обожженных оранжевых кирпичных стенах, как вуаль на вдовствующем районе. Через улицу к тылам церкви Святого Петра, у задних ворот во двор «Черного льва», поднимался зеленый склон за низкой оградой сухой кладки. Этот травянистый откос она всегда представляла, когда слышала в песне, что Иисус идет по зеленым лугам⁶: в длинном одеянии, со светом вокруг головы и с босыми ногами, вниз от ворот паба к началу переулочка Узкого Пальца и магазину сладостей Готча, что на другом конце Зеленой улицы от дома бабки. Поймав себя на том, что она начала гадать, какая сласть нравилась Иисусу больше всего, Альма

⁶ Имеется в виду стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим» из предисловия к его поэме «Мильтон» (1804). Когда в 1916 году его положил на музыку композитор Хьюберт Пэрри, оно получило широкую известность как гимн «Иерусалим» и стало неофициальным гимном Англии.

поняла, что снова с головой ушла в фантазии, и кое-как принудила беспокойное облако внимания вернуться к тому, что обсуждали мамка и человек в белом капюшоне.

Третий Боро заканчивал свой рассказ о положении дел, заверяя Дорин, что работа по дереву с незапамятных времен была ремеслом его семьи. Он говорил, что, хотя труд предстоит долгий и немало еще человек надорвет над ним спину, идет он по плану и завершен будет вовремя. Альма сама не могла объяснить, почему эти торжественные слова отозвались в ней такой радостью. Как будто можно больше не беспокоиться ни о чем на свете, ведь в конце концов все будет хорошо – как когда родители заверяют тебя, что герой не умрет и к концу сказки добьется своего.

Вокруг в блеске лавки плотники в поте лица продолжали свой неустанный труд, строгая доски против волокон, но Альма заметила, как они посматривают на нее с вопросом в глазах, поняла она или нет, какие это для всех хорошие вести, и с молчаливым удовлетворением улыбается, заметив, что поняла, – гордые собой и в то же время зардевшиеся от стыда за свою гордыню. Портимот ди Нора будет построен – в каком-то смысле уже построен. Она оглянулась на Майкла, внимательно привставшего в коляске. Словно даже малыш понимал, что происходит нечто особенное, и он с готовностью встретил взгляд сестры большими голубыми глазами с танцующими искорками, сообщая по их личной бессловесной связи свою радость, возбужденно дергая ремни. Альма видела, что, хотя брат еще мал и не умеет называть вещи своими именами, каким-то образом он все-таки осознал, кем на самом деле был бригадир в накидке. При встрече его невозможно было не узнать, даже если ты младенец. По натуре Майкл был спокойным ребенком, но сейчас его распирало от изумления, словно он в точности знал, что означает для всех грандиозная стройка. Откуда ни возьмись к Альме вдруг пришла мысль, что однажды, когда они с Майклом будут взрослыми, они обязательно усядутся на забор и посмеются при воспоминании об этой встрече.

Теперь Дорин благодарила бригадира за то, что он позвал их к себе, и в то же время готовилась уходить – проверяла застежки ремней Майкла и велела Альме подтянуть пояс макинтоша. То ли свет в лавке становился ярче, думала Альма, то ли тьма пустой площади снаружи сгустилась до неизвестного цвета хуже черного. Она думала о дороге домой без воодушевления – и о необъяснимом приглушенном ужасе, который иногда нападал на нее на Банной улице, и о входе в проулок, узкий, словно сбойка, похожий на челюсти ночи, что бежал позади сплошного ряда домиков, построенных стена в стену между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, – но ей казалось, что она покажется неблагодарной, если признается в этом вслух. Ведь для Альмы эта встреча стоила даже прогулки по холодным улицам – хотя она все же была не прочь проскочить следующие двадцать промозглых минут жизни, чтобы сразу оказаться в своей уютной постельке.

Но свет в лавке определенно становился ярче, решила она, пока с трудом теребила вдруг ставший таким неподатливым пояс макинтоша. Пока она стояла у коляски и возилась с пальто, перед ней – или, возможно, над ней – зависли блестящие прямоугольники яркой белизны – как поняла Альма, отражения окон за ее спиной. Только какие-то неправильные. Освещенная комната иногда может отражаться в окне, но только не окна – в пустом пространстве комнаты, повиснув в воздухе, все белее и ослепительнее с каждым миготом. Где-то рядом Дорин говорила ей поторопиться с поясом, чтобы уйти и не мешать дядям работать. Альма выпустила из пальцев пряжку и потеряла ее в сложном узле, которого всего пару секунд назад как будто бы не было. Чем старательней она распутывала ремень, тем больше из неожиданных складок пальто, в которых разбираются только галантерейщики, в руки лезли новые лоскуты габардина и обвивали Альму своими полосатыми хитросплетениями. В глаза все сильнее били листы света, парящие над ней – или, возможно, перед ней. Мамка где-то поблизости велела пошевеливаться, но ситуация с макинтошем становилась только отчаянней. Альма боролась с бесконечной, всепоглощающей тканью, лежа на спине, когда вдруг заметила, что замершие перед

ней светящиеся пятна задернуты шторами. Шторами с узором из серых роз, точь-в-точь как те, что висели в спальне Альмы.

* * *

Вот такой, если вкратце, сон увидела одной февральской ночью 1959 года, когда ей было пять лет, Альма Уоррен, впоследствии ставшая достаточно знаменитой художницей. Спустя год после сна ее брат Майкл задохнулся и умер, но всего через день-другой каким-то образом вернулся к жизни и к ним домой на дорогу Андрея невредимым, о чем в дальнейшем ни он, ни Альма особо не распространялись, хотя в то время вся семья натерпелась страха.

Их отец Томми Уоррен умер в 1990 году, а вскоре, в знойное лето 1995-го, за ним последовала Дорин. Чуть меньше десяти лет спустя, с Миком Уорреном произошел несчастный случай на работе, где он утилизировал стальные баки. Довольно комично лишившись сознания и придя в себя только под струями холодной воды, которыми коллеги смывали едкую пыль с его глаз, второй раз Мик восстал из мертвых со множеством тревожных мыслей в голове – странных воспоминаний, всплывших на поверхность, пока он лежал в отключке. Кое-что из того, что он якобы вспомнил, казалось таким странным, что явно не могло произойти наяву, и Мик начал опасаться, что в нем просыпается таящаяся в семейной крови болезнь, которой боялись и потому обходили молчанием, – что у него заходит ум за разум.

Когда он наконец набрался смелости поведать о своих страхах жене Кэт, она с ходу предложила поговорить с Альмой. Семейю Кэти, как и семью Мика, выселили с прокоптившихся пустырей Боро – квадратной мили грязи у железнодорожной станции, – когда в начале 1970-х управа вычищала последние остатки района. Надежная, здравомыслящая и все же не стыдящаяся своих причуд, Кэт, на взгляд Мика, могла похвастаться всеми чертами женщин Боро: решительностью и непоколебимой верой в интуицию, в собственную способность решить, как лучше поступить в любых обстоятельствах, какими бы они ни выдались необычными.

Кэти и Альма ладили замечательно, вопреки – а может быть, благодаря – пропасти между их характерами, при этом Кэти открыто считала Альму юродивой, которая жила на помойке, а Альма в ответ язвила о любви невестки к Мику Хакнеллу из Simply Red. Тем не менее обе испытывали друг к другу исключительное уважение как к специалистам в непересекающихся областях знаний, и, когда Кэт рекомендовала мужу обратиться к Альме, раз уж он решил, что у него начала протекать крыша, Мик знал: это потому что жена верила, будто его старшая сестра – настоящий эксперт не только в том, как объесться белены, но и вообще в пожизненном вегетарианском рационе из этого растения. Более того, он и сам полагал, что Кэти недалеко от истины. Мик сговорился с Альмой о встрече за кружечкой пива в следующую субботу, причем без всякой вразумительной причины назначил ее в «Золотом льве» на Замковой улице – одном из редких сохранившихся пабов из дюжин, которыми когда-то могли похвастаться Боро, и, по совпадению, том самом, где он познакомился с Кэт, когда она там работала, перед тем как воплотил в жизнь мечту жениться на барменше.

На встрече с Альмой он обнаружил, что некогда забитое до отказа заведение теперь осталось практически пустым даже по субботам. Очевидно, те обитатели квартир распотрошенного района, что не были прикованы к спальням домашним арестом по ASBO, обычно предпочитали зоопарк городского центра, терпимый к справлению естественных потребностей и выделению жидкостей из любых отверстий, включая проделанные ножом, нежели чем терпеть замогильную тишь родных окрестностей. Его сестра сидела за угловым столиком в излюбленном черном ансамбле: джинсы, жилет, ботинки и кожаная куртка. Как Альма недавно объяснила Мику, сейчас черный – это новый iPod. Она заказала себе бокал с газированной минералкой и сейчас пыталась поставить на ребро бирдекель «Strongbow», пока за ней с выражением,

как показалось Мику, клинической депрессии наблюдал мужчина за стойкой. Единственный посетитель за всю ночь – и то непьющее страшное чучело.

Мик правда, считал, что Альма скорее, как говорится, импозантная, чем страшная, даже в ее возрасте, правда в лицо бы он ей такого не сказал. Сколько ей, пятьдесят один? Пятьдесят? Импозантная, определенно, если на самом деле иметь в виду «пугающая». Ростом она была метр восемьдесят – на пару сантиметров ниже брата, но на каблуках – добрых метр девяносто; длинные нестриженные русые волосы, поседевшие до цвета пыльной меди, скрывали скуластое лицо неровными защитными шторами в стиле, который она однажды описала при Мике как «постапокалиптически-мародерский». И, конечно, глаза – жуткие и огромные, если, конечно, она не шурилась близоруко, со зрачками теплого грифельного цвета, вокруг которых потусторонним лимонно-желтым расцветали радужки, словно короны во время полного затмения, и с толстыми ресницами, скрипящими под тяжестью туши.

За долгую жизнь у нее было немало поклонников, но на деле подавляющее большинство мужчин считало Альму «в целом неприятной», как выразился один знакомый, или «гребаным ходячим кошмаром с климаксом», как проще сформулировал другой, хотя даже это говорилось почти благоговейным тоном. Иногда Мику казалось, что его сестра просто не попадала под общепринятые стандарты красоты, но куда смешнее было настаивать, что она похожа на Лу Рида с обложки «Трансформера» или на «глэм-Франкенштейна из солярия», как с удовольствием перефразировала Альма, пообещав процитировать это в своей биографии для каталога, когда в следующий раз устроит выставку. С одинаковой страстью наслаждаясь как выслушиванием оскорблений, так и их раздачей, Альма могла постоять за себя, в отместку с непрошибаемой искренностью утверждая, что ее младший братец с ангельским личиком был жеманным и изнеженным с самого рождения – более того, на самом деле родился девочкой, даже в какой-то момент удостоился звания «Мисс Пирс»⁷, но затем лег на операцию, потому что мамке с папкой хотелось иметь по ребенку каждого пола. Впервые она испытала эту пугающе серьезную репризу на самом Мике, когда ему было шесть, а ей – девять, чем довела его до слез от стыда и шока. Когда же он однажды сообщил Альме, практически без преувеличений, что большинству она кажется гомосексуалом, застрявшим в жалком подобии женского тела, она парировала: «Да, и ты тоже», – а потом хохотала, пока не поперхнулась, и ее чуть не стошнило – как обычно, не в меру довольная собственной остроумной.

Остановившись у бара, чтобы обхватить ладонью освежающую сосульку первой пинты, Мик прошел по протертому ковру с цветочным узором, больше похожим на диаграмму уровня самоубийств, к столику, облюбованному сестрой, – что неудивительно, тот находился в самом дальнем углу от дверей, неизбежный выбор мизантропа. Когда он со скрипом отодвинул стул напротив Альмы, она подняла взгляд от влажной поверхности с разрозненным архипелагом бирдекелей. Выкатила обычную приветственную улыбку, которая, наверно, была предназначена передать, что ее лицо озаряется радостью при его виде, но из-за привычки Альмы перегибать палку стала очередным экспонатом в гран-гильоле ее выражений, из-за чего сестра напоминала скорее серийную убийцу с религиозными мотивами или пироманьячку – особенно из-за желтых пожаров, бушующих в глазах.

– Надо же, сам Уорри Уоррен. Как ты там поживаешь, Уорри, черт тебя дерит?

Голос Альмы был прокурен до зловещего баса органа, гудящего в готическом соборе, и иногда опускался даже ниже голоса Мика. Несмотря на беспокойство о своем душевном здоровье, он не мог не улыбнуться и искренне порадоваться свиданию с сестрой, восстановлению их таинственной связи, успокаивающей беседе с человеком, который зашел по дорожке безумия куда дальше него. Отвечая, Мик положил сигареты с зажигалкой рядом с усеянной каплями кружкой, готовясь к долгому вечеру.

⁷ Конкурс красоты мыла «Пирс».

– На грани, Уорри, если по правде.

С самого момента в 1966-м, о котором никто из них не мог вспомнить ничего определенного, оба звали друг друга Уорри. Возможно, начало этому положила Альма в тринадцать лет, придумав младшему брату такое уничижительное прозвище – Уорри, а тот, возможно, отвечал тем же, потому что, как она всегда в глубине души подозревала, слишком легкомысленно относился к миру, чтобы выдумать собственное оскорбление, даже такое дурацкое как Уорри. Стоило парочке начать так обращаться друг к другу, как скоро разгорелась идиотская война на истощение, об истоках которой никто уже не помнил, но тем не менее оба чувствовали, что уступить и первым назвать другого по имени покажется невыносимым поражением. Этот номинативный теннисный матч жалким образом тянулся всю их жизнь, даже когда кличка уже стала казаться милой и они напрочь позабыли его нелепое происхождение. Если Мика спрашивали, почему они звали друг друга Уорри, он обычно отвечал, что в таком неблагополучном районе, как Боро, мамка с папкой не могли позволить для детей два разных прозвища, так что пришлось как-то делить одно. «Не то что у богатых ребятешек», – иногда добавлял он с непритворной горечью. Если же рядом была Альма, она смотрела на вопрошателя обвиняющим коровьим взглядом и печально просила не смеяться. «Только это прозвище мы однажды и получили на Рождество».

Теперь его сестра уперлась потертой кожей на локтях в пленку жидкости, покрывающую стол, примостила подбородок на длинные пальцы и вопросительно подалась вперед в воздухе цвета разбавленного чая, склонив голову так, что самые длинные пряди подмели влажный мениск стола и их кончики стали острыми, как колонко́вые кисточки.

– По правде? А на что мне твоя правда? Я просто разговор завожу, Уорри. Зачем мне «Илиада»?

Они оба восхитились ее черствостью, а затем Мик поведал о несчастном случае на работе, о том, как лишился сознания и обжег лицо, как ослеп на час-другой и с тех пор волновался, что сходит с ума. Альма смотрела на него пару секунд с жалостью, затем покачала непропорционально массивной головой и вздохнула:

– Ох, Уорри. Вечно ты важнее всех, да? Я уже много лет страшная, полуслепая и долбанутая, но что-то не припомню, чтобы кому-то жаловалась. А стоит тебе принять душ из едких химикатов для чистки крейсеров – так сразу в сопли.

Мик затушил сигарету в иллюминаторе пепельницы цвета морской волны и закурил новую:

– Это не шутки, Уорри. Я как проснулся во дворе под водой из шланга, так меня преследуют странные мысли. Не из-за гадости, которая в глаза попала, и не из-за того, что я головой ушибся, а уже когда очухался. Я даже сразу не вспомнил, что мне сорок девять или что я работаю в ремонтной мастерской. Не помнил о Кэти, ребятах – ни о чем.

Он замолчал и отпил лагер. Альма сидела напротив за промокшим столом, немо вперив в него взгляд, – неподдельно увлеченная, осознав, что он не шутит. Мик продолжал:

– Когда я только прочухался, я вдруг подумал, что мне три года и я проснулся в больнице – после того случая с драже от кашля во время ангины.

Бунтарски невыщипанные брови Альмы озадаченно нахмурились.

– Когда ты подавился и сосед Даг отвез тебя по Графтонской и через Маунтс в больницу на своем овощном грузовике? Мы все думали, что тогда-то ты и получил травму мозга, – по крайней мере, я так думала.

– Все нормально у меня с мозгом.

– Да брось. А как же. Тут только три минуты без кислорода – и пожалуйста. А все говорили, что ты не дышал с самой дороги Андрея до Чейн-уок, а в ржавом драндулете Дага это не меньше десяти минут. Десять минут без воздуха – это смерть мозга, дружок.

Мик фыркнул от смеха в кружку и смочил нос пеной:

– Ты же вроде у нас за интеллектуала, Уорри? Попробуй десять минут не дышать и наверняка заметишь, что это смерть вообще всего.

На этом оба притихли и задумались – но ни к чему определенному, впрочем, не пришли. Наконец Мик продолжил повествование:

– В общем, к чему это я. Когда я проснулся в больнице тогда, в три года, то понятия не имел, как туда попал. Не помнил, ни как подавился, ни как ехал в грузовике Дага, хотя он и говорил, что всю дорогу я был с открытыми глазами. Но когда я проснулся теперь, все было по-другому. Как я уже говорил, мне на минуту показалось, что я опять в больнице и мне снова три – но только теперь я вспомнил, как туда попал.

– В смысле, наш двор и драже от кашля? Или грузовик Дага?

– Ничего подобного. Нет, я вспомнил, как был в потолке. Я пробыл там полмесяца, питался феями. Наверное, это какой-то сон, хотя на сон и не похоже. Куда реальней, но при этом и куда безумней, и все про Боро.

Альма пыталась перебить и спросить, заметил ли он сам, что только что во всеуслышание заявил, будто полмесяца жил в потолке и питался феями. Но Мик пропустил все мимо ушей и продолжил рассказывать о своем приключении, вернувшаяся память о котором так его встревожила. К завершению рассказа Альма сидела с открытым ртом, пораженно уставившись на брата своими глазами панды под таблетками. Наконец она выдавила свой первый серьезный ответ за вечер.

– Это же не сон, дружок. Это же видение.

Пара продолжила беседу – на этот раз для разнообразия без дураков – в сумраке обезлюдившего паба, время от времени повторяя заказ: Альма все пила минеральную воду – из отравы она предпочитала полудюжину брусков гашиша размером с батончик «Баунти», разбросанных по ее чудовищной квартире на Восточном Парковом проезде. «Золотой лев» вокруг них погружался в противоположность сумятицы, антигвалт, в котором царствовал неумолимый стук настенных часов. Время от времени свет в баре малозаметно мерцал, словно в помещении кишели отсутствия посетителей, коричневые и прозрачные, как старая целлулоидная пленка, и изредка несколько засиженных мухами не-тел накладывались друг на друга и заслоняли свет, хотя и неощутимо. Долгие часы Мик обсуждал с сестрой Боро и их сны – Альма рассказала о своем, про освещенную лавку на запустелом рынке, где в ночи стучали молотки плотников. Она даже рассказала, как в том сне вспомнила другой сон, в котором Дорин заявила, что голуби – куда уходят умершие, хотя Альма призналась, что, проснувшись, не могла сказать с уверенностью, действительно ли ей это когда-то снилось – или только приснилось, что снилось.

В конце концов, когда немного погодя они вышли на буйство ветра За́мковой улицы, Альма гудела от возбуждения, а Мик нажрался. После разговоров с сестрой и ее воодушевленных тирад ему полегчало. Пока они спускались по За́мковой улице к Фитцрой по призрачному району, Альма рассказывала, что собирается написать целую серию картин, основанных на опыте клинической смерти Мика (а она уже верила, что именно этим и являлись вернувшиеся воспоминания) и своих собственных снах. Она подняла на смех страха брата за свое психическое здоровье, заявив, что это очередной пример его девчачьей натуры, цепящего ужаса при виде чего угодно, хотя бы отдаленно напоминающего творческое мышление. «Твоя проблема, Уорри, в том, что, когда тебе в голову приходит мысль, ты думаешь, что это внутримозговое кровоизлияние». Слушая, как она тараторит, словно захлебывающаяся пишмашинка, о нереализуемых и трансцендентальных концепциях картин, он чувствовал, как гора падает с плеч, как он парит в нежном и приторном облаке пердежа с привкусом лагеря и растворяется под звездной обсидиановой миской времени закрытия, которую опрокинули на Боро, как будто не хотели подпустить мух.

Они побрели вниз от входных дверей «Золотого льва» и его кариозной светло-зеленой плитки: справа через улицу, о которой давно позабыли автомобилисты, проплывали поблек-

шая китайская головоломка струпных кирпичей из 1930-х – тылы многоквартирников на Банной улице под названием Дом Святого Петра, – и проемы в невысокой стенке, выходящие на треугольную каменную лестницу в виде зиккурата, с расширяющимися ступеньками от вершины к основанию с каждой стороны. За ней стояли сами многоквартирники с высеченными щелями баухаусной тени на фасадах, с двойными дверями в нишах портиков; окна с катарактами тюля – большинство без света. От поймы Конца Святого Джеймса к западу от реки завизжали полицейские сирены, как баньши из Radiophonic Workshop ⁸, и Мик задумался о своем недавнем откровении, осознавая, что, несмотря на духовный подъем при виде пылкой, почти фанатичной реакции сестры, где-то глубоко по-прежнему засел жесткий комок беспокойства, хотя и затопленный в озере отупляющего янтарного пойла. Словно уловив смену его настроения, Альма прекратила заливаться соловьем о том, какие невиданные пейзажи ей предстоит запечатлеть, и бросила взгляд мимо него в ту же сторону – на зады немых многоквартирников, обьятых ночью.

– Да уж. В этом и проблема, да? Не «Что, если у Уорри ум за разум зашел», а «Что, если нет?» Если то, что ты видел, значит то, о чем я думаю, тогда вот с чем нам придется иметь дело, – Альма кивнула на темные многоквартирники и Банную улицу, а может, и куда-то еще дальше. – Со всем, что ты повидал, когда разгуливал с бандой мертвых детей, – Деструктором и всем таким. Вот против чего нам придется выступить. Вот почему мне придется расстараться с картинами и изменить мир до того, как его окончательно угробят.

Мик с сомнением взглянул на Альму:

– А тебе не кажется, сестричка, что уже поздно? Сама посмотри.

Он пьяно обвел рукой округу, когда они дошли до основания приблизительной трапеции горбатого пригорка под названием Замковый Холм, куда выходила бывшая улица Фитцрой. Теперь она превратилась в расширенное шоссе, ведущее в стопку обувных коробок застройки шестидесятых, где когда-то пролегали феодальные коридоры улицы Рва, Форта и прочих. Кончалось шоссе клаустрофобным тупичком с парковкой, зажатой с двух сторон зданиями, а с третьей – переливающимися через бордюр черными грязными кустами, последней линией отчаянной обороны природы Боро.

До постройки этого жалкого жилищного комплекса, еще в юные годы Мика и Альмы, в тупике находилась безобразная пародия на детскую площадку с маленьким лабиринтом из синего кирпича в центре, как будто созданным для скудоумных лепреконов, и с вечно маячившим над душой творением кубиста-аутиста – бетонным конем, слишком угловатым и неудобным, чтобы его оседлать, с пустой дырой вместо глаз, просверленной в голове на высоте висков. Но даже такая абстрактная скульптура была не столь омерзительна, как это место для изнасилований на свидании и для слета извращенцев-вуайеристов, с наспех размазанной по розовым тротуарным прямоугольникам жижей асфальта, похожей на дешевую просроченную икру, которая, в свою очередь, покрывала и ухабистые переулки, и каменные плиты дворов. Только в канавах у обочин, где все эти слои шелушились под жаром солнца, можно было разглядеть страты утрамбованного человеческого времени – кольца на давно срубленном цементном пне Боро. Из-под холма, с другой стороны автостоянки и дешевых, сердитых надгробий обрамляющих ее многоквартирников доносились траурные визг и лязг товарняка, с рокотом и ропотом карабкающегося по склону впадины прочь от сетки железнодорожных рельс на дне, похожих на шрамы от самовредительства.

Альма смотрела туда, куда показал Мик, сложив замалеванные ресницы в презрительном прищуре из спагетти-вестерна, так что глаза казались пауками-скакунами, изготовившимися к смертельному броску.

⁸ Студия звуковых эффектов и музыки BBC Radiophonic Workshop (1958–1998), среди прочего работавшая над сериалом «Доктор Кто» в 50–60-х.

– Ну конечно еще не поздно, девочка моя. Какой смысл посылать тебе видение, если поделаться ничем нельзя? И слушай, я же гений. Это не кто-нибудь, а NME⁹ так написал. Сделаю картины – и все разрулим. Можешь поверить.

И он безоговорочно поверил. Хотя даже слепому было понятно, что сестра Мика – самолюбленная фантазерка, его опыт все же говорил, что часто она оказывалась права. Если Альма заявляла, что остановит катаклизм тубиками с краской, Мик скорее бы поставил на ее успех, чем на падение метеора или что там уготовано Боро. Все свою жизнь она принимала парадоксальные решения, которые, вопреки всему, окупались, и любой мог сказать, что для ребенка из Боро Альма устроилась довольно неплохо. Мик в нее верил – хотя и не так непреложно, как ее преданные фанаты, многие из которых, похоже, считали, что она явилась на свет благодаря потусторонним силам или же таинственным генетическим экспериментам – ниспосланный Богом мутант, умеющий говорить с камнями и оживлять нерожденных, не говоря уже о мертвецах.

«Поверить не могу, что вы брат Альмы Уоррен», – этого он наслушался от поклонников сестры, в основном от женщин, – коллег его супруги, которых Альма интересовала только в роли «непонятой лесбийской иконы», как была убеждена она сама. Иногда, если они знали о происхождении Мика, то сидели с задумчивым видом, а потом спрашивали, как же такой человек, как Альма Уоррен, мог вырасти на такой скудной гиблой почве, как Боро. Вопрос ему казался дурацким – будто она могла вырасти где-то еще. Где – в аду, в Нарнии? Сколько же времени прошло с тех пор, как бесследно сгинул настоящий рабочий класс, если даже очевидные выходцы из него ныне неузнаваемы, как додо? Что случилось с этой культурой? Те, кто не соблазнился перейти в нижние ряды среднего класса и не слился окончательно в джунгли картонных коробок, – как они умудрились пропасть из виду так, что если в наши дни кто их и встретит, то не поймет, кого видит? Куда они ушли? Почему никто не жаловался?

Уоррены повернули налево и пошли по самому нижнему краю Замкового Холма, к стене церкви Доддриджа по направлению к Меловому переулку, улице Лошадиной Ярмарки, их любимой дороге Андрея, которая выходила к вокзалу и ряду такси подле него. Альма как ни в чем ни бывало снова расписывала очередной еще не существующий шедевр, уставившись в пустое чернильное пространство, словно так и видела картину перед собой, уже в раме.

– Пока мы болтали, да, мне в голову пришла такая мысль. Можно написать мой сон, который про плотников на углу ночного рынка. Можно сделать огромную картину, как у Стенли Спенсера, с гигантскими фигурами над рубанками, лицом от зрителя. Некоторые части выпишу подробно, с любовью, а остальное недоделаю, как бы оставлю в карандаше. И назову «Неоконченный труд»...

Альма осеклась, замерла на месте и подняла взгляд на неконформистскую церковь восемнадцатого века, мимо которой они проходили. На верхнем этаже в обрамлении светло-коричневого кирпича виднелась закрытая просмоленная дверь, выходящая в пустоту: очевидно, какое-то место для разгрузки, только кому оно понадобилось на такой высоте, да еще в церкви? Казалось, будто дверь должна вести на невидимый верхний этаж нищего квартала, снесенный без следа, или же, наоборот, на запланированную пристройку, которую только предстояло возвести. Альма перевела взгляд с бессмысленной ангельской двери на Мика, и, когда заговорила, ее обычно гремевший голос оказался тихим и благоговейным – больше похожим на голос маленькой девочки – таким он не был даже в ее детстве.

– Одно из тех мест, Уорри, да? Из этого твоего припадка?

Брат Альмы кивнул и показал на выстланный дерном пустырь за очередной парковкой, в Меловом переулке, приближающийся к ним справа, когда оба сдвинулись с места.

⁹ Журнал New Musical Express.

– Ага. А вот еще, где валы. Но там оно куда больше, и древнее, и все лужи как будто слились в одну – не знаю, лагуну, что ли.

Сестра медленно кивала, запоминая каждую деталь пригорка за автомобильными яслями, где за своими подопечными присматривала из заплеванного уголка нянька – камера слежения. На фоне света от натриевого фонаря, кровоточащего над близлежащим вокзалом, на земляном кургане высился силуэт раздвоенного дерева – или двух деревьев, выросших вплоты друг к другу. Деревья были непреходящими чертами ландшафта, истинным лицом под размазанным гримом развлекательного центра и магистрали, под местами стершейся косметикой. Дуб и вяз издавна определяли здешний вид, были жизненно важными несущими элементами, неизменными, как облака, – и, как облака, по большей части незамечаемыми.

Когда Уоррены дошли до начала Мелового переуллка, к востоку от них за травяным холмом церкви Доддриджа показались многоквартирники и здания на улице Святой Марии, где начался Великий пожар, а дальше – оживленное автомобильное движение на Конном Рынке, эта улица взбиралась на холм и растворялась в мертвом угаре дорожной развязки, где когда-то была Мэйорхолд. Расщелина Мелового переуллка окуналась в темноту – вела под горку на юг, к ленте автомобильных огней на Лошадиной Ярмарке, украшенным дьяволами карнизам церкви Петра через дорогу, а еще к отелю ibis и развлекательному комплексу по левую руку. Неоновая опухоль в стиле Фаберже – ее возвели на месте снесенного штаба «Барклейкард», а еще раньше тут был хитросплетенный узел из фирмочек и узких проходов, вроде Пикового переуллка, Квартового, улицы Доддриджа, а задолго до него здесь располагалась королевская резиденция, откуда правили всей Мерсией, а также большей частью дремучей саксонской Англии. Здесь не было привидений; здесь остались только ископаемые слои призраков, спрессованные до эмоционального угля или нефти, черных и огнеопасных.

Альма попыталась вообразить весь перекошенный квартал от Пути Святого Петра до Регентской площади, от дороги Святого Андрея до Овечьей улицы и церкви Храма Господня: окаменевший бок кабана с все еще торчащими стрелами высоток, что пронзили и повергли его, все еще со щетиной уличных фонарей и коростой таверн; пыталась вообразить в контексте видения Мика, словно болезненная топография и ломаная линия горизонта до сих пор были подключены к чему-то гудящему и неосязаемому, каким-то легендарным механизмам, давно исчезнувшим из виду, но, похоже, все еще пребывавшим в рабочем состоянии. От этого мурашки шли по коже и хотелось забить косяк. Активисты говорили, что от старомодного гашиша впасть в зависимость невозможно, но, на взгляд Альмы, они просто не пробовали.

Брат и сестра вышли из Мелового переуллка на Холм Черного Льва – миллионлетнее наслоение, увенчанное четырехсотлетним пабом в заднице Лошадиной Ярмарки. У входа в переуллок торчала еще одна газетная лавка, где Альма с семи лет покупала ради красивых картинок комиксы – аляповатый плавник привозили из Америки в качестве корабельного балласта, страницы с запахом небоскребов и электризирующими надписями: «Путешествие в тайну», «Запретные миры» и «Мое величайшее приключение». Над заново асфальтированной улицей стояла, прячась за ширмой бузины, меланхоличная маленькая гостиница, где в холле висели стародавние фотографии напоминающего мельницу здания с округлым куполом, что ранее господствовало в округе. Теперь же здесь угнезвился короткий ряд безликих домов из 1960-х, поглядывающих из-за высокой стены на дорогу, жильцы которых держались до последнего, пока еще не пришла джентрификация в рамках «Культурной мили» – ее проект протолкнули и восхваляли господ из управы, прежде чем загнать недвижимость по завышенной цене и смыться в края, где каждый угол не смотрит с укором, где фундаменты не разъедает астральная сырость просочившихся кошмаров. У Альмы откуда-то возникло впечатление, что когда-то в одном из этих зданий жил местный депутат, но съехал он с тех пор или нет – она не знала. Завернув за угол направо, они спустились к светофорам и перешли дорогу Святого Андрея, постепенно приближаясь к Замковой станции.

Здесь по выходным останавливались секс-работницы, выездные отряды проституток из Милтон-Кейнса или Регби сгружались с экспресса «Сильверлинк» и отправлялись в разрекламированную зону красных фонарей Боро – их богатый ассортимент ждал всех на круглосуточной остановке дальнотойщиков, что находилась на северо-западном углу Боро, где горб Спенсеровского моста встречается с Журавлиным Холмом у начала Графтонской улицы, северной границы района. Ходячие переносчики СПИДа и их кураторы по обыкновению проходили через двор станции, через некогда бывший здесь средневековый замок, в котором начинается действие шекспировского «Короля Иоанна», в котором еще в тринадцатом веке впервые в мире собрался парламент и тут же поднял подушную подать, распалив восстание Уота Тайлера 1381 года, в котором планировались Крестовые походы, в котором приговорили Беккета – и именно здесь в конце черной от сажи дороги росли Мик и Альма; в своей затопленной Летою Аркадии. Спускаясь к черным такси, кружащим по двору станции от главных ворот, Альма размышляла о непосильной тяжести задачи, которую на себя взвалила. Она не просто напишет картины. Она их просто-таки захреначит.

* * *

Так и случилось. Четырнадцать месяцев спустя, в холодную весеннюю субботу 2006 года, Мик пообедал с женой и мальчишками дома в Уайтхиллс, затем спустился по Кингсторп к Баррак-роуд, подходя к Боро с северо-восточного угла и кратера, когда-то носившего название Регентская площадь. Он давно сдал на права, но по-прежнему предпочитал передвигаться пешком, разделяя семейную антипатию к моторному транспорту. Ни у его сестры, ни у родителей, ни у единого из многочисленных дядюшек и тетюшек не было своей машины, и сам Мик по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке в тех редких случаях, когда его доверенная водительница Кэти отсутствовала, и он был вынужден забираться за баранку самолично.

Несколько недель назад ему позвонила Альма и сказала, что закончила картины, задуманные на прошлогодней встрече в «Золотом льве». Она собиралась начать выставку с маленького просмотра для своих, организованного в детском саду, где когда-то была школа танцев Питт-Драффен, – на урезанной угловой окраине Замкового Холма. Сестра приглашала взглянуть на образы, вдохновленные его видением, включая «Неоконченный труд» с полуночными плотниками, «Должностную цепь», картину, которую ей особенно не терпелось показать именно брату, и еще один труд – его Альма звала «трехмерным» и он, возможно, будет доступен только в этот вечер премьеры.

В слаксах, лоферах и простой коричневой рубашке под пиджаком – насчет уместности которого Мик до сих пор сомневался, – он шагнул навстречу ветру по Графтонской улице: подтянутый и привлекательный сорокадевятилетний мужчина, не утративший блеска ребяческого оживления в светло-синих глазах, которые были хотя бы нормального цвета, в отличие от глаз Альмы, прямиком из «Деревни проклятых». Она-то, конечно, возразит, что зато у нее на месте волосы, а его – сдали позиции и окопались облачком золотистого пушка высоко над загорелым лбом, впрочем, все еще отдаленно напоминая блестящие одинокие завитки из младенческих времен. Тут его черт за язык дернет, и в ответном выпаде он заметит, что у него на месте все зубы – буквально большая тема Альмы с ее вечной страстью к сладостям и страданиями от периодонтита, и тогда она наверняка обожжет его взглядом, угрожающе промолчит и замнет на этом разговор. Он осознал, что репетиция встреч с сестрой и мысленная постановка их стычек, которых может и не быть, – признак неуверенности в себе, однако прошлый опыт говорил Мику, что к Альме лучше всегда приходиться во всеоружии.

Графтонская улица сбегала вниз ревушей сталью и резиновой стремниной – река машин, разбухшая от дождя обеденных выпивох, шопоголиков на выходных выездах и зажиточных любителей померяться пенисами, грозила затопить берега. Слоистая анаконда от расплавлен-

ной крыши, змеящаяся по тротуару перед Миком, свидетельствовала, что наметни как раз и свершился подобный разлив, не далее как в минувший вечер пятницы. По-видимому, какая-то волна попала под управление заносчивого смертника с кровью из Burberry ¹⁰, что сплавлялся по стрезени меж островков безопасности на прокачанном каяке домой, в Конец Джимми ¹¹ за мостом на западе, – в башке одни лошадиные транки и «ГТА Сан-Андреас», а съездившиеся зрачки щурятся в брызгах встречных фар.

Прогулочным шагом по ветреному склону под панорамным небом Мик миновал здание «Санлайт» на противоположной стороне улицы – китайской прачечной, которая когда-то дышала одиноким холостяцким паром, а теперь стала промасленной автомастерской, хотя на белом фасаде ар-деко так и остался неуместный фирменный рельеф солнца от предыдущего заведения. Чуть дальше на той же стороне большим зубом торчала гнилая шелуха Центра занятости, где когда-то и Мику, и Альме, и большинству их сверстников приходилось стоять в шаркающей и словно в чем-то виноватой процессии, как на убой, пока их не примет безжалостный девятнадцатилетний пацан с темпом речи, как у гвоздомета. Мик с мрачным удовлетворением отметил, что угрюмый судия рабочих судеб в эти дни сам простаивал без дела, а некогда безучастный взгляд тюремщика, которым встречали его окна, застил дрожащий, потерянный страх, неизбежно приходящий со старостью в упадочном районе. Не нравился им, когда приходит их черед, подумал Мик, минуя слева улицу Святого Андрея и спускаясь дальше по холму против ветра.

Улица Святого Андрея, удаляющаяся позади, когда-то вела к кочке, где стояла церковь Святого Андрея, давно уже снесенная и сама в свое время построенная на месте приората Святого Андрея, который простоял там сотни лет и объяснял засилье призраков-клюнийцев ¹² среди засвидетельствованного призрачного населения района. Когда-то, припомнил Мик, почти во всех пабах на этой квадратной полумиле – сколько их там было, восемьдесят с чем-то? – хоть раз да видели в уголке фантома, распевającego молитвы в поисках отпущения грехов или усердно малюющего светящиеся члены с позолоченными рольверками на стенах нужников. Мик спросил себя, куда же подевались все выходцы с того света где-то в 1970-х, когда смели последние окурки и огрызки района. Смертные обитатели Боро перетекли в жилком-плексы в Кингс-Хит, вроде того, где умерла бабка Мэй, или в генетические выгребные ямы Абингтона, вроде Норманнской дороги, где преставилась его и Альмы бабушка с маминой стороны, Клара, – причем обе бабушки скончались через несколько недель после того, как их выкорчевали из Боро, где они хоронили мужей, где они хоронили детей. Мика всегда поражало, что никто и никогда всерьез не задумывался над тем, как бы комфортно переселить отребье из Боро, вроде него, Альмы и их семьи, – а ведь они, может, и потрепанные, но все же живые. Что уж говорить о местных призраках, которые были весьма и весьма мертвы уже много лет? Неужели привидения из пабов, что сровняли с землей, дрожат и кутаются в свои светящиеся простыни под дверями в магазины нортгемптонского центра, как и прочие обездоленные? Строит ли кто-нибудь приюты для бесплотных, как для бездомных; создают ли им в поддержку системы распространения уличных листов, какой-нибудь «Дохлый номер» ¹³?

Сорок лет назад они с Альмой знали парикмахера с улицы Святого Андрея с необычным именем Билл Баджер, то есть Барсук. Они вечно говорили друг другу, что он один из товарищей Медвежонка Руперта ¹⁴, только вырос и под давлением обстоятельств был вынужден

¹⁰ Модные бренды, которые стали символами прожигателей жизни – Burberry даже стал нарицательным понятием.

¹¹ Имеется в виду исторический район Нортгемптона Сент-Джеймс-энд.

¹² *Клюни* – монашеская конгрегация с центром в монастыре Клюни (в Верхней Бургундии), ответвление бенедиктинцев. Уничтожена в конце XVIII века.

¹³ Отсылка к уличной газете The Big Issue (игра слов: «Большая проблема» и «Большое издание»), которую выпускали в поддержку бездомных – они разносили ее и тем зарабатывали.

¹⁴ Герой британских газетных комикс-стрипов, печатавшихся с 1920 года, и многих экранизаций.

побриться, чтобы сойти за человека, и найти настоящую работу. Его цирюльня походила на настоящую кунсткамеру – тесные стены до потолка заставлены непостижимыми вещами, от которых почему-то было трудно оторвать глаз: какие-нибудь лосьоны Bay Rum и кровоостанавливающие карандаши, лечившие порезы, – такие, считал Мик в детстве, стоит всегда иметь под рукой на всякий случай, если тебе отрубят голову гильотиной. Конечно, уже не было ни цирюльни, ни церкви, их заменили одинаковые спальные кварталы, которыми медленно, но верно закладывали округу с самого 1921 года. В прошлом году на улице Святого Андрея вооруженные полицейские взяли в осаду молодого душевнобольного сомалийца, угрожавшего покончить с собой, а совсем недавно улица вновь угодила в новости благодаря двоюродной сестре любимой жены и опоры Мика, Кэти, доброкачественного побега печально известного в городе гидроголового клана Девлинов, – когда свояченица задушила своего супруга. По ее заявлению, она «вправляла ему мозги».

Гиблое место. Буквально за обедом Мик видел плакат местного издания «Хроникл энд Эхо», где сообщалось об изнасиловании и избиении прошлой ночью очередной проститутки, ее бросили на верную смерть в начале улицы Алого Колодца и спасли только благодаря вмешательству местного жителя, – такие инциденты попадали в газеты каждый месяц, хотя происходили каждую неделю. Ничего хорошего в Боро не случилось с тех самых пор, как, по рассказу начальницы почтамта мисс Стармер, местная женщина, которая жила на Графтонской улице по дороге к Журавлиному Холму, вышла на свой порог, а прохожий незнакомец сунул ей в руки младенца и скрылся, и с тех пор его больше никто не видел. Ребенка усыновили и вырастили, как своего, и он сражался на полях Первой мировой войны. «Какая добросердечная семья, сразу видно, – говаривала мисс Стармер, – но родом-то они были из Боро. Вот какие раньше в Боро жили семьи». И это правда. Даже несмотря на страшное зрелище, в которое теперь превратился район, – грязный плевок на лице города, где на сегодняшний день поразительный альтруистический акт женщины был немыслим, – Мик знал, что это правда. Когда-то здесь жили совсем другие люди, словно другая раса с другими обычаями, другим языком, в которую теперь поверить было не проще, чем в кентавров.

Он свернул с Графтонской улицы налево и попал на Нижнюю Хардингскую улицу, длинную и прямую, как стрела, которая доставит его на выставку Альмы в противоположном конце Боро самым простым маршрутом. Здесь жил приятель его сестры – левый активист Роман Томпсон, очередной кровожадный камикадзе из шестидесятых, под стать самой Альме. «Левеллер Томпсон», как ласково отзывалась о нем Альма, – наверное, очередная ее заумная отсылка, – жил со своим страстным строптивым бойфрендом как раз на Нижней Хардингской улице. Роман был смутьяном с самой забастовки корабельщиков UCS сорок лет назад, как-то раз прорвался через полицейские кордоны, чтобы врезаться одному из лидеров марша Национального фронта на Брик-лейн, а однажды учинил ужасное возмездие над компанией пьяных солдат, которые совершили роковую ошибку, когда решили, что этот сушеный терьер не представляет для них никакой угрозы – с их численным превосходством и армейской подготовкой. Теперь Ром разменял шестой десяток, был старше сестры Мика лет на десять, но по-прежнему твердо смыкал зубы на заднице угнетателей с неугасающей яростью. Сейчас он состоял в воинственной ячейке местной группы активистов из Боро по защите последнего муниципального жилья от продажи и сноса. Альма рассказывала брату, что несколько раз консультировалась со старым другом по поводу новой серии картин, так что он бы вовсе не удивился, если Томпсон и его парень заявятся на выставку, куда держал путь Мик.

На другой стороне узкой дороги парковка автосалона заняла место пустыря, где они с Альмой играли в детстве – с возбужденным видом носились по «Кирпичам», как они прозвали свой импровизированный постапокалиптический парк развлечений, даже не задумываясь, что там, где они лазают, когда-то мужчины и женщины закатывали дебоши, занимались сексом, растили детей. Дальше находились заводские помещения, которые раньше принадле-

жали «Стеклу Кливера» – государственной компании, где их прапрадедушка, тронувшийся Снежок Верналл, во время основания отказался от должности содиректора, отринув жизнь миллионера по причинам, которые никто не мог и вообразить, и вернулся в родовые трущобы в конце Зеленой улицы, где несколько десятков лет спустя и окончил дни в бреду, сидя между двумя параллельными зеркалами в бесконечном коридоре отражений и поедая цветы.

За южной границей фабрики к дороге Андрея сбегал Ручейный переулок – позади Ручейной школы и сохранившегося флигеля смотрителя, мимо фабрики до самого подножия, где высился непонятный и шаткий кирпичный шип с одной-единственной комнатой на вершине, что была чуть шире самой башни, поддерживали ее здоровые деревянные брусья. Эта странное сооружение напомнило Мику о возрожденных годом ранее воспоминаниях и о бессмысленном чердаке в церкви Доддриджа – а такие темы крылатым шепотом парили в голове, заставляя усомниться в собственном здоровье, так что Мик переключил внимание на саму школу на склоне холма, благо ее забор как раз шел справа от него.

Жалкое зрелище, но хотя бы без потусторонних обертонов, навеванных необъяснимой кирпичной каланчой. В конце концов, здесь учились Мик с Альмой, а до них – их мамка Дорин. Они все любили скромное здание из красного кирпича, которое немислимыми усилиями поддерживало теплящийся светоч знания в этом темном неблагодарном краю, и были расстроены до глубины души, когда старинную постройку снесли и заменили полуфабрикатом из сборных модулей. Впрочем, учили там все так же на совесть, сохранив часть качеств из детства Мика. Теперь в начальную школу в Ручейном переулке ходили его дети – Джек и Джозеф – и ни на что не жаловались, но все же Мику не хватало крутых черепичных скатов, круглых окошек, зорко наблюдающих из-под острого конька, гладких металлических шлагбаумов у каменных ворот.

У подножия холма, за школой и ее стадионом, на дороге Андрея тянулась полоса травы, где когда-то стоял дом Мика и Альмы: пугающе узкая лужайка между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, которую и обочиной не назовешь, где, по некоторым оценкам, обитали до ста тридцати человек. А теперь там остались только дерн – из-под него кое-где еще проглядывал кирпичный пенек садовой ограды – и несколько деревьев, обозначающих приблизительное местоположение своих былых домов-хозяев. Мика всегда поражали их размер и толщина, но, если подумать, все-таки они росли там уже больше тридцати лет.

Удивительно, но у южного края неухоженного участка, в одиночестве посреди голой земли, по-прежнему стояли целыми и невредимыми два дома из блока Уорренов, слепленных в один и выходящих на улицу Алого Колодца, – словно вернувшись на восемьсот лет назад, на безликие зеленые пастбища приората. Мик решил, что эти жилища построены позже прочих – возможно, на месте бывшего пустого двора, – и принадлежали какому-нибудь другому владельцу, который воспротивился, когда окружающую собственность продали поперек воли обитателей и затем сравнивали с землей. До Мика доходили слухи, что когда-то аномальный выживший дом был приютом – видимо для людей под социальным попечением, – но он не знал, насколько это верно. Единственная постройка, как прежде занимающая свой угол на травяной окраине, где когда-то родился Мик, всегда казалась ему какой-то потусторонней, но после видения это туманное беспокойство приобрело новое измерение. Теперь это место напоминало ему о бессмысленной небесной двери в церкви Доддриджа и о невероятной кирпичной опухолью, растущей из фабрики в Ручейном переулке; остатки преданного земле прошлого, которые невпопад торчали в настоящем, «дома на полпути» с порталами, ведущими в многозначительное ничто.

Сразу за пересечением с Ручейным переулком Нижняя Хардингская улица поворачивала на Криспинскую. Слева высились два громоздких монолита, архитектурные близнецы-братья Крэй – Бомонт-корт и Клэрмонт-корт, загаженные птицами и поросшие лишайником надгробия, медленно разлагающиеся посреди местности, которую специально расчищали, чтобы их возвести. Тогда еще не расселенных кто куда жителей Боро было легко впечатлить, и они долго

охлали и ахали над тем, что приняли за двенадцатиэтажные пиццы космического века, но не сообразили, чем на самом деле являлись высотки: два благоухающих мочой саркофага, поднятых на попу, призванных подменить соседскую болтовню через заборы и летнюю идиллию на крыльце вертикальными порядками, картонными стенами и растущим напряжением с каждой новой цифрой, загорающейся в ночном лифте комендантского часа, вид с высоты на неизбежность измывательств над землей вокруг, открывавшийся лишь самоубийце.

В момент какого-то просветления два-три года назад город запоздало пожалел о беспардонности убогих пролетарских штабелей и предложил их снести, отчего Мик даже воспрял духом, хоть и ненадолго, при мысли, что им с Альмой, может, еще повезет пережить чудовищные бетонные блоки, которыми их родной район раздолбили на притоны наркоманов, бытовки демонстрационщиков и пыль отчаяния, осевшую на сердцах людей. Его необоснованный оптимизм протянул недолго – какие-то силы в управе взамен остановились на варианте спихнуть двойное бельмо на глазу района частной жилконторе едва ли не по пенни за здание, как слышал Мик. Приятель его сестры, активист Роман Томпсон, делал громкие заявления о кулуарных сделках и о бывших членах управы, которых ныне приютил совет жилищной компании, но Мик давно уже об этом ничего не слышал и пришел к выводу, что протесты сошли на нет. Компания «Бедфорд Хаусинг» провела косметический ремонт в купленных за безделицу зданиях, и теперь они соответственно стояли без дела в ожидании обещанного притока бюджетников – копов, медсестер и прочих, которых завезут в город. Оказывается, если у вас есть несчастное и ропщущее население, недовольное жилищными условиями, то лучше не тратить деньги на улучшение условий, а нанять побольше полицейских на случай эксцессов и заселить этих новых мирмидонцев туда, откуда по счастливому стечению обстоятельств изгнали вонючие и злые стада местных жителей.

Из-за переподчиненного и навиагренного убожества двух вставших на дыбы гигантов, откуда-то из жилья более человеческих пропорций, раскинувшегося у их ног, и от постоянного шума Мэйорхолд позади них Мик расслышал что-то вроде придушенного крика, потом сразу же хлопнули дверью – стук зажевали расстояние и мертвая акустика плоских бетонных фасадов. На облысевший газон вокруг многоэтажных истуканов выбежал, а вернее, вывалился обуянный паникой долговязый человек – на слегка прищуренный взгляд Мика подросток не старше девятнадцати, с каштановыми волосами и бледной кожей, всего на пару лет старше первого сына Мика. Всклоченный парнишка был бос, одет в джинсы – словно поставившие целью соединить пах и лодыжки – и топ от FCUK, слишком свободный и наверняка с чужого плеча, смотревшийся на паникующем молодом человеке как сорочка эдвардианской эпохи. Он задыхался и сипел, в ужасе что-то отрицал, повторяя «н-н-е-т», и на бегу бросал за спину отчаянные взгляды.

Позже Мик не мог объяснить, то ли это лопочущее перекати-поле заметило его и свернуло специально, то ли их траектории пересеклись по воле случая. Бегство юнца от каких бы то ни было кошмаров с хрипом закончилось в паре шагов перед Миком, из-за чего тот встал как вкопанный и смерил взглядом неожиданного и пока что загадочного встречного. Испуганный мальчишка сломался пополам, уперевшись ладонями в колени, уставившись на землю под ногами, и одновременно пытался вдохнуть и всхлипнуть – равно безуспешно. Мик почувствовал себя обязанным что-нибудь сказать.

– Что с тобой, пацан?

С испугом воззрившись на Мика, словно не осознавая, что рядом кто-то есть, пока не раздался голос, паренек скорчил не просто гримасу, а форменную физиогномическую побитую, которая пыталась нацепить все свои платья-выражения разом. Восковая кожа в уголках глаз и губ подергивалась и содрогалась в веренице попыток изобразить эмоции: стыд, удивление, отсутствующий ступор – каждая без всякой уверенности, каждая отбрасывалась через миг, пока трепещущий парнишка неистово рылся в перевернутом вверх дном гардеробе реакций.

Это все наркотики, решил Мик, причем наверняка какие-нибудь синтезированные в прошлый вторник, а не из того репертуара субстанций, с которым он сам был знаком – весьма отдаленно, в основном через посредничество Альмы, приударившей в школьные годы по психонавтике. Но явно не кислота, когда выделяющийся пот испарялся в раскаленное павлинье сияние ауры, и явно не всезнающая ухмылка после волшебных грибов. Что-то совершенно другое. Случайные порывы ветра гладили худосочную траву, бестолково бились о стены башен, теряясь, плутая, затихая в удрученных завихрениях, обращаясь на самих себя. Голос мальчишки, когда он наконец его обрел, оказался пронзительным визгом, который Мик как будто когда-то слышал – точно так же его теперь начала донимать как будто знакомая в прошлом тень бледного лица подростка с щепоткой корицы на крыльях носа.

– Да. Нет. Ох блядь. Ох ебанный. Я в пабе был. Паб все еще наверху. А я был в нем. Он все еще наверху, и они еще наверху. Мой друган все еще наверху. Мы были наверху всю ночь – блядь, паб. Они не отпускали нас. Бля. Мужик, блядь, выручай. Ебучий паб. Ебучий паб, он еще наверху. Я был в пабе наверху.

Все это он выпалил с диким взглядом и напором, не замечая сбивчивости и навязчивых повторов, зримого отсутствия смысла. Мик обнаружил, что не может сделать никаких выводов из ломаного языка тела или протараторенной тирады уже раздражающе знакомого подростка. На противоположной стороне улицы у коттеджей на Верхней Перекрестной улице прошла гномоподобная пожилая женщина в головном платке, сплетя лишенные циркуляции пальцы на ручке пластиковой сумки с продуктами. Она уставилась на Мика и его непрошеного собеседника с негодующим неодобрением, и Мик пожалел, что не существует какого-то подходящего жеста, чтобы просемафорить: я лишь случайная жертва этого бесноватого незнакомца. В голову не шло ничего, кроме как покрутить пальцем у виска и указать на рыжеватого мальчугана, так что он перевел глаза со старушки обратно на невразумительного оппонента и наткнулся на беспомощный взгляд. Мик попытался вызволить суть словесной лавины, вырвавшейся из молодого человека.

– Не пойму, пацан, стой. Закрытый праздник был там, что ли, где ты был всю ночь? И где твой паб такой? Где наверху?

Паренек – все же не старше восемнадцати, решил Мик, – умоляюще уставился из-за стекла бессилия донести мысль. Он махнул тощей рукой в мешковатом, хлопающем на ветру рукаве в направлении Мэйорхолд. Пабов на Мэйорхолд не было вот уже несколько десятков лет.

– Наверху. Он в крыше, паб. Паб в крыше. Паб все еще наверху, в крыше. Они все еще там. Мой дружан еще там. Мы были наверху всю ночь. Они не отпускали нас. Ох бля, я был в пабе наверху, паб в крыше. Ох бля, что это было? Что-то было.

Мик напрягся и почувствовал, как зашевелились волосы на затылке, но с усилием не выдал своих чувств. Не стоит нервничать, когда пытаешься кого-то вразумить, хотя эти слова про крышу его задели. Живо напомнили, как он описывал свои вернувшиеся воспоминания Альме о приключениях в потолке. Очевидно, это просто стечение обстоятельств – невольный оборот, который неожиданно зловеще срезонировал с его детскими переживаниями, – но вкупе с гнетущим ощущением, что он уже где-то встречался с этим юнцом, такие странные слова его встревожили. И, конечно, заодно подарили хотя бы воображаемое чувство товарищества с молодым человеком, так что Мик смог ответить на жалкий лепет с сочувствием.

– А, в крыше? С этим я знаком. Это когда человечки в углах пытаются затащить тебя в потолок?

Малец вдруг опешил, красные глаза раскрылись, а челюсть отвалилась. Панику и замешательство словно рукой сняло – взамен он уставился на Мика с недоверчивым пиететом, словно зачарованный.

– Ну да. В углах. И тянутся к тебе.

Мик кивнул, поискал в куртке новенькую пачку сигарет, которую прикупил полчаса назад на Баррак-роуд. Сорвал кутикулу целлофана, державшую пластиковую обертку пачки, отшелушил верхушку и стянул фольгу, под которой прятались тесные ряды в коричневых киверах, – хрустящая прозрачная упаковка и ненужная серебряная бумага беспечно смялись в ком и отправились в карман штанов. Вытянув одну себе, он приветливо направил пачку с откинутой крышкой благодарному подростку и зажег им обоим сигареты с помощью хмельной Zipro с заикнувшимся огоньком. Как только они выдохнули корчащихся, незамутненных ядозубов из сине-бурого дыма в небо Боро, мальчик немного отошел от шока, позволив Мику продолжить ободряющую речь.

– Ты, главное, не поддавайся, пацан. Я тоже там бывал, так что представляю, на что это похоже. Сперва не можешь поверить, что это произошло, и думаешь, что сходишь с ума, – но на самом деле нет. Ты в порядке, пацан. Просто когда оттуда возвращаешься, мир вокруг не сразу становится реальным и привычным. Не парься. Скоро пройдет. Просто не волнуйся, подумай обо всем хорошенько, и постепенно все встанет на свои места. Может, через месяц или два, но рано или поздно – обязательно. Вот.

Мик вытащил пучок сигарет из пачки, приблизительно полдюжины, и выдал в горсти босоногой жертве психотропов.

– На твоём месте я бы нашел себе тихое местечко, где можно посидеть и оклематься – на улице, где нет ни потолков, ни углов, ничего такого. Вообще слушай, на другом конце улицы Алого Колодца есть длинный лужок с мягкой травкой и тенистыми деревьями. Там все как раз в цвету. Давай, пацан. Пойдет тебе на пользу.

Ошеломленный от благодарности подросток с обожанием уставился на Майкла, как на что-то мифическое и невиданное – Сфинкса или Пегаса.

– Спасибо, приятель. Спасибо. Спасибо. Ты хороший мужик. Так и сделаю, как ты сказал. Так и сделаю. Ты хороший мужик. Спасибо.

Он повернулся и зашагал голыми ступнями по мусору и стеклу разбитых фар на угол улицы Алого Колодца, где та встречалась с Криспинской и Верхней Перекрестной, которой технически становилась в этом месте Криспинская. Мик смотрел, как паренек осторожно выбирает себе путь по жесткому асфальту вдоль рабицы Ручейной школы, словно контуженный фламинго, запихивая пожертвованные сигареты в непривычно расположенный карман низко висящих штанов. Когда пацан стал спускаться по холму к рекомендованному тихому местечку, он остановился у школьных ворот и оглянулся. Мик с удивлением увидел, что по его щекам, похоже, бежали слезы. Подросток бросил исполненный благодарности взгляд на Мика и через силу растянул губы в подобии улыбки. Беспомощно пожал плечами.

– Я был в пабе наверху.

Затем он понуро побрел вдаль и вскоре скрылся из виду. Мик покачал головой. Хрен знает, что все это значит. Продолжая свой путь по Верхней Перекрестной, время от времени крепко затягиваясь сигаретой, он вдруг с удивлением заметил, как необычно благоприятно подействовала на него эта безумная встреча. Не просто из-за сомнительных теплоты и оживления от того, что протянул руку помощи человеку в нужде, но из-за труднообъяснимой уверенности, которую придал ему сумасшедший малец. Подлинный юродивый из Боро – прямо как те, что попадались в детстве, когда сумасшедших отличить было куда проще, и у человека, который идет по пустой улице тебе навстречу и что-то сердито вопит наверняка было параноидное расстройство, а не гарнитура в ухе. Мик только жалел, что не может вспомнить, где же встречал этого паренька.

Его слова о крыше выбили Мика из колеи, но это наверняка просто совпадение – или «синхрония», как пыталась втолковать ему Альма, когда ей было двадцать и она втюрилась

в Артура Кестлера¹⁵, пока не узнала, что он был насильником и домашним тираном с биполярным расстройством, после чего наконец заткнулась. Насколько Мик понял, согласно этой концепции, совпадения – это события, которые чем-то схожи или кажутся связанными, но не соотносятся друг с другом никоим рациональным образом – например, благодаря причинности. Тем не менее люди, придумавшие слово «синхрония», все равно считали, что между этими интригующими происшествиями есть корреляция, которую мы со своей точки зрения не видим или не понимаем, хотя она по-своему явственна и логична. Мик представил себе парчового карпа, взглянувшего со дна пруда и увидевшего человеческие пальцы, протыкающие потолок его вселенной. Рыба думает, что это несколько разных необычно откормленных червяков-наживок, и понятия не имеет, что отдельные прищельцы – часть одной и той же невообразимой сущности. Мик не знал, как это касается его встречи с босоногим мальчишкой или темы совпадений в целом, но в каком-то расплывчатом смысле образ казался уместным. Последний раз затянувшись сигаретой, он метнул тлеющий бычок на землю перед собой – полет окурка напомнил сгорающий в атмосфере космический мусор, – затем потушил потерпевший жесткую посадку уголек под каблуком, не сбавляя шага. Все еще бессвязно размышляя о совпадениях и карпах, он поднял взгляд и с удивлением обнаружил, что оказался на Банной улице.

Он ошибался. Как же он ошибался, когда думал, что его тревожный сон, путешествие в потолок остались в прошлом. Как он ошибался, когда обещал дерганому подростку, что у него все пройдет – потому что не пройдет. Только затихнет до зажатой низкой ноты, гула от педали орга́на за фоном обычного шума жизни, – сколько хочешь забывай и считай, что все прошло, но оно по-прежнему там. По-прежнему.

Он взглянул через улицу на многоквартирники Банной улицы – их передний фасад, а не задний, который видел в темноте год назад с Альмой. Так как с той ночи ему не приходилось возвращаться в Боро, он осознал, что, должно быть, впервые столкнулся с темной стороной своего видения с тех пор, как ослепился, потерял сознание и пережил его заново столько месяцев назад. Удар в подвздошье, от которого перехватило дух и подурнело, оказался куда хуже, чем он ожидал. На свинцовых ногах, словно поднимаясь на эшафот, Майкл Уоррен перешел дорогу.

Конечно, необязательно было срезать путь через многоквартирники по широкой центральной дорожке с газонами по бокам, кончающейся широкой, обложенной кирпичом лестницей, что привела бы Мика напрямик на порог выставки сестры. Он мог и свернуть направо, спуститься до Малой Перекрестной улицы, где коснулся бы только южной стены корпуса вдоль Замковой улицы и избежал бы всей этой ерунды, но тем самым он бы лишь подтвердил точку зрения Альмы, что она всегда была мужественнее его, – а этого он стерпеть не мог. Кроме того, все равно это чушь, и Мик даже не знал наверняка, правда ли то, что он увидел, относилось ко времени, когда он подавился в детстве, или ему только приснилось, что приснилось, что приснилось, – судорожный прилив образов, накативший только тогда, когда он распластался на асфальте мастерской с огненными пятнами перед глазами. Даже младший сын Мика, Джо-зеф, давно не позволял кошмарам определять явь и запомнил, что две этих реальности не сходятся, что ночные визитеры не могут достать тебя посреди бела дня, когда глаза открыты, – а Джо только-только исполнилось двенадцать. Напустив на себя беззаботность, Мик пружинисто вошел в проем в низком заборе и на просторную тропинку, ведущую к ступенькам в каких-то шестидесяти футах, каких-то двадцати шагах. Да и что он себе выдумывает? Твою мать, это же всего лишь два дома с квартирами, причем во многом куда приятней глазу, чем некоторые из виденных по пути сюда.

¹⁵ *Артур Кёстлер* (1905–1983) – британский писатель и журналист, автор книги «Корни совпадений», где исследовал понятие Юнга «синхроничность».

Не успел он сделать и пары шагов, как скривился от ужасной вони из-за горящего мусора и завертел головой, оглядывая окружающие терракотовые дымоходы, но ее источника так и не нашел. Альма однажды сказала ему, что беспричинный запах гари – один из симптомов шизофрении, добавив: «Но, в конце концов, шизики и так наверняка сами поджигают все вокруг, так что это каверзный критерий». Как ни странно, он обнаружил, что предпочел бы шизофрению и вытекающие из нее обонятельные галлюцинации, чем худшую альтернативу, пришедшую на ум. Вспомнилось, как на их встрече в прошлом году Альма заметила, что главной причиной беспокойства для него служит не то, что он свихнулся, а скорее тревожная вероятность, что нет. Зажав ноздри из-за вездесущего смрада, Мик направился к лестнице – когда он к ней приблизился, выяснилось, что за прошедшие несколько лет ее заменили более дружелюбным к инвалидам пандусом.

Сгусток черноты на гравийной дорожке впереди рассыпался на мельтешащие угольные пятна, словно предвестник мигрени, ненадолго обнажив спиральную охряную какашку с отпечатком ноги, зияющим на ее хребте и подножии, прежде чем туча мясных мух перегруппировалась и успокоилась. Зря он сюда пошел. Пышные лужайки по краям утыкались в длинные стены, которые шли параллельно центральной тропинке и окаймляющим ее полоскам травы. Стены, сложенные из того же темно-красного рябого кирпича, что и весь комплекс, разбавляли полумесяцы окон в стиле лже-баухауса, которые открывали частичный вид на широкие пустые просторы ровного бетона – дворы многоквартирников, хмурые без единой живой души, даже без птиц. Когда Мик впервые узнал про Чистилище, перед его глазами встали именно эти два двора – отвратительный край, где мертвые проводят в заточении целую вечность, сидя на гранитных ступеньках под однообразным белым небом. Полукруги в стенах недавно украсили веерами железных спиц, отчего те стали похожи на мультяшные глаза, где черные прутья образовывали лучи на радужках негативного пространства. Попарно они напоминали верхние половины ликов с острова Пасхи, вкопанных по уши в землю, но все еще живых, с умоляющими, задыхающимися взглядами. Молодые деревца на обочинах – снова современное нововведение – отбрасывали на застывшие маски глянцево-черные тени, жидкие и паучьи, словно чернильные капли, раздутые соломинкой карапуза, чтобы расплзтись кляксами потекшей туши.

Несмотря на скорость, с которой его захлестнула волна удушающей депрессии, Мик не заметил ее появления и тут же поверил: то, что за клубилось токсичным паром в разуме, всегда и было его мировоззрением, а обычный оптимизм – не более чем подделка, тончайший платок, который он накидывал на неотвратимую истину. Смысла нет. Смысла нет и не было, ни в страданиях, ни в стенаниях, ни в стараниях, ни в существовании. Мик всегда знал, что стоит подвести сердцу или умереть мозгу, как мы просто перестаем думать. Всем это известно в самой темной пучине души, что бы они ни говорили. Мы перестаем быть теми, кем были, просто отключаемся и никуда после этого не деваемся – ни в рай, ни в ад, ни реинкарнируемся в виде нового, хорошего человека. После смерти нас ждет ничего – ничего, кроме ничего, и для всех и каждого с последним вздохом вселенная исчезнет без следа, будто ее никогда и не было. На самом деле он никогда не ощущал рядом тепло и присутствие родителей – только время от времени тешил себя иллюзиями. Том и Дорин умерли – папка от сердечного приступа, мамка от рака кишечника, и ей было очень больно. И больше он никогда их не увидит.

К этому моменту Мик достиг подошвы пандуса, и амбре крематория витало уже повсюду. Он пытался оказать хотя бы жалкое сопротивление рухнувшему на него неопровержимому осознанию, пытался призвать на помощь всяческие аргументы, которые у него как будто когда-то были против этой черной безнадеги. Любовь. Любовь к Кэти и детям. Вот его верная защитная мантра, Мик был в этом уверен, – да только любовь лишь обостряла мучения, из-за нее ты терял намного больше. Один партнер умирает первым, а второй проводит остаток лет в одиночестве и скорби. Любишь детей, смотришь, как они растут и расцветают чудесным образом,

а потом покидаешь их и больше никогда не видишь вновь. И все так быстро – всего лет за семьдесят, причем ему уже пятьдесят. Осталось всего двадцать – и это если повезет, – меньше половины того, что уже утекло безвозвратно, и Мик с уверенностью почувствовал, что последние десятилетия пролетят мимо в мгновение угрюмо насупившегося ока.

Все уходит. Все исчезает. Люди, места превращаются лишь в болезненные тени былых себя, а потом их усыпляют, как усыпляют и сами Боро. Все равно это всегда был бестолковый район – взять хотя бы название. Боро. Место одно, а название во множественном числе – много. Что еще за чепуха? Никто даже не знал, откуда название взялось: кто-то предполагал, что правильно писать не *Boroughs*, а *Burrows* – не «Боро», а «норы», – из-за того, что с высоты улицы похожи на лабиринт, а их обитатели размножались как кролики. Ну бред же сивой кобылы. У людей вроде его бабушек с дедушками было по шесть или семь детей только для того, чтобы хоть кто-то дожил до совершеннолетия. Всегда плохой знак, когда обеспеченные люди проводят сравнения между неказистым населением гетто и каким-нибудь животным – а особенно тем видом, который нам нехотя приходится периодически травить. Вот почему бы им не держать свои никчемные догадки при себе?

Мик осознал, что уже не думает о смерти, в тот же самый миг, когда добрался до вершины пандуса и ступил на Замковую улицу. Он остановился, как громом пораженный внезапной переменой со скоростью «вкл/выкл», и оглянулся на Банную улицу за залитой солнцем тропинкой между двумя половинами многоквартирника, по которой только что прошел. Лужайки казались зелеными и дружелюбными, саженцы шелестели и шептали на убаюкивающим ветерке. Мик оторопело воззрился на них.

Твою налево.

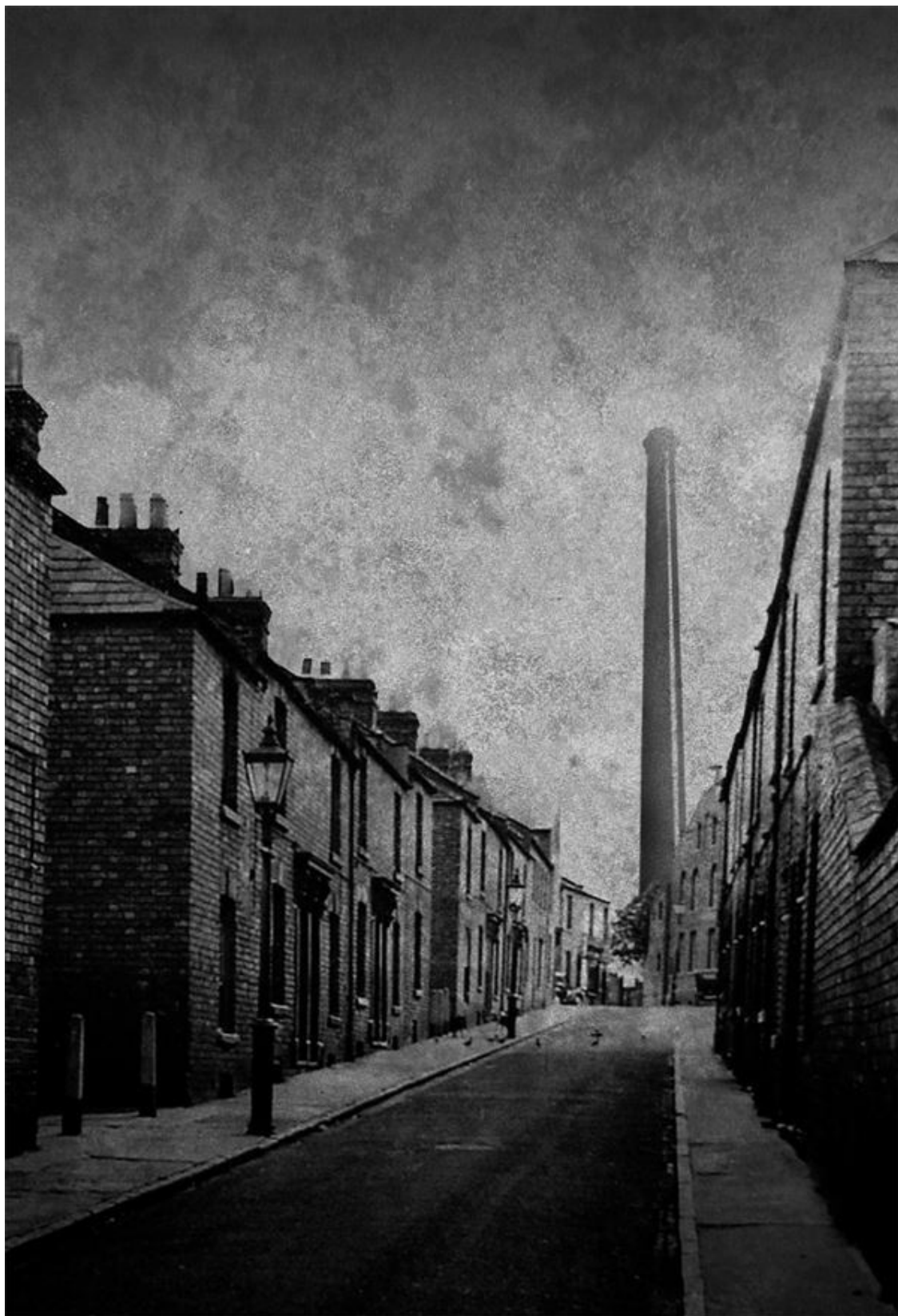
Театрально поморгав, словно чтобы прогнать сон, Мик отвернулся от многоквартирника и направился по Замковой улице к основанию Замкового Холма – прямоугольному кургану, сильно стесанному со времен молодости Мика, где когда-то мужчина и женщина пытались затащить его семилетнюю сестру в черную машину, отпустив, только когда она закричала. Он надеялся, что картины оправдают надежды, которые Альма на них возлагала, ведь то, что с ним сейчас произошло, – только демонстрация силы, грозившей пожрать все, что им было дорого, а кроме сестры и ее сомнительной контрстратегии, Мик не видел никого, кто знал, что делать, или хотя бы понимал, что надо как-то с этим бороться.

Выходя из-за Замкового Холма на улицу Фитцрой, он увидел, что маленькая выставка уже в самом разгаре. Сестра в просторном бирюзовом свитере из ангорской шерсти прислонилась к деревянному косяку открытой двери яслей, с нетерпением выглядывая, появится он или нет, и когда наконец его увидела, просияла и замахала руками, словно пастельная кукла из детской телепередачи. С Альмой стояла седая карикатура на человека, в которой Мик признал Романа Томпсона, а подле него праздношатался тридцатилетний парень вальяжно-развратного вида с кошачьими повадками, в кремовом жилете и с открытой пивной банкой – очевидно, бойфренд Романа, Дин. На ступенях у ног Альмы восседал Бенедикт Перрит, странствующий поэт с хмельной ухмылкой и трагическим взглядом, когда-то учившийся с ней в одном классе на два года старше Мика. Были там и другие знакомые лица. Он решил, что черный мужчина приятной наружности с седеющими волосами – наверняка старый друг Альмы Дэйв Дэниэлс, с которым она разделяла многолетнее увлечение научной фантастикой, а также заметил бывшего подельника сестры из 1960-х, загорелого и поджарого Берта Рейгана, стоящего вместе с пожилой, но крепкой на вид женщиной – ее Мик принял за мать Берта или, возможно, тетю. Были там еще две женщины примерно тех же лет, болтались на краю компании, хотя они казались сущими старыми горгульями – скорее всего, подруги старушки, которую привел Берт Рейган. Подходя к входу, Мик поднял руку и улыбнулся, отвечая на приветствие Альмы. «Ох, сестричка, – подумал он. – Ох, Уорри. Ты уж постарайся.»

Книга первая Боро

Он (Людвиг Витгенштейн) однажды встретил меня вопросом: «Почему люди говорят, что естественно предположить, будто Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вращается вокруг своей оси?» Я отвечала: «Наверное, потому, что зрительно кажется, будто Солнце вращается вокруг Земли». «Ну, – спросил он, – а как должно зрительно казаться, что Земля вращается вокруг своей оси?»

Элизабет Энском. Введение к «Трактату» Витгенштейна



Сонм англов

Было утро 7 октября 1865 года. Из узкого чердачного оконца дождь и сопровождающий его свет казались грязными, когда Эрн Верналл в последний раз проснулся в здоровом уме.

Внизу завывал младший ребенок, и было слышно, что уже встала и кричала на двухлетнего Джона жена Верналла, Энн. Простыни и подушка, перешедшие по наследству от покойных родителей Энн, превратились в вонючий узел там, где запуталась в дырке нога Эрнеста. От постели несло потом, скупостью, газами, им самим и его жизнью в лачугах Ламбета, и зловоение поднималось обреченной и мрачной мелодией, пока он вычищал слизь из разлепившихся глаз и вылезал из кровати, готовый понести бремя мира.

Поморщившись от укола под левой грудью – он надеялся, всего лишь от изжоги, – Эрн, избавив ногу от рваных простынь, сел, уперся босыми ступнями в домотканый половик у койки. Лишь миг Эрн упивался мягкими комками вязальной шерсти между пальцев, затем поднялся под протестующий стон кроватной рамы. Осоловело обернулся к беспорядку из угольно-черного армейского одеяла и соскользнувшего на пол стеганого покрывала, под которым храпел только что, затем встал на колени на лоскутную прикроватную подстилку, словно для творения молитвы, как когда-то в семилетнем возрасте четверть века назад.

Он запустил обе руки во тьму под кроватью и осторожно вытянул по голым половицам плещущий ночной горшок, установив перед собой, словно шляпу попрошайки. Нашупал своего старичка в колючей прорези серых фланелевых кальсон, слепо уставившись на озерцо цвета сиены и кровавого апельсина, что уже томилось в потрескавшейся фарфоровой вазе, и задумался, не снилось ли ему чего-нибудь. Выпустив прямую и твердую, как стрела, струю мочи в наполовину полную емкость, припомнил, будто был во сне актером, скрывался за кулисами какой-то то ли мелодрамы, то ли сказки о привидениях. Драма, прояснялось понемногу, была о проклятой часовне, и он играл плута, которому пришлось прятаться за таким портретом с вырезанными глазами, – они часто встречаются в подобном жанре. Только Эрн не подглядывал, а говорил из-за полотна напускным устрашающим тоном, дабы напугать человека по ту сторону, столкнувшегося с волшебной картиной. Малый, над которым он подшучивал, казался столь потрясенным, что Эрн даже хихикнул во время мочеиспускания, все еще коленопреклоненный у кровати.

Чем больше он вдумывался, тем сильнее сомневался, что снилось ему театральное выступление, а не подлинный розыгрыш обычного человека. По-прежнему казалось, что он таился за декорациями пантомимы и произносил реплики, как актер, но не похоже было, чтобы жертва хохмы тоже служила в какой-нибудь труппе. Беловолосый пенсионер, хотя и с молодым лицом, стоял перед зачарованной мазней с таким неподдельно несчастным видом, что Эрн пожалел бедолагу и прошептал в сторону, что сочувствует, что знает – тому придется очень тяжело. Затем Эрн вернулся к словам спектакля – их он, по всей видимости, тогда знал назубок: леденящие кровь речи, которые Верналл сам толком не понимал и сейчас не мог вызвать в памяти, не считая отрывка как будто бы о молнии и другого момента – про числа и каменщиков. Тут он либо проснулся, либо теперь концовка уж выветрилась из головы. Сны Эрн ни во что не ставил, в отличие от некоторых – например, его отца Джона, – просто нередко они оказывались увлекательными развлечениями, притом дармовыми, а такие поди сыщи.

Страхнув с конца последние капли, он с удивлением взглянул на выющиеся над крынкой клубы пара, задним умом замечая, как зябко в октябрьской мансарде.

Задвинув согретый сосуд под кроватные доски, он поднялся на ноги и со скрипом двинулся по чердаку к семейному умывальнику у стены напротив окна. Согнувшись, чтобы приспособиться к резкому уклону скатов по краям крыши, Эрн налил холодной воды из маминского кувшина с нарисованной молочницей в эмалевый таз с ржавыми кромками, плеснул пригоршню себе на лицо, зафыркав, как конь, от ее злого укуса. От умывания бачки из сухой рыжей щетины стали свежеполитыми кудрями-завитками, капелью под торчащими ушами. Он вытер лицо насухо льняным полотенцем, затем всмотрелся в слабое отражение, выглядывавшее из мелкой лужицы на дне таза. Угловатый, сухощавый, с выбившимися перечными пря-

дями на челе, на котором он видел в приблизительных эскизах будущие печальные морщины и борозды – так он будет выглядеть однажды, тощим котярой после бури.

Эрн оделся – от холода поношенное платье не на шутку промозгло, – а затем слез с чердака в нижние пределы материнского дома, сползая задом наперед по узким ступенькам – таким крутым, что для спуска или подъема неизбежно приходилось хвататься руками, как на приставной лестнице или скалистом утесе. Он попытался прокрасться по площадке мимо двери в мамину комнату и спуститься, прежде чем она заслышит, но тут удача его покинула. Словно трусящего, трясущегося за занавеской жильца во время визита хозяина, его удачи никогда не было на месте.

– Эрнест?

Голос мамы, словно проржавевший грандиозный механизм, обратил Эрна в истукана с рукой, застывшей на шарике балясины. Он обернулся и увидел мать в открытой двери, ведущей в ее спальню, где стояли запахи дерьма и розовой воды, что казались еще противнее, чем запах дерьма сам по себе. Все еще в сорочке, с заколотыми редееющими волосами, мама сгорбилась у тумбочки, опустошая собственный горшок в цинковое ведро, с которым потом обойдет комнаты малышей и его с Энни, опустошит и их горшки и отправит весь улов в выгребную яму в конце двора. Эрнест Джон Верналл был тридцатидвухлетним жилистым мужиком со вспылчивым норовом, с которым не захочется ввязаться в драку, женатый и с детьми, с работой, где его молча уважали, но под презрительным, разочарованным взглядом матери он шаркал башмаками по лакированному плинтусу, словно нашкодивший мальчишка.

– Ты седни работаешь? А то ежели нет, мне надобно в ломбард. Малышка сама себя не покормит, а Энн твоя есть доска доской. Не может их кормить, ни Турсу, ни твоего Джона.

Эрн кивнул и опустил взгляд на протертый ковер цвета липучки для мух, накрывающий лестничную клетку от ступенек до входа на чердак.

– Работаю всю неделю в Святом Павле, но заплотят тока в пятницу. Коли чего заложила, я потом выкуплю честь по чести, с жалованья.

Она отвернулась и пренебрежительно покачала головой, затем продолжила шумно наполнять ведро зловонной золотой жидкостью. Поджав хвост и ссутулившись, Эрн затрусил по лестнице в облезающую умбру коридора, затем налево в спертую тесноту гостиной, где Энни разожгла огонь в печи. Присев у детского стульчика и пытаясь накормить девочку согретым коровьим молоком в приспособленной для этого дела бутылке из-под имбирного эля, Энни едва ли подняла голову, когда за ее спиной в комнату вошел муж. Только их мальчишка Джон оторвался от очага, где без толку ковырялся в овсянке, взглянув на отца и даже не улыбнувшись.

– На кухне тебе на завтрак жареный хлеб, но и не знаю, что будет, как вернешься. Ну давай же, капельку молока за мамочку.

Последние слова Энн обратила к их дочери, Турсе, которая, все еще раскрасневшаяся и заплаканная, решительно отворачивалась от растрескавшейся резиновой соски, что жена Эрна пыталась пристроить в округленный от криков ротик малышки. Было немногим позже семи, отчего мрачную каморку еще окутывали тени – где начищенная бронза камина обращала волосы маленького Джона в расплавленный металл, поблескивала на заплаканной щеке младенца и окрашивала худощавое лицо его жены светом, как подливой.

Эрн спустился по двум ступеням в узкую кухоньку, где теснились призраками в рассветном сумраке неровные беленые стены, а в голубоватом воздухе – туманном, словно бы мыльном, – все еще висело воспоминание о луке и кипяченых платках. Шумела дровяная плита, с двумя горбушками на спине. В черной, как упавший из звезд метеор, сковороде шипел прозрачный жир, плюясь на пальцы Эрни, осторожно подцепившего куски хлеба вилкой. В соседней комнате малышка, нарыдавшись вдоволь, взамен принялась укоряюще икать с сердитыми паузами. Отыскав блюдо с кракелюрами, которое лишилось парной чашечки и было повы-

шено до должности полноценной тарелки, он взгромоздился на стул подле расцарапанного ножами стола и позавтракал, жуя правой половиной рта, чтобы пощадить больные зубы слева. Когда он вгрызался в хлеб, из ноздреватых пор хрупкой корочки вырывался вкус подпаленного сала, горячо и смачно прокатываясь по языку и пробуждая фантомные оттенки блюд прошлой недели: капустный привкус бабл-энд-сквик, легкую сладость свиной щечки, хрустящую эпифанию памятной свиной сосиски со вторника. На последней крошке Эрн с удовольствием отметил, что его слюна загустела, как солоноватый студень, в котором воскрешенная суть каждого блюда праздновала свое кулинарное посмертие.

Возвращаясь через уже затихшую гостиную, он попрощался со всеми и предупредил Энн, что будет к восьми. Знал, что некоторые перед работой целуют жен на прощание, но вместе с подавляющим большинством почитал это за телячьи нежности, как и его Энн. Брезгливо соскребая последние ложки каши из плошки, двухлетний Джон, их маленький рыжик, привычно наблюдал за тем, как Эрн вынырнул из озаренной огнем комнаты в темный коридор, где, как обычно, снимет шляпу и куртку с деревянных крючков и отбудет по делам в центр города, о котором Джон только смутно слышал, но пока не видывал лично. Послышался голос Эрни, криком прощавшегося со своей мамой, все еще занятой обходом ночных горшков, затем повисла выжидательная пауза, так и незаполненная ответом матери. Вскоре после этого Энн и дети услышали, как затворилась передняя дверь – упрямый скрип, с которым ее втискивали в перекосившийся косяк, – и то был последний раз, когда семья могла с чистой душой сказать, что видела Рыжего Верналла.

Эрн отправился по Ламбету на север; небо, похожее на мрачный лесной полог, колыхалось на миллионе деготно-черных столбов дыма, растущих из каждого дымохода, а разбавлялась эта прокопченная чернота только с восточного края, над кабаками Уолворта. Выйдя из материнского дома на Ист-стрит, Верналл свернул направо в конце террасы на Ламбет-уок, затем на Ламбетскую дорогу и отправился к площади Святого Георгия. Слева миновал Геркулес-роуд, где вроде бы когда-то проживал поэт Блейк: судя по всему, тип забавный, хотя, разумеется, Эрн ни разу не читал ни его сочинений, ни кого-либо другого, до сих пор не понимая, что же такого интересного все находят в книгах. Рокотал дождь в выгнутых стоках у необычно притихшего Бедлама, где всего год назад обитал сказочный художник Дадд и куда, как опасалась семья Верналлов, пришлось бы сослать отца Эрна, хотя старик Джон умер, прежде чем до этого дошло дело. Случилось это где-то лет десять назад, когда Эрн еще не познакомился с Энн и только-только вернулся из Крыма. Папа постепенно перестал разговаривать с людьми, заявляя, что их разговоры слышат «те, что на крышах». Эрн раз любопытствовал, не о голубях ли ведет речь папа или же он все еще ищет русских шпионов, на что Джон только фыркнул и поинтересовался в ответ, для чего еще нужны слуховые окна, ежели не слушать, и для чего еще нужны подзоры, ежели не подглядывать, после чего отказывался отвечать на любые расспросы.

Эрн прошел мимо залитой дождем лечебницы на противоположной стороне улицы и рассеянно задумался, не породил ли Бедлам какого-то древнего духа, который расселся, вращая глазами, над Ламбетом и заражает окрестную атмосферу своими испарениями помешательства, сводящими с ума людей, как сошли с ума папа Эрнеста или мистер Блейк, – впрочем, сам он полагал, что это глупость, а для того, чтобы довести человека, довольно и обычной жизни. На дороге Святого Георгия по направлению к Элефант и Касл уже кишели несметные числа омнибусов, тачек, углевозов и торговцев печеной картошкой, волочивших печки, напоминавшие раскаленные толстопузые комоды на колесиках, – море людей в черных шляпах и куртках, таких же, как сам Эрн, шагавших по делам под безжалостными небесами, опутив очи долу. Задрав воротник, он влился в топочущее столпотворение живой растопки для дурдома и направился к площади Святого Георгия, откуда ему предстояла долгая прогулка по Блэкфрай-арс-роуд. Он слышал, что нынче из Паддингтона под землей пустили поезда, и представил, насколько быстрее докатил бы на такой штуковине до собора Святого Павла – вот только денег

у него не было, а кроме того, от самой мысли по коже бегали мурашки. Залезать под землю – как вообще можно привыкнуть к этакой чертовщине? Сам Эрн слыл верхолазом, готовым, не поведя и бровью, работать на любой вышине, но спускаться под землю – совсем другое дело. Под землю отправляются только мертвецы, да к тому же случись что, например пожар, что тогда? Эрнест выкинул из головы такие мысли и решил оставаться тем, кто он есть, – прирожденным пешеходом.

Народ и транспорт бултыхались на слиянии полудюжины улиц, как пена у стока. Пройдя круглую площадь по часовой стрелке, увернувшись от грохочущих колес и распаренных лошадей при пересечении Ватерлоо-роуд, Эрн далеко обошел газетчика и сбившуюся рядом с ним перешептывавшуюся толкучку зевак. По обрывкам разговоров, подхваченных у окраины окутанной трубочным дымом толпы, он понял, что речь о вчерашних новостях из Америки, где дали свободу черным и застрелили премьер-министра, прямо как беднягу Спенсера Персиваля в те времена, когда папа Эрна и сам был мальчишкой. Насколько помнилось Эрну, Персиваль был родом из Нортгемптона, захолустного городишки сапожников, расположенного в шестидесяти милях к северу от Лондона, где до сих пор проживали родные Эрна со стороны отца – двоюродные, троюродные и прочая седьмая вода на киселе. Прошлым июнем проездом в Кент, на сбор хмеля, в Лондоне останавливался его кузен Роберт Верналл, и он рассказывал Эрнесту, что сапожники Мидлендса – а в их числе и он – остались без хлеба, когда серые из Америки, для которых Нортгемптон тачал армейские сапоги, проиграли свою Гражданскую войну. Эрнест понимал, почему Бобу обидно, но, как он уразумел, как раз серые и держали рабов, негров, а Эрн подобного не одобрял. Неправильно это. Они такие же бедняки, как любые другие. Он перешел пустынный клинышек на углу улицы, где не уместались дома, затем свернул налево и начал подъем на север по Блэкфрайарс-роуд, пересекая дымящиеся ряды Саутуарка на пути к реке и мосту.

Через три четверти часа на приличной скорости Эрн выбрался к Ладгейт-стрит на другом берегу Темзы, выйдя на дорогу к западному фасаду собора. За это время его посетило немало дум: о свободных рабах в Америке, многих из которых хозяева клеймили, будто скот, о черных и бедных в общем. Социалист Маркс и его Первый Интернационал уже просуществовали больше года, но насколько видел Эрн, лучше рабочим не стало. Быть может, теперь будет полегче, раз умирает Палмерстон, ведь именно лорд Палмерстон противился реформам, но, если честно, сильно Эрн не обнадеживался. Потом какое-то время он тешил себя воспоминаниями о том, как Энн далась ему на кухонном столе, пока не было мамы: уселась на краю, задрав панталоны и обхватив его ногами, – от этих мыслей у него аж натянулись брюки и фланелевые подштанники, пока он торопился под проливным дождем по мосту Блэкфрайарс. Думал он и о Крыме, и как ему повезло вернуться домой без единой царапины, а потом о матери Сикол¹⁶, о которой столько слышал на войне, и снова вернулся мыслями к черным.

Больше всего Эрна заботили дети, которые родились рабами на плантации, а не были завезены во взрослом возрасте, и которых теперь отпустили, – несмышленные ребята десяти и двенадцати лет, не знавшие другой жизни и куда им податься дальше. Интересно, задумался Эрн, клеймят ли детей? И в каком возрасте? Пожалев, что углубился в такие мысли, и выбросив из головы незваную жуткую картину юных Джона или Турсы под каленым железом, он поднялся по Ладгейт-стрит, за пологом пригорком которой раздувался великолепный псалом в камне – собор Святого Павла.

Сколько раз Эрн его видел, столько поражался, как же такое совершенное благолепие могло родиться в скопище грязных дворов, трактиров и узких проходов, среди проституток и порнографов. Над посеребренной лужицами мостовой, словно руки в осанне, возносились

¹⁶ *Мэри Джейн Сикол* (1805–1881) – ямайская медсестра, добровольно отправившаяся в Крым во время войны на свои деньги. Автор одной из самых ранних автобиографий женщины смешанного происхождения.

две башни к забродившим небесам – которые только помрачнели с тех пор, как Эрн вышел на работу, несмотря на то, что наступал день. Двумя пролетами – напоминая два бивня, торчащих из-под полы подризника, – широкие ступени собора с танцующими на них каплями дождя поднимались к краю, где ниспадали колыхающимися складками, чумазыми из-за чада городского кострища, шесть пар белых дорических колонн, державших портик. Шпили больше пятидесяти метров в высоту по обе стороны широкого фасада как будто собрали на карнизах под капающими каменными козырьками всех лондонских голубей, оберегая их от непогоды.

Среди птиц ютились, словно сами слетели с неприветливых небес на жердочки собора, каменные апостолы, а святой Павел взмогнулся на высокий конек портика и подобрал свою резную рясу, дабы не запачкать в грязи и сырости. На правом конце самой южной башни стоял апостол – Эрн не знал его имени, – закинувший голову и как будто сосредоточенно наблюдающий за башенными часами в ожидании окончания своего дозора, чтобы слететь через морось домой на Чипсайд, в сторону Олдгейта и Ист-Энда. Взбираясь по мокрым и скользким ступеням, пока по полям шляпы с новой силой забарабанил дождь, Эрнест не мог не усмехнуться кошунственной мысли, будто статуи время от времени производят жидкий мраморный помет – святые испражнения, за уборку которых платят бурчащим приходским работникам. Бросив последний взор на кипящие облака с мятыми боками над головой, прежде чем проскользнуть между левыми колоннами к северному приделу, он прикинул, что дождь и не подумает униматься и что сегодня времяпровождение в четырех стенах вне всяких сомнений пойдет только на пользу. Потопав башмаками и встряхнув промокшую куртку, Верналл переступил порог собора и тут расслышал первый приглушенный раскат грома, доносящегося с горизонта, что только подтвердило подозрения.

В сравнении с хлещущим снаружи октябрьским ливнем в соборе было тепло, и Эрн даже укололо чувство вины при мысли об Энн и детях, оставшихся дрожать у бессильного огонька дома на Ист-стрит. Эрнест направился к стройке и активной деятельности в дальнем конце северного придела под подозрительными взглядами хмурых священнослужителей и только в последнюю минуту сообразил сдернуть вымокшую шляпу, чтобы почтительно понести ее в обеих руках перед собой. С каждым звенящим шагом чувствуя, какие шири и скрытые пространства ошеломительного сооружения разворачивались над ним и со всех сторон, он свернул от полукруглых ниш северного придела слева и вышел между высокими несущими колоннами в неф.

Меж давящими опорами собора, в центральном трансепте под куполом мельтешили такие же работники, как и Эрн, в протертых куртках и штанах тусклой осенней палитры пыльно-серых и бурых цветов, убогие на фоне богатого убранства, величественности монументов и статуй. Некоторых ребят Эрн знал издавна – так ему и досталась эта завидная работа по чистке и реставрации, когда они замолвили за него словечко. Одни скоблили мягкими тряпками покрытые обильной резьбой хоры в конце капеллы, украшенные виноградными лозами и розами, а другие – у антревильтов между сводами, под огороженным перилами ободом Шепчущей галереи – намывали и приводили в достойный вид мозаичных пророков и четырех авторов Евангелия. Но основная деятельность, как казалось Эрну, была сосредоточена вокруг механизма, свисающего в тридцатиметровом пространстве под зияющим куполом. Кажется, ничего изобретательней Эрн в жизни не видел.

С вершины купола, со дна маковки – по предположению Эрна, самой крепкой точки грандиозного здания, у ней самой масса исчислялась десятками тысяч тонн, – отвесно свисало веретено не меньше двадцати этажей в высоту: с одной его стороны было такое же высокое сооружение из шестов и досок, а с другой – наверное, самый большой мешок с песком в Лондоне, болтавшийся на гигантской поперечной балке для противовеса. Мешок находился на канате слева от Эрна, а справа им поддерживались на веревках тяжелые леса в форме высоченной дольки пирога, острым концом направленной к центру, где она накрепко соединялась с верти-

кальной центральной осью. Впечатляющая этажерка представляла собой приблизительно четверть окружности, которую можно было поднимать и опускать лебедками по ее углам, чтобы добраться до нужной поверхности на любом уровне зала. Почти ровно над декоративным солнечным компасом в середине трансепта висела мачта центрального стержня, а на ее нижнем конце находилось нечто наподобие лежавшего на боку маленького мельничного колеса, при помощи которого вручную вращалось все скрипучее сооружение, чтобы занять любую четверть средокрестия. Если все пойдет, как задумано, остаток рабочего дня Эрн проведет на подъемной платформе в гуще этих балок и распорок.

Из окон Шепчущей галереи на пол собора внизу падал толстый жемчужный цилиндр дневного света, окрашенного ухудшающейся грозой, в его зыбком столбе взвесью кружилась поднятая бурной деятельностью пыль. Мягкое сочащееся сверху освещение красило теплом карандашей Конте работников, усердно погруженных в свои разнообразные обязанности. Эрн замер, почти завороченный, упиваясь живописным эффектом, когда справа от него с лестницы на трифорий в южном приделе широкими шагами вышел знакомый толстяк и окликнул Эрна по имени.

– Эгей, Рыжий. Рыжий Верналл. Сюда, бестолочь.

То был Билли Маббут, которого Эрн знал по множеству пабов в Кеннингтоне и Ламбете и который по-приятельски предоставил ему эту возможность подзаработать на хлеб с маслом. Эрну было радостно видеть румяного, будто бы пропеченного Билла Маббута с приспущенным занавесом редких песочных волос, убранных за уши, лысой вишневой макушкой, с натянутыми подтяжками на рубашке с пуговицами до воротника, с лихо закатанными рукавами, обнажающими мясистые предплечья. Энергично работая ими, словно поршнями локомотива, он покатился к Эрну, петляя между другими работниками, снующими по разным поручениям в шуршащей, гулкой акустике. Улыбаясь от радости – она всегда охватывала его при встрече с Билли, – смешанной с облегчением, что жизненно необходимая подработка не оказалась пшиком, Эрнест двинулся в сторону старого знакомого и издали приветствовал его. Эрн всегда удивлял высокий перелив голоса Билла – и это от рожи, напоминающей вареный бекон, изборуженной морщинами после шестидесяти лет жизни и двух кампаний – в Бирме и Крыму, где они как раз и повстречались. Квартирмейстер Билл, будучи старшим товарищем, держал при себе Эрни таким рыжеволосым оберегом – тот как будто отводил любые напасти, включая пули и снаряды.

– Чтoб меня, Рыжий, да ты улада глаз. Я как раз был наверху, в Шепчущей галерее, глядел на работу, да тут влез в спор, божился на чем свет стоит, что ты к нам и носу не покажешь, а ты пришел и выставил меня дураком.

– Здравствуй, Билл. Значится, я не сильно запоздал?

Маббут покачал головой и махнул рукой между могучими опорами в сторону бригады, та с трудом вращала огромное устройство в сердце собора, державшееся на куполе.

– Нет, ты как нельзя кстати, мало-й. Нам покамест задали шороху подвижные подмости. Как они тока не капризничали. Так что припрись ты спозаранку, пришлось бы бить баклуши. Теперича, по всему видать, как раз закончили, так что если готов, то вскорости мы тебя подыдем.

Толстый и тонкий – один бледнокожий и рыжий, другой – его противоположность, – прошли по звонким и блестящим плитам нефа и мимо двух колонн, за которыми кипела вся работа. Приближаясь к болтающемуся чудовищу, названному Биллом подвижными подмостями, Эрн с каждым новым шагом переоценивал его размеры. Вблизи двадцать этажей лесов казались тридцатью, из чего он понял, что трудиться придется на высоте пятидесяти, а то и ста метров над землей – обескураживающая перспектива, даже учитывая известное бесстрашие Эрнеста перед высотой.

Раздевшись до маек, двое строителей, – в одном из которых Эрнест признал задиру Альберта Пиклса с Кентавр-стрит, – толкали шестереночное мельничное колесо на пару оставшихся шагов, сдвигая все чудо инженерии по оси, описывая вокруг него орбиту и топчя мозаичное солнце ровно в центре трансепта, раскинувшее лучи по сторонам света. Благодаря их усилиям стонущие леса справа от веретена поворачивались, пока не оказались ровно под одной из оранжевых секций, на которые был поделен нависающий свод купола. За огромным каркасом плыл и исполинский мешок-противовес слева от осевого стержня, закрепленный на балке высоко над головой. При нем находилось четверо или пятеро чернорабочих, следовавших за свисающим тряпичным валуном и державших его ровно, пока он качался в каком-то полуметре от пола церкви.

Эрн обратил внимание, что у мешка образовалась утечка – маленькая прореха в ткани на подбрюшье, которую пытался залатать ниткой и иголкой подмастерье лет четырнадцати, что полз на коленях за противовесом, потев и ругаясь на чем свет стоит. Мальчишку уродовала, как это называлось в народе, «клубничная отметина», расплзшаяся вокруг глаза по лбу и щеке, будто пятно на морде дворняжки, – то ли от рождения, то ли от ожога, этого Эрн различить не мог. Пока малец мучился с шитьем, сверху на него падал молочный, мутный от грозových туч свет, словно в греческих драмах, а между бегающих пальцев сыпались крупички, падая струйкой песочных часов на сияющие плиты пола. Праздно окинув взглядом эту сцену, Эрн не мог не вспомнить о песках времени, когда вдруг освещение картины скакнуло и исказилось, а всего пару секунд спустя подоспела пушечная канонада грома. Центр бури, очевидно, подошел совсем близко.

Билли Маббут провел Эрна мимо людей, закреплявших ползущие за подмостями растяжки к якорю, – теперь подмости были установлены верно, возле стола на козлах между статуями лорда Нельсона и покойного вице-короля Ирландии лорда Корнуоллиса, который капитулировал во время Войны за независимость перед генералом Вашингтоном, если Эрн не путался в истории. Бог знает, чем он тогда заслужил такой грандиозный мемориал. Инструменты, что понадобятся Эрну для реставрации, лежали на верстаке, где другой юный подмастерье – чуть постарше первого – уже отделял белки от желтков, переливая из одной потрескавшейся фарфоровой чашки в другую. У стола торчали в ожидании дела работяги, и Билли громко представил Эрна, когда парочка присоединилась к бригаде.

– Все в порядке, народ, маляр явился. Это мой старый дружок Рыжий Верналл. Ему никакой Рембрандт в подметки не годится, моему Рыжему.

Эрн пожал всем руки и понадеялся, что они не держали обиды: ему как мастеру оклад полагается больше. Скорее всего, они понимали, что следующую прибыльную оказию он может прождать месяцами, тогда как ражие трудяги нужны всегда, да и в любом случае всем платили такие смешные деньги, что настоящего повода для зависти не было ни у кого. Эрн коротко посоветовался с Билли Маббутом о мелочах предстоящего дела, а затем принялся нагружать материалами и инструментами со стола деревянную подставку в форме четвертины сыра, подвешенную внутри каркаса подвижной конструкции.

Он выбрал несколько беличьих кисточек из жестянки, предоставленной священниками Святого Павла, а также сложил на картонной крышке старой обувной коробки вычищенные лотки из-под лака, где теперь были порошковые краски собора. От сырости пурпурная и изумрудно-зеленая слепились ломкими комками-самоцветами, но Эрн и не собирался ими пользоваться, а прочие пигменты сохранились в куда лучшем состоянии. Угрюмый юнец, поставленный заниматься яйцами, как раз закончил с последней полудюжиной, когда Эрн попросил желтки. Они лежали целыми в ванночке, в то время как в соседнем горшке плескался ненужный белок – вязкая слизь, противно напоминающая слюну, которой наверняка найдут другое применение и не выкинут зря. Аккуратно подняв тару с шестью желтыми сгустками, скользящими друг вокруг друга по дну, Эрн водрузил ее на лебедочную платформу рядом с кистями и

красками, затем прихватил миски для смешивания, двухфунтовый мешок с гипсом и кувшин из-под сидра на полгаллона, промытый и наполненный водой. Добавив к этому шкурку и три или четыре чистые тряпки, Эрн взобрался на качающийся край лифта рядом с орудиями своего ремесла и, крепко ухватившись за одну из угловых веревок, дал сигнал людям Билла Маббута.

Первый рывок опоры под ногами сопровождал очередной мимолетный всплеск серебра снаружи – его всего мгновения спустя не преминул подчеркнуть растянутый грохот приближающейся бури. Один из ражих молодчиков, тянувших за веревку с усердием звонаря, отколол шутку про то, что Господь снова взялся переставлять у себя наверху мебель, на что другой из артели заявил, что подобные слова в великой Матери Всех Церквей – богохульство, хотя Эрн слышал эту поговорку с самого детства и ничего дурного в ней не видел. Его забавляла подспудная практичность фразы, поскольку, хотя в глубине души Эрн все же сам не знал, верит ли в Бога, ему нравилась представлять Господа существом приземленным, которое время от времени, как и все мы, грешные, наводит в своих вещах порядок, чтобы они лучше отвечали Его целям. Завизжали лебедки, и Эрн начал возноситься мерными этапами – по сорок пять сантиметров за раз, – а когда молния в следующий раз очертила все вокруг резким мелом, оглушительный взрыв последовал практически немедленно.

Широкий изгиб дальнего края платформы затмевал зал под ногами с каждым полуярдом, со скрипом отвоеванным у высоты. Большая часть коллег Эрнеста уже скрылась из виду под шатким дощатым плотом, в который он упирался ногами, и вот поднял в прощании красную руку Билли Маббут и тоже пропал. Теперь Эрн оглядел деревянный пол под ногами и вдруг осознал, что тот куда шире, чем показалось сперва, – почти не меньше театральной сцены, а кучка банок, горшков и кисточек в середине выглядит сирой и жалкой. На самой верхотуре, думал он, ему станет невидима целая четверть трансепта – как и Эрн для нее. Исчезли голова Корнуоллиса, затем лорда Нельсона, проглоченные периметром вздымающегося подиума, и Эрнест оказался в одиночестве. Задрав голову, он разглядывал восемь огромных фресок сэра Джеймса Торнхилла на куполе, пока постепенно не присоединился к их обществу.

Эрн немного выучился рисовать еще мальчишкой в 1840-х, когда рисковал заработать гемморрой, сидя на холодной каменной ступеньке, и день за днем, словно околдованный, наблюдал, как Наперсток Джеки воссоздает мелом гибель Нельсона в Трафальгарской битве на брусчатке на углу Кеннингтонской и Ламбетской дорог. Джеки тогда было под семьдесят – ветеран Наполеоновских войн, лишившийся из-за гангрены двух кончиков пальцев на левой руке и скрывавший обрубки парой серебряных наперстков. Прозябая теперь художником по мостовой, старик вроде бы только радовался ежедневной компании Эрна и оказался настоящим кладезем знаний об искусстве. Он разливался перед мальчишкой с тоской в голосе о новых масляных красках, с которыми можно творить чудеса, будь на них деньги: ярко-желтой, как ракитник, роскошной лиловой и фиолетовой, как сумеречная куца. Джеки наловчил Эрна смешивать реалистичный цвет кожи из таких оттенков, о которых при виде розового тела вовсе не подумаешь, и показал, как незаменимы пальцы для игры оттенками на картине, мягко пятная белым отблеском горящих фрегатов щеку умирающего адмирала или полированные шпангоуты «Победы». Эрнест почитал своего ментора за самого талантливого из художников, но теперь, глядя на шедевры Торнхилла, он понимал, что они настолько же возвышаются над омытыми огнем и кровью палубам Наперстка Джеки, как небесные чертоги – над улицами Ламбета.

Когда шаткий лифт вознес Эрна, того окружили сцены из жизни святого Павла, от обращения в Дамаске до живо изображенного кораблекрушения, с множеством апостолов, подсвеченных как будто домной или раскрытым сундуком с сокровищами, и кипящими за их спинами облачными пейзажами, пронзенными лучами. Фреска, которую он намеревался чистить и ретушировать сегодня над гулкой юго-западной стороной зала, оказалась незнакома ему по проповедям. На заднем плане была стена из теплых грубых камней, – возможно, темница, – а перед ней стоял измученный человек: в его распахнутых глазах читалось благоговение, гра-

ничащее с ужасом, с которым он взирал на святых с нимбами или ангелов, глядевших в ответ с опущенными взглядами и кроткими загадочными улыбками.

Деревянный помост Эрн вскарабкался мимо Шепчущей галереи, где, если дать волю воображению, можно было увидеть, что стены прокоптились молитвами столетней давности, а окна подарили Эрну последний взгляд через промокший Лондон на колокольню Саутуаркского собора на юго-востоке, прежде чем его подняли выше, под самый купол. Вдоль нижнего края – на барабанах над самой галереей – он с отвращением заметил, что целые куски внизу каждой фрески покрывала краска цвета камня – несомненно, чтобы абы как спрятать ущерб от воды, обнаруженный в ходе предыдущих реставраций. Эрн проворчал себе под нос что-то о позорном наплевательстве на собственное ремесло, очевидном в сей нерадивой работе, когда вокруг взорвались ослепительный свет и раскатистый грохот – так близко, что слились воедино, – и платформа ухнула вместе с сердцем вниз, хотя и всего на дюйм-другой, когда дрогнувшие мужики далеко внизу упустили, но снова перехватили веревки лебедок. Сердце Эрна билось, а его вдруг ставшая ненадежной подставка возобновила визгливый подъем ввысь, и тогда он осторожно приблизился к правому заднему краю, хотел рискнуть и взглянуть, все ли внизу в порядке.

Сомкнув кулак на веревке, Эрн обнаружил, что его руки стали скользкими от испарины, хоть выжимай, пришлось признать, что он все-таки боится высоты вопреки всему, что о нем толкуют. Он всмотрелся за необработанные края досок и, хотя не видел работников, поразился тому, на какую верхотуру забрался. Священники Святого Павла казались отсюда ухвертками, еле ползущими по далекому белому полу, и Эрнеста немало позабавило то, как два клирика, ни о чем не подозревая, шли навстречу друг другу вдоль сходящихся стен огромной опоры, пока не столкнулись на углу в завихрении черных ряс. Эрн рассмешило не одно только зрелище барахтающихся на спине священников, но и то, как он раньше их самих знал, что они врежутся, исключительно благодаря превосходящей точке обзора. В какой-то мере он мог теперь прозревать судьбы прикованных к земле людишек, бегающих по двумерной плоскости, с возвышенной позиции третьего измерения у них над головами, о котором они редко вспоминали или задумывались. Эрнест спросил себя, не потому ли преуспевали в свое время в завоеваниях римляне: захватывая высоты для дозорных постов и вышек, они завладевали отменным преимуществом в понимании и планировании стратегии.

Теперь настал достиг уровня, о котором они условились с Билли Маббутом, где и замер, надежно привязанный – как надеялся Эрнест – более чем в пятидесяти метрах внизу. Художник находился у верхних пределов первой фрески, где прямо над головой колотилось сверкающее, сотрясающее мир сердце грозы. Как только его личный пол прекратил движение, Эрн решил приняться за реставрацию фигуры с нимбом в верхнем левом углу картины – какого-то ангела или святого, черты которого омрачили десятилетия дыма от кадил и свечей. Эрн принялся аккуратно промокать фреску тряпками, стоя у самого обрыва подъемника, и, пока стирал с нее пыль, с удивлением отметил, что у лика от темечка до подбородка было не меньше метра, и понять это можно было, только взглянув на него вблизи: почти девичье лицо было скромно обращено чуть вправо и смотрело вниз, поджав губы все в той же самоуверенной знающей улыбке. Ангел, решил Эрн, так как все святые, которых он помнил, носили бороды.

Эрн остался в одиночестве на дощатом чердаке мира, что был куда богаче и просторнее, чем его собственный в мамином доме на Ист-стрит. Счистив, сколько мог, поверхностный налет с профиля в три четверти ростом с него самого, Эрнест перешел к задаче посерьезнее – начал составлять смесь для оттенка, который точно совпадет с поблекшей персиковой кожей небожителя. Самой чистой рукояткой кисточки, что только нашлась, Эрн взболтал шесть желтков в ванночке, затем перелил жалкие капли получившегося медноцветного крема в одну из мисочек. Другая рукоятка кисточки послужила тонкой ложкой, ею Эрн отмерял крохотные

порции необходимых, на его вкус, красок из лотков, вытирая рукоятку после каждой порции тряпкой и размешивая разные количества ярких порошков в миске с взбитым яйцом.

Начал он с землистой, сочной жженой охры, добавил неаполитанский желтый пигмент летнего полдня, за чем последовала щепотка краппа. Далее он решительно замешал в кашу кровавую и прозрачную толику насыщенного алого – комочки желтка, тронутые красками, сталкивались друг с дружкой под действием беличьего волоса. И без того удовлетворительный состав Эрн дополнил собственным секретным ингредиентом, о котором узнал от Наперстка Джеки, а именно бросил щепоть кобальтовой сини, чтобы изобразить на обескровленных ликах венозную жидкость, циркулирующую под человеческим эпидермисом. Переусердствуя он с красным и синим, всегда можно разбавить их каплей белого, но пока что Эрн остался доволен результатом и приступил к приготовлению легкого левкаса, вытряхнув из мешка белый гипс в миску с парой ложек воды, а размешав, добавил свою темперу, чтобы расцветить тонкий слой грунтовки. Распихав по карманам кисти, Эрнест прошел по воздушным подмосткам с плоской в руках, где плескался тщательно состряпанный раствор, назад к юго-западному краю, где занялся работой над гигантским лицом, закидывая голову и протягивая руки к изображению на вогнутой стене над ним.

Наложив сперва тонкий слой левкаса цвета кожи вдоль длинного изгиба подсвеченного подбородка, Эрнест подождал, пока тот высохнет, прежде чем затер до едва шероховатой поверхности шкуркой и приготовился к следующему слою. Он еще даже не начал покрывать огромное лицо торопливыми мастерскими мазками, как в цепенящем ужасе заметил, что та часть лика, к которой он еще не притрагивался, потекла. Буря снаружи дошла до высшей точки, разразившись целой серией потрясающих громовых раскатов, когда Эрн, встревоженный и пораженный, прищурился и в нескончаемой морзянке молний увидел, как жидкие краски двигаются по плоским и впалым голове и плечам ангела.

По внутренней поверхности купола вокруг ангельского лица бегали вверх, вниз и во все стороны корчащиеся капли разных оттенков, а их траектории возмутительным образом противоречили всем законам здравого смысла. Более того, роящиеся ручейки, на взгляд Эрна, не блестели, как если бы отсырели. Напротив, по рисованным чертам лица словно струились сухие течения песчинок, ничтожных и торопливых, они подчинялись изгибу потолка, словно многоцветные опилки возле слабого магнита. Это было невозможно, а хуже того – за это наверняка вычтут из жалованья. Эрн невольно и неловко отшатнулся, и с этим шажком если не осознал, то оценил размах лихорадочного неистового движения и активности, разворачивающихся перед ним.

Нейтрально-серый цвет и умбра с дальней стороны гигантского лика взбирались по крутой диагонали влево, где скапливались в кляксу светотени, какая появляется у крыла носа, когда его владелец смотрит на вас. С нимба лились лучезарный желтый крон и свинцовые белила, образуя неравномерное яркое пятно, походившее на правую щеку ангела, если бы та сдвинулась и попала под лучи света. Чувствуя, как по спине крадется липкий холодный страх, Эрн понял, что массивное лицо ангела, не разрушая штукатурку на почти плоской стене, где было изображено, и не вырываясь из пределов двумерного царства, медленно поворачивалось на поверхности фрески, чтобы взглянуть ему прямо в глаза. В уголках очей сгустились новые складки серого Пейна, и веки размером с краюхи хлеба, прежде скромно потупленные долу, сморгнув, разверзлись, хлопья краски со свежих морщинок сыпались прямо в распахнутый рот Эрнеста, обомлевшего из-за невиданного зрелища. Обстоятельства были столь невероятными, что ему даже не пришло в голову вскрикнуть – лишь отступить еще на шаг, зажав ладонью свой раскрытый рот. В далеких уголках эпических губ фигуры, также переместившихся выше и левее, растрескались ямочки жженой кости и киновари – бледные метровые уста разомкнулись и нарисованный ангел заговорил.

– Тиббе предидотца воочень тисжелов, – промолвил он с озабоченным тоном.

То, что будет или видится тебе уже бывающим, предстанет действительно ошеломительным и тягостным испытанием для твоего сердца, ибо ты воочию узришь и многое поймешь о четвертом угле существования, что несет тебе множество жестоких трудностей в смертной жизни мужа и отца, тем паче конец ее лежит на темном погосте в окружении железа оград и листьев жимолости и тисов, и тебе придется очень тяжело. Эрн понял это мудреное послание, понял, что его каким-то образом втиснули всего в четыре по большей части незнакомых слова, развернувшихся и распаковавшихся в мыслях, словно детская бумажная головоломка или китайское стихотворение. А пока он пытался постичь весь смысл, заряженный в это взрывающееся предложение, его покорила даже сам голос. Он отличался полнотой и многомерностью, словно целый оркестр, играющий в консерватории, по сравнению с жестяным свистком, в который дуют в набитом шкафу. Каждая нота как будто неслась по бесконечным и все более далеким виткам в спирали повторений – одних и тех же тонов уменьшающегося масштаба, разбивающихся в итоге на мириады меньших эхо, бурных миниатюрных завихрений звука, что уносились в неумолчный фон из раскатов грома и исчезали.

Теперь, завершив пугающий поворот, неохватное лицо, кажется, практически утвердилось в новом положении. Только по краям у подвижных рта и глаз еще ползали частички – точки пигмента соскальзывали песчаными осыпями по изгибу фрески и торопились отобразить все самые малозаметные и естественные движения ангельской головы, перелив света и тени на ее открывающихся и закрывающихся губах.

В те немногие мгновения, что на деле минули с начала эпизода, Эрнест хватался за отчаянные рациональные объяснения всей ситуации и так же скоро отбрасывал их. Все это сон, думал он, но тут же понял, что нет, что он бодрствует, что зубы на левой стороне рта по-прежнему ноют, а в правых застряли крошки жареного хлеба с завтрака. Он решил, что это розыгрыш, возможно, его как-то сделали с помощью волшебного фонаря, но тут же напомнил себе, что спроецированные подобными устройствами картины не двигаются. Тогда, выходит, это Призрак Пеппера, как в пабе «Хайбери-Барн», когда на сцену как будто выходит тень отца Гамлета, – но нет, нет, для такого эффекта требовался наклонный лист стекла, а в рабочем пространстве Эрна не было ничего, кроме его материалов и самого Эрна.

С каждой новой версией, расплзающейся в руках, словно мокрая бумага, в Эрнесте наливался панический ужас, пока не переполнил Верналла до краев. Горло схватило, из него вырвался вскрик, показавшийся ему самому женственным, и Эрн, отвернувшись от призрака, бросился уже бежать, но дрогнувшая от первого же шага опора с ошеломительной силой напомнила о страшном положении – об одиночестве на головокружительной высоте. Ненастье над головой достигло сверкающего и сокрушительного пика, и даже сумей Эрн превозмочь паралич, стиснувший голосовые связки, и закричать, вниз бы его ни за что не услышали.

Тогда он просто прыгнет, покончит с этим – уж лучше беспомощный полет, костоломное падение, нежели это – это существо; но он уже слишком долго колебался, понимал, что не способен на такой шаг, знал, что в конечном счете всегда был и остается трусом, когда дело доходит до смерти и боли. Он через силу обернулся к ангелу, надеясь вопреки всему, что игра света или звука уже улеглась, но колоссальная физиономия все так же буравила его взглядом, по-прежнему слегка корчились периферийные линии, а отблески на веках быстро сползли, чтобы поменяться местами с белками глаз, когда она моргнула раз и другой. Розоватые тона, которыми изобразили губы, закружились и сгустились, словно передавая ободряющую улыбку. Эрн тихо захныкал, как хныкал в детстве, если не оставалось ничего, кроме слез. Он сел на доски, опустил лицо в ладони, и вновь раздался пронизывающий голос, бесконечные пучины и витиеватые реверберации которого разлетались прочь, чтобы с блеском исчезнуть.

– Пбравосутия нац ерулицей.

Будь бравым, о создание, – право, это суть я, во плоти, надзирающий и оценивающий зрак небес, сред голубей, иерархий и иерофантов сего надземного Ерусалима, где поверх цель-

носердечной руды утлой землицы и лиц падшего ниц люда – мой суд, и я провозглашаю: да будет Правосудие над Улицей.

Эрн зажмурил горящие глаза и прижал к лицу руки, но обнаружил, что все равно видит ангела, и не между пальцами или сквозь веки, как яркий свет, но так, словно лучи огибали эти препятствия неведомым Эрну способом. Его попытки закрыться от зрелища оказались бесплодными, и тогда он прижал руки к ушам, но результат остался неизменным. Вместо того чтобы покорно заглушиться подушками из хряща, кости и мяса, каскад ангельского голоса обходил с кристальной ясностью любые препоны звуку, как будто его источник находился у Эрнеста в черепе. Вспомнив о безумии отца, Эрн стремительно пришел к выводу, что в этом все дело. Говорящая фреска – лишь бред, а у Эрна зашел ум за разум, как у его старика. Или же, с другой стороны, он по-прежнему оставался в здравом уме, а невероятный посланец – реальное событие, действительно происходящее у хлипкого лифта над собором Святого Павла, в мире Эрна, в его жизни. И тот и другой вариант были ему неведомы.

Блесткая музыка каждого ангельского слова, ее дрожащие гармоничные вайи и растворяющиеся арабески звучали так, чтобы звуки бесконечно разделялись на меньшие копии самих себя – как каждая ветка на дереве является его миниатюрной копией, а каждый сучок – масштабированной репродукцией своей ветки. Река, разбивающаяся у дельты на рукава, а затем на протоки, – каждый слог протекал через тысячу пор и капилляров в самую суть Эрна, самую его ткань, а их смысл перенасыщал так, что невозможно было недослышать, недопонять или недоуметь даже их мельчайший нюанс.

«Правосудие над улицей», – вот что молвил великий лик, или же молвил среди прочего, и откликом на фразу в голове тут же возник мощный и внезапный визуальный образ. Пред мысленным взором предстали, весы, висящие над петляющей полоской дороги, но неприкрытая грубость изображения только сбива Эрна с толку, ведь он всегда считал, что может похвастаться богатым воображением. То было не всемирное мерило, застывшее в светозарных ветреных небесах над живописным проселком, словно из библейской иллюстрации, но жалкий набросок ребенка или имбецила. Висящие чашечки на поддерживающих цепочках были не более чем кривыми треугольниками, на вершинах их неумело соединял овал, нарисованный нетвердой рукой. Под ними же был волнующийся и вытянутый прямоугольник, который с одинаковым успехом мог обозначать как улицу, так и завивающуюся ленточку.

Немного было черт в простом рисунке, как и слов в речах ангела, но и они загрузили в разум Эрна всевозможные толкования тем же образом, какой применял голос существа, внедряя в мысли скромные узлы осознания, что разворачивались в нечто куда большее и сложное. Изучая воображаемые каракули, Эрнест понял, что они таинственным образом связаны с каждой праздной мыслью, что посетила его сегодня по пути на работу, словно бы эти мелочи были туманными и преждевременными воспоминаниями об этом откровении, такими воспоминаниями, что необъяснимо появляются раньше их источника. Он понял, что образ в голове имел отношение к прошлым размышлениям о тяготах бедноты, к сочувствию сапожному ремеслу Нортгемптона и даже каким-то образом был связан с грубоватыми, но теплыми мыслями о жене. Вызвал он в памяти и думы о его отпрысках, Джоне и малышке Турсе, о том, что с ними будет, а также скоротечную фантазию о рае, словно бы расположенном на огромной высоте над улицами Ламбета. Но главным образом Эрн вспомнил о черных в Америке, освобожденных рабах и жуткой картине с заклеенными детьми. Он по-прежнему плакал, беспомощно сидя на грязном дощатом полу, но теперь лил слезы не только о себе.

Портрет привлек внимание Эрна и теперь продолжил свой урок среди треска гнева и ярости, которые словно не могли вырваться из хоровода вокруг шпилья. Судя по постоянным и легким переменам настроения, ангелу не терпелось вложить человеку в голову указания чрезвычайной важности по умопомрачительному количеству тем, многие из которых как будто относились к областям математики и геометрии, а к ним Эрна всегда притягивало, несмотря

на неграмотность. Однако знания вливали в него без спросу, и у него не оставалось выбора, кроме как терпеливо им внимать.

Сперва видение объяснило своими исковерканными и сжатыми словами-бульонами, что бушующая кругом буря возникла в результате перемещения из одного мира в другой – в данном случае перемещения ангела. Одновременно Эрн услышал о том, что в самих бурях есть геометрия, непостижимая для человеческих чувств, что молнии, бьющие в разных местах и в разные дни, на самом деле один и тот же разряд, но преломленный, отражения которого рассыпаются по времени в прошлое и будущее. Передавая это знание фраза звучала так: «Иббо пирьувходы ноши отмечетырца мольбнемли...» Ибо переходы наши отмечаются молниями...

Щеки у Эрнеста блестели, озаренные вспышками, и он в отчаянии возрился на квартет архангелов, выполненных в голубом и золотом на своде купола в вышине. Безмятежные и безучастные, они не дарили ни помощи, ни утешения – но хотя бы не шевелились. Когда его взгляд упал обратно на медленно копошащиеся пятнышки на лице собеседника, Эрн осознал, что преобразилась одна-единственная область на одной-единственной фреске. В каком-то смысле от этого стало только хуже, ведь если бы он обезумел, разве бы галлюцинации не лезли отовсюду, а не только в одном месте? Он пожалел, что не может упасть в обморок или даже набраться духу и умереть, сорваться и оборвать нестерпимый ужас – но тот все тянулся и тянулся. Терпеливо глядя на человека поверх досок, обрезавших все ниже груди, большая голова словно сочувственно пожала плечами в рубище – энергичная рябь стронутого пурпура и жженой умбры прокатилась по складкам одеяния и вновь успокоилась, а чудо с того света продолжало просвещать Эрна Верналла, по большей части в области архитектуры.

– ...ил укгл Вэсчастмжсти раскрылздрить.

И в «или» уклада вещей, в высшем слиянии несчетных эпох – что, четверомерное, помещается на темных участках, ночных межах Небес, – есть мистический стержень вероятности, на чем в этот час – когда счастливая черная раса, окрыленная, освободилась, – распахиывается крышка вечного «здесь и сейчас» истории, которая уже случилась, развернулась, поистине кончилась за здравие или за упокой или – для тебя – есть все еще незавершенная, но возрадуйся Правосудию над Улицей, ибо переходы наши отмечаются молниями и углы Вечности раскрылись.

Так продолжалось два часа и три четверти.

Лекция оказалась многосторонней, познакомила Эрна с такими мнениями, о которых он раньше и не задумывался. Ему предложили представить текущее время в категориях планиметрии и указали, как ущербно человеческое понимание пространства. Особое ударение сделали на углах, якобы несущих незримое структурное значение: будучи расположены в одних и тех же местах объекта, смотри на него хоть сверху, хоть в развертке, они постоянны, во скольких бы измерениях ни выражались – двух, трех или более. Далее последовало рассуждение о топографии, но не обычной, а в метафизическом русле. Ему объяснили, что Ламбет прилегает к далекому Нортгемптону, словно оба находились на сложенной определенным образом карте, так что далекие друг от друга пункты в каком-то смысле находятся в одном месте.

В том же топографическом дискурсе Эрн ознакомился с новым пониманием тора, или «спасательного круга», как он звал его про себя, – пышного бублика с дыркой посередке. Вскользь было замечено, что и человеческое тело с его пищеварительным трактом, и скромный дымоход с центральной трубой являются вариациями сей основополагающей фигуры, а также что человека можно представить в виде обратного камина, в который топливо закладывают сверху, тогда как снизу выходят коричневые облака твердотельного дыма, извергающиеся на землю или в море, но никак не в небо. В этот момент, вопреки струящимся по щекам слезам, вопреки ощущению, будто он тонет, Эрн начал смеяться. Мысль о мужчине или женщине как о перевернутом дымоходе оказалась такой комичной, что он ничего не мог поделать, не в силах

отделаться от картины с высокими клубящимися фекалиями, стройно поднимающимися из городских литейных цехов в небо Лондона.

Эрн смеялся, а с ним смеялся и ангел, и каждый его искрометный перелив был полон до краев Радостью, Радостью, Радостью, Радостью, Радостью.

Только когда ближайшие церкви пробили полдень и Билли Маббут понял, что слышит звон, он заметил, что гроза окончилась. Отложив доску с остатками раствора, которым промазывал швы между некоторыми сомнительными плитами, он обернулся и хлопнул руками-окороками, привлекая внимание подчиненных. Когда он объявлял шабаш на чай с хлебом, его легкий тенор отдался эхом в галереях, пронесся по приделам заблудшей чайкой.

– Ладно, молодцы, полчаса на роздых. Заморим червячка и соорудим чаю.

Вспомнив о декораторе, Маббут кивнул розовой блестящей головой в сторону лесов.

– И старину Рыжего вниз смотаем. Я уж насмотрелся, как он лютует, – поверьте на слово, вам видать не захочется.

Здоровяк Альберт Пиклс, топая по полированным шашкам пола, в котором меж его башмаков плыло мыльное неполное отражение, глянул исподлобья на Билла и ухмыльнулся, занимая место у одной из угловых лебедек лифта.

– Твоя правда. Рыжий-конопатый, прибил папку лопатой.

Некоторые работники хмыкнули над старой уличной дразнилкой, разбирая оставшиеся веревки, но Билл этого не стерпел. Может, на вид он и казался пищущим рохлей, но недаром заслужил медаль в боях с бирманцами, и все работники, включая Альберта Пиклса, знали, что его лучше не злить.

– Его папаша помер, Берт, так что не надо этого, лады? Имей жалость. Он мужик свой в доску, но теперь ему пришлось худо, да еще и ребенок родился. А теперь тащи его с небес на землю, чтоб идти отдыхать с чистой совестью.

Стропальщики выслушали отповедь добродушно, затем взялись за тали, пока Билл огласил великолепный колодец над головой криком, чтобы Рыжий готовился, не разлил и не поронял свои горшки, когда тронется платформа. Ответа не последовало, но подъемное устройство болталось на такой высоте, что Маббут и не ожидал, что его возглас будет услышан. Он мотнул румяным подбородком в сторону мужчин, и те принялись спускать широкий деревянный клин из-под шепчущей золоченой тверди собора к деловому оживлению и приглушенному гомону нефа.

Лебедки над головой размеренно издавали прерывистые взвизги, как толпа баб, дюйм за дюймом опускающихся в холодную воду общественной бани. Выдернув из кармана штанов платок, Билли Маббут промокнул жидкую пленку пота на розовой макушке и вспомнил, как Рыжий Верналл в крымской казарме свернул скулы одному из сослуживцев за то, что тот отпустил какую-то шутку о его родословной. Билл, если начистоту, жалел приятеля – жалел, каким он был гордым во время войны и как опустился теперь. Не успел он вернуться из сражений с русскими, как старик Джон, его папка, рехнулся, а не прошло много лет, как и умер. Немудрено, что, все еще потрясенный, Рыжий сошелся со своей девчонкой, женился и не успел глазом моргнуть, как она народила одного за другим двоих ребят. Билли никогда не везло с женщинами – всегда было проще в мужской компании, но он насмотрелся на бойцов, которые прошли всю грязь и мушкетные пули, только чтобы их одолели жена и семья. У Рыжего были голодные рты, но не имелось собственного дома – он все еще сидел у мамки в Ламбете, а по единственной встрече с ней Маббут знал, что она та еще противная старая карга.

В тридцати метрах над головой под ритмичный аккомпанемент стонущих канатов, ухающих трудяг и писк лебедек надвигалось дно подиума. Сунув платок на место, Билл отвернулся к ко́злам, где оставил доску для растворов, чтобы теперь вытереть ее начисто и отправиться за чаем. Священников Святого Павла после неподобных сану торгов таки убедили вскипятить

котел воды над одной из плит собора, чтобы наполнить два вместительных глиняных чайника для работников. Теперь чайники дымились на дальнем конце стола в окружении самых грязных жестяных кружек, что доводилось видеть Биллу, – очередной заем у скаредных клириков. Помятые и потемневшие кружки покрывали пятна внушительнее, чем у бедняги Клубничного Сэма, юного подмастерья Билла в соборе. У их краев запеклась ржавчина цвета дерьма, а одну коррозия поела так, что просвечивало солнце. Стирая последние комки затирки с доски, Билл напомнил себе уберечь от чашки с дыркой и себя, и Рыжего, чтобы она не нассала им горячим чаем на колени.

Постепенно он заметил поднявшийся где-то за спиной галдеж, так что оглянулся к лесам как раз вовремя, чтобы увидеть, как платформу опустили ниже человеческого роста – остановили всего в метре-полтора от пола. Старик Дэнни Райли с бородой, как у мистера Дарвина, и пастью, как у одной из обезьян сего ученого мужа, снова и снова восклицал, как деревенский дурачок: «Кто это? Пресвятая дева Мария, кто это?» – так что Билл поискал взглядом, не вышел ли из-за столба в их ряды какой-нибудь архиепископ или другая важная особа. Никого не обнаружив, он вернулся взглядом к дощатой полке, как раз зависшей в каких-то дюймах от напольных плит и под очередной вопль четырех лебедек готовой стукнуться дном о камень.

От фигуры, усевшейся посреди конструкции, доносилось заикающееся «ху-ху-ху» – это стало слышно, только когда лебедки оставили в покое, но даже тогда не прояснилось, то ли это смех, то ли плач. По небритым щекам человека действительно катились слезы, но сбегали они в морщины, что напоминали бы блаженную улыбку, не вытекай из глаз, наполненных смятением или болью. На досках перед ним палец, окунувшийся в венецианский желтый, вывел нестройными буквами, напоминавшими почерк ребенка, слово TORUS – Билл знал этот термин из астрологии благодаря тому, что сам родился в мае. Но Маббут представить не мог, почему это слово вообще оказалось на тесе, ведь он отлично знал, что Рыжий не смог бы написать и собственного имени, разве что скопировать формы букв под чужим надзором – впрочем, очевидно, вряд ли это произошло под одинокой крышей собора.

Ноги Билли налились свинцом, как в кошмарах с погонями, но он подошел к клетки у лесов, расталкивая застывших и глазающих наймитов. В ропоте и шепоте вокруг он уловил, как Берг Пиклс воскликнул: «Охренеть! Охренеть на хрен!» – и услышал цокот священников по плитам, сбегающих взглянуть, что приключилось. Рядом с человеком, который скорчился, словно жертва кораблекрушения на утлом плоту, кто-то заплакал. По голосу Билл вроде бы узнал юного Сэма.

Поднимая взгляд от разбросанных горшков и кистей, среди которых он сидел, и от необъяснимой яркой надписи, человек, спустившийся с вершины высоких подмостей, уставился на Маббута и прочих работников, а потом захихикал, захлебываясь слезами. Не то чтобы из его глаз целиком пропало узнавание – скорее казалось, будто его не было так долго, что бывшее занятие и товарищи стали казаться ему сном, и потому он удивился, что они все еще здесь. Билли сам почувствовал прилившие к глазам горячие слезы, когда ответил на этот уничтоженный, непонимающий взгляд. Когда Билли открыл рот, его голос надтреснул и стал на октаву выше обычного. Но он ничего не мог с собой поделать.

– Ох, бедолага. Ох, бедный мой старый друг, что же с тобою случилось?

Ясно было одно. До конца жизни Эрнеста Верналла больше никто не назовет его Рыжим.

Билли отвел сломленного товарища домой через мост Блэкфрайарс и ненадолго остался с разбитой горем семьей Эрна – они не сразу узнали незнакомца, вернувшегося с работы пораньше. Даже мама Эрна заливалась слезами, что удивило Билла, уверенного, что в женщине нет ни йоты жалости, – впрочем, состояние ее сына выжало бы слезу и из камня. Пугало не столько то, как Эрн выглядел, а то, о чем говорил: о деревьях, голубях, молнии, углах, дымоходах – мешанине из самых обычных, каждодневных вещей, о которых он отзывался с тем же суеверным шепотом, с каким иные обсуждают русалок. Единственным не проронившим слез

человеком в хозяйстве оказался двухлетний Джон, который сидел и смотрел на преобразившегося отца большими темными глазами, пока убивались мать, бабушка и младшая сестра, и за все время не издал ни звука.

Эрнест наотрез отказывался рассказывать, что произошло в грозовых тучах над Лондоном, – только спустя много лет поведал об этом Джону и Турсе, когда сыну исполнилось десять, а девочке всего восемь. Дети Эрнеста, в свою очередь, тоже не раскрыли того, что слышали, даже родной матери или собственным детям Джона, когда он женился спустя десятилетие под конец 1880-х.

На следующее утро, да и каждый день на той неделе, Эрн Верналл, пришедший в чувства хотя бы частично, предпринимал отважные попытки вернуться на работу в собор Святого Павла, настаивая, что с ним все в порядке. Каждое утро он выходил к началу Ладгейт-стрит и стоял там, не в силах сдвинуться дальше, пока наконец не сникал и не плелся восвояси в Ламбет. Какое-то время он еще находил работу, поденную, но уже не в церквях и точно не на высоте. Энн родила от него еще двоих – сперва девочку по имени Аппелина, затем мальчика, которого по настоянию Эрнеста окрестили Посланцем. В 1868 году жена и мать Эрна впервые в жизни хоть в чем-то сговорились и позволили забрать его в Бедлам, где сперва ежемесячно, а затем ежегодно Эрна навещали Турса, Джон, а иногда и двое младших, до июля 1882 года, когда в возрасте всего сорока девяти лет Эрн скончался во сне от сердечного приступа. Не считая старших детей, никто так и не узнал, что он имел в виду под словом TORUS.

Страсти по ASBO

Вот Марла думала, что все началось, когда королевская семья убила Диану. И потом уже не было ничего хорошего. Все знают, кто ее убил, потому что она там письмо написала, что, типа, ее наверняка убьют в аварии. Вот вам и доказательство. Диана сама все знала, что с ней будет. Марла гадала, было ли у нее в ночь перед убийством это, как его, предчувствие, ну, предсказательная штука. Тот момент, который всегда показывают, – как она, Доди и водитель выходят из «Ритца», на отельных камерах, через крутящуюся дверь. Наверняка она что-то да знала, думала Марла, но такая уж у нее, как бы, была судьба, а судьбы не избежать. Марле казалось, что Диана точно все знала, когда садилась в машину.

А ей самой сколько было, десять? Десять, когда случилась авария. Она помнила, как заплакала все воскресенье на диване под одеялом, дома у своей сраной мамы в Мейденкасле. Помнила, хотя еще ей казалось, будто она помнит, как смотрела телик в младенчестве, когда принц Чарльз и принцесса Ди женились в соборе Святого Павла. Свадьба стояла перед глазами ясно как день, и она все рассказывала про это подружкам, а потом, типа, Джемма Кларк такая, мол, это 1981-й, а Марле девятнадцать, значит, она родилась в 1987-м или где-то рядом, значит, если что и видела, то в записи. Или, типа, перепутала с Эдвардом и Софией, но Марла и слушать не хотела. Сейчас ведь умеют что угодно, все подделывать, типа? По типу 11 сентября или высадки на Луне, или этого – как же его? – Кеннеди. Кто знает, вдруг они женились после 1987-го, но потом все прикрыли, а фотки отредактировали в ЦРУ? Никто же ничего не знает, а если говорят, что знают, – пиздят.

Про Ди она задумалась, когда заскочила в квартиру, вернувшись с Овечьей улицы, с тех краев, – просто заскочила, потому что вспомнила, где у нее наверняка еще осталось, а когда полезла искать под софой, наткнулась на свои альбомы с Дианой. Были там и книжки про Джека-Потрошителя, и ее тетрадка с Ди, а она думала, что потеряла их или кому-нибудь дала. Но кроме этого, ничего там больше не оказалось, хотя она сперва обрадовалась при виде того, что в итоге оказалось обрывком целлофана с сигаретной пачки, – наверно, со всеми время от времени бывает, когда видишь, как блестит на ковре, и думаешь, что сам обронил или еще кто. Но в квартире было шаром покати, не считая Джека Потрошителя с Дианой. Что, если так хочется, пойдешь и заработай, да?

Она сожрала «Сникерс Кинг-Сайз», потом заставила себя заварить чайник для лапши Pot Noodle, чтобы с чистой совестью сказать, что у нее был здоровый обед, хотя кому сказать-то, когда Кит с остальными ее послал? Твою ж мать. Стоит только об этом подумать, как желудок типа переворачивается и она тут же загружается, начинает думать про то да про это, как все могло повернуться, что надо было сказать и все такое, ну как обычно, – а от этого только больше хочется дунуть. Она сидела на кресле с продавленными ремнями под поролоновой подушкой, пихала в рот червяков с хрящами в помойном кипятке и пялилась на обои, которые начали отходить в уголке, будто книга открывается. Что угодно, лишь бы не выходить сегодня в ночную, только не в Боро. Пойдет попозже, будет ловить народ по дороге домой с работы, но только не ночью. Она дала себе слово. Лучше перетерпит, чем так рисковать.

Чтобы мозгу было чем заняться, пока она все не разрулит, Марла стала вспоминать, когда ей последний раз было в кайф. Очевидно, не в этот четверг, не вчера, когда был реальный последний раз, – потому что вчера-то получилась херня. И вообще ни разу за последние пять месяцев, когда хоть что ты делай, ни хера не брало, – нет, нужно последний раз, когда было именно в кайф. Это, значит, в январе, сразу после Рождества, когда ей волосы пришла заплести подруга Саманта, которая работала дальше на дороге Андрея в Семилонге. Марла тогда еще была с Китом – они обе были с Китом, – и все было нормально.

Когда разобрались с волосами Марлы – целую вечность просидели, зато получилось зашибись, – они забили трубочку и отлизали друг другу. Она не лесба, и Саманта тоже, но все же знают, что от этого кайф только круче. Просто вообще другой уровень – сосешь трубочку, пока сосут тебе, потом меняетесь. Прямо на ебаном старом коврикe с ямайским флагом, который подарила мама, когда Марла съезжала, прямо в десяти сантиметрах от ее ног сейчас, когда она сидит и жрет лапшу. Был январь, так что они включили обогреватель на полную, поскидали трусики, сидели в одних футболках. Марла уступила подвзрывать Саманте – она же заплела ей волосы, – так что то и дело слышала над головой свист, будто кто-то дует в пустую шариковую ручку, пока Саманта всасывала дым, а Марла вылизывала ей на полу. На вкус было как лимон из джин-тоника, по радио – или кассете, пофиг, – рубил «Франц Фердинанд», Walk Away. Когда пришла ее очередь, Саманта уже улетела и накинулась на нее, как собака на мясо, пока Марла стояла и наслаждалась, и было просто охренеть – конечно, не как первый раз, но все равно волшебнo.

Когда в кайф, то кажется, что это вот и есть ты, для таких чувств ты и создана, такую жизнь и заслуживаешь, а не это вот – это блуждание, как во сне, будто ты уже умерла. А под кайфом так хорошо – как будто ты в огне и можешь все, даже в одной футболке рядом с двухполосным обогревателем, красными точками на ногах и чужой волосней в глотке. Чувствуешь себя, прямо как, блядь, Холли Берри, реально. Просто, блядь, как Бог.

Что-то лучше не стало. Марле только захотелось еще больше. Отложив пустой пластиковый контейнер на кофейный столик, который она застелила подарочной упаковкой и накрыла стеклом, как видела в передаче про ремонт, Марла взялась за альбом про Диану, который пока бросила на софу с книжками в мягкой обложке про Джека Потрошителя. Офигительная штука с цветными страницами, как из сахарной бумаги, – Марла начала собирать для него вырезки с десяти, когда умерла Диана. На обложке была картинка, которую она приклеила клей-карандашом, так что та вся пошла волнами. Старая фотка, Марла вырезала ее из журнала Sunday, с каким-то пейзажем из Африки на закате, когда все облака горят золотом, но Марла еще вырезала лицо принцессы Ди с другой страницы и приклеила вместо солнца, так что это будто Ди озаряет все из рая. Такая красота – она сама не могла поверить, что когда-то сама такое сделала, тем более в десять, и с тех пор ни разу не видела, чтобы хоть кто-нибудь придумал так же прикольно, как она. Да она тогда, похоже, была гений, пока все не начали на нее наезжать.

Она еще раз глянула у софы, на всякий пожарный, и под ней, потом села обратно в кресло, вздохнула, провела рукой по голове, по афрокосичкам, которые уже стали распутываться. Это потому что Саманты больше рядом нет. Марла слышала, она вернулась к родакам в Бирмингем, когда выписалась из больницы, так что некому теперь заплести Марле косички. Денег-то на нормальную прическу нет, так что пусть распутываются, пока Марла не сможет на них потратиться. Она знала, что выглядит, будто упала с самосвала, и что это плохо для бизнеса, но что остается-то? У нее три недели назад зуб выпал от того, что сладким питается, тоже ничего хорошего, но тут хотя бы можно научиться улыбаться с закрытым ртом.

Ей вообще не свезло, Саманте. Села не в ту машину – или ее затащили. Марла с тех пор ее не видела, не спрашивала. Два мужика увезли ее за Спенсеровский мост, за парк Викки, и бросили полудохлой в кустах, суки блядские. И так каждую неделю попадала хотя бы одна девушка, но сообщали только об одной из четырех. Если только не поднималась шумиха, как в прошлый август, когда банда насильников на БМВ увозила женщин с улицы Доддриджа и Конного Рынка, и там еще потом девушку украли прямо от бильярда на Подковной, повезли по Ярмарке за поляну у церкви Святого Петра. Пять изнасилований за десять дней, во всех новостях было, все трезвонили, типа надо что-то делать. Это за добрых полгода до Саманты. Марла сидела в продавленном кресле и вспоминала, как Саманта поднялась с пола, вытирая подбородок, когда Марла кончила, а потом они сосались, пока не отпустило, чувствуя друг у друга на губах дым и любовные соки. Той же ночью они угостились еще разок, потому что ведь

Рождество, но уже не так торкнуло и никто больше не кончил, просто лизали, пока челюсть не свело и обе не задолбались.

Если подумать, – а об этом думать хотя бы нестрашно, – Марла была уверена, что в ее многоквартирнике нет ни единой комнаты, где никогда не трахались. Ни кухни, ни туалета – ничего, везде кто-нибудь стоял со спущенными штанами и что-нибудь да делал – или что-нибудь делали с ним. Она до сих пор так их и видела – себя с Самантой, работавших языком на ямайском флаге, а если постараться, можно представить и других, в той же комнате, но только из давних времен, какого-нибудь 1950-го лохматого. Что, если здесь жила тетка наподобие ее мамы, какая-нибудь тварь под сорок, и стоит ее мужику за порог – бам, уже тащит бомжа с улицы, чтобы отодрал ее у стенки? Марла так и видела: баба старая, толстая, колыхается, упираясь в стенку руками над самой каминной полкой возле обогревателя, жопу жирную отклячила, юбку задрала, а какой-то смешной бродяга в старом трилби на плечи пыжится сзади, даже не снимая шляпу. Марла хохотала в восторге, как подробно все это представила, хотя обычно такие картинки в голову не приходили, даже сны не снились. Если и удавалось заснуть, во сне была только пустая тьма, будто проваливаешься в огромный черный сигаретный ожог, а потом вылазишь и ни черта не помнишь. Она по-прежнему глядела на воображаемых жируху и бродягу, как они развлекаются у стены и камина, когда аж подскочила от звонка в дверь.

Она крадучись прошла по коридору к двери, мимо туалета и бардачной спальни, и спросила себя, кто это может быть. Вдруг это Кит вернулся сказать, что опять берет ее к себе – но это может быть и Кит, вернувшийся сказать, что она ему до сих пор торчит, и избить. Она одновременно почувствовала облегчение и разочарование, когда открыла дверь на цепочке – а там всего лишь этот самый Томпсон с улицы Андрея по соседству, странный дедок, который тряндел за политику и все такое. Он ничего – главное, вроде бы добрый, никогда не смотрел на тебя сверху вниз, как другие политические – что черные, что белые. За прошлый год-полтора он обходил раз или два квартиры, собирал подписи на какие-то петиции или рассказывал про собрания, чтобы не дать чинушам продавать муниципальные дома и все такое, и Марла всегда говорила, что придет, но не ходила, потому что или работала, или курила.

В этот раз он что-то плел про какую-то выставку картин его знакомой художницы, в яслях на Замковом Холме в пяти минутах ходу. Пока он объяснял, она особо не слушала, но это все как-то было связано с тем, что художница поддерживала одну его политическую кампанию в Боро и что она сама отсюда родом, будто это что-то меняет. Боро – помойка, полная гнилых ублюдков, как эти уроды по соседству, из-за которых на ней висит ASBO, и если б она здесь не работала и не жила, то хоть сейчас снесите всю эту срань ко всем чертям и прикопайте потом. Дедок Томпсон рассказывал, что выставка завтра днем, в субботу, и Марла ответила, что обязательно придет, хотя оба понимали, что ни фига, просто отболталась, чтобы закрыть дверь и его не обижать. Завтра днем Марла будет или в порядке – то есть сидеть в квартире и кайфовать, – или не в порядке, и на картины смотреть ей в любом случае не захочется. Все равно это наеб – люди говорят, что видят что-то там глубокое, только чтобы поумничать.

Захлопнув дверь за дедком, Марла понадеялась, что завтра днем все же будет в порядке, а не не в порядке – что бы это ни значило. Вообще наверняка ничего страшнее, чем наматывать круги по Графтонской и Овечьей улицам, как сегодня, в надежде, что перепадет обеденный клиент. Ничего хуже с ней не случится, говорила она себе. Она знала, что точно не пойдет сегодня вечером на Алый Колодец, как бы плохо ни было, ни за что, так что об этом варианте можно не переживать.

Когда она избавилась от Томпсона или он там ушел к соседям, то вернулась в гостиную и села, где сидела, но обнаружила, что больше не может, как раньше, представить, как люди трахаются у камина. Пропали напрочь. Она снова поискала у софы и под ней, потом опять села и подумала, что это все виновата ее блядская мамаша Роуз. Тощая белая прошмандовка, вечно гонялась за ниггерами с дредами, болтала как Али Джи, постоянно лезла со своим «Боб

Марли хуё, Боб Марли мое». Даже свою родную коричневую дочь назвала Марлой, а второе имя – Роберта. Марла-Роберта Стайлс, и Стайлс – фамилия ее мамы, а не папы Марлы. Он-то давно свалил, и Марла его нисколько не винила, просто ни разу. «Ноу факинг вуман – ноу край».

Все время, пока росла Марла, мамаша варила ебаный карри в наушниках и подпевала «оживи себя» или еще что. Или сидела перед теликом, пыхала паршивую травку по крошке и говорила, что это, блядь, ганджа. И еще ее хахали, сплошные долбанные ниггеры, которые утекали уже через шесть недель или шесть минут, как только узнавали, что у нее ребенок. Когда Марле было пятнадцать, она с одним перепихнулась, с хахалем Роуз, косоглазым Карлтоном, просто чтобы отомстить Роуз за... да за все. Просто за все. Марла до сих пор не знала, поняла мамаша про нее с Карлтоном или нет, но месяца не прошло, как его выпнули из дома в Мейденкасле, да и атмосфера стала такая, что Марла сама долго не задерживалась и съебалась, как только стукнуло шестнадцать. Примерно тогда она повстречала Саманту, и Джемму Кларк, и остальных, и Кита.

С тех пор мамаша заезжала только раз, когда Марла нашла хату. Посидела на этом диванчике с хлипким косячком, – Марла так ее сейчас и видела, – и сказала, что, на взгляд Роуз, все дочка делает неправильно, ломает себе жизнь. «Это всё наркотики. Это тебе не чуток травки. Потом к ним попадешь в рабство». Ага, а ты у нас не в рабстве у сидра и черного хрена, лицемерша гребаная. Но Роуз бы ответила что-нибудь типа: «Я хотя бы не торгую собой на Графтонской». Мам, да ты и не можешь. Тебе никто не заплатит, и даром не возьмет, ты просто – просто не можешь. «Ты живешь без любви». Да еб твою мать. Тупая ебаная... что, а у тебя любви до херища? А у кого она вообще есть? Она только в **ЕБАНЫХ ПЕСНЯХ** и **ЕБАНЫХ ОТКРЫТКАХ**, пизда ты тупая, тупая старая пизда. **НЕ СМЕЙ МНЕ ПИЗДЕТЬ, ПОНЯЛА**, даже не смей мне пиздеть, потому что у **ТЕБЯ** – у тебя вообще **НЕТ ПРАВА**, ни хуя нет права. Сидишь с **ЕБАНЫМ КОСЯКОМ**, ебаной своей **ГАНДЖЕЙ**, лыбишься, сука, потому что упоролась, говоришь успокоиться. **ЧТО? Что, НА ХУЙ? Я ТЕБЯ сейчас успокою**, пизда старая. Оставляю со швами на лице и переломанными ребрами, посмотрим, как **ТЕБЕ** это понравится, ебаная, **ЕБАНАЯ...**

Там никого нет. Она здесь одна. Бля, отвечаю, тебе пора башку прочистить. Seriously. Она же орала, и не просто в мыслях, а вслух. У Марлы это уже входило в привычку – крики, в смысле. Орала на мисс Пирс, бывшую училку из Лингс. Орала на Шэрон Моусли, с которой училась в первый год, орала на мамашу, орала на Кита. Ага, конечно. Мечты-мечты. Но хотя бы это были настоящие люди, которых она лично знала, – по крайней мере, по большей части. По крайней мере, пока. А был раз – нет, два раза, – когда Марла орала на дьявола, хотя это со многими бывает. У Саманты было. Она говорила, что для нее он красный и мультяшный, с вилами, но у Марлы все было по-другому.

Это было посреди ночи месяца три назад, после того, что случилось с Самантой. Курить было нехрен, потому что рядом никого не было, но кто-то – кто ж это был? – подогрел ее колесами, хер знает чем, просто чтобы перебиться. Она сидела в этой самой квартире, там же, где и всегда, сидела на кровати в темноте с сигаретой, надо было покурить хоть что-то. Тарасилась на конец сигареты, обычное дело, и в темноте тот походил на мелкую рожицу, рожицу мелкого старичка с розовыми щечками и розовым ротиком, и двумя черными пятнышками вместо глаз. Хлопья серого и белого пепла стали его волосами, бровями и бородой. Наверху горели две искры – ярко-красные, так что напоминали рога, маленький демон на конце сигареты, причем казалось, он ухмыляется. Там, где огонек прожигал бумагу изнутри, казалось, он скривил рот, и Марла ему такая, типа: «Да? Чего смешного, козел, бля?» А он такой: «А ты как думаешь, что тут смешного? Ты смешная, разве непонятно? Потому что когда ты умрешь, то попадешь в ад, если не возьмешь себя в руки».

Тут рассмеялась сама Марла, ну, фыркнула. «Да что такое ад, уголок пепельный? Я тебе скажу, что такое для меня ад: застрять навечно здесь, на Банной улице», – а он ей: «Совершенно верно», – и вот тут она реально психанула, на хуй. Где она такого набралась? Если она в мыслях трепалась с людьми, они говорили так же, как она, а она ни разу в жизни не сказала «Совершенно верно». Она его затушила, размазала мелкие горящие мозги по пепельнице у кровати, а потом лежала до утра, все гоняла в голове то, что он сказал. Она ничего не понимала, и не понимала, почему так себя накручивает. Ебать, да он-то что понимает? Он же ебанный окурок.

Когда Марла увидела его второй раз, это было всего неделю-две назад, когда Кит сказал, что больше дел с ней не имеет. После этого она вернулась сюда, стояла в ванной, смотрела, что у нее с лицом, которое только на вид страшное, а так вроде без травм. Но на душе стало так погано, что она вспомнила про сигаретного демона и про то, что он сказал, – это ебаное «Совершенно верно» и все такое, – и так много думала, что он стал у нее в голове как настоящий человек, как мисс Пирс или Шэрон Моусли, и, как все люди в ее мыслях, он стал наезжать. Он как будто сидел на краю маленькой ванны, пока она стояла над раковиной сбоку и мазала подбородок Деттолом. Только в этот раз он уже был не красным кончиком сигареты, хоть и с таким же, типа, лицом. Он стал целым человеком, как ее мамаша или похотливый бродяга, которого она придумала. И весь разодетый в какую-то монашескую рясу, что ли, или старые тряпки какие-то, и они были красные, или зеленые, или и то и другое. С кучерявыми волосами и рогами, и бородой, и бровями, прямо как когда был сделан из пепла, и, как Марла видела его в своих мыслях, он по-прежнему лыбился, рассмеялся, когда Деттол стал жечь, и она снова расплакалась и перестала мазать, только чтобы собраться с силами.

Он так и угорал, этот старый дьявол, и она прямо сорвалась. Сорвалась к хренам и орала: «Почему ты от меня не отстаешь?» А он просто посмотрел на нее и скорчил рожу – типа, издевался, – и повторил ее же самые слова, тонким хнычущим голоском, чтобы как бы передразнить. Он только сказал: «Почему ты от меня не отстаешь?» – и тут она разрыдалась, а когда успокоилась, его уже не было. С тех пор она его не видела, и желанием не горела, но другие, кого преследуют демоны, говорят, что реже их посещения не становятся, только чаще. Он стал ее личным противным сигаретным дьяволом-оракулом, и она даже имя ему придумала. Пепельный Моисей, вот как она его называла. Иногда, когда чувствовала запах гари, – а это бывало часто, когда Марла сидела без дела в квартире: она думала, это так у нее нервы поджариваются, – она посмеивалась и говорила: «Во, Пепельный Моисей мимо проходил». Но это когда у нее было дунуть, и сама она была в хорошем настроении, и жизнь казалась веселей.

Марла снова копошилась у дивана, когда подняла глаза на каретные часы на каминной полке и увидела, что просидела здесь уже полтора часа, хотя только хотела забежать на всякий случай, если вдруг где-то затерялась хотя бы крошка. Бля. Если не поторопится, скоро закончится вечерний поток, когда мужики возвращаются домой на выходные с мест работы – в Милтон-Кейнсе, Лондоне или еще где. Уж лучше бы народу было погуще, чем она видела в обед на Регентской площади, Овечьей улице и там в округе, потому что если она не найдет деньги быстро, то – ну, она останется дома. Останется, почитает свой альбом с Ди, книжки про Потрошителя и потерпит – вот и все дела. Она железно, железно не выйдет сегодня ночью, ни за что. Ни за что.

Она прихорошилась, как могла, но с волосами поделать было нечего. Убрала альбом и книжки про убийства в комод в спальне, в ящик с чистой одеждой, чтобы не забыть, где они, потом прошла через черный ход на маленькой кухне, в большой бетонный двор многоквартирного. День был неплохой, но от одного вида гравийных дорожек, кустов и ступенек, ведущих к черным дверям квартир в противоположном здании или большим кирпичным аркам у дорожки между корпусами, у нее всегда падало настроение и в нос било воню Пепельного Моисея – хотя и не сегодня. Место просто отвратное. Ей просто не верилось, что здесь хоть когда-то могло быть что-то хорошее, а не ужасное.

Одной девчонке по соседству всего тринадцать, и весь прошлый месяц она была очень популярна у сомалийцев, эта везучая сука убогая. Ну, это ненадолго. Она недолго протянет. Потом еще один чудила – жил в корпусе за средней аллеей, умственно отсталый какой-то, которого отправили жить среди людей. А потом он встретил какого-то козла в пабе, да, козел напрашивается в гости, говорит, какое у отсталого отличное жилье и что он приведет друзей, вместе-то веселее, да? И внезапно к хозяину въезжает банда убанов, захватывают квартиру, говорят, убьют его на хер, если до них кто доебется, а он-то что, он отсталый и не врубается, и кроме того, вполне могут и убить. Теперь на хате отсталого банчат и устроили бордель, а сам он живет на улице. Здесь, в многоквартирниках на Банной улице, жили все отбросы, которых управе было некуда спихнуть: психи, косовары, албанцы и все такое – сюда можно было слить все говно и просто ждать, пока оно само исчезнет, испарится в тумане, как тут рано или поздно происходит со всеми, как с Самантой и другими девчонками, Сью Беннет и Сью Пакер, и той еще, со здоровой щербинкой, – они еще шутили, что она зубы струной от банджо чистит. Керри? Келли? Короче, та, которую нашли на улице Монашьего Пруда, белобрысая с зубами. Насмерть еще никого не убили, но часто было на грани. Саманта, судя по всему, была на грани. Так что Марла ни за что не выйдет на улицу сегодня ночью.

В конце концов, на нее есть ASBO. Вот тоже причина не казать носу из дома, даже не считая всего остального, вроде дел с Самантой там. Блядские соседи Робертсы, вот кому надо сказать спасибо, вот кто удружил. Это было, типа, три-четыре месяца назад, когда Кит еще находил ей работу. И были, ну сколько, две-три ночи, пять ночей самый максимум, когда она водила клиентов в квартиру. Даже не поздно, ну часа в два где-то, и каждый раз блядские Уэйн и Линда Робертсы тут как тут у нее на пороге, каждый ебанный раз колотят в дверь и вопят про шум, пиздят про своего ребенка, и все это, пока клиент смотрит и слушает, как ее крошечным матом кроют, – ну и чего удивительного, что она отвечала? Пять, сука, раз. Ну шесть самый максимум, и вот на шестой они выбили на нее предписание за нарушение общественного порядка.

Ебанные ASBO. Это что? Это просто хуйня, которой они держат места вроде Боро под контролем, не тратя денег на лишних копов. Просто расклей на каждую паскуду ASBO, а потом пусть ебанные камеры присматривают. А у камер, как там это называется, нулевая терпимость. Если кто на записи нарушает свои условия ASBO – все, хана, закрывают тут же. И похер, за настоящее правонарушение или нет. Марла слышала про какую-то телку, которая схлопотала ASBO за то, что загорала – да – у себя во дворе. Это что, блядь, за херню? Какая-то хитрожолая сука по соседству, какая-то старая пизда, у которой свербит каждый раз, когда кто-то наслаждается жизнью, когда видит человека с сиськами наружу, и вот они, блядь, они что, суки, делают, они выбивают на тебя ебанный ASBO, а потом...

Жирный Кенни. Вот кто подкинул ей колеса в ту ночь, когда она впервые увидела Пепельного Моисея, большой лысый пацан, который жил в многоквартирнике на Мэйорхолд за Клэрмонтом, за Бомонт-кортом – их еще называют Башнями-близнецами. Она заходила к нему на хату и дрочила, а он расплатился колесами. Смешно, когда какую-нибудь мелочь вспоминаешь-вспоминаешь, а потом бросаешь стараться и думать забываешь – и тут она и всплывает. Она прошла по двору до ворот одной из кирпичных арок, где видела, что открыто и ключ не понадобится, потому что свой она посеяла или куда-то положила и забыла, куда. В своем сексуальном плащике, который не снимала все время, пока заходила домой, она прошла по средней тропинке к пандусу и по пути послала на хуй псину, откладывавшую там здоровую личинку.

Поднявшись на пандус и выйдя на Замковую улицу, она откуда ни возьмись почувствовала прилив бодрости, когда на минутку вышло солнце, показалось из-за облака. Почувствовала прилив позитива и все дела, и подумала, что это хороший знак, к добру. Не настоящая примета, но все-таки. Все будет хорошо. Найдет кого-нибудь себе на Конном Рынке или Лошадиной Ярмарке, а потом – кто знает, может, и вообще жизнь наладится. Если приведет себя в

порядок, тогда и Кит может снова позвать к себе, ну или на хуй его – найдется кто-нибудь еще, косовар какой-нибудь, ей пофиг. Когда она вышла из-за отбойников в конце Замковой улицы на Конный Рынок, было полчетвертого. Ладненько. Посмотрим, кто тут у нас.

Трафик был активный, но все шло быстро и торопились домой, никто не тянул, поглядывая на тротуар. За оживленной дорогой она видела задницу Садов Катерины, которые местные старперы зовут «Садами Отдыха», за улицей Колледжа и этой самой мрачной церковью. В многоквартирнике на Банной улице жили бабульки, которые стояли на панели в старые времена, в лохматые шестидесятые. Марла-то не могла себя представить даже в тридцать. Так эти божьи одуванчики рассказывали, что раньше, в 1950-х и 1960-х, во время войны или когда там, все дела делались в Садах Святой Катерины и верхах улицы Колледжа. Где Колледжная встречалась с Королевской, стоял паб под названием «Критерион» и другой прямо через дорогу – «Митра». Там-то девки и работали, в те времена. Делом занимались либо прямо в кустах в Садах Катерины, либо у них рядом с «Митрой» был таксопарк, оттуда машины гоняли их с клиентами на Банную улицу, ждали ровно пять минут, пока мужик дела доделает, а потом мчали обратно в паб. Марле это даже нравилось, как-то все уютно и дружелюбно. Всегда было кому за тобой присмотреть.

Конечно, в те времена и коп был другой. Какой тогда был план: все разные виды швали рассовать по разным пабам. Так что все хиппи и торчки зависали в одном пабе, все байкеры – в другом, пидоры и лесбы – где-то на дороге Уэллинборо, а все девки – здесь, в конце улицы Колледжа. Судя по всему, работала схема на ура, а потом приперлись новые копы с новыми идеями, которые, наверно, просто хотели выслужиться и покрасоваться в газетах. Пришли и разгромили все пабы, и рассеяли народ по ветру, так что теперь шваль сидела в каждом пабе города. Марле казалось, что это чем-то похоже на Афганистан, когда все террористы сидели в одном месте, а потом туда заслали солдат – и эти гады теперь, сука, всюду. Охуеть результаты. Марла все представляла, каково работалось Элси Боксер и другим старушкам из многоквартирников, еще в 1960-х – когда все было, как его там, диккенсовское такое. Наверняка же просто зашибись.

Элси говорила, что у «Критериона» на окраине Садов Катерины раньше стояла статуя, как бы такая телка с голыми сиськами и рыбой в руках, но люди все время над ней прикалывались: то сиськи краской покрасят, то еще что, а потом ей голову отбили. После этого люди наверху, наверно, подумали, что не заслужил такой народ статую, так что перенесли ее в Делапре, Аббатство Делапре, где все шикарное и старинное, – это за парком Беккетта, который, как сказала Элси, раньше звался Коровий Лужок. Марле было жалко статую эту. Самая типичная хуйня. Всегда так с чем-то сексуальным, да? Есть какая-нибудь женщина или там статуя, с сиськами и все такое, – значит, обязательно найдется какая-нибудь сволочь, какой-нибудь мужик, который захочет ее сломать. Все самое красивое, вроде принцессы Дианы или Саманты. Убить на хуй. Оторвать башку. Таков порядок вещей, и так было всегда. Некоторые бляди – ничего на свете не уважают.

Она постояла с минуту, прикидывая свои перспективы. На холме слева была Мэйорхолд – там тоже, по словам Элси, раньше было отлично, что-то вроде деревенской площади, где теперь всего лишь дорожная развязка. Хорошее место для работы – ну, раньше не подводило, – хотя только по темноте, а не в это время дня. Лучшим вариантом было пойти вниз к светофору у подножия, на угол, где Золотая улица и Конный Рынок встречались с Подковной улицей и Лошадиной Ярмаркой. Там она будет ловить клиентов, что идут по Лошадиной Ярмарке с вокзала, и поток в другую сторону, вниз по Конному Рынку и Подковной улице в сторону Пути Святого Петра и из города. Плюс, да, там еще ibis, на месте, где на Ярмарке снесли «Барклейкард». Люди вдали от дома в отеле – как знать, как знать. Сунув руки в карман винилового плащика, она зашагала вниз по холму.

У подножия Марла перешла Конный Рынок на сторону Золотой улицы, где пиццерия, затем пересекла Золотую улицу до угла, где та соединялась с Подковной, там постояла, закури-вая. Вот единственный плюс в этих самых законах против курения. В офисах и вообще рабо-тают столько женщин, которые бегают на перекур, что если в наши дни стоять на углу с сига-ретой, то никто не решит автоматически, что ты тут по делу и все такое. Она оглядывала толпу, перебегающих стайками по зебрам людей, идущих с работы, торопившихся заварить детишкам дома чай. Марле было интересно, что у них в головах, наверняка какая-нибудь тухлая ебанина типа футбола и телика, не то что у нее, всякие охуенные чудеса и воображение, все дела, – будто кто-то еще додумается приклеить принцессу Ди на солнце. Выглядывая в толпе клиен-тов, она позволила себе замечтаться, представляя, какого бы парня она сейчас хотела увидеть, если б могла выбирать, типа любого.

Не амбалистый мужик, и вообще не мужиковатый. Не гей, но миленький. Немножко жен-ственный – по виду, не по поведению. Глаза красивые. Ресницы красивые и все такое, и чтобы реально накачанный, поджарый такой, и, типа, танцует заебись и в постели заебись. Черные кучерявые волосы и, типа, такая борода... не-не, такие усики... и чтобы с ЧЮ, как в объяв-лениях пишут, с чувством юмора, чтобы ее смешил, а то она ни разу не смеялась уже охереть сколько месяцев. С ЧЮ, но без ЧСВ. И некурящий, и белый. Просто так, без причины, про-сто белый и все. Подойдет к ней прямо тут, на этом углу, и познакомится, пофлиртует, а не сразу в лоб – почему стоишь. Ресницами похлопает, будет шуточки отпускать и смотреть на нее так – типа оба знают, к чему все идет, как бы реально развратно по-реальному, а не как на DVD. Ох ебать. Марла сейчас от собственных фантазий потечет. Она крепко затаилась и усталилась в землю. Этот чувак – этот чувак такой накачанный, что даже денег взять рука не поднимется, да? Сама будет готова заплатить. Этот чувак – она отведет его на квартиру, а по дороге он полезет целоваться, поцелует ее в шею и, может, чутка полапает за задницу, а она скажет «нет», а он на нее только так посмотрит своими глазами, да? Глянет из-под ресниц, как мальчишка, и ляпнет что-нибудь охуительно смешное, и пусть тогда делает все, что захочет, она не против. Все. Когда придут к хате, он наверняка прижмет ее к двери квартиры, прямо в коридоре, и сунет руку ей в штаны, и они будут сосаться, а она типа – нет, ох, твою мать, дай хотя бы дверь открыть.

А потом Робертсы засадят ее в тюрьму.

Она услышала, как часы на колокольне Всех Святых в конце Золотой улицы пробили три четверти часа – без пятнадцати пять, и раздавила туфлей окурки. Обвела взглядом толпу прохожих, но хуй там. Впереди идет какая-то белая красотка с рыжими волосами и пиздец красивым малышом в этом таком слинге на груди. Ага, неплохо, девочка. Классные сиськи. Все у тебя заебись, да? Ты небось даже не заслуживаешь малышку, просто заперешь ей жизнь, и она вырастет и будет жалеть, что ты ее рожала, что она не умерла, пока была маленькой и счастливой, – а ты как хотела. Так и бывает. Так, блять, всегда и бывает.

Славный черный дядька на велике, с белыми волосами и белой бородой, отработал и катит домой, встал на своем велике, уперевшись одной ногой, ждет светофора, и какие-то пят-надцатилетки со скейтбордами под мышками, но перспектив ноль. Марла бросила взгляд на Подковную улицу слева и задумалась, не стоит ли нанести визит в бильярдную, которая была на полпути к пабу «Веселый придурак» или как его там – он, по словам Элси Боксер, раньше был байкерским пабом с чем-то там портовым в названии. «Портовые огни». Хорошее название, уютное такое, лучше, чем, блядь, «Веселый придурак». В бильярдной может кто и оказаться, например победитель при деньгах и на кураже.

С другой стороны, ей не очень нравилось в бильярдной. Не потому что там темно или гадко, но... ладно, блин, это полный бред, конечно, но зашла она туда как-то раз днем, да? И там почти никого не было, и везде темно, и большие лампы над столами светили большими прямоугольниками, как бы, просто света, белого света, и Марле стало так стремно, что она,

как бы, тупо сразу ушла. Даже потом объяснить не могла, что на нее нашло, какое-то жуткое чувство, с которым она уже когда-то сталкивалась, и только потом поняла, что все было, как когда она в детстве зашла в церковь. Она рассказала про это Киту, однажды ночью в постели, а он сказал, что она ебанулась, что это тараканы. «Это тараканы, девочка. У тебя в голове тараканы». Она ненавидела церкви. Бог и все такое, всякие мысли про смерть, про то, как живешь, вся эта хренотень – до депрессии доводит. Если ей хотелось чего-нибудь религиозного, она думала о принцессе Ди. Так что все клиенты в своем святом бильярде могут идти строем на хуй, решила Марла и сунула руки в карманы, спрятала подбородок в воротник и подождала, пока светофор сменится на зеленый, чтобы перейти по верху Подковной улицы на Лошадиную Ярмарку. На вокзале что-нибудь да обломится.

До Ярмарки, по противоположной от отеля и досугового центра стороне улицы, Марла шла спокойно. Чего торопиться, это людей только с толку сбивает – будто ты против, если тебя остановят поговорить. Она шла мимо ресторанов убитого вида, а когда была возле улочки рядом с Ярмаркой – Школьной, миновала одну парочку женатиков лет сорока – и какие же у них были рожи. Такие унылые, будто мир рухнул, перлись на Ярмарку со Школьной улицы, на север к городскому центру. Не держались за руки, не разговаривали, даже не смотрели друг на друга, ничего. Марла даже не знала, с чего взяла, что они женаты, но такое уж складывалось впечатление. Шли, пилились перед собой в пустоту, словно прямо сейчас случилось что-то ужасное. Только она задумалась, что у них за беда, как чуть не влетела в мужика, вставшего посреди дороги у начала Школьной улицы, разглядывая улицу так, будто что-то потерял, собаку там, например.

Мужик был высоченный, белый мужик, в годах, но и в хорошей форме, с черными кучерявыми волосами, которые еще не поседел, – но больше на мужчину мечты Марлы он ничем не походил. Ни тебе красивых ресниц, ни усиков, зато нос огромный, и грустные глаза, а над ними бровки домиком, как будто так и застряли навсегда, и широкая грустная улыбка. И одет как-то смешно, в какой-то оранжево-желто-красный жилет поверх древней рубашки с закатанными рукавами, и с такой повязанной на шее штуковиной – не галстук, не шарф, а как бы крашенный платок, как у фермеров в книжках. Из-за большого носа и кудрей вид у него был цыганский, и вот он торчал и ждал на Школьной улице собаку, свою старушку или кого там он потерял. В общем, не красавчик, и в отцы Марле годился, но у нее бывали и постарше – и, как она отлично знала, бывали и пострашнее. Когда она отступила, чуть не налетев на него, сперва улыбнулась, но тут вспомнила, что у нее зуба-то нет, и тогда вместо улыбки как бы поджала губки, скусилась, как для поцелуя.

– О-о, прости, мужик. Не вижу куда иду.

Он оглянулся на нее с грустными глазами, но натужной улыбкой. Она поняла, что он явно заложил за свой платок кружку-другую, но так даже лучше. Когда он ответил, оказалось, у него смешной высокий голос с какой-то гнусавостью. И даже не всегда высокий, иногда опускался – как говорил «Ар-р-р» Фермер Джайлс ¹⁷, – в тему шарфа на шее, весь какой-то деревенский, что ли, Марла не поняла. Но потом он вдруг рассмеялся, странно захихикал, как будто бы нервно. Ну точно нажрался.

– А-а, ничего, милая. Все в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Ох сука. Она изо всех сил сама сдерживала смех, как когда еще в Лингс ей выговаривал какой-нибудь учитель, а она старалась не заржать, с таким звуком, когда хрюкаешь носом и скрываешь за кашлем. Ну и цирк, блядь. У него реально мозги не в порядке – не то чтобы он опасный или, типа, дурик, которых отправляют жить на общественное попечение, но просто не от мира сего, или, типа, следующий Доктор Кто. В любом случае, главное, что не кусался, так что она перешла сразу к делу.

¹⁷ Персонаж юмористической сказки Дж. Толкина.

– Не хочешь развлечься?

Как он среагировал – она в жизни ничего подобного не видала. Как будто вопрос его не шокировал по-настоящему, а он только разыгрывал шок, преувеличенно, переводя в шутку. Отдернул голову назад и раскрыл глаза, как от испуга, так что взлетели большие черные брови. Он как будто был из фильма, который она не видела, какого-нибудь старомодного, или из какой-нибудь пантомимы, или – как это называется – мюзик-холла, все дела. Нет. Нет, не то, что-то другое. Скорее, как в фильмах, когда в них еще не было разговоров, а только музыка и все черно-белое. Они так же перебарщивали с каждым выражением, чтобы точно было понятно, что происходит, раз все молчат. С удивленным лицом он покачал головой, чтобы казаться пораженным до глубины души. Они как будто вместе играли в школьном спектакле – по крайней мере, так думал он, – когда все уже написано и разучено заранее. Не, он себя вел так, будто рядом были телекамеры, снимали какую-то новую комедию. И вел себя так, будто она в курсе происходящего. Он сбросил удивленную маску, и глаза снова стали грустными и добрыми, как бы сочувствующими, потом картинно отвернулся в сторону, будто глядел на зрителей или камеры, которые она не видела, и снова повторил свой хохоток, будто ни хрена смешнее в жизни не слышал. Марле отчего-то показалось – наверно, потому, что она давно не дула, – что в этом-то он может быть прав. Если подумать, все это охуеть смешно.

– Ах-ха-ха-ха. Нет-нет, все в порядке, милая, спасибо. Нет, бог с тобой, все в порядке. Я в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Смешок в конце взлетел реально высоко. Как будто ему за что-то стыдно, но он был весь такой из себя, что она не могла врубиться. Не ее профиль. Вот это промах так промах. Она попробовала еще разок, на случай, если чего-то не так поняла.

– Точно?

Он наклонил голову назад, выставив здоровый скачущий кадык, а потом покрутил ей из стороны в сторону, все это время смеясь по-своему. Она знала выражения типа «закинул голову и расхохотался», но только по книжкам. Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь так делал в жизни. Выглядело пиздец как ебануто.

– Ах-ха-ха-ха. Нет, милая, я в порядке, да. И всё в порядке. Чтобы ты знала, я публикующийся поэт. Ах-ха-ха.

И стоит с видом – типа, что же тут непонятного. Все же, типа, сразу встало на свои места. Она ему как бы кивнула с натянутой улыбкой, которая говорила: «Ага, чувак, прикольно, ну тогда бывай», – а потом Марла сдригнула к церкви Петра, мимо всяких домов из коричневых камней с окнами со свинцовыми переплетами, мимо Хэзел-как-там-его-хауса и всего такого. Оглянулась раз – он так и торчал на углу, вылутился на свою улицу, будто ждал, когда на холм прибежит собака или кто там от него сбежал. Поднял взгляд, увидел, как она смотрит, и снова закинул голову. Даже издали она поняла, что он и посмеяться не забыл. Она отвернулась и прошла мимо церкви Святого Петра к вокзалу, где уже было видно, как возвращаются домой люди: на противоположной стороне Ярмарки вверх по склону двигала целая толпа, и никто не смотрел ни друг на друга, ни на Марлу.

Слева, за черной оградой и травой вокруг, церковь Петра казалась реально древней стариной, да? Реально тюдоровской, или эдвардианской, или какие там еще бывают. Марлаглянула, не спит ли кто на крыльце у дверей, но там никого не было. Она вспомнила, что сейчас уже время к вечеру, часов пять или около того, а в дверях больше на ночь спать не пускают, только днем. Ночью всех спроваживают, хотя где тут логика. Она проходила вчера в обед у церкви Петра, и у двери дрыхли два чувака. А, или нет, минутку, ни фига же не два, да? Только один. Как-то странно, если теперь подумать.

В дверях она видела двух человек, или по крайней мере две пары пяток, торчащих из-под спального мешка. Носки смотрели друг на друга, внутрь, так что она решила, что они спят лицом друг к другу, и больше не заморачивалась. А когда оглянулась опять, поравнявшись

с воротами, увидела уже только одну пару ног. Вторая исчезла напрочь. Мистика какая-то. Она долго шевелила мозгами по-умному, пытаясь разобраться, типа, куда делись вторые ноги. Может, типа, вся фишка в том, что, когда она смотрела в первый раз, ноги были босые, и чувак просто снял ботинки и положил их к ступням, носками к себе. А между тем, как она смотрела первый и второй раз, уже надел ботинки, вот она и видела только две ноги, и решила, что его напарник исчез или был призраком, хэээ. Не то чтобы Марла верила в призраков, но если бы они были, где им тусить, как не в церкви Петра, а? Где-нибудь в местах из их времен, Тюдоров, Эдуардов и их друзей.

Проходя теперь мимо ворот, Марла не могла не бросить взгляд внутрь, просто проверить, но порог под сводом перед закрытой черной дверью оказался пустым, только понаклеили на дверь плакаты какой-то другой религии, которая арендовала помещение, то ли греческих киприотов, то ли пакистанцев, кто их разберет. Она прошла мимо, оказалась у «Черного льва», где остановилась и окинула взглядом огромный просторный перекресток перед самым вокзалом в час пик. Из него так и перла куча народу, поднималась на Холм Черного Льва и по Лошадиной Ярмарке в город, и от двора вокзала на этой стороне Западного моста разъезжались такси всех цветов, чтобы торчать на светофорах бок о бок с фургонами и грузовиками. Ну и безнадега. На хера она приперлась? Двор вокзала всего лишь через дорогу, но она не может туда пойти – с таким же успехом могла бы туда слетать.

Сегодня же вечер пятницы. Понаедут девчонки из Блетчли, Лейтон-Баззард, даже ебаного Лондона, почему бы и нет, – девчонки со своими сраными папочками, и все лучше ее, потому что за ними-то приглядывают, и они будут на нее смотреть, зная, кто она – что она одна из них, но только хуже. С этим своим блядским взглядом, да? Ну и, конечно, Кит. Кит наверняка будет поблизости, искать новых звезд. Он иногда этим занимался по пятницам, и она знала, что не выдержит, если Кит увидит ее в отчаянном состоянии. Ебать, да все равно никто не работает на вокзале, где сплошные камеры. Она чем думала? Эй, есть кто дома? Земля вызывает Марлу. Туда она не пойдет, но тогда у нее ничего не будет на ночь, ну и хрен с ним, все равно туда она не пойдет. Но тогда ничего не будет на ночь. Ну блять.

А что тогда остается. Остается Жирный Кенни. Ничего хорошего у него нет, но наркоту он любит не меньше ее, вдруг что найдется. Он ее подогреет, тогда она протянет до завтра, даже если опять всю ночь проговорит сама с собой, не сомкнув глаз. Ничего, бывают ночи и похуже. Она подождала, пока сменится в ее пользу свет светофора, затем поцокала между ожидающими машинами через Холм Черного Льва на другую сторону Ярмарки, где Меловой переулочек шел к Замковой улице и туда, где она жила в многоквартирных на Банной улице.

Из-за Мелового переулка Марла всегда вспоминала о Джеке Потрошителе, по крайней мере с тех пор, как прочитала пару лет назад в «Хроникл энд Эхо», как какой-то местный типок думал, будто Потрошитель из этих мест. Маллард, так его звали, – и того, кто написал статью, и того, кто типа совершил все убийства. Мужик исследовал свое семейное древо и нашел другую семью Маллардов, с той же фамилией, но не родственников, – они жили у церкви Доддриджа в Меловом переулке, где-то в этих местах. У них в семье водились психи: папаша покончил с собой, а один сын поехал в Лондон, работал мясником в Ист-Энде как раз в то время, когда произошли убийства. Марла уже начиталась теорий и сомневалась, что эта чего-то стоит. Просто прикольно, что вот она такая фанатка Джека Потрошителя, а люди думают, что он чуть ли не с ее улицы родом.

Некоторые девчонки спрашивали, типа, на фига тебе такое читать, особенно с твоей-то профессией, но Марла такая, типа... блин, ну не знает она, на фига. Не знает, почему увлекалась Джеком Потрошителем почти так же, как принцессой Ди. Может, потому, что это все преданья старины, типа из времен «Властелина колец». Может, потому, что это все было не про 2006-й и не про панель ее времени. Как его, эскапизм – викторианские времена, «Бархат-

ные ножки»¹⁸ и все такое. Ненастоящее. Поэтому ей и нравилось. А если залезть поглубже, то реально, реально интересно разбираться во всякой начинке: как королевская семья приказала убить столько женщин прямо так же, как Диану. Ее, конечно, не порезали, но суть одна.

Теперь, когда она задумалась, вспомнила, что в Нортгемптоне бывали проездом и другие возможные Потрошители, не только этот самый Маллард из местной газеты. Герцог Кларенс – он приезжал на открытие старой церкви Святого Матфея на севере в Кингсли. Был еще какой-то ебанашка, какой-то долбанутый поэт, который ненавидел женщин. С инициалами «Дж. К.». Дж. К. Стивен. Он умер в психушке на Биллингской дороге, пафосной – где, говорят, лежали всякие Дасти Спрингфилд, Майклы Джексоны и прочие. Этот самый Стивен – он писал стихи, в которых опускал женщин. Это же он написал «Кафузелум»? Там было что-то типа: «Слава Кафузелум, блуднице иерусалимской». Запомнилось, потому что имя прикольное. Бля, уж лучше бы ее звали Кафузелум, чем Марла.

Она подошла к входу в Меловой переулок с Холма Черного Льва и, типа, пару секунд думала: обойти, что ли, все двери домов в переулке слева. Иногда знакомые девчонки, когда работа стояла или дальнобой в автопарке «Суперсосиска» не проявляли интереса, – они этим занимались. Обходили округу, типа, от двери к двери, по знакомым домам с холостяками, вдовцами и кем там еще, или просто стучали наугад в любую дверь и спрашивали, не интересно ли развлечься, – прямо как цыгане, которые торгуют прищепками. Вот Саманта один раз, да, – она говорила, как стучалась в дома на Холме Черного Льва, где никого не знала, тупо наудачу, и встретила того самого Кокки, депутата, у которого жена тоже депутат. Жена была дома, хай поднялся до небес, говорили, что Саманту и всех ее знакомых проверят, так что она взяла ноги в руки и слиняла.

Не, Марле пиздец, если она начнет обходить Холм Черного Льва. Уж лучше подрочить Жирному Кенни. Может, у него хотя бы лишнее экстази найдется.

Она проходила слева парковку, когда слышала шум – голос или голоса с другого ее конца. На противоположном конце парковки – на склоне с сорняками за высокой стеной на дороге Андрея, где, говорят, когда-то старый замок стоял, – на пригорок карабкались дети. Она не видела, сколько, потому что последний залез как раз тогда, когда посмотрела Марла, но она как-то раз работала на этом пустыре, и ей стало неприятно, что теперь там играют дети. Им же восьми нет, как вообще таких мелких отпускают мама с папой, когда на улицах сплошные гребаные извращенцы. А через час совсем стемнеет – уже когда она была на Ярмарке, ей показалось, что дело к закату, судя по небу за вокзалом.

Последний ребенок на заросшем бугре, которого и увидела Марла, была совсем карапеткой с грязным личиком, но реально красивой, как, блядь, эльф какой-то, с неровной челкой и умненькими глазками – ими она зыркнула через плечо прямо на Марлу. Наверняка из-за расстояния и из-за того, что Марла видела ее всего минуту, не больше, – и ведь уже путалась с количеством ног в дверях у церкви Петра, – но Марле показалось, будто девочка была в меховой шубке. Не шубке, не, только на шее, как норковая накидка. Накидка. Девочка как будто была в накидке, с чем-то меховым на плечиках, но Марла видела-то ее всего секунду, а потом она скрылась и Марла пошла себе дальше, вверх к церкви Доддриджа. Наверное, какая-то пушистая футболка, пришла к выводу Марла.

Церковь Доддриджа была ничего, не такая унылая, как все остальные церкви, потому что без шпиля – просто обычное такое здание. Не, конечно, там была дверь на стене, от которой у Марлы всегда заворот мозгов. В чем прикол? Она видела двери наверху на местных старых фабриках, чтобы разгружать грузовики, но что в церкви разгружать? Псалтыри и все такое можно и тупо в дверь занести.

¹⁸ *Tipping the Velvet* – роман-бестселлер Сары Уотерс и одноименный сериал 2002 года на его основе.

Она поднялась по Замковой улице и оказалась у перекрытой улицы, с которой раньше выходила на Конный Рынок, но в этот раз двигалась в другую сторону – вверх, к Мэйорхолд, мимо подземных переходов и мимо офиса церкви Царства Небесного к многоквартирникам за Башнями-близнецами, где жил Жирный Кенни. Он был дома, и когда наконец открыл дверь посмотреть, кто звонит, то в руках держал тарелку с бутербродом с фасолью. На огромном брюхе натянулась брендовая толстовка – казалось, она минимум на размер меньше, чем надо. Как и его лицо казалось на размер меньше лысой башки, с большими ушами и серьгой в одном ухе. Он начал: «О, привет...» – а потом осекся, она поняла, что он не представляет, как ее зовут, и почти ее не помнит – ну спасибо, блядь, большое. Двадцать минут кочевряжилась с его хуйцом – и вот тебе благодарность. И все-таки она ему улыбнулась в духе флирта, вклинилась и напомнила, кто она и чем однажды услужила.

Она спросила, нет ли у него чего, что поможет расслабиться, но он покачал своей большой лысой башкой и сказал, что теперь у него только легальный стафф, который можно купить у черного входа Vizaagge, и стафф, который он выращивает сам. К нему скоро придет друг. Они собирались сами пробовать эту реальную тему. Марла сказала, что ей ну очень надо, и если он ей даст хоть что, то она будет очень благодарна, даже больше, чем в прошлый раз. Она думала ему отсосать, но он подумал-подумал и ответил, что можно, если только анал, а она сказала ему идти на хуй, иди на хуй и сдохни, гондон жирный. К тебе друг приходит, вот его в пердак и жарь, а она лучше перебьется. Он пожал плечами и пошел дальше доедать фасоль на тосте, а она развернулась и потопала перед Башнями-близнецами, по Верхней Перекрестной улице и назад на Банную.

Блядь. Она вошла в калитку в невысокой стенке, по средней дорожке между двух полосок травы. Блядь. Сука, ну и что делать? Целая ночь без всего, даже без Пепельного Моисея на конце сигареты, чтобы было с кем попиздеть. Блядь. Черные железные ворота под кирпичным сводом, из которых она выходила, все еще были открыты. Она спустилась по трем ступенькам во двор и почувствовала запах – запах Пепельного Моисея, будто кто-то говно жжет, или обосранные подгузники – наверняка ЕБАНЫЕ РОБЕРТСЫ. Суки. Мимо кустов – серая дохлая херня, а не кусты, – и по ступенькам под крышу галереи, оббегавшей все черные ходы. Марла увидела голову Линды-поганой-суки-Робертс, когда проходила мимо их кухонного окна, но раньше, чем паскудная падла оглянулась и тоже ее заметила, уже открыла свою дверь и вернулась в квартиру. Блядь. Говно полное. Целая ночь. Целая, сука, ночь и даже утро – кто сказал, что завтра она сразу же надывает?

Все дело в том, что когда пробуешь, то лишь первый раз кажется, будто тебя возносят, внутри тела и внутри головы, куда-то вверх, где твое место, где ты себя чувствуешь, как должна чувствовать, как себя ангелы блядские чувствуют. После первого раза так хорошо уже не бывает, а ближе к концу все херовей, пока не мечтаешь уже вернуться хотя бы к тому уровню, который был до первого раза. Какой там быть пылающим ангелом – хер там, этого больше не дождешься, нет, нет, – а просто почувствовать себя ебаным человеком, как раньше, хотя бы на десять минут, вот и все твои охуенные амбиции. Рай, где ты была в первый раз, давно закрыт. Обычный мир, где ты жила – он тоже по большей части закрыт, а ты застряла где-то еще, где-то ниже всего, как, сука, под землей.

Марле казалось, что это и есть ад – как она и сказала в разговоре с Пепельным Моисеем. Застрять вот так на Банной улице, только навсегда.

Запах в ее квартире – спертый запах сидения взаперти – он так и ударил в нос, когда она вернулась с улицы. Она знала, что мылась редко, и последний раз был давно, и всегда думала, что одежда протянет еще денек, но внутри уже стоял натуральный пиздец. Она уже как будто почти не отличала свой запах от запаха Пепельного Моисея, запаха горящего говна. Он стал ей, а она стала им. И что она будет делать всю ночь? Потому что тут она и просидит, это, блядь,

факт. Она никуда не пойдет – ТЫ НИКУДА не пойдешь, СУКА тупорылая. Будет сидеть дома. Всю ночь. Без всего, на хуй.

Как задумала, так и сделает. Почитает книжки про Потрошителя, полистает альбом про Диану... так, идея. Альбом про Диану, склеенная аппликация на обложке, самая лучшая картинка в ее жизни. Это же искусство, на хуй. Люди только что и отваливают бабло за искусство, и часто за полное говно – всякие банки с маринадом или кровати, которые даже не они сделали. Картинка с Дианой как минимум не хуже, как минимум стоит столько же. Если она живет на Банной улице, это еще не значит, что из нее не выйдет художницы. Этот мужик Томпсон, который тут все ходит, до хера политик, – он сказал, что его знакомая художница на завтра устроит на Замковом Холме свою выставку, сказал, что она родом из Боро – точь-в-точь, блядь, как Марла. Это же долбаная судьба, ебические совпадения, типа, что он пришел и зародил у нее такую идею. Значит, так все и будет. Еб твою мать, иногда говорят, что люди отдают за какую-нибудь картину тысячи. Ебанные миллионы.

Только подумай, что на это можно закупить. Больше не придется идти на панель, не придется пресмыкаться перед Жирным Кенни, Кит вообще может чесать на хуй. Да, ты. Ты слышал. Просто пиздуй. На хера ты мне, пизденый, когда у меня столько бабла? Катаюсь в капусте. Да я тебя заказать могу, дружок. Как два пальца – ебанный киллер, бац-бац, и я пойду бухать с Лизой Мафией. Она будет вся такая: «Это же ты Марла, да, охрененная художница, которая намутила картину с Дианой на солнце, все дела? Охерительно. Охуительно, ну? Вперед, подруга, бля». Как же будет заебись. Марла пошла за альбомом с картинкой, который оставила на кофейном столике, и вот тут осознала, что ее ограбили.

Что за хуйня? Здесь кто-то побывал, хотя замки целы. Она запирала? Запирала дверь, когда уходила? Отпирала, когда вернулась? Ну пиздец. Пока ее не было, кто-то приходил. Приходил, и забрал не телик, не битбоксую эту херню, даже не каретные часы. Нет, теперь она огляделась и видела, что не забрали ничего, кроме альбома Марлы. И книжек с Потрошителем. Их она тоже оставила здесь, прямо на кофейном столике, чтобы потом сразу найти. Ох блядь. Кто-то приходил, забрал ее альбом с картинкой Дианы, и хуже всего – она ведь была права. Права насчет картинки. Зачем ее спиздили, если она неценная? Ох ебанный в рот, какие она бы огребла миллионы. И что теперь. Теперь сидит и рыдает. Рыдает, блядь. Кит считает ее сукой и Лиза Мафия считает ее сукой. Принцесса Диана считает ее сукой.

Плачь, сколько хочешь. Плачь, сколько хочешь, тупая, тупая ты пизда. Плачь, сколько хочешь, потому что все равно никуда не пойдешь.

Луна была молодая – когда, вся четкая и острая, – висела над улицей Алого Колодца, что спускалась по склону к дороге Андрея. Это единственное место, где не только ходили клиенты, но и не было камер, хотя все говорят, что скоро их и сюда поставят. Слева через дорогу от Марлы были коттеджи, которые выходили на Верхнюю Перекрестную улицу. Большинство балконов темные, но в некоторых квартирах свет горел, проходил сквозь цветные занавески. Справа за забором в ромбик был газон над школой в Ручейном переулке. Марле всегда казалось, что по ночам, когда детей нет, школа похожа на дом с привидениями. Видимо, это потому, что днем в школе всегда стоит шум и всюду носятся дети, так что только больше обращаешь внимание, когда темно, тихо и ничего не движется.

Она прошла мимо школьных ворот и спускалась к нижней спортивной площадке. Теперь над дорогой высились другие многоквартирники – кажется, она слышала, что это «Серые монахи»? На вид они были такие же, как корпус Марлы, такие же старые, может, чуть в лучшем состоянии, ночью не очень-то понятно. Хотя у некоторых балконов были закругленные углы, и это как-то покрасивше, чем у нее. Она спускалась ниже, на противоположной стороне уже кончились «Серые монахи», а нижний конец Банной улицы закруглялся, чтобы влиться в Алый Колодец. Прошла мимо пустой спортивной площадки за оградой справа, и кроме машин

в отдалении на Спенсеровском мосту слышала только собственные шаги по ухабистой дороге, где между камнями прорастали сорняки.

Тут стоял на отшибе маленький домик – домик из красного кирпича в конце полоски травы вдоль дороги Андрея, на самом пересечении с улицей Алого Колодца. Небольшой, но выглядел так, будто это два дома слепились в одном. Он стремал Марлу, стремал каждый раз, как она его видела, и она сама не понимала, почему. Может, потому, что не въезжала, чего он остался стоять, если его микрорайон снесли много лет назад. Из-за плотных штор пробивался свет, так что там кто-то да жил. Она подняла воротник плащика и, щелкая каблучками, прошла мимо странного дома, завернула за него направо, на тротуар дороги Святого Андрея между дорогой и длинной, убегавшей к Ручейному переулку полосой травы – пустырем, где, видимо, когда-то стояли дома. В небе, тут и там между бурыми пятнами уличных фонарей, она видела все-все звезды.

Она знала. Она точно знала, что случится, знала нутром. Сейчас подъедет машина, в любую минуту. Та самая. Она ничего не может сделать, чтобы помешать, ничего, чтобы оказаться в другом месте. Все как будто уже случилось, уже было в тексте комедии того мужика в жилете, и она ничего не могла поделать, кроме как подыгрывать, исполнять все то, что должна, идти шаг за шагом вдоль травы к Ручейному переулку, затем в конце повернуть назад и вернуться к улице Алого Колодца, где на углу стоит темный дом – с этой стороны без огней.

Возвращаясь к Алому Колодцу, она слышала шум с сортировочной станции, за стеной за дорогой Святого Андрея, обычное дребезжание вагонов, но слышала она и детей, детский смех. Он доносился из длинного темного кустарника слева от Марлы, на противоположной стороне той полосы травы, которая шла вдоль нижних спортивных полей у школы. Наверняка именно этих детей она видела раньше – ту маленькую девочку в меховой накидке. Что они здесь делают так поздно? Она прислушалась, но больше голосов из-за изгороди не доносилось. Может, она их выдумала.

Маленький домик чернел на фоне серого неба над холмом, где был железнодорожный вокзал и Путь Петра. От вокзала навстречу ей по дороге Святого Андрея спускалась машина – медленно, ее фары приближались медленно. Марла знала, что произойдет, но, типа, оно произойдет так или иначе. Все уже уготовано, с той же минуты, как она вышла из квартиры, все выбито в камне, как какая-нибудь там церковь, которая уже построена и ничего изменить нельзя. Машина остановилась, переползла через дорогу и встала на углу на другой стороне улицы Алого Колодца, напротив этого дома. Детей Марла больше не слышала. Никого вокруг не было.

Она пошла к машине.

Неприкаянные

В каком-то смысле минуло сорок лет с тех пор, как Фредди Аллен оставил старую жизнь позади. Может, однажды он к ней вернется, такая вероятность есть всегда. Как оказалось, дверь всегда открыта, но пока что ему и так неплохо. Не сказать, что счастлив, но среди знакомых лиц, знакомых обстоятельств, в привычных местах. Неплохо. Всегда можно перекусить, если знать, где искать, всегда можно как бы выпить или время от времени заняться еще каким делом, хотя время от времени от этого больше головной боли. Но и всегда был бильярд, в бильярдном зале, а Фредди ничего не уважал крепче, чем поглядеть на залихватскую партию в бильярд.

Он помнил, как оставил ту жизнь, все дела – «Двадцать пять тысяч ночей», как это здесь прозвали. Для самого Фредди это было как вчера. Он был под арками у Лужка Фут, дрых на улице, как тогда было в его обычае, и вдруг Фредди что-то разбудило. Он как будто услышал грохот, который его и поднял, или как будто вдруг вспомнил, что наутро надо к чему-то готовиться. Проснулся так резко, что вскочил на ноги и успел дойти из-под арок железной дороги по траве до речного берега, прежде чем сообразил, куда его понесло. На полпути к реке он словно проснулся до конца, задумался – минутку, что за вожжа мне под хвост попала? Замер как вкопанный и оглянулся под мост, а там глядь – а место, где он кемарил, – на земле под кирпичным сводом, – уже занял другой бродяга, старик, привалился к стенке и даже прибрал набитую травой целлофановую сумку, что у Фредди была вместо подушки. Не щелкай клювом, называется. Он сделал несколько шагов назад к арке, чтобы рассмотреть, что же это за засранец такой, и запомнить его на потом. Прошла минута, прежде чем Фред узнал потрепанного жизнью типчика, но как узнал, сразу понял, что своего места ему больше не видать как своих ушей. Его выселили – и к этому придется привыкать.

Вот Фредди и привык со временем. Или не тратя времени, это как посмотреть. В здешних условиях жизнь не так уж плоха, что бы ему там ни рассказывал друг – хозяин дома на нижнем углу улицы Алого Колодца. Фредди видел, что хозяева желают добра, когда советуют не засиживаться, а подниматься, расти над собой, но им же попросту не дано понять, что Фредди и так неплохо. Не надо ни о чем переживать, как при старой жизни, – но разве они поймут, учитывая их положение в настоящем. Когда живешь там, внизу, у тебя другая точка зрения, не как сейчас у Фредди.

Сейчас была пятница, 26 мая 2006 года, если верить календарю за стойкой в «Черном льве», куда Фредди зашел просто глянуть, нет ли кого знакомого. Он только что поболтался в двадцать пятом и двадцать шестом, в краях повыше, в корпусе Святого Петра, где тамошняя знаменитая цветная женщина со страшным шрамом работала с проститутками и всяческими наркоманами и беженцами с востока. Нравилось ему там выше – все такие конструктивные, свое дело знают, – но знакомых поблизости не нашлось, так что он спустился пониже, где теперь и сидел за столом с Мэри Джейн напротив. Оба подпирали подбородки руками и опустили взгляд, малость пасмурный, на пустые стаканы на столешнице из клееной фанеры, мечтая по-настоящему выпить, но зная, что нельзя, что взамен им придется по-настоящему беседовать. Мэри Джейн подняла вечно прищуренные и подозрительные глаза и зыркнула на него поверх пустых стаканов.

– Значит, в двадцать пятом был, говоришь? Сама я туда не ходила, слыхала, там вроде как пабов нету. Правда, что ль?

Голос у Мэри Джейн был грубый, как у мужика, но Фред знал ее уже давно, чтобы понимать: это напускное. Звучит ее голос легко, но она нарочно басила изо всех сил, чтобы никто не принял ее за слабачку, хотя с чего людям так думать – Фредди понятия не имел. При одном взгляде на Мэри Джейн, с таким лицом и шрамами на костяшках, большинство и без того смекнет держаться подальше. А кроме того, все возможности влезть в драку давным-давно

иссякли. Больше незачем отпугивать людей. Фредди думал, что это просто пожизненная привычка, и Мэри Джейн ее уже не сменит, потому что и сама больше не изменится.

– Нет, пабов нет. Только что корпус Святого Петра, так он зовется, там за людьми призирают. По правде сказать, тамошние места вряд ли тебе угодят. Знаешь, бывают такие, где погода всегда скверная? Вот и там так. Народ хороший, есть даже совсем приличные, как в старые времена, но знакомого лица никогда не встретишь. Ну, не считая детских банд, но они везде шастают, мелюзга эта. Видать, все похоже на нас – бирюки, никогда свой клочок земли в Боро не покидают и выше четырнадцатого или пятнадцатого не ходят.

Она выслушала, что сказал Фредди, а потом скорчила рожу – такую, словно ее нарисовал ребенок на боксерской перчатке, – и вперила в него глазами. Но она со всеми так. На Мэри Джейн обижаться глупо.

– На хер пятнадцатые. Мне даже тут не по нутру.

Она махнула рукой со сбитыми костяшками, показывая на маленький приятный бар с разделенным помещением – в одной половине сидели они, вторая была выше по короткой лестнице. Там два парня болтали с девушкой за стойкой, пока она их обслуживала, и миловалась в углу парочка лет двадцати, но никого из знакомых Мэри Джейн или Фредди. «Черный лев», в этот его момент, еще оставался приличным местом, но с Мэри Джейн, когда она в таком настроении, спорить без толку, а она в таком настроении всегда, вот с ней никогда и не спорили.

– Как по мне, эти новые места – хренова трата времени. Вот сорок восьмой да сорок девятый – это да, там люди из другого теста, с огоньком. А если это не по тебе, может, сходишь со мной ночью в «Курильщики», над Мэйорхолд? Там до сих пор старая гвардия, и все тебя знают, так что без компании не останешься.

Фредди только покачал головой.

– Это не про меня, Мэри Джейн. Они для меня крутоваты, народ вроде Мика Мэлоуна и прочих. Я не брюзга, просто привык быть сам по себе. Иногда нет-нет, а загляну на Алый Колодец к тамошнему приятелю, но на Мэйорхолд по большей части не ходок, и сейчас не собираюсь.

– А я не говорю – сейчас, я говорю – ночью. Погуляем – дым коромыслом, в наших-то «Веселых курильщиках». Ну а для меня всегда напротив имеется «Дракон», как стих найдет.

При этих словах на лице Мэри Джейн расплылась грязная и похотливая ухмылка, и Фредди даже обрадовался, когда женщина из-за стойки подошла, прервав разговор, и забрала грязные стаканы, так что развивать мысль не пришлось. Барменша двигалась так быстро, что словно размазывалась в пространстве, – смела стаканы со стола и юркнула за стойку, не обратив на них никакого внимания. Так уж водится с такими, как он и Мэри Джейн, – неприкаянными. Люди тебя и в упор не замечают. Просто смотрят сквозь.

Мэри Джейн, вернувшись к разговору, ушла от темы «Дракона» и своей половой жизни – уже хлеб, – но в отсутствие выпивки, которая бы ее заткнула, продолжала предаваться воспоминаниям на общую тему Мэйорхолд, драк, где помахала кулаками.

– Боже, а помнишь Лиззи Фоукс, как мы с ней махались на улице перед «Зеленым драконом», прям на Мэйорхолд? Мы не поделили Джин Доув, да так увлеклись, что даже копы не смели нас разнять. Ничего не скажешь о старушке Лиззи – крепкая как гвозди. Уже одно веко болтается и слова вымолвить не может, так я ей челюсть свернула, но даже не думала мне это спускать. А мне-то, мне-то и самой пришлось не легче, голову раскроила, а потом оказалось, что еще и большой палец сломала, – но так славно раззудили плечи, что не хотелось и прекращать. На другое утро мы вернулись на Мэйорхолд и думали продолжить, но она запрятала в ладони болт да как отоварит меня по голове – тут я и отключилась, как лампочка. Красота, мать ее, да и только. Так и тянет вернуться и пережить все заново. Не составишь компанию, Фредди? Зуб даю, это будет загляденье.

Было время, когда Фредди пошел бы за Мэри Джейн из страха перед тем, что она учинит, если он откажется, но эти дни давно минули. Теперь она только лаяла, да не кусалась, и никого бы не тронула. И никто из них теперь никого не трогал и тронуть не мог. Давно прошло время, когда за ними приглядывали копы – за Фредди, Мэри Джейн, старым Джорджи Шмелем и остальными из гоп-компании. Впрочем, у копов и юрисдикции не было над местами, где теперь проводили все время Фред и Мэри Джейн, так что редко, редко в округе завидишь бобби, да и то они шли своей дорогой. Единственный, кого Фредди знал хотя бы шапочно, это Джо Болл – суперинтендант Болл, а он был мужичок ничего. Старомодный коп из старых деньков, давно ушел в отставку, хотя как его ни встретишь – всегда в форме и при параде. Он часто болтал с преступниками вроде тех, кого когда-то засадил в холодную, в том числе и Фредди, который однажды в лоб спросил Джо, почему он не проводит пенсию в местах получше, где-нибудь там, куда советовал отправиться Фредди его знакомец с улицы Алого Колодца. Старик суперинтендант только улыбнулся и ответил, что всегда любил Боро. Тут ему нравится, а иногда выпадает шанс сделать хорошее дело. Старику Джо Боллу больше и не надо. Он больше никого не гонял – ни Фредди, ни даже Мэри Джейн. Она, конечно, гром-баба, но порох в ее пороховницах отсырел уж с тех пор, как закончилась после сердечного приступа старая жизнь. Пришлось ей по-новому взглянуть на вещи и перевоспитаться, потому Фредди не переживал, когда отказывался, хоть и вежливо, от ее приглашения вернуться на места боевой славы.

– Если тебе все равно, Мэри Джейн, то я пас. Это больше тебе по вкусу, а не мне, и у меня своих старых дел хватает, к которым стоит вернуться. Но я тебе так скажу: если сумеешь отвадить от меня старика Мэлоуна с его зверюгами, так и быть, я забуду про привычку всей своей... ну, очень давнего времени... и, пожалуй что, загляну в «Курильщики», когда пойду смотреть сегодня ночью бильярд, – что на это скажешь?

Похоже, это ее удовлетворило. Она встала и протянула мозолистую руку, чтобы Фредди ее пожал.

– Вот это по мне. Ну, береги себя, Фредди, – хотя, видать, все самое страшное с такими, как мы, уже случилось. Если свидимся в «Курильщиках», расскажу, как была драка. Только ты уж приходи.

Она выпустила его руку и скрылась. Он еще посидел один, глаза на барменшу. Шансов у него нет, Фредди и сам знал. Теперь он старше, облысел, и, хоть все же сохранил какую-то смазливую внешность с молодых лет, для блондинки-барменши он был все равно что пустое место. Он взял шляпу со стула по соседству, нацепил на плешь и поднялся сам. Выходя через дверь на Холм Черного Льва, из вежливости и привычки он окликнул барменшу, пожелав доброго дня, но она и бровью не повела, – впрочем, он другого не ожидал. Продолжала себе надраивать стаканы спиной к нему, как ни в чем не бывало. Фредди вышел из паба и повернул направо, к церкви Петра, где облака бежали так быстро, что свет на старых камнях мигал, будто от чудовищной свечи.

Проходя мимо церкви, он бросил взгляд на ее двери, просто проведать, не спит ли в портике молодой парень или девушка – в эти дни они все сплошь молодые, а девушек не меньше, чем парней, – но там было пусто. Иногда, если ему бывало одиноко или просто хотелось человеческого общества, он присосеживался рядом – ничего плохого не делал, просто лежал лицом к лицу и слушал, как они дышат, делал вид, что чувствует их тепло. Все равно они были слишком пьяными или не в себе, чтобы кого-нибудь заметить, и в любом случае он уходил задолго до того, как они просыпались, просто на тот случай, если кто однажды откроет глаза, а там он. Пугать – последнее, чего ему хотелось. Ничего плохого он не делал, и в мыслях не было их трогать или что-нибудь стянуть, ни у кого. Он и не мог. Он сильно изменился.

От Лошадиной Ярмарки Фредди поплыл по Конному Рынку. Пересекая улицу Святой Марии, уходящую налево, бросил туда взгляд. Иногда там до сих пор можно было увидеть сестер – суших дракониц, о которых в разгаре их сил знали и говорили все: дикие, горячие

и вспыльчивые. Все помнят, как однажды они пронеслись голыми по городу – скакали и кружились, плевались, мчались по крышам – отсюда до самых Крайних Ворот всего за десять минут, такие опасные и прекрасные, что люди рыдали при их виде. Фредди иногда замечал их на улице Марии – тоскливо слоняющихся у куч сухих листьев и мусора, прибитых ветром к стенке подземной автопарковки; сестер снова загнали туда, где однажды они затеяли свою памятную пляску. По блеску в их глазах видно, что, выпади им шанс, они даже в своем возрасте повторят ее вновь. Так и вспыхнут от радости. Черт их дери, вот это будет зрелище.

Сегодня на улице Святой Марии было пусто, не считая дворняжки-побирушки. Фредди поднялся – и не в первый раз, подумал он, – до вершины Замковой улицы, где свернул налево, туда, где теперь стояли многоквартирники.

Это все Мэри Джейн с ее походом в «Дракон» – «Зеленый дракон» на Мэйорхолд, где собирались лесбиянки. И хоть мысль была незваной, но Фредди завелся, снова стал думать о сексе. Вот чего он так глазел на барменшу в «Черном льве». Признаться как есть, теперь секс был скорее уж разочарованием и неудобством, нежели чем еще, но стоило этой мысли найти на него, как она донимала, пока Фредди не удовлетворял ее назойливый голос и утомительные требования. Впрочем, если задуматься, так и при старой жизни было. Нечестно бранить обстоятельства за то, что ему просто осточертело. В свое время ему перепало немало, по зрелом размышлении решил Фредди. За то, как он себя вел в отношениях, пенять не на кого, кроме него самого, и он видел справедливость в том, кем закончил. Правосудие над улицами.

Стоило ему задуматься, что давно нигде не видать местных священников, чернецов или как они там себя зовут, как кто бы вы думали взбирается ему навстречу по улице, как не один из их братии: коренастый мужичок, как будто распаренный под рясой и прочим шмотьем, с видимым трудом тащивший на горбу старый мешок. Фредди усмехнулся про себя, подумав, что не иначе как в мешке свистнутые церковные свечи или подносы для подаваний, а то и свинцовая черепица с крыши, судя по тяжести.

Стоило им сблизиться, как мужичок поднял покрасневшее употевшее лицо и заметил Фредди, поприветствовав его такой теплой улыбкой, что сразу же пришелся Фредди по сердцу. Он выглядел точь-в-точь как тот молодой актер из телеящика, который играл Стилягу Смита в «Машинах Z», только что постарше – как бы тот выглядел в пятьдесят или шестьдесят, с бородой и сединой. Их дорожки встретились между Конным Рынком и тропкой – или пандусом, или лестницей, что бишь там теперь, – ведущей в тутошние дома, многоквартирники. Оба стали и любезно поздоровались, причем оказалось, что у этого краснолицего братца Тука рокочущий глубокий голос и какой-то акцент, который Фредди не признал. Какой-то дедовский, как будто деревенский, если ты к нему непривычен, – и Фредди подумал, что путник мог быть из Таучестера или тех краев, с их «ежели» да «кабы».

– Я как раз помышлял, что для гуляний днес жарковато. Как живешь-поживаешь, честный человеке?

Фредди задумался, неужто этот мужичок о нем слышал, как он умыкал хлеб и пинты молока в стародавние времена, и не сказано ли это «честный человеке» в той пасторской манере, когда священник подшучивает над грешником. Но большей частью монах казался человеком прямодушным, и Фредди решил принять слова за чистую монету.

– Да, кажись, и в самом деле жарковато, а поживаю вроде что ничего. А ты что же? Мешок этот твой на вид та еще тяжесть.

Уложив грубый куль на землю с тихим стоном благодарности от облегчения, пастор покачал шевелюрой и улыбнулся.

– Что ты, благослови тебя Боже, нет... а ежели и так, тяжесть та не тянет меня к земле. Мне велено принести его в центр. Ведомо ль тебе, где он есмь?

Фредди на миг запнулся, обдумывая услышанное. Единственный центр, что он знал, был центром спорта и отдыха на полпути вниз по Подковной улице, где играли в бильярд и куда

Фредди отправится позже, если чего не случится. Решив, что об этом и спрашивает старичина, Фредди объяснил ему дорогу.

– Если я верно понял, то тебе поворачивать направо у того дерева в конце, – Фредди показал на конец Замковой улицы. – Спускайся, пока не выйдешь на перекресток вниз. Если покатишь и дальше с холма, увидишь центр налево от тебя через дорогу, всего на полпути вниз.

Лицо старика, и так блестящее от пота, при этих новостях засияло. Должно быть, он прошел долгий путь, подумал Фредди, с этим своим мешком на спине. Рясник любезно отблагодарил Фредди – так он был рад слышать, что бильярдный зал всего лишь дальше по дороге, – затем спросил, куда держит путь сам Фред. «Верю, твоя стезя лежит к праведной и богоугодной цели?» – так он сказал. Фредди-то подумывал сходить к жилью у Банной улицы и присутствовать Пэтси Кларк, как в старые времена, но этого служителю Господа говорить не следовало. Так что Фредди на лету выдумал, будто направляется к старому приятелю, пенсионеру без семьи, что живет в нижнем конце улицы Алого Колодца. В этом была правда, хотя изначально Фредди намеревался спуститься туда после обыденного randevu с Пэтси Кларк. Ну, делать нечего. Разнообразить маршрут все равно не помешает. Он пожелал коренастому священнику удачи, затем бодро прошел мимо входа в многоквартирники на Банной улице, к Малой Перекрестной. На пути вниз Фредди остановился и оглянулся на святого отца. Тот снова взвалил мешок на плечо и побрел по Замковой улице к Конному Рынку, оставляя за собой зримый след. Все оставляют след, думал Фредди. Так уж ему всегда говорили фараоны, если его ловили, еще в старой жизни.

Он мог бы сделать петлю и вернуться к многоквартирникам Банной улицы, как только старичок скроется из виду, но какой из него тогда честный человек. Нет уж, спустится по улице Алого Колодца туда, где его всегда рады видеть. Сказать по правде, только там еще и живут те, кто нынче вообще будет видеть Фредди. Вспомнив, что в эти дни спуститься до Бристольской улицы без труда невозможно, Фредди взамен дошел по Малой Перекрестной до другого конца многоквартирника, где она соединялась с Банной, затем свернул налево и отправился вниз по Банной к ее основанию, вихляющему вправо на Алый Колодец.

Он двигался в тумане, когда свернул направо и прошел место, где когда-то, много лет назад, до Дороги Андрея шел Банный ряд. Теперь там были только гаражи, рядом с бывшими улицей Форты и улицей Рва. Проходя мимо, Фредд вглядывался в асфальтовый уклон, спускавшийся на дворик – грубый овал, куда выходили только ворота гаражей. Хотя это необычно для людей его сорта, Фредди не верил в суеверия, но все же что-то там чувствовалось, у гаражей, где когда-то стояли террасы Банного ряда. Либо там что-то случилось очень давно, либо случится в будущем. Подавив первый слабый призрак дрожи, что он почувствовал за очень долгое время, Фредди продолжил путь на Алый Колодец, перейдя на другую сторону улицы у подножия холма к спортивным площадкам школы Ручейного переулка. Там до сих пор было видно мостовую у начала джитти, что шел за террасой на Дороге Андрея, но больше от джитти ничего не осталось. Фредди казалось, будто место, где когда-то был джитти, захватили густые кусты у нижнего края школьного стадиона, скрыв под черными листьями гладкие серые камни. Хотя это Фредди думал, что они еще серые, но почти все вокруг так и так казалось Фредди серым, черным или белым, как на старой фотографии – где и видно четко, и свет яркий, но цветов нет как нет. Фредди не видел обычного земного цвета уже сорок с чем-то лет, если судить о времени, как судят живые люди. Цветовая слепота была частью его состояния. Фредди не возражал, цветочки вот только жалко.

Он спустился по нескольким ступенькам туда, где стоял в одиночестве на углу у тракта дом, а за ним – только травяная полоса, уходящая до Ручейного переулка, на месте которой когда-то была терраса и жили многие знакомые Фредди, Джо Свон и прочие. Он поднялся на порог и вошел. Здесь перед Фредди двери всегда были открыты, и он знал, что желанный гость, а потому просто протопал по коридору в гостиную, где за столом у стены, листая фотоальбом,

полный приморских снимков и многого другого, сидел жилец дома на углу, который с удивлением поднял взгляд, когда к нему без объявления кто-то заявился, но тут же расслабился, осознав, что это всего лишь Фредди.

– Привет, Фред. Черт возьми, напугал ты меня. Превращаюсь в Джека Поппрыгунчика на старости лет, не иначе. Мне уж показалось, это мой старик. Не то что он страшный, просто доводит, чтоб его. Каждую неделю является – прости меня за то, прости за это. На нервы действует. Ну-ка, поставлю я нам чайник.

Фред занял пустой стул за столом напротив места с фотоальбомом и крикнул на кухню, куда ушел заваривать чай его друг.

– Ну, он тот еще плут, старый Джонни. Чего ж удивляться, что он ищет прощения.

Голос его знакомого донесся из кухни, перекрикивая клочкотание чайника – современного, электрического, который вскипает за минуту.

– Ну, я ему твержу, как и тебе твержу по другим причинам, что прощения ему надо просить у себя. Ко мне-то что ходить? Я никакой обиды не держу и повторяю это неустанно. Для меня все это было уже давным-давно, хоть и понимаю, ему-то кажется, что это было как вчера. Эх, что уж тут.

Хозяин – лет семидесяти, но по-прежнему со стальным взглядом, – вернулся из кухни с дымящейся чашкой во все еще верной руке и сел напротив Фредди у раскрытого альбома, поставив чай на выпцветшую скатерть.

– Прости, что не предлагаю, Фредди, но знаю, что и спрашивать бесполезно.

Фредди понуро пожал плечами в согласии.

– Ну, в эти дни кишечник у меня в таком состоянии, что стоит хлебнуть, как все уже хлещет наружу. Но благодарствую за предложение. Ну а как вы живете-можете? Кто-нибудь навещал, кроме старого Джонни, с моего последнего прихода?

Хозяин отвечал, сёрбая чаем.

– Ну-ка, поглядим. Влезали ко мне эти чертовы детишки – о-о, уже несколько месяцев минуло. Наверняка думали срезать до Ручейной Террасы, как оно раньше было. Вредные сопляки. Как и вся молодежь в наши дни – мнят, что им все сойдет с рук, знают, что их никто пальцем не тронет.

Фредди задумался о своем последнем чае: капля молока, два кубика сахара, подождать, пока не сойдет пар кипятка, а потом можно хлебать. Чай не для того придуман, чтобы неспешно потягивать. Вылебай залпом и чувствуй, как в животе распространяется тепло. Эх, какие были деньки. Он вздохнул, отвечая:

– Я уже их видал, когда был в двадцать пятом, в корпусе Петра, где работает смуглая тетка со шрамом на глазу, что лечит проституток и всех прочих, вместе с беженцами. Это та самая шайка дьяволят Филлис Пейнтер. Они ввалились через старый «Черный лев», когда тот был против вишневого сада, поблизости от Доддриджа, а потом вскарабкались в двадцать пятый, что твоя стая мартышек. Вот честно, вам бы слышать, каким языком они выражаются. Филлис Пейнтер обозвала меня старым пердуном, а ее подпевалы только за животики хватались.

– Ну, тебя наверняка и похуже звали. А что там с беженцами в двадцать пятом? Они с какой-то войны? А то двадцать пятый на носу, жутко. Рукой подать дальше по дороге.

Фредди согласился, затем объяснил, что это не из-за войны, а из-за наводнений, и что, судя по акцентам, все беженцы с востока. Его старый друг кивнул с пониманием.

– Ну, не сказать, чтобы люди такого не ожидали, но все верили, что до этого еще жить и жить. Двадцать пятый, а? Вот как. Подумать только.

Настала пауза для очередного глотка чая, прежде чем тема сменилась.

– Ну, рассказывай, Фредди, видал ли Джорджи Шмеля? Он раньше заходил в гости послушать мои уговоры отправляться в места получше, чтобы благополучно пропустить их мимо

ушей, – как и все вы, старые разбойники, любите. Но его не было уже с год или больше. Он все еще на своем посту, в кабинете на Мэйорхолд?

Фредди пришлось задуматься. Неужели прошел год, а то и годы, когда он сам видел Джорджи? Фредди знал, что порой терял счет времени, но разве может быть, чтобы он так давно проводывал старого хрыча?

– А знаете, не могу сказать. Небось, еще на месте, хотя сам я туда захаживаю нечасто. По правде говоря, теперь там грязная дыра, но вот что я вам скажу: как пойду от вас, поищу старика Джорджи и узнаю, как он поживает.

Ведь никто Фредди не тянул за язык, тем более что это было физически невозможно. А теперь, раз назвался груздем, придется идти, а значит, к Пэтси Кларк его занесет еще ой как нескоро, где-то ближе к вечеру. Ну ладно. Обождет. Все равно ей торопиться больше некуда.

Как и ожидал Фредди, разговор обратился к его собственному упрямому нежеланию покидать нижние пределы Боро.

– Фредди, если б ты только думал о себе получше, давно бы поднялся повыше. А если бы сделал, как мой прадедушка, поднялся бы совсем высоко. Нам пределов нет.

– Мы все это уже проходили, друг мой сердечный, и я свое место знаю. Там я никому не сдался. Буду только воровать молоко с хлебом с порогов или влезать в неприятности с бабами. Да к тому же разве могут такие, как я, сказать, положи руку на сердце, что заслужили повышение? За всю жисть я ничего не заслужил. Что я сделал, чтобы доказать, что человек я стоящий, или что я хотя бы изменил? Да ничего. Вот будь иначе, вот мог бы я держать голову высоко, как народ получше, тогда бы еще призадумался, да только думаю, что теперь это все уже навряд ли. Раньше надо было себя вести как следует, когда еще был шанс, потому как теперь не вижу, чтобы мне еще подвернулась возможность.

Хозяин ушел на кухню за новой чашкой, продолжая разговор громким голосом, чтобы Фред дослышал, хотя необходимости в этом не было. Фредди обратил внимание, что этот человек не оставляет за собой следа наперекор тому, что ему говорили фараоны. Ясно, что с такими, как знакомец Фреда, другого ждать не приходится, но Фредди иногда так увлекался беседой, что забывал одну большую разницу между ними: он-то больше не жил на улице Алого Колодца. Вот почему он оставлял за собой свой неряшливый след, а хозяева – нет. Немного погодя его друг вернулся из кухни и снова присел напротив.

– Фредди, никогда ведь не знаешь, какой оборот примут дела минута за минутой, день за днем. Сам вспомни дома, что стояли в округе, с неожиданными поворотами и дверями, которые вели бог весть куда. Но у всех мелких закоулков и лестниц в планах зодчих есть свое предназначение. Я говорю, совсем как Пылкий Фил на проповеди, правда? А только что хочу сказать – никогда не знаешь, как оно повернется дальше. Это знает только один малый на всем белом свете. Если когда устанешь мотаться неприкаянным, Фредди, ты знаешь, что всегда можешь прийти ко мне и отправиться напрямиком вверх. А тем временем не будь так строг к себе. Были люди и куда хуже тебя, Фред. Мой старик, например. Что бы ты ни наделал, это в конечном счете не так уж и страшно. Каждый сыграл свою роль так, как должен. Даже кривая лесенка куда-то да ведет. О. Как это из мыслей выскочило! – фразу доканчивали, уже вскочив с кресла, как будто в испуге. – Чаем-то я тебя угостить не могу, но давай выйдем на задворки, и ты поищешь, вдруг уже показались новые побеги, – заморишь червячка.

Совсем другое дело. От разговоров о старых прегрешениях Фредди всегда вешал нос, но любое дело поправимо сиюминутным перекусом. Он последовал за своим давнишним товарищем через кухню на маленький двор, замкнутый кирпичным забором, где ему показали на стык северной и западной стенок.

– Прошлой ночью прибираю мусор в бачок и тут краем глаза замечаю – мельтешит что-то. Я-то знаю, что это значит, а тебе может быть любопытно взглянуть между кирпичей, поискать, есть ли там корешки.

Фредди присмотрелся поближе к месту, на которое ему указали. Очень многообещающе. На уровне глаз из трещины в цементе торчал жесткий паучий протуберанец, в котором он признал корневую луковицу Шляпки Пака, хотя какого вида, еще было непонятно. Явно не из темно-серых, это видно и так. Из-за спины донесся голос приятеля, высокий и дрожащий от возраста, но все еще с внутренним стержнем.

– Как, видишь? У тебя на это глаз наметан, в отличие от меня.

– Ага, есть одна. Ее лепестки вам и попались прошлой ночью. Погодите минутку, я ее выкорчую.

Фред запустил чумазы пальцы в расщелину и подцепил луковицу у толстого белого стебля, уходящего в глубину кладки. Одна из странностей Шляпок Пака – корневище у них торчало снаружи, а единый побег врастал в любые щели, что мог отыскать. Когда он ее выщипнул, послышался тонкий писк – скорее, жестяной звон, что раздался на миг, а потом пропал. Он достал растение, чтобы рассмотреть поближе.

Большое, с ладонь человека, оно было из беловатой разновидности, с жесткими лучевидными отростками, все разной длины, они раскидывались, как спицы, от середины. Поднеся под нос, он с удовольствием отметил, что у этого сорта был запах – одновременно изысканный и сладкий, один из редких, что он еще мог вдохнуть полной грудью в эти дни. Вблизи он различал даже цвета.

Сверху это было похоже на тринадцать голых баб, в два дюйма каждая, сросшихся темечками в сердцевине овоща, откуда торчал клочок рыжих волос – маленькая яркая точка, обозначающая середину, из которой лепестками распускались головы. Маленькие девицы как бы накладывались друг на дружку, так что на каждую пару лиц было три глаза, два носа и два маленьких ротика. Выглядело это так: вокруг центрального рыжего пятнышка шло кольцо миниатюрных голубых глазок, как осколки стекла. За ними гусиной кожей торчало колечко носиков, затем темные розовые щелочки, почти незаметные глазу, – это губы. Ответвлялись отдельные шеи, перераставшие в плечи каждой женской формы, отчего между соединенными плечами и соединенными ушами оставались отверстия. И снова на каждые два тела приходилось по три руки, образующих внешнее концентрическое кольцо, причем каждая конечность разделялась в конце на крошечные пальчики. Женские тела вниз от шеи были самыми длинными частями растения, по одному телу на голову, образуя таким образом раскинувшийся круг лепестков, каждый из которых раздваивался на крошечные дрожащие ножки, с точками рыжего меха между ними, – они образовывали, в свою очередь, последний декоративный круг в изящном симметрическом узоры.

Он перевернул растение, чтобы увидеть кольцо ягодич и скопище прозрачных лепестков вокруг сорванного стебля в центре, напоминающих крылья стрекоз. Позади снова задал вопрос его друг.

– Знаю, показать ты мне не можешь, но если скажешь, что это за вид Шляпок Пака, то будет тебе моя признательность. С пришельцами, феями или чем-то еще?

– Феи – здесь феи. Любо-дорого посмотреть, добрых восемь дюймов с одной стороны до другой. Этого мне надолго хватит, а вам не придется варить четырехминутное яйцо и тут обнаружить, что полдня пролетело, как и не было. Знаете ведь, как из-за них выпадают куски времени. Так уж они растут.

Он откусил. По консистенции плод напоминал ему грушу, но на языке был великолепно – душистый вкус, как у шиповника, но с новыми измерениями, пробуждающий рецепторы, о которых даже не подозреваешь, пока не попробуешь. Он почувствовал прилив энергии, когда вместе с изумительным соком по телу побежала бодрость, что придают плоды. Слава богу, что это Шляпа Пака с феями, славная и спелая, а не пепельные пришельцы, которые твердые и горькие, так что приходится ждать, пока они созреют до более сладких фей. Замечательное лакомство – если ты не прочь сплюнуть пару дюжин твердых и безвкусных глазков. Если пове-

зет и те попадут на добрую почву, то через полгода можешь вернуться за новым кольцом Шляпок Пака, хотя Фредди подумал, что его другу лучше об этом не говорить.

Они вместе вернулись назад – кто за новой чашкой чая, а кто – доедать Шляпку Пака. Еще поболтали о том о сем, и Фреду показали фотоальбом. Некоторые из старых снимков с маленькими черными уголками были цветными, но Фред не различал, какие. Был один хороший с девушкой лет двадцати с удрученным видом, на лужайке и со зданиями на заднем фоне, вроде больницы или школы. Беседа текла, пока настенные часы в коридоре не пробили два дня, тогда Фредди поблагодарил хозяина за уделенное время и чудесную трапезу, затем направился через входную дверь обратно на улицу Алого Колодца.

Воспрянув духом после импровизированного обеда, Фред честно поднялся по улице Алого Колодца мимо невероятно высоких многоквартирных в ее конце, а оттуда – на Мэйорхолд. После Шляпки Пака такого размера Фред будет бодрым и оживленным на полмесяца. С некоторой развязностью он презрел барьер вокруг широкого автомобильного перекрестка и прошел прямо через него, сквозь несущиеся машины. К черту авто, подумал он. Фредди уже слишком стар, чтобы ждать на обочине, как малое дитя, – хотя он отступил, когда к Конному Рынку проехали лошадь и телега Джема Перрита, потому что они оставляли за собой следы, прямо как он сам, – блекнувшие изображения самих себя на разных этапах движения, пока конь беззаботной трусцой выступал среди грузовиков и вседорожников. Конь и телега были дух от духа из мира Фредди, и, хотя их столкновение не приведет к несчастному случаю, могут быть другие осложнения, которых лучше избежать по мере сил. Фредди постоял посреди автодвижения, наблюдая, как повозка сползает по холму к Лошадиной Ярмарке – Джем Перрит дрых, пьяный, за поводьями, доверяя лошади доставить его домой, на Школьную улицу. Покачивая головой с любованием и улыбкой из-за того, как долго уже исполняла этот трюк лошадь Джема Перрита, Фред продолжил путь до угла, где в перекресток вливалась расширенная Серебряная улица.

Там, где были главные магазины и лавки Мэйорхолд – «Кооп» и мясник, газетная лавка Боттериля и все остальные, – теперь стояла очередная новомодная парковка с этажами из цемента, раскрашенного в уродливый желтый цвет, – так, по крайней мере, Фреду говорили. У ее основания со стороны Мэйорхолд росла колючая живая изгородь, прямо на углу, где когда-то был кабинет Джорджи Шмеля. Со времен Джорджи растительности только прибавилось, и Фреду придется засучить рукава, чтобы докопаться до цели. Сойдя с оживленной дороги в кустарник под нависавшей коржами свадебного пирога автопарковкой, Фредди принялся сдвигать настоящее в сторону. Сперва кустарник, который развеивался, как дым, а затем механизмы, компрессоры, бетономешалки и копалки, которые можно было сплющить и выгнуть в сторону, словно они из цветной глины. Наконец, прокопавшись через все слои, Фредди наткнулся на большой гранитный подъезд, ведущий в кабинет Джорджи, с названием заведения, элегантно высеченным в камне над входом: «Мужской». Смахивая с рукавов пятна залежавшегося времени, которые неизбежно налипали во время раскопок, Фред выбрел на шахматное поле из потрескавшегося влажного кафеля и крикнул прямо в вонючее эхо:

– Джорджи? Есть кто дома? Встречай дорогих гостей.

В основном помещении с писсуарами, протекающими стенами и отклеивающимся плакатом с предупреждением о венерических болезнях, где изображались мужчина, женщина и черный силуэт зловещих инициалов В. З. – как помнил Фред, на болезненно-красном фоне, – были двери в две кабинки. Одна закрыта, вторая открывалась на переполненный унитаз с дерьмом и туалетной бумагой на полу. Такими уж эти места люди видят во сне, знал Фредди. Ему и самому снились ужасные затопленные уборные, еще при жизни, в одну из Двадцати пяти тысяч ночей, когда ищешь, где бы отлить, а находишь только такие кошмарные дыры. Именно из-за того, как годами накапливались грезы-образы людей, словно осадочная порода, эти места и преобразались в выгребные ямы, казалось Фредди. Джорджи тут ни при чем. Из-за закры-

той двери донесся плевок, затем смыл туалета, а затем шорох щеколды на цинковой двери, открывшейся изнутри.

Показался монах, сухопарый, скорбный и чисто выбритый, с лысиной на макушке – тонзурой. На взгляд Фреда, он был вылитый клуни из монастыря Святого Андрея, или как их там звали. Он протопал прямо мимо Фреда, даже на него не взглянув, через дверь общественного туалета в спутанные годы и мгновения, загораживающие проем, словно заросли. Монах ушел, оставляя в кильватере неподвижные черно-белые изображения самого себя, что через мгновения обращались в ничто. Фред вернулся взглядом в уже открытую кабинку, которую только что освободил насельник, и обнаружил, что наружу в выхлопе монаха с извиняющейся полуулыбкой выбредает Джорджи Шмель, оставляя за собой собственный шлейф автопортретов.

– Здравствуй, Фредди. Давненько не виделись. Между прочим, прошу за это прощения. Ты меня застал прямо во время работы. Ну, если это можно назвать работой. Видал, что он мне выдал? Прижимистый старый мерзавец.

Джорджи протянул руку, раскрыв короткие пальцы с пожеванными ногтями, чтобы показать Фреду маленькую Шляпку Пака, самое большее три дюйма в диаметре. Она и близко не созрела – круг составляли сине-серые тельца-зародыши, которые напоминали людям пришельцев с другой планеты. Вокруг центрального прыща, где еще не пророс клочок цветных волос, поблескивали несъедобным кольцом большие черные бусины глаз – плохой признак, если выбирать высшие растения этого типа. Так сразу видно, можно их уже есть или нет. Если Джорджи услужил монаху за такую мелочь, его поймали больше чем в одном смысле.

– Ты мертвецки прав, Джорджи. Совсем никчемная пустяковина. Ну, на то они и французы, эти ребята из Святого Андрея, чего же ты ждал? Будь они хотя бы вполовину такие набожные, как их малюют, они бы не куковали тут с нами, грешными, верно?

Джорджи горестно опустил большие влажные глаза на неаппетитный деликатес в ладони. Меланхолично капал бак, звук усиливала необычная акустика: эхо разбегалось по всем направлениям и отражалось с больших расстояний, чем открывалось глазу в сыром замкнутом закутке.

– Да. Твоя правда, Фредди. Как есть твоя правда. С другой стороны, никаких других клиентов нынче у меня больше нету, одни монахи.

Одетый в яркий костюм, подпоясанный в петлях веревкой, захудалый шаромыжник откусил волокнистый кусок от кислого серого овоща и скорчил рожу. Пожевал миг, пока его резиновые и заунывные черты комично ходили вокруг скусившихся губ, затем сплюнул в лохань писсуара жесткий стеклянный глаз, как яблочное семечко. Тот лениво пошел ко дну пенного водоема, чтобы приткнуться к круглым белым пирогам дезинфектанта, примостившимся у слива, откуда безразлично уставился на Фреда и Джорджа.

– И ведь верно говоришь. Чертовы лицемеры, вот они кто. Самая мерзкая Ведьмина Титька, что я пробовал, – Джорджи еще раз откусил и прожевал, скривил новую мину и выплюнул очередную агатовую бусину в эмалированный белый желоб. «Ведьмина Титька» – так иногда называли Шляпки Пака, а еще Бедламскими Дженни, Шепотом-В-Лесах или Дьявольскими Пальчиками. Все это одно и то же, и, даже если попалась полная гадость, Фредди знал, что Джорджи Шмель обязательно доест все до крошки и ничего не оставит, так уж тонизировали эти штучки. Почему – Фреду было неизвестно. Было у него соображение, что это связано с тем, как побеги луковицы вмешивались во время, из-за чего люди теряли целые часы или дни, пока плясали с феями или что они там себе еще воображали. Как низшие овощи сосут питательные соки того вещества, в котором растут, так и, поди, Шляпка Пака сосала время – или хотя бы то время, как его понимают люди? А если так, возможно, потому-то они так хорошо и заряжали неприкаянных, вроде Фредди или Джорджи. Возможно, для людей их сорта человеческое время было как витамин, дефицит которого они испытывали с тех пор, как оставили старую

жизнь. Возможно, потому они все чертовски бледные. Обо всем этом Фред размышлял в свободные, досужие моменты, а их у него теперь было более чем предостаточно.

Джорджи прожевал и проглотил последний кусочек, отхаркнул глаз прищельца и теперь вытирал губки-розочку, а сам уже казался много живее. Фредди начинал чувствовать себя стесненным в сумеречной уборной, и сквозь плакат о В. Д. видел слабаразличимые размазанные силуэты современных машин, стоящих рядами под лампами дневного света. Он решил перейти к причине, почему наведаясь к Джорджи в кабинет, чтобы исполнить свои обязанности и поскорее отсюда убраться.

– Я зачем заглянул, Джорджи. Только что навещал наших знакомцев на углу улицы Алого Колодца, и они упомянули вскользь, что давненько тебя не видали и начинают беспокоиться, вот я и обещался заскочить и убедиться, что все в ажуре.

Джорджи поджал губы в улыбочку, в его жидких глазах играла искорка, говорившая, что он уже почувствовал легкий эффект незрелой Шляпки Пака, которую только что употребил.

– Что ж, благослови вас бог обоих за то, что не забываете, но у меня вашими молитвами тишь да гладь. Просто я больше никуда не выбираюсь из-за нынешнего движения на Мэйорхолд. Для меня это натуральный кошмар, но если повезет, то еще годков через сотню-другую здесь останется один только пустырь или воронка от бомбы. Как будет там вместо отбойников и знаков левого поворота один иван-чай и прочая, вот тогда я и начну выглядывать почаще. Любезно с твоей стороны заглянуть, Фредди, и передавай приветы сторожу угла, но со мной все хорошо. Все еще отсасываю монахам, но опричь того жалоб не имею.

На это Фредди ответить было нечего, так что он обещал Джорджи, что в другой раз не будет столько тянуть с визитом, и они пожали друг другу руки, как сумели. Фред продрался на выход из туалета через податливые машины и мусоровозы, через колючие месяцы и годы с шипами из болезненных моментов обратно в угарный гром Мэйорхолд и в тень многоэтажной парковки за спиной. Из-за все еще цепляющейся памяти о вонь, стоявшей в кабинете Джорджи, и вопреки чаду транспортных выхлопов над переулком Фредди пожалел, что не может вдохнуть полной грудью. Удручающее зрелище – как некоторые из них влачили в эти дни жалкое существование, сидя сиднем в своих берлогах или тенях былых берлог. Но все же Фредди долг отдал, так что мог с чистой душой отправляться на Банную улицу. Он повидается с Пэтси и оставит Джорджи Шмеля и весь день, как он сложился до этой поры, за спиной. Вот только это невозможно, верно же? Ничего нельзя оставить за спиной, провести черту и притвориться, что оно ушло. Ни дело, ни слово, ни мысль. Они так и болтались позади, вечно. Фред размышлял об этом, шагая в поток автомобилей и волоча хвостом серые снимки предыдущих секунд, чтобы наконец поспеть на свои шашни.

На противоположной стороне Мэйорхолд, на юго-западном углу, он прошел сквозь заграждение и напрямик на Банную улицу, чувствуя возбуждение в фантомных останках штанов – то ли от Шляпки Пака, то ли при мыслях о Пэтси. Добравшись до входа в сады, он сбавил шаг, зная, что, если хочет попасть туда, где она его ждет, потребуетсся снова покопаться. Фредди бросил взгляд на безлюдный проход между двумя половинами многоквартирника, с травяными полосками и кирпичными заборами с отверстиями-полумесяцами по бокам, ведущий к тропинке, или ступеням, или пандусу, что там сейчас в конце дорожки. Бездомная псина побирушного вида, встреченная раньше этим днем на улице Святой Марии, ошивалась тут же, обнюхивала бордюры, окаймляющие траву. Фред собрал волю в кулак, а затем начал протискиваться через накопившийся хлам напрямки в пятидесятые. Он протолкнулся и мимо славных деньков Мэри Джейн, и еще дальше, через затемнения и сирены, раздвигая довоенные бельевые веревки и продавцов закусками ¹⁹, как камыши, пока внезапный смрад и смог не подсказали Фредди, что он достиг пункта назначения – конца двадцатых, где его ждала чужая жена.

¹⁹ Продавцы закусками, в основном морепродуктами, до войны ходили от паба к пабу. Считаются приметой времени.

Шибанувший запах, а также завеса дыма, сквозь которую едва можно было разглядеть собственную руку перед носом, – все это по милости Деструктора, что находился ниже по холму, возвышался так, что страшно взглянуть. Фредди зашагал через отведенный под зону отдыха пятачок с качелями, горкой и майским столбом, раскинувшийся там, где мгновения назад лежал центральный проспект многоквартирника на Банной улице – или где он будет через восемьдесят лет, как посмотреть. Фредди знал, что мрачная площадка звалась «Сквером», но всегда с долей иронии и горечи. Что верно, то верно – место было скверным. По сторонам от него исчезли корпуса квартир из темно-красного кирпича, а там, где стояли заборы с дырками-полумесяцами, остались две россыпи домов стена в стену, глядящих друг на друга через чахлый пустырь в удушающем молоке дыма.

По проторенной тропинке, бежавшей по твердой голой земле от Замковой улицы к Банной, приближалась мутная фигура, толкая детскую коляску. Фредди знал, что когда она выйдет к нему из окуренного воздуха, то окажется юной Кларой, женой Джо Свона, везучего засранца. Фред знал, что это будет Клара, потому что она была здесь всегда, везла ребенка между качелей и деревянной каруселью, когда он приходил повидать Пэтси. Она была здесь всегда, потому что была здесь в тот день, когда между ним и Пэтси Кларк все случилось в первый раз. Да и единственный, если задуматься. Выступая из едкого тумана с коляской, толкая ее по тропинке из утопанной грязи, Клара Свон с малышкой не оставляли за собой изображений. Здесь их никто не оставлял. Здесь все еще были живы.

Клара была красавицей – женщиной тридцати лет, в самом расцвете сил, справной, как на картинке, с длинными каштановыми волосами, на которых, как однажды сказал Джо Свон, она могла сидеть, если не сплетала в узел, как сейчас, прикрыв маленьким черным чепчиком с искусственными цветочками за лентой. Она остановила коляску, завидев Фреда и признав в нем приятеля мужа, уронила подбородок и посмотрела на него исподлобья неодобрительным и все же сочувственным взглядом. Фред знал, что это отчасти ради того, чтобы посмешить его и себя. Клара была женщиной честных правил и не терпела шалостей и хулиганства. Перед тем как выйти за Джо, она работала служанкой – как и многие из Боро перед тем, как их распустили, – в Олторп-Хаус у Рыжего графа или кого-то в этом роде, и переняла манеры и повадки, которых от нее ожидали хозяева. Не то чтобы она зазнавалась – скорее, стала благородной и справедливой, иногда посматривала сверху вниз на тех, кто не мог этим похвастаться, хоть и не без симпатии. Она знала, что у большинства людей хватало причин, чтобы жить так, как они живут, вот никого и не осуждала.

– Надо же, Фредди Аллен, юный повеса. Что ты тут затеял? Бьюсь об заклад, ничего хорошего.

Это Клара говорила всегда, когда они встречались здесь, в этот задымленный день, у конца грязной тропинки с Замковой улицы, ведущей к Банной.

– О-о, ты же меня знаешь. Как всегда, испытываю удачу. А кто это у тебя такая сидит? Неужто маленькая Дорин?

Теперь Клара улыбалась наперекор себе. На самом деле, несмотря на все викторианское порицание, Фред ей нравился, и он это знал. По-птичьи кивнув вбок, она позволила Фредди подойти к коляске, чтобы заглянуть внутрь, где спала, заткнув ротик большим пальцем, Дорин – годовалая дочь Джо и Клары. Она была душка, и Клара ей гордилась – это читалось в том, как она сподобила его чести посмотреть. Он, как всегда, сделал комплимент ребенку, а потом они вместе мило поболтали – как всегда. Наконец дошли до места, где Клара говорила, что некоторых дома еще ждут дела, и желала хорошего дня, отпуская на те нечистые дела, что он задумал.

Фредди смотрел, как она толкает коляску в дым – который, естественно, был гуще всего над Банной улицей, где и торчала башня Деструктора, – а затем отвернулся и пошел по тро-

пинке на Замоктовую улицу, ожидая, что Пэтси окликнет его, как тогда, впервые, и как окликала каждый раз.

– Фред! Фредди Аллен! Сюда!

Пэтси стояла у входа в узкий переулочек, что обходил дома по правую руку у конца Банной улицы и выводил на задворки этих зданий, сгрудившихся большим квадратом у тылов Деструктора. Насколько Фредди видел в клубящемся дыме, Пэтси выглядела как конфетка – фигуристая блондиночка с мяском везде, где надо, прямо как любил Фред. Она была старше Фредди – хотя это вовсе не отталкивало – и встречала со знающим взглядом, стоя в устье переулочка с улыбкой. Может, из-за дыма, а может, из-за того, что чем дальше назад уходишь, тем сложнее сосредоточиться, но Фредди видел вокруг Пэтси слабые проблески: переулок на секунду сменялся кирпичной отгороженной аркой, через голову и торс Пэтси проходил черный железный забор, потом снова превращался в задние стенки дворов, и оранжевые кирпичи становились ярче, но и закопченнее, чем будущие корпуса многоквартирников Банной улицы. Фредди подождал, пока картинка перед глазами утвердится, затем двинулся к Пэтси развязной походкой, засунув руки глубоко в карманы драненьких штанов, и сдвинул шляпу на голове, чтобы скрыть лысину. Здесь, в 1928 году, другие его изъяны были еще невидимы глазу... например, не болтался пивной живот... но волосы у Фреда начали сдавать уже в двадцать лет, потому с тех пор он и носил шляпу.

Когда он подошел к Пэтси поближе, чтобы можно было друг друга хорошенько разглядеть, он остановился и ухмыльнулся, как в тот первый раз, только теперь многозначительнее. В первый раз это значило просто «Я знаю, что я тебе нравлюсь», тогда как теперь это значило что-то вроде: «Я знаю, что я тебе нравлюсь, потому что прожил это тысячу раз и мы оба уже мертвы, и даже забавно, что мы вдвоем все так и возвращаемся сюда, в этот момент». И таким теперь стал каждый миг их разговора – всегда одинакового, слово в слово, но все же с иронией за фразами и жестами, вызванной новой ситуацией. Взять, к примеру, то, что он как раз собирался сказать:

– Привет, Пэтси. Пора нам уже прекращать так видаться.

Когда он говорил это в первый раз, думал только потешиться. По правде сказать, они и видели-то друг друга всего раз или два из разных концов паба или рыночной палатки, и когда он заявил на такой манер, что им нужно прекращать видаться, словно у них давно завязался роман, то и пошутил на эту тему, и поднял ее в разговоре. Теперь же у реплики появились иные коннотации. Пэтси расплылась в улыбке, поиграла с жирной прядью и ответила:

– Ну, как знаешь. Но скажу тебе прямо: еще раз пройдешь мимо, упустишь свой шанс. Я вечно ждать не буду.

И снова – очередной каламбур, о котором они оба и не подозревали в тот первый раз, когда произносили эти слова. Фред ухмыльнулся Пэтси из-за дыма:

– Надо же, Пэтси Кларк, и как тебе не стыдно. А еще замужняя баба, пока смерть не разлучит вас и тому подобное.

В ответ она не спрятала улыбки и не отвела от него взгляда.

– Ах, он. Его нет в городе, по работе. Я уж и забыла, когда в последний раз его видела.

Когда она говорила это Фреду попервоначалу, то явно преувеличивала, но теперь уже нет. Фрэнк Кларк, ее муж, давно не околачивался по нижним этажам Боро, в отличие от Фреда и Пэтси. Он вознесся к лучшей жизни, этот самый Фрэнк. Поднялся по карьерной лестнице, так сказать. Ему-то хорошо. Его совесть ничто не тяготило, чтобы удерживать внизу, тогда как Фреда чего только не пускало, как он уже ранее распространялся на улице Алого Колодца. Что же до Пэтси – у нее был Фред и вдобавок еще несколько мужиков из окрестностей. Она была щедрой женщиной, притом щедро наделенной от природы, и бесчисленные срамные деньки с порочными удовольствиями стали словно жернова, что тянули ее вниз и препятствовали уходу.

Теперь, глядя на Фредди, она стерла улыбку с лица, заменив на серьезное выражение, почти бросая вызов.

– Без него я толком и не ем. Целую вечность живу без горяченького.

Это – с нечаянной иронией – явно прозвучало отсылкой к Шляпкам Пака, основному рациону обитателей нижнего Боро, вроде Фреда и Пэтси. Она продолжала:

– И как раз думала, как давно я себя не набивала чем-нибудь теплым. Знаючи тебя, ты наверняка тоже изголодался. Может, зайдешь ко мне на кухню, сюда? Вдруг найдем, чем утолить голод.

Фред уже встал в стойку, готовый к делу. Услышав шаги по грунтовой тропинке позади, он выгнул шею как раз вовремя, чтобы увидеть Филлис Пейнтер, восьми лет, скакавшую по игровой площадке к Банной улице. Она бросила взгляд на него с Пэтси, понимающе хмыкнула и подалась своей дорогой, пока не скрылась в ползучих серых тучах по пути домой на улице Алого Колодца, сразу рядом со школой. Фред не понял, что значила улыбка девочки: не то она знала, что они с Пэтси задумали, не то малышка Филлис сама была призраком, вернувшимся в знакомые сцены, как он, и улыбалась тому, что Фред и Пэтси Кларк застряли в петле этого дня, пускай и добровольно. Филлис Пейнтер и ее банда носились по всей длине, ширине, глубине и когдате Боро. То шастали по двадцать пятому, где работала та черная женщина со страстью какой прической и скверным шрамом на глазу, которую еще называли святой, то Пейнтер со своими подручными хулиганами в очередных приключениях срезала дорогу через дом его друга на Ручейную Террасу в глухую ночь. Может, в округе двадцать восьмого они обдирали Шляпки Пака – но, с другой стороны, при жизни в этом году Филлис Пейнтер, когда шла вприпрыжку мимо, была лишь восьмилетней девочкой, а не заправилкой шайки-лейки. Скорее всего, Фредди видел живого ребенка – или, по крайней мере, свое воспоминание о ней в тот ушедший день, – а не маленькую шкодницу, какой она стала, стоило оставить старую жизнь.

Он обернулся к Пэтси – теперь его глаза смотрели в том же направлении, что и елда. Он произнес последнюю ненамеренно двусмысленную реплику – «Ты же меня знаешь, я никогда не говорю “нет”», – и она уволокла его в переулок под смех обоих, и на задний двор третьего дома справа, по соседству с бойней за лавкой мясника, мистер Буллока, стоявшей прямо у Деструктора. Судя по воплям, в соседнем помещении как раз были подвешены и истекали кровью свиньи – они, как обычно, прикроют звуки, которые будут издавать они с Пэтси. Она распахнула черную дверь и втянула Фреда на кухню – потащив его за твердый хрен в грубых штанах и трусах, стоило им зайти внутрь, подальше от любопытных глаз. Так они перебрались в тесную и темную гостиную, где у Пэтси в камельке горел огонь на углях. Как помнилось Фреду, за окном стоял свежий мартовский день.

Он полез целоваться, зная, что она тут же скажет, что у него изо рта воняет так, будто кто-то сдох. Новые значения появились не у какой-то пары фраз, произнесенных в тот день. А у всех. Во всяком случае, насчет поцелуев Пэтси мнения не переменила, как и во все другие разы.

– Не принимай на свой счет. Всегда пропускала все эти слюни-сопли. Просто доставай и вставляй, так я люблю говорить.

Они оба задышали тяжелее – по крайней мере, так казалось. Фред знал Пэтси с тех времен, когда они оба были школьниками с серыми коленками в Ручейной школе. Задрав юбки, она отвернулась к камину, глядя на Фреда через плечо с зардевшимся лицом. Под юбкой не было трусиков.

– Давай, Фред. Жарь как черт.

Фреду подумалось, что это недалеко от правды. Сами посмотрите, где он – кем ему еще считаться. Она снова отвернулась и уперлась ладонями в стены по бокам от зеркала, висящего над каминной полкой. В стекле он видел и ее лицо, и свое, оба возбужденные. Фредди повозился с пуговицами ширинки, затем освободил свой напряженный хрен. Сплюнув серое веще-

ство в грязную ладонь, втер его в блестящую грибовидную головку, затем вставил до упора в скучившуюся щелку Пэтси, уже увлажненную собственными призрачными жидкостями. Он грубо вцепился в ее талию, а там начал биться об нее что было мочи. Все было так же чудесно, как помнилось Фреду. Ни больше ни меньше. Просто сам опыт набил оскомину, блекнул с каждым повторением, из него ушло почти все удовольствие, – как если выжимать раз за разом старое чайное полотенце, покуда на нем не пропадут все узоры. Лучше, чем ничего, – но. В тот самый момент, как всегда, он снял правую руку с бедра Пэтси, облизал большой палец и сунул ей в задницу по костяшку. Теперь она перекрикивала визг с соседнего двора.

– О боже. Ох бля, я в раю. Еби меня, Фредди. Заеби меня до смерти. Ох. Ох блядь.

Фредди опустил взгляд от пойманного в зеркале напряженного лица Пэтси с гулявшими желваками к собственному гулявшему туда-сюда в хлюпающей, мохнатой дырке толстому твердокаменному органу... вот же было время... который блестел серым, как влажный песок на приморской фотографии. Он сам не знал, какое зрелище ему больше нравилось, даже после стольких лет, потому то и дело переводил взгляд. Как он был рад, что со своего ракурса не видел в зеркале собственного лица, знал, что выглядел по-дурацки – по-прежнему в шляпе, – и что тут же засмеется и собьется с ритма.

И тут Фредди что-то заметил краем глаза. Он не мог повернуть голову и приглядеться, потому что не повернулся в том первом случае. Что бы это ни было, тогда оно не появлялось. Какая-то новинка, способная разнообразить приевшееся занятие.

Скоро он определил, что это тот самый эффект мерцания, который Фредди приметил, когда Пэтси поприветствовала его в переулке, превращавшемся в арку за перилами. Иногда такое бывает, если закопаться в прошлое. Как будто настоящее держало тебя на резинке и тащило назад, так что перед глазами мелькали его прорывающиеся кусочки, влетающие в то время, куда ты забурился. Сейчас Фредди краем глаза увидел красивую, но тощую смуглую девчонку, сидящую в кресле с продавленной подушкой из-за прорванных снизу ремней. Волосы у нее были уложены рядками с лысыми промежутками, а сидела она в блестящем дождевике, даром что была в помещении. Самое странное – она уставилась прямо на него с Пэтси, с улыбочкой и небрежно положив руку на подвернутую под себя ногу, так что казалось, будто она не только могла их видеть, но еще и получала от этого удовольствие. Мысль, что за ними наблюдает молодая девушка, придала Фредди дополнительный заряд энергии, хотя он и знал, что ему не кончить раньше назначенного времени. А кроме того, ощущение вины из-за ее возраста затушило молнию возбуждения, что сперва подарила цветная девица. Она казалась не старше шестнадцати или семнадцати, несмотря на потасканный вид, – вчерашний ребенок. К счастью, когда Фредди в следующий раз откинулся с Пэтси настолько, что мог снова поймать ее краем глаза, девицы и след простыл, так что он сосредоточился на деле как следует.

Но где же он ее недавно видал, эту девчушку? Откуда-то лицо было знакомо, это точно. Наталкивался на нее сегодня? Нет. Нет, смекнул, откуда. Это было вчера, когда время шло к обеду. Он был под портиком церкви Петра. Там лежал мальчишка, живой, спящий и пьяный, так что Фредди заполз к нему и прилег рядом. Мальчонка был совсем юный, с жирными волосами, в большом мешковатом джемпере из шерсти и таких ботинках, которые еще называли «бамперы», и Фредди решил, что спящий не будет против, если он приляжет рядом просто послушать дыхание – очень уж скучал Фред по этому звуку. Он провел там час-другой, когда услышал, как по Лошадиной Ярмарке и мимо церкви, приближаясь, цокают высокие каблуки. Он сел и увидел ее – девчонку, которая только что наблюдала за ним с Пэтси с фантомного кресла. Когда она проходила мимо, а под юбкой туда-сюда двигались ее голые коричневые ножки, она его не заметила, но что-то подсказало, что могла и заметить, и Фред решил лучше убраться подальше, пока она снова не обернулась. Вот где он ее видел. Вчера, не сегодня.

Приблизился его момент. Пэтси начала кричать в оргазме.

– Да! О да! О блядь, я умираю! Сейчас умру! О боже!

Фредди еще думал о смуглой девушке с длинными ногами и возмутительно короткой юбкой, когда выстрелил в Пэтси три или четыре холодных струи эктоплазмы. Хоть убей – так сказать, – он был не в силах вспомнить, о чем думал, когда отстрелялся в тот первый раз, когда его сперма еще была теплой. Он вынул палец из ее зада, выскользнул капающим, сдувшимся пенисом и задумался о том, что хотя вещество, которым брызгал его член сейчас, было жидкостью похолоднее, чем семя когда-то, но выглядело оно в аккурат так же. Он заткнул поблескивающее разряженное оружие обратно в трусы и штаны, застегнул ширинку, пока Пэтси натягивала юбки и приводила себя в порядок. Обернулась к нему от каминной полки и зеркала. Оставалось произнести всего одну-две реплики диалога.

– Боже, чудо как хорошо... только не подумай, будто каждый день можешь сюда вваливаться. Это было единоразовое предложение. А теперь давай, лучше уноси ноги, пока соседи не принялись разносить. Наверняка еще увидимся в округе.

– Ну, увидимся – значит, увидимся, Пэтси.

Вот и все. Фред вышел через кухню на улицу, где уже оборвались вопли забоя из-за высокой кирпичной стены. Открыв калитку со двора, вышел в проулок, потом в задымленную зону отдыха – Сквер. Здесь он всегда и возвращался из воспоминаний в свое существование в настоящем – стоя у входа в переулок и глядя на мглистую игровую площадку с горкой и майским столбом, смутно торчащим в бурлящем смоге. Собственный майский столб Фредди уже впечатлял не так, как всего пару минут назад, когда бродяга стоял тут в прошлый раз. Опустив взгляд, он увидел, что снова вырос пивной живот. Обреченно крикнув, Фредди позволил пейзажу вернуться к тому виду, каким он был 26 мая 2006 года. Мигом сгнули тающие стены и качели, вспенился из ниоткуда закопченный кирпич, выстроивший из пустого места многоквартирники, и вот Фредди уже у закрытой арки, глядит на траву и пустую центральную дорожку, где еще слонялась собака-побирушка, что он видел раньше. Фредди она казалась взбудораженной, бегала туда-сюда, словно давно не опорожняла кишечник.

Фред ей сочувствовал. На удивление именно по этому ощущению, среди прочего, он скупал больше всего, – благословенное чувство облегчения, когда из человека могучим потоком выливалась вся зловонная отравка и гадость, чтобы смыться с глаз долой. Фред, наверно, страдал запором духа. Вот что держало его здесь и не давало двигаться дальше – он не мог просто расслабиться и разом избавиться от вонючей кучи. Фредди так и носил все в себе, все это говнище, отчего с каждым десятилетием чувствовал себя все тяжелее на подъем и раздражительнее. Он сомневался, что еще через век вообще будет чувствовать себя собой.

Он перешел через газон и поплыл по дорожке к пандусу мимо покрытой струпами псины, которая отскочила и гавкнула на него дважды, пока не решила, что он не опасен, и продолжила нервно метаться взад-вперед. Войдя на Замковую улицу с вершины пандуса, Фредди пролетел по закрытой от большака дороге на Конный Рынок, а там повернул направо. Может, он и обещал Мэри Джейн навеститься попозже в «Веселых курильщиков», но это может обождать. Сперва надо посмотреть бильярд, в центре на Подковной улице, куда ранее он направил почтенного капеллана.

Фредди скользил вниз по Конному Рынку и с уколom стыда вспомнил, как некогда, прежде нынешней автострады, здесь стояли красивые домики, принадлежавшие врачам, стряпчим и прочим птицам высокого полета. Стыд, который его охватил, был вызван красавицами дочками некоторых джентльменов с этой улицы. А особенно одной, докторской дочкой по имени Джулия – к ней у Фредди были сильные чувства, хоть он с ней ни разу не заговаривал, лишь наблюдал издали. Он знал, что она с ним никогда и не заговорит, ни за что на свете. Вот почему и хотел ее изнасиловать.

Теперь он весь горел от одного только намерения, хотя так ничего и не сделал. От самой мысли, что он это обдумывал, даже начал планировать, как будет подстергать ее, когда она пересечет Конный Рынок по дороге на работу на Швецах, а затем схватит, когда она свернет на

привычный маршрут у Садов Святой Катерины. Он даже однажды встал с петухами и отправился поджидать, но когда увидел ее, то пришел в чувство и сбежал, весь в слезах. Ему было восемнадцать. Вот твердый и тяжкий стул, что он носил в себе и не мог выдавить, – самый твердый и тяжкий из всех.

Фредди перешел Лошадиную Ярмарку у основания, сперва подождав, пока светофор сменится с серого на серый, чтобы идти вместе с другими людьми, хотя ему это и не требовалось. Проплыл на Подковной улице через продолжение ревущего металлического водопада, изливавшегося из Конного Рынка, затем поворотил направо и направился в центр и бильярдный зал. По дороге Фредди прошел мимо и частично сквозь пухлого малого с кудрявыми белыми волосами и бородкой, с глазками за очками, в которых мелькали попеременно то самодовольство, то опаска. Этого Фред тоже узнал и принялся вспоминать. Их встреча случилась несколько ночей назад, около четырех утра. Фредди с ленцой кружил по предрассветной Лошадиной Ярмарке, просто наслаждаясь безлюдностью, когда услышал зовущий мужской голос, боязливый и дрожащий.

– Эй? Эй, вы? Вы меня слышите? Я что, умер?

Фредди обернулся, чтобы узнать, кто прервал его ночные блуждания, и увидел толстого коротышку – того самого, которого только что задел средь бела дня на углу Золотой улицы. Пятидесятилетний мужчина при очках и бородке стоял в ранний час на свободном от движения пустом горбе Холма Черного Льва в одних только майке, трусах и наручных часах. Он нервно всматривался во Фредди с потерянным и перепуганным видом. Фредди решил на миг, что человек недавно оставил жизнь, вот потому и кажется сбитым с толку, стоя в свете фонарей и тенях, пока улица и здания вокруг сгущаются в формах разных веков. Затем, обратив внимание на то, как одет ротозей – в одно нижнее белье, – Фред понял, что это кто-то спит. Неприкаянные поголовно разодеты в самое лучшее, о чем помнят, и даже те, кто мертв всего десять минут, не будут шараться по округе в грязных заляпанных трусах. Как завидишь кого голого, в трусах или пижаме, можешь не сомневаться, что он еще дышит, просто ненароком наткнулся на эти края во сне.

Фред тогда невзлюбил мужичка, нарушившего славную одинокую прогулку, и решил нагнать на него страху. Нечасто выпадает случай произвести памятное впечатление на тех, кто еще там, внизу, в маете бытия, а кроме того, этот напыщенный выскочка и сам напросился. Поразмыслив, стекая по склону Подковной улицы навстречу бильярдному залу, Фред признал, что шутка, которую он той ночью сыграл над соней, выдалась злой – он бросился на малого бурным жутким облаком размазанных остаточных изображений, – но стоило об этом вспомнить, как его так и пробивало на смех. Такова уж жизнь, наконец заключил он. И шуток бояться – в жизнь не рождаться.

Он незамеченным проскользнул в бильярдный зал и там нашел дорогу вглубь и наверх, на последний этаж. Оттуда поднялся еще выше – по-настоящему наверх, – воспользовавшись тем, что такие, как он, звали глюком; в этом случае он был спрятан в углу чулана, при неведении живых хозяев. Сразу за четырехмерным порогом глюка шла лестница Иакова с затертыми старыми половицами, которая, как знал Фред, вела до самого верха. Но все равно полез, памятуя, что ему надо сойти на полпути. Не придется и близко подбираться к верхним балконам – Чердакам Дыхания. Не придется переживать, будто забрался выше головы.

По лестнице Иакова – конструкции как будто намеренно несподручной, помеси обычной и кровельной лестницы, – всегда подниматься неловко и утомительно. Ступени у нее не больше пяти сантиметров в глубину, а в высоту – добрых полметра. Приходилось карабкаться, прямо как по приставной лесенке, как бы вертикально и на четвереньках, работая и руками, и ногами. С другой стороны, повсюду окружали стены в белой штукатурке, и лестничный колодец был не шире полутора метров, с наклонным крутым потолком над самой головой, тоже в белой штукатурке. Нелепая непрактичность подобного угла лестничного пролета будто вышла напрямиком

из снов – Фред думал, так оно и есть. Чей-то сон, где-то, когда-то. А на узких, как карнизы, деревянных ступенях под кончиками пальцев рук и ног – очередная сновидческая деталь: старый ковер, коричневый с темными завитушками цветочных узоров, поблекших почти до невидимости, и укрепленный потертыми латунными прутьями. Пыхтя от, можно сказать, духовных усилий, Фред все карабкался и карабкался.

Наконец он достиг истинной вершины этого скалолазного предприятия – высшего бильярдного зала, – и ввалился через люк в заставленный пыльный кабинет, который выходил в главное помещение с единственным гигантским столом для снукера – столом расширенным и удлинненным. Если судить по следам в слабо фосфоресцирующей лунной пыли на грязном паркете и гомону, что слышался из главного зала, открывая скрипучую дверь кабинета, то все говорило, что он припоздал. Сегодняшняя игра уже началась. Фредди прокрался на цыпочках по краям огромной темной игровой, стараясь не сбить игроков с удара, и присоединился к маленькой кучке зрителей в конце комнаты, наблюдающих с отведенного места за профессионалами в деле.

Так уж все устроено. Таковы правила заведения. Неприкаянных, вроде Фредди, привлекали в качестве гостей и болельщиков, но не игроков. Если честно, никто бы сам и не взялся играть – с тем, что на кону. Нервы были на пределе от одного только взгляда сквозь пальцы на обширный стол в ярком столпе белого света, падающего сверху, где шло состязание. Вокруг сукна ходили туда-сюда принимающие участие зодчие, излучая уверенность, натирали алмастиковые кии мелом и настороженно изучали непростые углы, шагая вдоль границ стола в семь метров с половиной длиной и три с половиной – шириной. Только зодчим дозволялось играть в снукер – или как там называлась их изощренная версия игры. Сброд вроде Фредди переминался тихой толпой в дальнем конце и изо всех сил старался не охнуть и не ойкнуть слишком громко.

В толкучке сегодня были лица, которые Фредди признал. Например, Трехпалый Танк, владелец лотка на Рыбном рынке, и Нобби Кларк, разодетый в костюм Грязного Дика ²⁰, который он надевал на велопарад, со старым плакатом с рекламой мыла «Пирс»: «Десять лет назад я попробовал ваше мыло и с тех пор другим не пользовался». И как только Нобби заволок его по лестнице Иакова, подивился Фред. Заприметил он на периметре толпы Джема Перрита, с наслаждением наблюдавшего за снукером. Фредди решил, что стоит присоединиться к нему.

– Здравствуй, Джем. В обед видал тебя сегодня на Мэйорхолд. Бесси везла тебя домой, пока ты задавал храпака, – Бесси звали призрачную лошадь Джема.

– А-а. Захаживал в «Курильщики», хлебнуть Пакова пуншу. Никак переутомился от стараний. Тада-то ты мя и видал окрест Мэрролд.

Джем говорил с настоящим говором Нортгемптона, правильным акцентом Боро, которого больше в округе не услышишь. На жизнь – когда у него еще была жизнь – Джем – жилистый малый работающего вида с носом крючком – зарабатывал торговлей древесиной; его темный и меланхоличный силуэт вечно сидел на козлах телеги с поводьями верной Бесси в руках. В эти дни работой Джема, хоть и не заработком на жизнь, стало ремесло искателя необычностей и коробейника фантасмагорий. Они с Бесси обходили менее физические территории округа, а Джем собирал артефакты-привидения, буде такие попадались по дороге. Это могли быть и брошенные призрачные одежды, и яркое воспоминание о чайной коробке из чьего-нибудь детства, а могла быть и вообще какая бессмыслица, оставшаяся после чужого сна. Фредди помнил, как Джем однажды нашел что-то вроде загнутого альпийского рожка, выделанного в виде длинной рыбы во всех подробностях, но с хоботом, как у слона, и полосками по бокам из чего-то вроде стеклянных глаз. Они пытались на нем сыграть, но труба оказалась напрочь забита опилками с

²⁰ *Натаниэль Бентли* – торговец из XVIII века, который отказался мыться до конца жизни после смерти невесты. Считается прообразом мисс Хэвишем в «Великих надеждах» Диккенса.

забавными пластмассовыми побрякушками. Несомненно, она присоединилась к другим курьерам в призраке дома Джема, на середине призрака Школьной улицы. Сейчас – когда бы это ни было, ведь наверху этого по-настоящему не знаешь, – рыбный горн наверняка выставлен в переднем окне Джема вместе с фантомным мундиром гренадера и памятью о креслах.

Пунш из Шляпок Пака, упомянутый Джемом, – именно то, что можно подумать: что-то вроде алкоголя, который гнали из высших овощей и употребляли внутрь. Фред никогда его не уважал и слышал байки о том, как некоторые бывшие живые сходили от него с ума, и потому обходил пойло стороной. От мысли распасться и растерять всякие остатки личности до самого конца почти вечного существования у Фреда бежали мурашки по спине, которой у него больше не было. Но Дjemu все было как будто нипочем. Возможно, если Фред будет в духе, позже, когда он оставит бильярд и пойдет в «Веселых курильщиков», как обещал Мэри Джейн, еще принимается к этому самому пуншу, распробует. От одного стаканчика не убудет, а до того можно расслабиться и следить за игрой.

Он стоял в тени рядом с Джемом и остальными, разделяя благоговейную тишину потрепанного сборища. Фредди прищурился, изучая стол в луче света и тотчас понял, почему этим вечером зрители казались необычно увлеченными. Четверо игроков вокруг бильярда были не обычными зодчими, если зодчих вообще можно назвать обычными. Эти ребята были четырьмя бригадирами, мастерами-зодчими, а значит, сегодняшний матч – не шутки. Считай, чемпионат.

Обходя массивный бильярдный стол босыми ногами, старшие зодчие в длинных белых балахонах оставляли за собой следы, хотя не такие, как у Фредди и его друзей. У Фреда и остальных в испаряющемся хвосте, что они волочили за собой, были лишь блеклые серые снимки, тогда как зодчие выжигали воздух после себя, от них оставались пылающие образы, как если посмотреть на солнце или уставиться на нить накаливания лампочки, а потом закрыть глаза. Такими были «обычные» зодчие, но сегодняшний квартет казался вдесятеро хуже, особенно вокруг голов, где эффект был еще отчетливей. Сказать по правде, на них было больно взглянуть.

Безразмерный стол, за которым они играли, имел всего четыре лузы, по одной в каждом углу. Так как он стоял параллельно стенам клуба, Фред знал, что углы приблизительно соответствовали четырем углам Боро. В обильно лакированной древесине стола над каждой лузой виднелся символ. Их грубо вырезали посередине деревянных дисков, украшавших четыре угла, безвкусно выбили, словно метки бродяг, но при этом выложили золотом, словно самое драгоценное и обожаемое священное писание. Символ в юго-западном углу был детским наброском башни замка, а в северо-западном оказался здоровый член, какие рисуют на стенах туалета. Приблизительное изображение черепа обозначало северо-восток, а на юго-востоке – в углу, ближайшем к месту, где стоял он с Джемом, – Фред увидел скособоченный крест. Так как стол был больше обычного, то и шаров в игре участвовало много, и хорошо, что зодчие объявляли цвет шара, по которому били, потому что Фредди и его друзьям все казалось серым, черным или белым.

По правде говоря, Фред никогда по-настоящему не понимал, во что играли зодчие – не понимал головой и не смог бы объяснить правила, но эмоционально, нутром, так сказать, знал, что игра за собой влечет. Четверо игроков били по очереди, каждому отводилась своя угловая луза, а целью было загнать в нее все шары, какие можешь, не дав оппонентам достать те шары, на которые они положили глаз. Наблюдать за игрой было приятно хотя бы потому, что шары оставляли за собой следы, когда летели по сукну или сталкивались друг с другом, рикошетили от борта в остроугольных пентаграммах пересекающихся траекторий. Но еще больше волновало и тревожило то, что каждый шар обладал своей аурой, и ты понимал: он что-то или кого-то обозначает. Пока стоишь и смотришь, как они скачут и катаются по столу, в голову, прямо

в мысли, самой собой приходит озарение, что значит каждый из них. Фредди сосредоточился на сегодняшней игре.

Самая заваруха происходила на восточной половине стола – по счастью, на этой стороне и находилась публика с Фредди и его собратьями. Западные зодчие, стоя у луз с членом и замком, как будто на время остались не у дел и опирались на кии, пристально наблюдая за тем, как бились их коллеги у восточных углов. Фред все смотрел, уже давно забыл, как дышать, а зодчий, игравший в юго-восточную лузу, с крестом, готовился нанести удар. Из четырех мастеров, собравшихся за игрой этой ночью (и насколько Фредди знал, в этой лиге их только четверо и было), юго-восточный был среди местных популярнее всех, ведь остальные трое были неместными и редко появлялись в окрестностях. Местный любимчик был крепким, дюжим малым с белыми волосами, хотя лицо его казалось молодым. Звали его Могучий Майк – так слышал Фред. Он так славился своей игрой в снукер, что о нем прослышали даже ребята внизу, в жизни, даже поставили в честь него статую на двускатной крыше Гилдхолла.

Сейчас он припал к сукну, низко склонившись над кием, прищурился, смотря вдоль него на шар, в котором даже Фредди узнал белый. Этот белый шар и представлял, как понял Фредди, кого-то белого, о ком Фредди ничего не знал, разве что он не из этих краев. Белоголовый зодчий по имени Могучий Майк теперь объявил: «Черный в угол креста», – а затем раз ударил кием, резко, по белому шару, послал его на огромной скорости через простор необъятного стола, а тот оставил за собой след словно из ярких жемчужин, тесно нанизанных на нитку. Шар ударился в западный борт стола... вроде бы он представлял всех тех, кто уехал отсюда в Америку после Гражданской войны с Кромвелем, так показалось Фредди... затем столкнулся с черным шаром, в который и целился беловолосый ремесленник, с резким стуком, прозвеневшим на весь тусклый зал. Черный шар, с внезапной ясностью осознал Фредди, – это Чарли Джордж, Черный Чарли, и Фред испытал необыкновенное облегчение, которое и сам не мог объяснить, когда шар аккуратно упал в юго-восточную лузу, где на круглой выпуклости с краю стола был халтурно вырезан золоченый крест.

Местный герой с волосами цвета мела изобразил то, что повторяли все зодчие, когда любому из них удавался успешный удар: воздел оба кулака над головой со все еще зажатым кием и издал восторженное «Да!», прежде чем одновременно уронить руки по бокам. Так как обе руки оставляли в пространстве раскаленные добела следы и при подъеме, и при падении, конечным эффектом стали горящие зубцы, раскинувшиеся вокруг него в виде сияющих распущенных крыльев. Странно, что зодчие делали так всякий раз, когда любому удавался успешный удар, как будто по природе своей игра не требовала соревнования друг с другом. Когда черный шар угодил в юго-восточную лузу, они все разом, по четырем углам стола, подбросили руки в воздух и воскликнули в ликование «Да!». Теперь, судя по всему, пришел черед зодчего за северо-восточным углом бить в лузу, украшенную черепом.

Зодчий был чужеземцем и далеко не так любим зрителями, как Могучий Майк. Фред слышал, что его звали каким-то там Юрием, и в его лице были такие жесткость и целеустремленность, что Фред не удивился бы, если бы тот оказался русским. Сам он был смуглый, а волосы его короче, чем у местного любимца. Он долго обходил край стола в поисках самой удобной позиции, склонился над кием и прицелился в белый шар. Как бывает с голосами всех зодчих, когда он заговорил, послышалось странное эхо, которое дробилось на кусочки и дрожало, пока не становилось звенящим ничем.

– Серый в угол черепа, – вот приблизительное значение того, что он молвил.

Становилось интересно. Фредди не понимал, кого ему напоминает серый шар. Кто-то лысый, даже лысее Фредди, а еще кто-то серый – серый в моральном смысле, и возможно, тоже серее Фредди. Мрачный зодчий русской внешности нанес удар. Белый шар размазал по столу бледный кометный след, чтобы громко треснуться о другой шар – его цвет Фредди не разобрал.

Тот ли это серый, который наметил Юрий-как-его-там, или другой? Какого бы цвета ни был, он и отлетел в угол, помеченный черепом.

О нет, вдруг подумал Фред. Ему только что пришло в голову, кого представляет мчащийся шар. Молоденькую смуглую девчушку с красивыми ножками и жестким лицом, которую он видел вчера днем у церкви Петра и еще раз сегодня, когда она наблюдала за его свиданием с Пэтси на Банной улице. Она отправилась в угол черепа, и Фредди знал, что для бедного дитя это не значит ничего хорошего.

На волоске от бездны под головой смерти летящий шар соприкоснулся с другим. Этот-то, подумал Фредди, и был тем самым серым, который объявил своей целью игрок русского вида. Его столкнуло в лузу под начало Юрия-как-его-там, вслед за чем Юрий и остальные мастера взметнули руки в ослепительном веере оперенных лучей и в унисон прокричали свое «Да!» с дробящимися, измельчающимися реверберациями. Но крик так же внезапно угас, когда все заметили, что шар, которым Юрий отправил в лузу серый, теперь сам завис на краю. Он у Фредди ассоциировался с виденной ранее смуглой девушкой. Плохо дело. Мрачный игрок, который только что бил, пригляделся к шару, балансирующему на краю лузы с черепом, что он выбрал своей, затем посмотрел через стол на Могучего Майка, местного беловолосого чемпиона. Метнул в него холодную улыбочку и принялся наигранно натирать мелом кий. Фред его возненавидел. Как и зрители. Он был как Мик Макманус или еще какой злодей из реслинга, которого зрители освистывают, – хотя, конечно, в этом случае не осмелятся, несмотря на бурю чувств. Зодчих не освистывал никто.

Теперь настала очередь бить всеми обожаемому белоглавному крепышу, но вид у него был озабоченный. Оппонент явно задумал следующим же ходом положить зависший шар в собственную лузу, если только Могучий Майк не сумеет вывести его из-под удара. Но он был так близок к отверстию, что мог упасть вниз от легчайшего дуновения. И не подступишься. Фред так испереживался, что едва ли не слышал, как сердце бьется в груди. Местный герой нарочито медленно обошел кругом чудовищный стол для снукера, занял позицию на противоположной стороне и присел, чтобы сыграть чреватую опасностями и важную игру. При этом он посмотрел из-за сукна прямо в глаза Фредди, и тот едва не подскочил от неожиданности. Взгляд был хладнокровный, тяжелый и явно неслучайный, так что даже Джем Перрит, стоявший подле Фреда, повернулся и зашептал:

– Гля-к, Фред. Верхи на тя глаз ложат. Эт че ты там натворил?

Фред оторопело покачал головой и ответил, что ничего не натворил, на что Джем склонил голову и взглянул на Фреда с подозрением и лукавством.

– Ну а че тада бушь натворить?

Фред не знал, как на это ответить, и оба обернулись обратно, смотреть, как делает удар зодчий. Тот уже не смотрел на Фредди – его глаза зафиксировались на белом шаре, насчет которого он делал прикидки. Среди толпы наблюдателей стало так тихо, что было бы слышно упавшую иголку. Это же связано со мной, подумал Фред. Как он на меня только что посмотрел. Это связано со мной.

– Коричневый в лузу креста, – сказал беловолосый мастер, хотя на самом деле то, что он произнес, было куда многосложней.

Его кий выстрелил прямо – боксерским джебом – и белый шар, оставляя за собой поток лопающихся пузырей от остаточных изображений, полетел вперед. Громоподобно припечатал еще один, чей серый цвет был слегка теплым и показался Фредди красным, и отправил его, как ракету, прямо между коричневым шаром и лузой-ловушкой со звуком, отдавшимся болью, так что вся потрепанная публика разом дрогнула. Коричневый вылетел в юго-восточный угол стола к лузе, помеченной крестом, подобно шаровой молнии, и тут все в зале – не только четверка в робах за столом – подбросили руки над головой и единогласно прокричали «Да!» Единственной разницей между игроками и зрителями было то, что всеерные фигуры первых

были ослепительно-белыми, тогда как у публики они оставались серыми и больше напоминали голубиные крылья. Продемонстрировав столь впечатляющий удар, беловолосый зодчий снова посмотрел прямо в глаза Фредди. В этот раз перед тем, как отвернуться, он улыбнулся, и по Фредди с головы до пят пробежала восторженная дрожь.

Когда возможности для игры на восточной стороне стола, очевидно, исчерпали себя, подошел черед вернуться в дело двух мастеров с западной стороны. Фредди понятия не имел, что только что произошло между ним и ледовласым игроком, но все равно чувствовал возбуждение. Ему не терпелось досмотреть, как пройдет остаток чемпионата, а затем направиться в «Веселых курильщиков» на Мэйорхолд, чтобы сдержать слово, данное Мэри Джейн. Фред разулыбался и оглядывался на остальных конченных людей с конченной жизнью, которые тоже улыбались и пихали друг друга под ребра, шепча в изумлении от ошеломительного удара виртуоза, исполненного у них на глазах.

Похоже, сегодня будет та еще ночь.

Место обозначено крестом

О той поры как оставил он за спиною утесы белые, шел он римскою дорогою иль тряся на ухабах, лежа в телегах, буде удача на его стороне. Видел он ряд понурых деревьев, точно тягченные уловом удила у реки. Видел он великого красного коня из соломы, полыхающего за полем мгlistым, и видел голых персей немало, тем разом как дразнили его блудницы у кабака недалеко от Лондона. В ином кабаке на виду был дракон, в яме выгребной выловленный: приплюснутый броненосный змей о зубищах и глазищах страхолюдных, но лапами короче ножки стула. Видел он узкую речку, запруженную скелетами. Видел он, как средь кивающих полей ячменя сонм в сотню грачей ринулся и убил одного из их числа, и другим разом казали ему тис, на коре коего проступил лик Христов. Имя ему было Петр, но прежде звался он Эгбертом, а во Франции окрестили его Le Canal, что на их наречии «канал» означало, за то, как он потел. Было это в год осьмисот десятый от Рождества Господа нашего, в канун дня весеннего равноденствия – Vernal Equinox.

Он обогнул полмира, ступал по окраинам Византии и следовал по стопам Карла Великого, крылся в тени языческих куполов в Испании, где внутри мириады звезд синих рассыпаны и нет креста ни единого. И вот вновь он воротился к сим тесно опоясывающим горизонтам, к черной почве и серому небу, к суровой земле сей. Он возвратился в Мерсию и сотню Спелхоу²¹, но еще не в Медешемстед – свою луговую родину в болотах Питерборо, где ныне его, должно, почитают за покойника и уже пустили в келью другого. Скоро, скоро ступит Петр на монастырскую землю, но вперед надлежит на совесть исполнить долг, который он взял на себя в странствиях своих. Содержимое джутового мешка на правом плече, где от долгого обременения уж натерлась мозоль, должно доставить точно и неукоснительно по назначению. Таков нарек, данный встреченным на чужбине другом, и ныне решимостью претворить их в жизнь ведом Петр по сухой земляной тропе, с травинками острыми и быльем по бокам, к мосту далекому.

Стопы холодила утренняя роса, подымая дух шерстяного жира с влажного влачащегося подола рясы. Безропотно держал он путь посередь гула и трепета трудолюбивого, чрез зеленый запах трав, по грудь доходивших. Впереди мало-помалу надвигался, мало-помалу рос деревянный мосток, что приведет к южному воскраию гамтунского села, и он ускорил ноги, сжатые в грубых веревочных сандалиях, с мыслию, что труд их к завершению близок – труд десяти солдатиков с пунцовыми и стертymi лицами в изнурительном походе, выступавших упорядоченными фалангами шаг за шагом, миля за милей. Под низким облаком застоялась духота, и упарился он под облачением: спину и живот покрывала корка соли, теплые ручейки натекали в складках паха и сбегали по внутренней стороне мясистых бедер. Томленный в собственном соку, медленно шагал он к берегу реки, сам серый как камни, окружавшие его в зелени.

Неподалеку от моста был широкий квадратный пригорок со следами угловатой канавы кругом, края и черты коей округлились веками наметей и зарослей. пышная земляца казалась периную взбитую, где можно прислонить главу, но он заказал себе подпасть соблазну. Был тот бугорок в двадцать пять шагов длиной и двадцать пять шагов шириной, и казалось, будто служил он некогда основанием речного форта – быть может, еще временем римского гнета, когда подобные близстоящему укреплению украшали шею реки Ненн, как береги. На дне извиливой полосы рва, там и сям средь бурьяна и лужиц стоялых, копился всякий сор, навроде бараньего черепа и рваного кожаного башмачка, обломков дощника и дешевой брошки без застежки. Так проходит слава мирская, подумал Петр, но в глубине души обинивался, что новая Священная Римская империя, вопреки притязаниям своим, простоит хоть столь много,

²¹ Сотня – административная единица.

коль отведено было ее более приземленной предшественнице. Однажды, помышлял Петр, там, среди расколотых посохов и комочков кроличьих говен, возлежать быти рукописям позолоченным и мантиям княжым, когда время перемелет мир в единую кашу.

Минуя высокие дубовые стойки моста, ступил он на висящие бревна, крепко вцепившись рукою в толстую бечеву, равновесие храня, а вторую, как прежде, горловину джутового сака сжимаючи. Среди колебаний и скрипа замер он на мгновение на середине сооружения, по-над тиховодной бурой речкой на запад взглянув, где та изгибалась за купу плакучих ив и скрывалась из глаз. Там, на берегу излучины, вроде бы играли мальчишки – первые живые души, что повстречал он за два дня пешего пути, но далече, не кликнешь, и посему он лишь поднял руку, а они махали в ответ – как казалось Петру, ободрительно. Он продолжил путь с собравшимся в лютый нимб у чела его водяным гнусом, что тотчас рассеялся, лишь сошел он с противного конца моста и удалился от кромки реки по тропе, ведущей меж россыпи жилищ к южным воротам поселения.

Вырытые в земле, под камышовым кровом, остро торчащими над каждой уютной кушцей, лачуги погрузились в клубы грязные, из дыр извергавшиеся, что такой вид давали, будто дома из дыма сложены, а не палок и глины. Из одного чадного гнезда в мир выходила старуха и ухмыльнулась остатними зубами, завидя его, покамест тяжело взбиралась по трем иль четверем плоским камням на ступенях из утоптанной грязи, что вели от крытой землянки. Кожа ее растрескалась подобно илу на дне пруда в засуху, а пепельные косы в пояс напоминали видом поникшие ивы, потому виделась она ему плоть от плоти тварью речною, коей место под мостом, нежели в обиталище у сей пыльной тропы. Глас ее, когда отворила уста она, булькал от слизи и равно напоминал плеск воды, по камням ползущей. Очи ее были лукавыми панцирями улиток, влажными и поблескивающими.

– Ужо сволок?

Так рекущи, кивнула она, понятности ради дважды, на мешок, что лежал на раменах его. В бледных узлах ее волос что-то прыгнуло. Он смешался и подумал было, что не иначе как ей известно о его паломничестве; затем же решил, что принят за того, с кем условилась она встретиться на пороге своей неказистой хижины, либо что безумна она. Не зная, что и думать, лишь воззрился он на старуху и недоуменно покачал головой, за что вновь та нагнала жути своею улыбкою беззубою, забаву там найдя, где он не видел и ее помину.

– То, што о четырех углах, но метит середину. Ужо сволок?

Он не мог уразуметь слова ее, мог лишь вызвать в мыслях расплывчатый образ, ничего ему не говоривший, – манускрипта страницу с заложенными к центру углами. Петр непокойно пожал плечами и решил, что не иначе как кажется ей недалеким.

– Добрая женщина, неведомо мне, о чем ведешь ты речь. Я пришел сюда из-за моста, на пути издалече. В твоих краях не бывал я ране.

Теперь настал черед карги качать головой, и косы грязные колыхнулись подобно мавританской занавеси из бус, а ухмылка скверная не сошла с прежнего места.

– Мово мостка ты не прешел, нет ишо. Инда форт мой не минул. И знакомый ты мне сыздавна, – с этими словами она воздела руку, аки хрупкую клешню, и хлестнула ему по розовой блестящей щеке.

Он сел.

Он почил на невысокой бровке рва, обегавшего древний речной форт, а южный конец моста стоял близ него по левую руку. В щеку, к земле припавшую, покамест Петр прикорнул, впился жук иль паук, и ощупью нашел он распухшую шишку, перст поднеся разыскать источник зуда назойливого. На миг он перепугался, заметив, что уже не держит джутового куля, но, найдя его на склоне сбоку, был покоен, хотя по-прежнему не мог опаматоваться после произошедшего. Он с трудом поднялся на ноги в ризе, волглой на задку от сырой травы, хмуро

оглянул сперва останки римского секрета, а затем близстоящий мост, покуда наконец не разразился смехом.

Так, значит, это и есть Гамтун. Таков его норов, тако шутит он с путешественниками, кои было думали, что проникли суть его. В древнем сердце страны таилась от чужих очей ее необычайная неотъемлемая природа – лукавая, вкрадчиво дивная и грозная в прихотях, словно бы она сама не знала собственной устрашающей силы или же притворялась, что не знала. За блженным блеском глаз, за гнилой улыбкой, думал он, хранилось знание, что страна прятала проказами, ужимками и призраками. Разом чудовищная и игривая, старая даже в обличье своих ужасов, – что-то в ее натуре не то пугало, не то восхищало Петра, хотя он все же посмеивался, даваясь диву от ее вызывающей причудливости. Тряхнувши кудрявой седеющей головою, добродушно признавая, как потешно его провели, он снова закинул груз за спину и направился к мосту – по его счету, во второй попытке.

На сей раз сооружение оказалось целиком из дерева – прочный горб, изгибающийся над мутным потоком, опершийся на крепкие сваи, а не висящий на вервии, как в наваждении. Хотя Петр мог утешить себя тем, что вокруг гудящей тучей как прежде кружил водяной гнус, а когда Петр замер на середине и взглянул на запад, над извивом реки как прежде кручинились ивы, хоть под ними и не резвились дети. Над головой обращался великий диск небес со скомканным руном, что растрепалось в длинные очески на краю кругозора, и он продолжал путь чрез реку с развевающейся назади пышной бородой из мошкары.

По обочинам хоженной тропы, стелившейся от моста до южных ворот, не виднелись земляные домишки, лишь делянки турнепса с гребенкой вязов и берез за ними по обе руки. Опушку тут и там прерывал гнилой пень, так что наводила она на ум призрачное подобие улыбки карги из грез, ино теперь ее знающей насмешке вторил окружающий пейзаж – или так уж он себе вообразил. Петр решил не потакать мысленным играм теней, так что обратил свой взгляд от природы, замечая взамен истинно земной лужок под ногами, обыденный и покрова тайн лишенный. На стебельках трепетающих кивал первоцвет, или же «коровяков цвет», – зелено-златой, как навоз, за что и заслужил свое прозвание, – и слышались трели жаворонков в травах, обрамляющих посаженный урожай. Славный денек для завершения странствия, и никаких привидений, не считая тех, что он сам нес с собой за компанию.

Округа эта лежала там, где река, несущая воды с запада на восток, вдруг юлила к югу, свисающий кус земли оставляя, прежде чем возобновить свой путь, – опухоль, как на ужаленной ланите Петра. Чрез мыс прокопаны были четыре канавы – должно думать, ради орошения, – перекинутые бревнами широкими, которые бревна был принужден он перейти, неловко шатаясь, одной рукой драгоценную ношу к сердцу прижавши, а вторую выкинув далеко на отлет и болтая вверх-вниз для равновесия, прежде чем подступиться к южным воротам Гамтуна. Те чуть выдавались из палисада высоких и прочных шестов, забравшего село с юга, и имели при себе на страже единственного тощего детину вида сумрачного, державшего копье. Серым пятном у губ его напылилась борода одного дня росту, отчего был он ликом схож с псом облезлым и равнодушным. С ленцой к воротам привалившись, он не удосужился приветствовать гостя, а только наблюдал за приближением монаха взором безучастным, тем приневолив Петра представиться.

– Исполать тебе, мо'лодец. Я брат благословенного Бенедикта из ордена в Медешемстеде, что у Питерборо, недалече отсюда. Идущу мне за морями и за долами, я послан был в Гамтун, куда несу дар...

Он копался в котомке, готовый извлечь на свет Божий ее содержимое в доказательство, когда сторож отвернулся от створок, сплюнул ярко-зеленую харчу бледными нитями, затем вновь взглянул на Петра и грубо оборвал на полуслове.

– Тама топор?

Голос караульного был скучливым, без подлинного любопытства, и бубнил он отчасти из-под длинного клюва носа. Петр оторвался глазами от темного устья джутового мешка и глянул на вопрошающего, недоумевая и удивляясь.

– Топор?

Привратник многосложно вздохнул, подобно родителю, дитя неразумное устало обучающему.

– Ну. Топор. И ежели я тя пушу, падешь им бошки мозжить, мужиков живота лишать да детвору и баб насильничать, а опосля нас огнем пожжош?

Тут Петр лишь моргнул недоуменно, затем впервые заметил, что по стене и ближайшей верее от основания до почти самой верхушки тянулись рвано-волнистые языки сажи. Он перевел взгляд обратно на вялого дозорного и в иступленном отрицании затряс головой, вновь потянувшись в мешок, дабы достать свое сокровище, на сей раз для успокоения.

– О нет. Нет, не топор. Я божий человек, и все, чего ищу я ...

Приставник с измученным выражением затворил скорбные очи и поднял перед пилигримом ладонь, не сомкнутую на древке копья, небрежно махнув из стороны в сторону в отказе видеть, что крылось в узле Петра.

– А хоть бы леву ногу Иоанна Христителя – лишь бы бошки евойным мослом не мозжил да головней нас не запалил, пожару для. А не дале как тем месяцем хаживал тут один кое-какой, навроде тебя, с черепком Хасподним, и я спрашал, почто, мол, он крохотный такой, а он мне – мол, это Христов череп, когда тот был совсем ди́тятком. Слыхивал я, добры люди, што у церкви Святого Петра живут, в навоз да деготь его макнули да услали в слезах восвосяи.

Теперь его глаза, не моргая, вперились в монаха, словно рек он простые истины, не требуя при том от Петра иного ответа, кроме как ступать своею дорогою и оставить вратаря на тоскливом посту у турнепсовых грядок.

– Тогда благодарствую за совет. Нипочем не стану торговать мощами, равно пребуду добрым человеком и не стану мозжить голов либо предавать народ лютости да пожарам, даже по недогляду, покуда не миную Гамтун. Будьте здоровы.

Охранник обратил взоры на далекие вязы и буркнул что-то неразборчиво, что кончалось словесами «...иди быка подои», и так Петр снова взвалил выюк на натертое плечо и взошел чрез притворенные ворота на дорогу к холму, что взбиралась от моста к верхним пределам поселения. Здесь вдоль косой улочки встречал он ряды окопавшихся домиков с соломенными крышами, видом сродни землянке ведьмы из мо́рока, но не столь дымом окутанные. И несколько обитателей лачуг, попавшихся на глаза, были без причуд, а сходили обликом за обычных мужей и дев, в шапках и чепцах, тянули за собой по переулкам детей, телеги или псов либо же трусили на кобылах, щедро унавоживающих колеи. Однако разум его еще занимало уделенное видение, и потому решил он не почитать местных за простой люд, покамест не уйдет из них целу. Он брел по дороге, обойдя лужу, какую давешний дождь и мимопроходящие кони сговорились превратить в мерзкую трясиину. Невдалеке за хижинами, направо от Петра, вместе с ним к вершине холма на севере взбирался частокол – восточная стена поселения.

За зарывшимися домами, одаль на некошеном склоне, имелись жилища и повыше, хотя и в немногом числе, а близ стены с воротами он прошел мимо земли, где на отшибе стоял чумной сарай: там промеж костерков, ядовитые гуморы в воздухе очищать предназначенных, лежали те, кто стenal, и много хуже – те, кто молчал. Некоторые фигуры казались незаконченными из-за того, что члены у кого сгнили, а у кого были отсечены – не иначе в злосчастной оказии, – и меж циновками туда-сюда ковыляли старухи-ведуньи с лицами, отмеченными хворьями, кои они на своем веку пережили и коих не страшились боле. Петр преисполнился благодарностью, что сегодня ветер дул с запада, но с предосторожностью оборотил лицо от больных, их минуючи, и далее подымался на холм, где дюжинами бурлили люди, чего ему давно не доводилось видеть. Под конец пути его схватила одышка из-за душного дня с теплом, спертым под низким

одеялом неба, и Петр потел поверх старого пота, и все же было ему отрадно вновь ходить среди мужчин и женщин, и пребывал он в благом расположении духа, с непривычки дивясь великому людскому разнообразию.

Старики, морковные носы которых едва не упирались в торчащие подбородки, тягали сани, наваленные дубовыми поленьями, обратные стороны коих поленьев темно-красными были и кишели комашками. Петру пришлось ждать на углу перепутья у элеварни с высокими каменными стенами, пока мимо грохотала влекомая лошадь телега, наложенная лоханями свежедобытого мела, и состарила всех за спиною в клубящейся взвеси на десять лет в толико же мгновений. Наконец прейдя поперечную улицу, чтобы на холм подняться, бросил он взгляд вослед уходящей лошади и повозке. По бокам ее было еще грубых жилищ немало, а одаль – черный тернистый кустарник, где увидел Петр мать со стайкой детей, аккуратно выбирающих что-то среди колючек и складывающих находки в кошелку на плече женщины. Он предполагал, что они собирают хлопок и что это семья жившего поблизости шерстяника²² – столь оживленным и предприимчивым ему показался городок на холме.

И он этому дивился, шагая по склону к перекрестку на его верху. Когда был он мальчишкой по имени Эгберт и рос в Хелпстуне близ Питерборо, а позже остригся в том же Питерборо и принял имя Петр, он слышал рассказы о Гамтуне, но изредка. У него сложилось впечатление, что город всегда был здесь, но и каким-то нездешним, и был замечателен только тем, что никто его не замечал. Вестимо, в этих краях бывали римляне, а до того, верно, дикие племена, но больше о Гамтуне никто ничего не знал, кроме летучих слухов о месте, куда никто не ходил. Найдя здесь меновую торговлю и суматоху, восхотелось не без причины любопытствовать, отколе все это взялось. Словно бы когда с земли после кончины Рима наконец спали ночь и зима, они вдруг разоблачили Гамтун, уже шумящий в настоящем виде, явившийся из пустоты и с тех пор процветающий на высоте. И по-прежнему обходимый молчанием.

Петр ведал, что король Оффа, когда не копал свой великий ров на краю Мерсии с Уэльсом, сеял по этим землям новые городки, пускавшие теперь всходы, но Гамтун был не из их числа и носил меты дряхлых времен. Сохранил Оффа и Торп, село на северном конце города, которому ближайшим рынком сбыта служил Гамтун, однако Петр полагал справедливым, что свое выдающееся положение Гамтун заслужил еще прежде владчества Оффы. Петр упомянул, как его дед в Хелпстуне упоминал о значимости сего края, когда правил еще предшественник Оффы, Этебалд, – да и того раньше, во мраке седой старины, люди знали о местном поселении, вот только сами не знали, о чем знали. Быть может, Гамтун подобен кругу, очерченному куском мела по нитке: у него замечают только периметр, а центр, на коем основана вся фигура, небрегут вовсе или принимают за дырку, как у калача. Но как же в пустой дырке может разражаться столь бурная деятельность?

Проходя давеча Вулич, к востоку Лондона, Петр повстречал гуртовщика родом из этих краев, который, раз прослышав, куда намерен податься Петр, сказал, что слышал о Гамтуне. Знал он его по большей части за овечьи отары, что гнали отсюда во тьмах великих, но прибавил, что в поселении стоит поместье какого-то из родни Оффы, с построенной вблизи собственной славной церковкой. Ежели глаголал он правду, то, мыслил Петр, быть им во глубинах города, какую он еще не повидал, хотя может статься так, что вся земля вокруг Петра принадлежала поместью, и, вернее всего, хозяин имал свою долю от дохода горожан при посредстве так называемого Фрит-Бора – этакого десятичника, сборщика податей. Интуиция по сию пору не плошала, думал Петр, ежели довела до града, хотя все указания он получал на чужом наречии, которое понимал не вполне, – безотлагательные и расплывчатые увещания, что предмет в мешке должен быть доставлен «в центр твоей земли». Он знал, что Мерсия – сердце Англии, а

²² Здесь имеется в виду, что эта улица в будущем получила название улица Шерстяников – Woolmonger-street, однако далее в романе она не упоминается.

увидав толпы людей в работе и досуге вокруг, удостоверился, что, в свой черед, нашел сердце Мерсии. Но где же, задумался он, сыскать сердце Гамтуна?

Теперь тропа его от моста достигла перекрестка, где косогор выравнивался, прежде чем вновь круто взобраться на север. Облегчив плечо от ноши, Петр озирался, набираясь и сил, и знаний об округе, и отер мокредь со лба шерстяным рукавом. Впереди тропа, которую топтал Петр, за большей частью шла ровно, но потом возобновляла многотрудный подъем мимо хижин и сараев, где, судя по запаху, жили дубильщики, тогда как слева и ниже по холму, куда тянулась вторая дорога перекрестка, дымили кузни и несся звонковки горячего металла. По правую руку, за домами и загонами со свиньями, курами и козами, стояли открытые восточные ворота поселения, за дощатым зевом которых виднелась построенная из дерева церковь, вне пределов Гамтуна. Петр радушно приветчал шедшую мимо женщину и, когда та улыбнулась в ответ, спрашивал, что известно ей о церкви и не та ли это будет церковь, что принадлежит поместью. На шее женщины он приметил камень-талисман с узором, в котором признал руну, демону Тору посвященную, хотя и не думал, что это больше чем крестьянский оберег от бурь. Женщина покачала головой:

– Ты спрашаешь про церкву Святова Петра, она тама вон.

Тут она указала в сторону, из которой пришла, – на другую тропу перекрестка, за искрящие и пышущие горнила, – после чего вернулась взглядом к постройке у восточных врат, о которой сведывал Петр.

– А то бишь церква Всех Святых – ее срубили, еще када моя мама была дитятей. Ежли церкви ищешь, у нас того в достатке: Святова Хригория, што близ Святова Петра, аль старый храм на овечьей тропе, невдали по твоей дорожке.

Петр отблагодарил деву и отпустил своим путем, стоя на углу и раздумывая, не этот ли центр он искал, помыслив, что перепутье или подобное ему место под стать предмету в суме. Он спросил едва слышно, чтобы люди не приняли его за юродивого: «Это здесь?» Когда же ответа не последовало, попробовал вновь, с окрепшим голосом, да так, что зареготали мальчишки-лоботрясы через дорогу.

– Это ли центр?

Ничего не случилось. Петр не знал, какой знак ждять, чтобы узнать нужное местоположение, ежели знак вообще следует ждять, но его чутье не проницало вблизи никаких намеков. Теперь, когда другие поглядывали на него со смехом в глазах, он почувствовал, как крепче багрятся щеки, так что подхватил узел и двинулся дальше, чрез перекресток – второпях, чтобы избежать грохочущих телег, – и выше по холму, где промышляли кожемяки и швецы.

В местах сих после долгих переходов, скудных на зрелища, теперь что ни шаг, то диковинка. Подле зловонных дубильных ям, чей смрад он учуял еще с подножия холма, на досках строились башмаки, перчатки, сапоги и кожаные штаны такой прорвы мастей, цветов и размеров, какой не сыскать и во всем белом свете, думал он. Дурманил уже один их наваристый аромат, пока Петр карабкался наверх меж лавками и лотками, влача тяжелый мешок, что кое-когда бился о сгорбленный хребет. Его глаза и уши разве что не ослепли и не оглохли от зрелищ и звуков, кутерьмы и болтовни. Люди сбивались толпами у полок с выставленными товарами так, что не продохнешь, расхватывали вещички дешевые и сердитые, лежавшие у образца высшего качества – черного кожаного доспеха в полном наборе, разукрашенного серебрянными птичьими черепками. Петр не верил, что подобное облачение когда-либо обрящет своего купца и окажется на плечах, но по толчее оценил, что оно наверняка уже окупало затраченный труд сторицей в виде покупок без счета безделиц поменьше. Не преминув рассмотреть местных, пока они заняты делом и не оскорблены будут, в сборище он увидел больше простых или уродливых лиц, нежели чем красивых, и подивился тому, сколько мужчин, что поскидали одежды в душный день и обнажили кожу, носили на руках выведенные пигментом дикие узоры. На плечах были намалеваны не одни только кривые линии, но и грубые рисунки – блудниц, Спаси-

теля, а порою всех вместе в обнимку с одной набедренной повязкой промежду них. Он усмехнулся в своих мыслях и продолжил путь по тропе, где руки, заляпанные красками, всучивали ткани – такого насыщенного багряного цвету, какого он не видывал и в самой Палестине.

Чуть погодя он поднялся с рыночной улицы, хотя и не на самую вершину – холмы на юго-востоке побивали его возвышенность в состязании роста. Одесну́ю подле ног его продолжала взбираться по склону восточная стена поселения с брешами там и сям, тогда как ошу́юю вниз по холму сбегало великое множество улочек и переулков. Хотя он сам бы признал, что в его блужданиях нет цели, Петр решил, что, быть может, ежели обогнет город вдоль стены, то охватит его размеры и формы, чтобы исходя из знаний высчитать середину. Так, план был столь расплывчатым и чахлым, что его как и не было, а теперь Петр чувствовал, что от его завершения отвлекают и напряжение в мочевом пузыре, и голод в животе. Он все еще следовал по тропе на север, каковой не уклонялся от самого моста, но теперь вновь достиг ровных лугов, над склоном со швецами. Здесь молчаливые мужчины с былинками во рту и шумными псами вели в загоны уйму овец, и он тотчас вспомнил о деве с камнем Тора, с которой взял ответ о старом храме на овечьей тропе дальше по дороге. Хотя церковь еще не повстречалась, он не обиновался, судя по пешеходам на тропе, что движется верным путем.

Пока он спускался в неглубокую низину, вокруг и всюду, куда ни посмотри, топтались блеющие твари, которых сгоняли с запада Мерсии и Уэльса великими ордами, вызывая в воображении картины белой во все края земли – летом, а не в зимнюю пору. Теперь задумавшись, Петр вспомнил: еще с детства он знал, что западная скотная тропа завершается недалеко от Хелпстуна или же Питерборо, в срединных деревеньках страны, но думать не думал, что окончание ее лежит в Гамтуне. Отсюда погонщики водили стада в другие края по римской дороге, что привела Петра от Лондона и крутого белого побережья, либо мимо района Святого Неота к Норичу и восточнее, тем самым прокармливая бараниной всю страну. Ужели здесь, в Гамтуне, сходятся все дороги Англии, подивился он, сплетенные в узел какой-то исполинской повитухой, точно пуповина страны? Петр брел в шерстяном приливе по широкой улице, мощенной черным пометом, все так же двигаясь на север, теперь свесив мешок в руке, чтобы дать отдохнуть ноющему плечу.

Почти прошед чрез остолопство животных, впереди на кургане справа увидел он грубую церковку, сложенную из камней, – она-то, понадеялся Петр, и будет тем храмом, о котором поведала женщина, хотя виду церковка была заброшенного и запустелого. Подумав перевести там занимавшийся дух и перекусить нехитрой снедью, запятанной с парой монет в потайной карман рясы, он свернул на восток от вонючей жижи овечьей дороги и споро поднялся под сенью ветвей и порошей лепестков к постройке наверху пригорка, принятой за церковь.

Под кровом раскинувшихся деревьев паслось несколько плосколицых и безразличных шерстяных созданий, возле них-то Петр и опустил свой груз на землю и отринул рясу, чтобы выпустить в узловатые корни бука струйку тоньше, чем он было ожидал. Ее поток казался густым и оранжевым, хотя и кратким, и он предположил, что бо́льшая часть жидкости уже испарилась через хлещущие поры кожи. Петр стряхнул с уда последние капли скупого ручейка и оправил одеяние, поискавши глазами место, где можно бы приступить к трапезе. Наконец он остановил выбор на зеленой цветистой поляне под древним дубом, на него и оперся спиной всего в паре шагов от нагромождения камней храма.

Теперь, когда он присмотрелся, присемши на мураву с мешком поблизости и вгрызаясь в корочку, извлеченную из подкладки за пазухой, Петр уже не был столь уверен в христианском происхождении низкого сооружения и навострил глаза к необычности его. Он раскинулся на своем дубовом троне и медленно перемалывал зубами ломоть и козий сыр во влажный серый мякиш, размышляя, что же за одинокое строение перед ним или какую службу оно некогда служило. На старых каменных столбах дверного проема заплетались выбитые драконы – куда длиннее, чем несчастное создание, в помойной яме у Лондона пойманное. Ежели то вправду

дом христианских богослужений, Петр смекнул, что христианство то старше его собственного и произрастало из традиций трехсотлетней давности, когда предшественники ордена Петра были вынуждены поневоле идти на уступки перед последователями языческих богов, смешивая учение о Христе с обычаями невежественными и суеверными да проповедуя с курганов, где некогда святилища демонов высились. Змеящаяся по столбам резьба изображала аспида, который объял мир, из старых религий, что помещали обиталище смертных посередине других двух – Хелем внизу и нордическим раем за мостом – наверху.

Исключая такие подробности, как мост, рай тот не разнствовал с раем его собственной веры: жизнь, что простирается далее краткого срока на земле и в каком-то роде помещается над ним, на горней вышине, а оттоле видишь и ведаешь силки и капканы мира сего. Хотя Петр никогда не произносил этого вслух в монастыре Святого Бенедикта, он не усматривал столь уж важным, ведет к раю мост ли, лестница ли, какие имена носят обитающие там персонажи, что за истории у богов. По мысли его, в том-то и ошибка христианства в Англии, что ныне народ увлечен поисками истины в писаниях, кои почитают лишь за притчи в других землях, и оттого у них все ладно. Судя по тому, что слышал он о магометанах, их библия была сборником историй, что лишь окормляли и научали примером, а вовсе не считались пересказом исторической были. Так толковал христианскую Библию и Петр, прочтя ее от доски до доски, – подобно истории Беды, подобно втайне подслушанным байкам о чудищах из скандинавских земель, – но, когда бы он сам ни оглашал христианскую доктрину, всюду сталкивался с узколобостью, пустозвонными требованиями ответственности, взаправду ли мир сотворен за шесть дней.

Петр веровал в сиятельный идеал, и идеал сей олицетворял Христос, фигура учителя. Вера для Петра была добровольным признанием священного. Ежели вера меньше того или больше того, то она лишь верование – так дети верят в сказку о гоблинах, покамест не умчатся к другим потехам. Хранить веру в материальный факт – лишь тщета, которую легко разбить, тогда как идеал остается вечной истиной в любом выражении. Верование, как его видел лично Петр, немногого стоило. Вечный, невоплощенный идеал – вот что главное, вот свет, что ордены, подобно его ордену, сберегли в ночи, а теперь стремились пролить на темный, павший мир. Он не верил в ангелов как в материальных существ, а как в идеалы ему не нужно было в них верить: он знал их. Он встречал их в своих хождениях и видел их, хотя его и не заботило, видел он их глазами смертного или же мысленным взором, подобающим идеалу. Он встречал ангелов. Он не верил. Он знал и чаял, что сотню лет вперед его исповедание не завязнет в болоте верующих. Не эта ли участь постигла старых богов, у храма которых теперь хлеб с сыром он вкушает?

С думами покончивши, смахнул он крошки с бороды на откуп голубям, собирающимся вокруг развалин. Встав на ноги и вновь подымая мешок, спустился он по взгорку обратно к овечьей тропе, взбивая поношенными веревочными сандалиями иней лепестков, с высших над главою деревьев опавший. Опустел теперь скотный прогон, не считая ковра из помета и узоров копыт, как на пощипанном глиняном горшке. Петр обновил путь на север, но тут же уткнулся носом в северную стену города и просмоленные бревна северных ворот, стоявших приоткрытыми, как и их собраты на юге у реки.

В этом квартале поселения царил иная атмосфера, с чувством лютым и зловредным, которой немало споспешествовали отрубленные головы на кольях над воротами. Судя по светлым волосам в нестриженной манере, еще свисающим клоками с истлевающих черепов, Петр принял их за душегубов из Дании или прочих северных краев, удивленных открытию, что в Гамтуне хватает своих душегубов. Одна из голов мельтешила, и ему подумалось, что его подводят глаза, но то оказался лишь рой мясных мух, из распахнутого рта вылупившихся.

Значит, поселение пройдено из конца в конец, с юга на север. Немного же времени это заняло. Перед преградой из бревен он правил путь на запад, налево, и покатился вниз по холму, чтобы найти еще не виданный край Гамтуна. Во время спуска по склону дола – снова, как

выяснилось, в направлении реки – перед ним раскинулся великолепный простор земли, где подымались завитки дыма, обозначая пределы жилья на западе Гамтуна и на противоположной стороне Ненн. Та казалась серою и серебряною косичкою, петлявшею промеж желтых и зеленых полей под далекими древами, а над ней деревянной дугой накинута мост, через которой, по его мысли, и гуртовали овец из Уэльса. Заметил он недалеко от реки, на ближнем берегу, и высокую стену, выстроенную из жердей, как городские стены. Может статься, там монастырь или владения лорда, и тогда их восточный забор обозначает западную границу городка.

Вывод, хотя и голословный, что поблизости служат другие монахи, навел мысли на его собственный монастырь в тихих полях у Питерборо, где Петр не бывал вот уже три года или того боле. Его укололо воспоминание о келье и постели в Медешемстеде, как и память о друзьях среди братства, и с окрепшей душой он обещал себе поворотить туда стопы, когда труд в Гамтуне будет окончен, а долг – исполнен. А значит, сказал он себе, не прежде, чем отыщется центр поселения и точно на нем талисман водворится, в джутовую ткань обернутый. Тоска же по луговой отчизне не приблизит к цели, послужит лишь тому, чтобы расстроить скорейшее ее достижение.

Ошуюю теперь были узкие проходы, убегавшие меж домов теснящихся, изгибаясь за углы и скрываясь, чтобы переплестись в узел – узел кишок Гамтуна, помышлял теперь Петр, сырых и цвета дивного, – в то время как, обойдя Гамтун повдоль стен, он видел не более чем разукрашенную и пигментированную шкуру града. Желание углубиться в лабиринт улочек вводило Петра в искушение, сулило, что отыщет он нужное место, будучи вспомогаем одним лишь чутьем, и все же верх одержало здравомыслие. Тут он вспомнил погонщика, встреченного дорогой в Вуличе, который знал о Гамтуне и обронил среди прочего: «Там сплошь тропинки и перекрестки, что в твоём кроличьем гнезде. Внутрь попасть непросто, но скажу тебе без утайки – обратно выбраться стократ тяжелей». Петр может заплутать среди узких улочек, а потому лучше повременить и обойти попервоначалу границы поселения, как он и задумал, дабы снять мерку. Так Петр продолжал шагать по холму, пока почти не уперся в стену, с пика виденную, посему отметил про себя, что Гамтун с востока на запад оказался вдвое меньше, чем с юга на север, и представил его форму в виде узкого обрывка коры либо пергамента. Начертано ли на нем что-либо и хватит ли Петру смекалки прочесть послание – этого он еще не наблюдал.

Стена из жердей, бежавшая по берегу реки, оканчивалась мостом, что вел из поселения к Уэльсу. Под деревянным настилом Ненн тоже брала поворот в том направлении, и стена между Петром и кромкою реки, послушно загибавшейся на запад, сменялась здесь высокой и черной живой изгородью, укреплением служившей. Так, очутившись в очередном углу Гамтуна, снова свернул Петр и поплелся книзу – навстречу, как теперь ему было ведомо, долгой прогулке до южных пределов, откуда пустился он в обход стороною некоторыми часами ранее. Направо его был серебристый квадрат низкого серого неба, где брезжило солнце, готовясь к долгому провалу в ночь. Начал же он путь около полудня.

Подавшись на юг, у нижней части поселения нашел он немного домов, только крофты – огороды со скромной лачугой. На отлогих склонах впереди подымалась тонкая пряжа дыма и в бледный покров вязалась, потому решил он, что пастбища там населены гуще. Вдоль реки же на своем пути Петр видел одно-единственное жилище, поставленное как будто на углу развилки – второй из двух на его пути, уводивших на восток, наверх, меж пустыми выгонами.

Он приблизился к близлежащему ответвлению, остановился и окинул его глазами. Подымавшееся от него наверх, оно казалось протоптанным, но вид имело древний, как и канава вдоль него, где журчал ручеек, точившийся, по мысли Петра, из родника или ключа наверху. Петр прошел основание проселка, болтая сумой за спиной, и зашагал к каменной хижине-крофту на углу, где к дороге льнула вторая боковая тропа. Приземистое зданье смотрелось нелюдимым, одинокое на западном отшибе поселения, без всяких признаков огня в очаге. За

грязным проездом направо от Петра из камней был сложен славный колодезь, над которым поставили деревянный ворот с веревкой и висящим ведром. У Петра не было ни капли во рту с самой остановки у пруда со свежей водой – около полудня, в нескольких лигах к югу от Гамтуна, – засим Петр сошел с прямого пути в сторону криницы, на ходу насвистывая песенку, которую смутно помнил откуда-то с дороги.

Когда он подошел, колодец оказался больше, чем мнилось издали: кольцо из камней доходило до груди, и было не меньше двух шагов от одной стенки до другой. Он обернул рукоятку лебедки, чтобы стравить веревку, после чего весело раскрашенное деревянное ведро нырнуло с глаз долой в бездонную дыру. Через несколько мгновений спуска снизу раздался слабый плеск, и скоро он уже вытягивал емкость куда тяжелее, чем опускал. Намокшее вервие скрипело, и Петр слышал и чувствовал волнение у стенок качающегося сосуда, из темного жерла на белый свет возносящегося. Привязавши веревку, он подтащил ведро к себе и заглянул, мучимый жаждой.

Кровь.

Страх ударил в голову, весь мир закружил перед глазами, он даже не слышал собственных мыслей. Чрез разум, точно конницей, пронеслось множество разных толкований, в смятенном испуганном порыве топча рассудок. Это его собственная кровь – ему перерезали глотку, а он того и не заметил. Это кровь Гамтуна, многих поколений жителей, стекшая по склонам, дабы в одном подземном водоеме скопиться. Это кровь святых, которую, по словам святого Иоанна Богослова, следует пригубить при наступлении конца света, что наступит через две сотни лет. Это кровь Спасителя, знамение Петру, что сами земля и почва есть плоть Иисусова, ибо разве не был пресечен цвет его, дабы взрасти вновь, подобно ячменю и прочим дарам земли? Это сердечные соки внушающего ужас Таинства, алее, чем ягоды падуба, чудо из чудес толикого масштаба, что христианам сей эпохи рано знать о нем, и знать о Петре, ибо воистину благословлен он Господом, раз узрел чудо сие, нетварное явление сие...

Краска.

Как он мог быть таким глупцом? Он же видел яркие ткани, выставленные на улице шведов, однако не задумался, откуда они берутся. Он спустил в колодец ярко-красное ведро, однако счел, что оно раскрашено для непроницаемости, а не обагрено нескончаемым использованием. Все это было ясно как день, разве что не дураку, однако в пылу своем он ослеп и едва ли не канонизировал самого себя. Он твердо порешил не рассказывать о своей постыдной ошибке братьям в Медешемстедде даже ради шутки на свой счет, на счет самовлюбленной глупости и тщеславия, иначе навеки предстанет в их глазах толоконным лбом.

Посмеиваясь теперь из-за того, как ловко его второй раз провел Гамтун, выплеснул он содержимое тары обратно в черное и бурлящее горло, откуда его подчерпнул. Вспомнив о брате Матвее из Питерборо, который писал иллюстрации на манускриптах и немало поверил о ремесле своем Петру, он составил мнение, что, надобно думать, цвет воды получен благодаря железной ржавчине из почвы. Хотя это и не сделает большого вреда, он все равно был рад, что не хлебнул, не заглянув наперед внутрь. Как-никак, красная охра не единственный элемент, красную краску дающий. Был, к примеру, порошок ртути, и на луговой родине братьев-бенедиктинцев он слышал о монахах, которые облизывали кисточки с остатками красного пигмента, чтобы смочить их и заострить. День за днем монахи, сами того не зная, отравляли свое тело. Сказывали об одном, чьи кости стали толико хрупкими, что, когда возлег он отойти и на него милосердия ради накинута одеяло, под весом переломились все кости его и монах погиб. Правда это или нет, Петру было неизвестно, как неизвестно, отравлена ли вода в этом колодце, но все одно он чувствовал облегчение, что не стал ее испытывать, иначе нелепый промах мог бы стать роковым.

Теперь, когда испуг сошел и Петр возмог рассуждать здраво, он больше не клял себя как великого глупца. Пускай святая кровь по материальному существу своему оказалась не чем

иным, как краской: разве подобно забывать о ее существовании идеальном, когда цвет из недр земли не иначе как символ, обозначающий все неземное, а значит, не имеющее мирского обличия? Разве одна вещь не может иметь несколько значений, и то, что по мерилу истины кажется ржавью, по мерилу сердца есть само вино Христово? Прежде он слыхом не слыхивал о колодцах краски такого оттенка, а значит, на деле это чудо, не меньшее, чем жидкость, которую он сперва выдумал. Что бы ни явило знак, это все же знак, и его следовало истолковать.

Когда вновь Петр навьючил на себя поклажу, ему вспало на ум, что он был слишком нерасторопен и робок как в помыслах, так и в поисках. Сторожко обходя Гамтун кругом, Петр видел его лишь фигурой или плоским наброском, начертанными на пергаменте, тогда как сейчас он понял, что в граде больше от живого существа со своими гуморами и телесными соками – не территория, которую меряют шагами, а незнакомец, которого судят по словам. Откроет ли град свою душу, ежели Петр позабудет о настороженности и сдержанности в своем подступлении? Возвращаясь на ведущую к югу колею, задумался он и наблюдал пользу пуститься на восток, мимо одинокого жилища у тропы в само поселение на холме, в путаницу приземистых домов наверху и справа от него, где очаги чадящи чернили облака прокопченны.

Он оставил каменный сарай позади и начал подъем, и тут-то на него нашло ощущение, которое, как он однажды слышал, звалось «виденное допрежь», когда новые обстоятельства приносят с собою чрезыестественное убеждение, что уже пережиты были в прошлом. Заметил он, что не просто знал сей схожий момент, когда уже миновал одинокую хижину, восходя на горы в незнакомом краю. Нет, он не в первый раз очутился именно в этом мгновении во всех его подробностях: бледные малые тени, отброшенные на траву солнцем запеленатым, оставившем зенит позади, и мох, наросший в виде пятерни возле дверного проема немого деревенского дома; звон птичьей песни из темных кустов на западе – вот эти три резкие ноты и затихающий плач; парящий в воздухе свиной запах его собственного пота, бегущий из-под ряс; гудящие гудом ноги, ароматы отдаленной невидимой реки и жесткие узлы мешка, казнящие согбенную спину.

Петр стряхнул с себя наваждение и миновал известняковую грудку крофта, подымаясь на холм. Он ничего не видел в темных дырах окон, но столь неизъяснимым ощущением окатывали они, что мимолетно помстилось, будто бы за ним наблюдают. Подлый уголок разума, что вздумал стращать его, сказал, что это все карга с глазами-улитками из сна, сидит сама-одна в тени немой лачуги и блюдет каждое его движение. Хоть это мог быть не более чем фантом, которого он сам себе вообразил на горе, все же обробел Петр и заторопился оставить хутор далеко за спиной. Так, оторвавшись от восточной дороги, по которой он взбирался, Петр пошел наискоски на юго-восток по узенькой тропинке – не более чем бесцветной полоске примятого бурьяна по колено.

Более всего на крофте сердце Петра растравила мысль, что его тамошнее появление мимоходом – не единственное событие, а только одно из многих повторений, так что в разуме возник образ бесконечного ряда Петров, и всякий по отдельности раз за разом проходит один и тот же медвежий угол, и на миг узнает друг о друге и странной оказии их повторений, о том, что мир и время вокруг равно повторяются. Охватили его призрачные ощущения: будто он уже мертв и переглядывает скитания жизни своей, да позабыл только, что это не более чем второе, а то и сотое чтение, доколе не наткнется на пассаж, знакомый описанием хибары на отшибе, песни черного дрозда либо лишайника в виде длани. Мысли эти были для него новы, и посему он сомневался, что умел охватить их во всей полноте. Аки слепец, хватался он ощупью за края их и выступы странные, понимая, что целиком фигура вне досягаемости.

Пока он карабкался по склону и подчинялся повороту тропы снова на восток, Петру вспало на ум, что нашедшая небывалая блажь – дух или миазмы, разлитые в этой местности, и эффект их становится тем паче, чем глубже он внидет. Настроение окрасилось в оттенок, который не умел он назвать, ибо был он словно цвет, смешанный из многих ингредиентов: из

страха и благоговения, из радостной надежды, но и печали, и дурных предчувствий, какие ему было неспособно объяснить или описать. Обязанность, явленная в виде мешка из джутовой ткани, точно бы разом и позволяла душе воспарить в ликование, и такгнула к земле в три погибели, что быть ему переломлену и подмяту под нею. От чувств прекоречивых ощущение его казалось катышком из всех человеческих состояний, вместе взятых, и распирало оно так, что Петр, не ровён час, треснет. Сие волнительное, но неловкое ощущение, наверное, знакомо всем существам, Божье воление исполняющим, заключил Петр.

Он брел по высокой траве и теперь вступил на иную земляную тропинку – она подымалась прямо по холму в том же направлении, что и дорога от колодца красильников, но в стороне. Сей новый путь вел к скоплению жилищ по бокам, похожих на крытые ямы, где промеж смеющихся мужиков и бранящихся баб с выводком детей бродили, принохиваясь, собаки со свалывшимися шкурами. В самом конце видел он растущие крыши иных зданий, а под ними – множества телег движенье, и так увидел, что лежит там главная площадь поселения. Поодаль на холме, по правую сторону от дороги, посередь низких домов и их населения, топился большой костер на пятачке голой и почерневшей земли. Сюда в волокушах и мешках люди сносили сор, какой не могли пожечь дома из-за его обилия или вони. Он видел, как с повозки вилами мечут грязные ворохи ветоши – чумного тряпья, помыслил он. Была тут и телега золотаря, которую возница под крики и заминки подавал к огню, дабы старикам, зарабатывавшим черной работой на житье-бытье, было легче кидать лопатами навоз в полымя. От жара до небес клокотала мерзкая башня вони и марева, потому как стояло безветрие, но Петр знал, что в иную погоду все сгрудившиеся здесь дома терялись во смрадной мгле.

Думая избежать самой гущи зловония, он сошел с дороги на восток, коль скоро подвернулась небольшая перекрестная улица. По обе руки здесь тоже были хижинки, но встречалось не в пример меньше людей и костров. Вдалеке по пологой дороге увидал он широкую соломенную крышу – похоже, что зала общин, замкнутого стенами. Осиянная область небес снова оказалась направо – это значило, что Петр опять шел на юг, но не успел пройти долго, как препятствовала ему очередная помеха. Через несколько времени на его пути вырос двор, а над ним подымалась огромная туча, как на дворе, где жгли отбросы, но как те клубы были черным-черными, так эти оказались целиком белыми. Он увидал повозку, на которую сзади с небольшого взгорка на огороженном клочке грузили мел, и вспомнил о подобной телеге, что пересекла путь его от южного моста этим утром, и поднятую пыль, до сих пор лежавшую на волосах и складках одеяния. Он желал остаться первозданного цвета, какого был, когда впервые вошел в Гамтун, и не краснеть из-за краски или чернеть и белеть из-за окуриваний, так что теперь стоял и озирался, дабы понять, куда править путь далек.

Вновь он был на каком-то углу, и от стези, пройденной только что, вновь на восток бежала улица. Слияние дорог отмечалось горбом посреди площади, с одной стороны короче других. Вкруг площади шла канава, вырытая столь давно, что уж затравенела, как римский речной дозор внизу. Покатый пригорок давал впечатление, что когда-то обладал некой важностью, хотя и не было на нем зданий, а только лишь золотые гроздьи одуванчиков, еще в пушистые шарики семян не превратившихся.

Оглянув всхолмье, вдруг увидал Петр переполох у его нижней границы – на стороне, где находился Петр, а значит, меж ним и складом мела. На обочине стала лошадь с повозкой, а за бразды ее держался уродец. Лицо его было широкое, с далеко посаженными глазами, и казался он сильным, но осадистым, будто бы приплюснутым. Сидючи на низких козлах, он состоял в беседе с ребенком – девочкой не старше дюжины годков, на земле сбоку окружной канавы переминавшейся и на малого нерешительно поглядывавшей. Казалось, она побаивается его, словно он чужой ей, качала головой и порывалась уйти, и тут приземистый возчик бросился и крепко схватил ее за пухлое запястье, чтобы пресечь побег.

Петру было дано лишь мгновение на раздумья, что предпринять. Ежели это ссора промеж разгневанным родителем и норовистым чадом, он бы возгнушался мешаться, однако не то мнилось Петру, и в скитаниях он повидал немало надругательств, чтобы со спокойною душою отвернуться и льститься надеждою, что все обернется добром само собою.

Будь на то его воля, умел Петр возопить гласом могучим, и даже братья в Медешемстедех, хотя и любили его, не любили с ним маливаться. Этот зычный рев он и пустил в ход теперь, что было мочи, и глас разразился громом по невозделанной земле меж ним и негодяем, залучившим девицу.

– Ну-ка! погоди сию минуту! Человече! Я кому говорю!

Длинными шагами Петр направился к телеге, а мешок теперь тяжело болтался в ладони у ног, чтобы нельзя было взглянуть на него без страха, в какой грозный кистень может превратиться скромная котомка, ежели орудовать ею размашисто. Петр был мирный человек, но ведал, какое впечатление производит мощными руками и рдящимся лицом, буде то истребно: он бы не обошел полсвета невредимым, не знаячи, как употребить столь страшный лик к своей пользе. Мужик на повозке, тело которого точно придавили, тут же вперил взгляды в Петра, что несся к нему по осоке с болтающейся булавою в раскрасневшейся руке. Выпустив девицу, плут задрожал и заозирался в поисках спасения. Прикрикнув, чтобы разбудить кобылу, он стронул ее прочь, а его транспорт заскрипел по короткой стороне пригорка и завернул за угол, откуда он бросил последний заполошный взгляд на монаха, прежде чем во весь опор скрыться из виду.

Спасенная девица замерла столбом на краю округлого рва и наблюдала, как удирает истязатель ее, затем повернулась к Петру, ставшему на полпути от нее, согнувшись пополам и громко пыхтя от усилий, подняв руку в ее сторону, словно желая успокоить перепуганное дитя. Мгновение она смеряла взглядом освободителя своего с мокрым лицом-брюквой и чудовищным хрипом, вырывавшимся из глотки, прежде чем придумала бежать в другом направлении, нежели выбрал нападавший, и понеслась стремглав вниз по холму, словно бы к южной дороге, где стояли одинокая хижина и кровавый колодец. Приходя в чувства среди дремлющих стеблей, Петр видел, как она удалялась, и отринул обиды из-за того, что девчонка опасалась собственного избавителя. Не все монахи делали жите с Петра, и, хотя Петру было ведомо, что большей частью сальные песни о блудливых аббатах – лганье, встречал он на своем пути и братьев с неприятными аппетитами, что ухитрялись претворять все наветы в жизнь. Девочка выказала мудрость, нимало не доверяя никому в эти смутные новые времена, и он не серчал на ее безблагодарное исчезновение, пещася только, что милостию божией оказался рядом впору, дабы отвести зло.

Оттого пребывал он в благом гуморе, когда наострилсся снова вернуться на восточную дорогу, которую оставил, чтобы обойти мусоросжигание и его испарения. Вернув дыхание, он зашагал по тропе на северную сторону кургана, в пути углубляясь мыслями в произошедшее. Не реши он у колодца избрать иной путь в поселение, возмогло выйти так, что быть девице жертвою убийства и найтись бы в виде безобразном под кустом. Кто теперь знает, скольких детей и внуков она принесет на свет или какие перемены в путях мира повлечет результат сей? Даже окажись его первоначальная причина найти Гамтун миражом и химерой, вызванными палящим чужеземным солнцем, то теперь с легкою душою скажет Петр, что все же послужил воле Господа. Хотя и билось сердце точно громкий барабан, вселилась в него радость, когда Петр устремился по каменистому подъему с мешком через плечо и в поту лица, что каскадом бежал по челу.

Он отмечал внутренне, что духота наваливается все сильнее, когда возвел глаза и узрел другого перехожего оборванца, поспешавшего навстречу ему, – не такого старика, как Петр, но внешности потешной из-за платья несообразного. На голове его уселась кепка, как перевернутый мешок для пудинга с краем для размазывания, а одеяние пестрило в глаза несходными

предметами, словно выброшенными другими, – хотя чего Петр не мог взять в толк, так это их странный вид. Короткая куртка и широкие штаны из легкой ткани, тогда как на ногах незнакомца были маленькие кожаные туфли, скроенные на неизвестный Петру манер, – не виданные даже на лотках дубильщиков у восточных ворот Гамтуна. Столь несусветное убранство нес убогий путник, что монах не мог не улыбнуться при сближении. Хотя в человеке бросались в глаза бледность его и седина, не казался он злодеем, в отличие от возницы на телеге, что вознамерился умыкнуть ребенка несколько мгновений пред ними. Это бедняк, и может статься, на совести его немало проказ, но сердце его доброе, и, когда пути пересеклись, они ухмылялись один другому, хотя никто не мог сказать, то ли из дружелюбия, то ли из-за того, что оба полагали наряд второго смехотворным. Петр поздоровался первым и заговорил:

– Я как раз помышлял, что для гуляний днес жарковато. Как живешь-поживаешь, честный человек?

Второй тут закинул голову и сузил глаза, прищурившись на Петра, точно бы думая, что тот его дразнит, но наконец уверился в обратном и отвечал доброжелательным тоном:

– Да, кажись, и в самом деле жарковато, а поживаю вроде что ничего. А ты что же? Мешок этот твой на вид та еще тяжесть.

Произнесено это было с плутовским подмигиванием и кивком на джутовый тюк на плече Петра, словно скрывались в нем краденые ценности. Улыбнувшись сей мысли, монах опустил ношу на разбитую колею у их ног. С превеликим облегчением вздохнул и покачал головой:

– Что ты, благослови тебя Боже, нет... а ежели и так, та тяжесть не тянет меня к земле.

Малый поднял одну бровь, точно бы с интересом или ожиданием продолжения речи, отчего Петр решил, что ему выдалась еще одна оказия узнать путь к месту, о котором помыслы его были. Прежде всем сретениям сего дня словно бы радели высшие силы – возможно, и эта их рук дело. Воодушевленный такими соображениями, он открылся и задал вопрос – на который, как думал, не суждено ответить никому, кроме него самого, – указуя при том на сложенный с плеч узелок.

– Мне велено принести это в центр. Ведомо ль тебе, где он есмь?

Интерес Петра вызвал немало задумчивого мурлыканья и оглаживания губ, когда его новый знакомый заломил чудную кепку, обнажив редующие волосы, и поглядывал горе то так, то эдак, точно надеялся узреть искомое место в выси небесной. После молчания, когда монах уж было думал разочароваться, Петр взял свой ответ. Странник повернулся от Петра и указал дальше по улице за своею спиною, куда и без того держал путь Петр. Там холм, куда он подымался, становился плосче, так что ныне дорога вилась меж жилыми землянками и пастбищами на широкий поперечный проезд, что сбегал с севера на юг и кипел далекими телегами и животными неуправляемо. На пересечении дорог возвышался толстый вяз, и к нему-то обращали внимание монаха.

– Если я верно понял, то тебе поворачивать направо у того дерева в конце, – втянув со шмыганьем соплю, мужчина цыкнул, словно бы сказанное подкрепивши. – Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу. Если покатишь и дальше с холма, увидишь центр налево от тебя через дорогу, всего на полпути вниз.

Радость обуяла Петра и толико же удивление великому Божьему Промыслу и тому, что решение его загадки отыскалось столь легко и ловко. Стало быть, в конце пути от него истребовалось лишь спросить. Он с благодарностью воззрися на нищего в лохмотьях, даровавшего избавление, и только тогда впервой постиг, чем же поистине необычен был сей человек. Оказался он не сер и не блед, как мерещилось Петру на первых порах, но, вернее, бесцветен совершенно – образ, начертанный углем, нежели существо живое и теплокровное. Был он не только лишь бледен, но воде илистой обличьем подобен, так что когда монах пригляделся пытливей, обнаружил, что различает в фигуре ползучие темные пятна, принадлежавшие движению на дороге, пересекающей холм дальше, – словно бедолага сотворен был с тем умыслом, дабы

смотреть сквозь него можно было, хотя и смутно. С холодком, напомнившим ручей пота по ноющему хребту, Петр осознал, что любезно беседовал с призраком.

Петр приложил все старания, дабы неожиданный испуг не отразился на лице и нимало не оскорбил того, кто по сию пору находился в расположении самом теплом и доброхотном. Опрichь того, монах еще оставался неуверен, с чем именно завел он разговор, хотя не принял встречного за нечистую силу. Возможно, то заблудшая душа – ни благословленная, но и не окающая, засим пребывающая в ином состоянии в облюбованных местах. Он задался вопросом, обречен ли дух вечно скитаться по земле или же знал дальнейшее направление, будь то рай или противное место, и по сей причине спрашивал, куда тот держит путь.

– Верю, твоя стезя лежит к праведной и богоугодной цели?

Привидение тотчас глянуло виновато, затем лукаво, а в конце концов спокойно. Петр про себя наблюдал, что выражения морока видны насквозь так же, как его тело. Существо несколько помялось вперед того, как дать ответ.

– Я... ну, сейчас я спешу проведать друга, если сказать как на духу. Несчастливая живая душа, живет одна-одинешенька на углу улицы Алого Колодца без всяких родных и близких. Теперь спешу откланяться, отче, или как вас лучше звать-величать. Удачно дотащить вещмешок до центра.

На этом привидение прошло мимо Петра и дальше по холму, туда, где Петр только что укоротил стервеца на телеге пред девушкой. Монах стоял на месте и смотрел вслед – дивиться надо было, что за странная воля вела потустороннего оборванца к крофту одинокого фермера у красивого колодца, ибо, судя по речам, другого места в его мыслях быть не могло. С той самой поры как Петр вошел в Гамтун, ни одно из встреченных происшествий не казалось пустым случаем. Напротив, мстилось, что все события уже были расставлены по своим местам и временам, а их стыки и прикрасы давно условлены. Хотя вновь чувствовал он, точно на углу у колодца, что лишь пересматривает читаное повествование, теперь оно смотрелось скорее чертежом на пергаменте из-под руки плотника. Каждый шаг Петра следовал вдоль линий, служивших частью неведомого ему замысла. Блуждающий фантом, что соизволил способствовать в деле монаха, теперь был одал, и разглядеть его становилось все трудней, так что Петр вновь поднял свое бремя и приновил на спину, а затем оборотил стопы туда, где рос вяз. От него повернул к югу и зашагал вдоль широкой улицы, где водили табуны коней, – навстречу перепутью в нижнем ее конце, как было указано.

Жеребцы, кобылы и лошада всех мастей стояли вокруг в загонах у дороги или трусцой выходили из них, чтобы месить грязь на грязном косогоре, потому решил он, что здесь свои дела вели заводчики. Купный запах навоза был сладким или подобным фруктовой каше, хотя сладость та не услаждала нос и повсюду шепчущими грозowymi тучами роились черные мухи. От пахучего воздуха и растущей духоты по его ногам и рукам сбегали соленые потоки, а сердце и дыхание стали тяжелее – или так уж ему казалось. Возведя взгляд, он увидел, что облачный покров казался ближе и, хуже того, куда темнее. Петр чаял, что скоро его странствие будет окончено, чтобы скорее отыскать кров и не мыкаться на улице, если прольется дождь.

Перекресток, когда он до него дошел, снова прикинулся знакомым местом, а голова Петра теперь казалась легче, в ушах звенело эхо. При том, сколько он ссал и потел, губы его с самого рассвета не смочила и капля воды. Он стоял на северо-западном углу развилки и смотрел на восток повдоль новой улицы, на кромке коей замер. Тут он лицезрел вид дымный и слепящий и вмиг смекнул, где находится. То был дальний конец улицы с кузнями, чье начало он видел этим утром, когда только что прибыл и поднялся с моста. Ежели поблизости воистину находится центр Англии, тогда сколь же часов назад он был в считанных шагах от цели? А впрочем, приди он к нему сразу, не повидать ему ни древний храм на овечьей тропе, ни кровавый колодец, ни оказаться бы поблизости, чтобы уберечь дитя от зла. Он не сводил очей, точно умалишенный, с искрящейся и тлеющей улицы, и поражался тому, куда его завела судьба.

Петр видел перепачканных сажей мужчин, работавших с жидким золотом, и стариков, почти ослепших от своих лет, согбленных над серебряными украшениями. Мужчина размерами с карлу стоял, раздувая щеки и вытянув губы, сомкнув их на длинной трубе или горне, где с другого конца надувался пузырь, словно мыльный, но весь горящий, и Петр признал в растущем пузыре раскаленное стекло. Он видел улыбающихся купцов с глазами ярче, чем самоцветы в их калитах, которые они проливали сверкающими каплями на подставленную разверстую ладонь. Он видел богатства мира с пылу с жару из печи, и знал, что все эти чудеса не годятся в сравнение жемчужине в его джутовом мешке.

Петр отвернулся в противную сторону и всмотрелся на запад, вдоль улицы, куда теперь люди вели множество лошадей с холма за его спиной. На немалом расстоянии на своей стороне Петр завидел возвышенную над другими соломенную крышу и понял, что это тот дом общин, чей зад он успел повидать от удушающего двора торговца мелом. Противу дома общин над вершинами крыш виделась церковная башня. Быть может, великий зал под соломой и был тем поместьем, о котором он наслышан, где жил наместник и кровник Оффы, построивший на своей земле церковь. Добрая женщина, говорившая с ним на верхнем конце улицы золотарей, утверждала, что здесь есть церковь Святого Петра, – он верил, что теперь она и предстала его глазам.

Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу, так велел ему призрак, затем двигайся прямо, где по левую руку, на другой стороне улицы, ежели все делать правильно, и будет поджидать место, что он искал. Все еще с колотящимся сердцем и в угасающем свете из-за дождевых туч, собирающихся в небесах, Петр с заминками перебирался через оживленный прогон, избегая колес гремучих телег, покамест не оказался невредимым на другой стороне. С этой новой точки он с тревогой глянул вниз, на восток, – не подскажет ли какой знак, что там-де лежит центр, о котором сказала душа-бродяга. Но не было там ничего, опричь новых пастбищ и забранного оградой двора, откуда лязг оглашал всем, что он принадлежит ковалю, – хотя даже тот двор не стоял и близко к середине уклона, где, по уверениям, быть центру. С пускающим корни волнением Петр начал спуск, пока усталые глаза с ожиданием бегали по землям на соседней стороне.

Двор коваля, как он и думал, был ближе к подножию, тогда как у перекрестка в другом конце, на углу с улицей золотарей, стояла вторая кузница. Меж ними и их черными печами ничего не было, кроме пустой и неухоженной луговины, а теперь на щеке Петр почувствовал первую каплю дождя, жирную и холодную.

Дошед, как ему казалось, до середины спускающейся дороги, он стал на ее краю, и взглянул чрез нее на одни только заросли. Гром в груди становился сильнее, и Петр знал, что прибывал сюда уже один, другой или еще множество раз, чтоб не обрести ничего. Он вечно находился в потоке прибытия и обреченного поиска. Ничего, лишь только всадники и их кони сновали по широкой дороге под дождем, что лил все тяжелее. Ничего, лишь только человек слонялся без дела у двора кузнеца на углу пересечения с улицей мастеров золотых дел. Ничего, лишь только чертополох, дерево и голая земля там, где думал он найти престол души всей своей земли. Не ведал он, что сбегало по лицу его – слезы, пот или дождь, – когда запрокинул лицо безнадежно к мрачному небу и вопрошал вновь то, что вопрошал на другом перепутье, но теперь голос его звучал зло, устало, словно Петру было едино, будет услышан он или нет.

– Это ли центр?

И в тот же миг все остановилось. Эхо в ушах его стало каким-то гулом, словно бы само замершее мгновение звенело и пело драгоценностями обстоятельств, из коих сложено было. Дождь неподвижно замер или падал совсем медленно, а жидкость его была сродни несметным опаловым камням и застыла повсюду в воздухе, и каждая щетинка на конских шкурах стала пылающей латунной нитью. Даже навоз излучал сияние, яко был великой наградой всей земли и даром полям, а мухи, облепившие его, всплеснули крылами-витражами, яко из окон великих

церквей. На пустыре за пресеченным самоцветным селом улицы, промеж сорняков, возгоревших изумрудным пламенем, стоял человек, весь в белом, и в руке держал он полированный жезл, из светлого дерева выточенный. Волосы его молоку были подобны, как и риза его, и так он стоял, словно маяк сей сцены, будучи источником всего света, нарисовав изящный блеск в глазах всякого существа. Его добрые очи встретились с очами монаха, и Петр узнал в нем друга, что явился в Палестине, вверил задание и отправил в путь-дорогу. Альфа странствия стала его же омегой, а слышал Петр теперь лишь рев, биению великих крыл подобный, в котором Петр признал собственный убыстренный пульс. Сим оглашался ответ на его вопрос.

За волшебной всепокою, заворожившей улицу, горящий силуэт в ликовании воздел руци горе, и с каждой стороны его раскрылось яркое и ослепительное крылие. Раздался могучий глас, восторженно вещаяй, аки середь кряжей великих, от коих отразился тысячекратно. То была речь чужестранная, кою Петру однажды довелось уже слышать, со словами, что лопались, точно выросшие на разуме мухоморы, сея новые идеи спорами по ветру.

– Дйааэстть.

Да! Да! Да, это я! Да, я есть! Да, здесь, на сем месте достатка да будет установлен крестом центр. Да, здесь исход твоей стези, которую мы с тобой пространствовали вместе. Да, да, да, до самых стен и пределов сущи – да!

Теперь существо вскинуло закругленный жезл, словно указуя на Петра. Длинный и бледный, как если бы из сосны выточенный, – он увидал, что ближний конец его заострен, а набалдашник изукрашен голубым цветом васильков. Монах был сбит с толку, не зная, почему стал предметом для указания, затем узрел, что не на него пал конец посоха, а куда-то позади него. И обернулся он, и стоило ему сделать так, как чары спали. Грохот в ушах не улегся, однако мир вновь пришел в движение, и дождь сыпал споро там, где только что еле полз.

Позади, меж денниками и владением очередного коваля, Петр увидал каменную стену, где из трещин росли фиалки, а в ней – приоткрытый створ калитки деревянной с железной отделкой. За нею Петр увидал поляну с распухшими могилами и встающими из почвы надгробиями, а за ними – смиренное здание, сложенное из серого и щербатого камня, где подле стояли в мирной беседе два монаха. Он пришел к церкви. Женщина, носившая камень Тора и давшая ему советы, обмолвилась ранее, что есть другая церковь – ближе, чем церковь Святого Петра, – святому Григорию посвященная. Левая рука, в которой лежал мешок, уже ныла, и он переложил вес в правую, но не унялась боль. Точно громом пораженный, он ступил на двор в калитку церкви, чуть дальше от него по дороге, чрез обложной дождь, уже переросший в ливень. Священники прервали беседу и увидели его, и пошли к нему – сперва медленно, затем скоро, – с написанной на лицах тревогой. Петр повергся на колени, но не в благодарной молитве за избавление, а оттого, что его уж не держали ноги.

Два брата, что пришли к нему, принимали в нем участие и уводили с ненастью, как могли, но то были молодые и щуплые мужи, для них он оказался непомерно грузен. В споруке своей они сумели лишь опустить его на спину для удобства, к выпирающей стороне могилы голову прислонивши. Присели над ним, рясы расправивши, словно надеялись уберечь от дождя, хотя лишь стали похожи на воронов, а старание их было тщетно. Над ними Петр видал подбрюшье закипающей бури – точно темные жемчужины, что кипели и бурлили, и становились переливчатым и фантастическим потоком ряби.

В этот миг все озарилось, и затем загрохотал страшный гром, и монахи вскрикнули и торопились пытать его расспросами, вызнавая, откуда он и что привело его. Снова молнии выжимали небо досуха вспышками, и Петр воздел руку – но не левую, что онемела, – и указал на свою суму на мокрой траве.

Когда его поняли, то раздвинули джутовую горловину и достали то, что хранилось внутри, на ветер и ливень. Он был в полторы человеческих ладони вширь и ввысь, грубо выбитый из буроватого камня, так что человеку было не под силу поднять его одной рукой. С углов

и граней скатывался серебрящий дождь, и теперь священники пребыли равно в недоумении и изумлении.

– Что сие такое, брат? Можешь сказать, где нашел ты сие?

Петр заговорил, но речь далась тяжело, и, по лицам судя, слова его принимали за лепет горячки. Они услышали, что сей человек странствовал за моря и был у места черепов, где и нашел это закопанное сокровище. Когда он извлек камень на свет, ему словно привиделся ангел, промолвивший, что шественнику должно взять реликвию и доставить в центр своей земли. Им показалось, тот утверждал, будто теперь вновь видел ангела, и ангел заверил, что их маленькая церковка и есть назначение пилигрима. Многие из речей несчастного затерялось в рокоте небес, и тогда они наконец взмолились, чтобы отвечал он, из какого края явился, где то место черепов и где земля родила святыни.

Их голоса слились с наполнявшим его всемогущим трепетом, точно долетали издалека, и он едва их слышал. Петр умирал. Не увидеть ему Медешемстеда, и теперь он твердо знал это. Над головой вздымающиеся валы сырого неба стали черным восточным шелком, в растрескавшуюся сложносочиненную фигуру смятым, разломами и ползущими расщелинами изборожденную. Теперь видел он то, чего не видел раньше: что облака столь гротескных форм оттого, что их подоткнули в себя и хитро сложили. Теперь он видел, что сколь скоро они развернутся, как обретут тотчас более обычную, но и более сложную форму, не покоряющуюся человеческому взгляду. Он не мог взять в ум, ни что означает эта странная мысль, ни откуда явлено ощущение, но мнилось Петру, что все годы скитаний были ничем, кроме как единственным коротким шагом, который он завершил только что.

Ему казалось, что в последние мгновения он сомкнул глаза, однако все же видел – быть может, лишь грезы иль воспоминания, под трепетными веждами кроющиеся. Он возвел взгляд на присевших над ним перепуганных братьев и церковку за ними. Благодаря новообретенному пониманию клокочущей, неистойой тверди впервые он увидел, что углы здания сделано мудрено, что их возможно развернуть многоумным образом, отчего их внутренности окажутся вовне. То, что раньше принимал он за резьбу на карнизах церкви, людьми теперь предстало, маленькими, как водяной гнус, – однако знал он, что они столь же велики, как он сам, только полагаются вельми далеко. Они махали и тянулись к нему, эти коротыши. Ему казалось, что он знал их всегда. Больше Петр не видел монахов по сторонам себя, хотя слышал, как они говорили с ним, снова и снова спрашивали, откуда же он явился, принес сей совершенный знак.

Последнее слово, слетевшее с уст его, было «Иерусалим».

Новые времена

Сэр Френсис Дрейк привалился к стене с афишами у Дворца Варьете и примостил маслянистый родничок к гигантским именам красных и черных цветов. Согласно карманным часам, ему оставалось еще добрых минут тридцать, прежде чем придется замалевать лицо горелой пробкой для роли Пьяницы. До того момента он мог позволить себе побездельничать на углу и понаблюдать за телегами, велосипедами и юбками – быть может, с «Вудбайном» за компанию.

Прозвали его сэром Френсисом Дрейком в ламбетской школе, когда он был шестилетним мальчишкой. Мать как раз начинала скатываться в нищету, и ему приходилось носить ее красные сценические колготки, подрезанные, чтобы казаться чулками, хотя все равно ими не казались из-за плиссе и ярко-алого цвета, от которых и пошло прозвище. Во многом, если подумать, он еще легко отделался. Сидни, его старшему брату – или «старшо́му», как звали братьев в Ханвелльской школе для бедных, – достался блейзер, ранее – бархатный жакет их матери, с рукавами в красно-черную полоску. Десятилетний и потому куда более застенчивый, чем младшенький, Сидни ославился под именем «Иосиф и его разноцветный плащ снов».

Стоя на перекрестке оживленных улиц, он поймал себя на том, что посмеивается над прозвищами, – по крайней мере, над прозвищем Сидни, – хотя в то время они смешными вовсе не казались. Все еще улыбаясь, он утешил себя мыслью, что Френсис Дрейк хотя бы слыл красавцем и лихим героем, тогда как Иосифа бросили в яму и оставили умирать братья, возмущенные его вкусом в моде. Так или иначе, сэр Френсис Дрейк – получше других прозвищ, которые он носил за годы и которые приставали надолго. Одно из них – Оатси, или же Овсень: просто рифмующийся сленг кокни, соединение овса и ячменя. Он это прозвище терпел, но восторгов не испытывал. Всегда казалось, что с ним он как деревенский дурачок, а вовсе не таким он желал представать перед людьми.

Направляясь на холм, к его углу подъехала пивная подвода в ливрее «Фиппс» – фыркающий тяжеловоз в яблоках с мохнатыми копытами размером с подносы, волокущий звенящую и гремющую телегу и вставший на перекрестке прямо перед ним. Побитая откидная доска на цепи удерживала на месте груз: старые ящики из сырого дерева, припорошенного зеленью из-за плесени, что выставлялись пустыми у пабов и в дождь, и в зной, чтобы их снова набили коричневым и поблескивающим содержимым и отвезли к очередной харчевне, очередному ветреному углу брусчатого двора пивной. Телега замедлилась у перекрестка в ожидании, пока поперек проедут неторопливый фургон и мальчуган на велосипеде, прежде чем тронуть дальше на холм. А сэр Френсис Дрейк, прислонившись к плакатам и разглядывая телегу, решил в шутку на миг войти в роль Пьяницы.

Он задрал глаза, приспустив веки, чтобы казаться полусонным, а рожу скривил в кривобокой ухмылке. Лицо пошло такими морщинами, что даже без пробки он казался лет на десять старше своего настоящего возраста – двадцати лет. Глубоко заклоктав горлом в нечленораздельном желании, он приковал мутный алчущий взгляд к фургону пивовара и пустился в вихляющий, но уверенный шаг забулдыги в его сторону, словно отчаянно пытался изобразить повседневную походку, но ноги едва слушались. Он скатился на три шага в сторону, вниз по склону, но оправился и снова нашел прищуром свою цель, соскочив с тротуара на почти пустую мощеную дорогу и приближаясь к пивовозу на противоположной стороне. Протянув руки как будто к позвякивающим бутылкам, он промямлил: «Кажись, я в раю», – вслед за чем перепуганный возникший оглянулся и тут же принялся понукать лошадь, заворачивая за хвост еще не освободившего улицу фургона, и зазвенел вверх по холму так быстро, как только позволял транспорт. Вернувшись небрежным шагом через проезд обратно к своему посту у угловой стены, Овсень смотрел телеге вслед и испытывал в равных долях гордость за успех своего номера и стыд – по той же самой причине. Слишком хорошо ему давались пропойцы.

Конечно, всеми этими пропойцами был его отец. Чарльз, в честь которого и называли Овсень, помер от водянки десять лет назад, в 1899-м. Четыре галлона. Вот сколько жидкости откачали из колена его отца, и вот почему чем лучше удавался Пьяница, тем виноватее Овсень себя чувствовал. Он наблюдал, как лучи сентябрьского солнца косо падают на старые грязные здания Нортгемптона, сторбившиеся на углах перекрестка, превращая кирпичную кладку с коростой сажи в рыжее пламя, и вспоминал последний раз, когда разговаривал с папой. Это было в пабе, отметил он без большого удивления. «Три жеребца», верно? На Кеннингтонской дороге? «Жеребцы», «Рога», «Кружка», где-то там. Примерно в тот же час – конец дня или начало вечера, по возвращении домой на Террасу Паунэлл, где они жили с Сидни и матерью. Проходя мимо паба, он вдруг ощутил необъяснимый порыв толкнуть болтающиеся двери и заглянуть внутрь.

Отец сидел сам-один в углу, и через щель приоткрытой на пару дюймов барной двери Овсень удостоился редкого шанса невидимым наблюдать за человеком, который его породил. Зрелище было жуткое. Чарльз-старший сидел на протертом диванчике и покачивал короткий стакан портвейна. Одна рука лежала за бортом пиджака, словно чтобы держать под контролем рваное дыхание, так что он по-прежнему смахивал на Наполеона, как всегда говорила мать, но опухшего, словно надутого велосипедным насосом. Раньше у него был лоснящийся, отъевшийся вид, но теперь он превратился в огромный булькающий бурдюк с водой, в котором захлебнулась и утонула былая обаятельность. Однажды он мог похвастаться гладким овальным лицом, как у Сидни, хотя отцом Сидни был совершенно другой мужчина, какой-то лорд-путешественник – по крайней мере, если верить уезжавшей за ним в Африку матери. Но даже при этом брат все равно больше походил на Чарльза-старшего, чем Чарльз-младший, – последний напоминал их мать, с ее темными кудрями и красивыми выразительными глазами. Глаза отца тем днем в «Трех жеребцах» глубоко запади в поднявшееся тесто лица, но они осветились – Овсень даже не сразу поверил – радостью, когда опустились на мальчонку, подглядывавшего через полуоткрытую дверь и ленивые волны дыма, висевшего между ними в воздухе.

Даже сейчас, в нижнем конце – как ее – Золотой улицы, у гиблого зала Нортгемптона, в ходе очередного разочаровывающего тура с «Ряжеными пташками» Карно, даже сегодня Овсень чувствовал волнение из-за того, как же ему обрадовался отец в тот последний раз. Господь знает, до того он не выказывал интереса к сыну, и Чарльзу-младшему исполнилось уже четыре года, когда он впервые осознал, что у него вообще есть отец. Но тем вечером в «Жеребцах» некогда сногшибательный актер водевилей рассыпался в улыбках и добрых словах, расспрашивал о Сидни и матери, даже взял десятилетнего отпрыска на руки и – в первый и последний раз – поцеловал его. Уже через несколько недель старик умирал в больнице Святого Фомы, где этот чертов евангелист Макнил в качестве утешения предложил только «что посещешь, то и пожнешь», бессердечный ублюдок с песьей рожей. «Старик». Чарльз-младший горько усмехнулся и покачал головой. Его отцу было тридцать семь, когда он лежал в белом атласном ящике на Тутингском кладбище, с бледным лицом, обрамленным маргаритками, которые Луиза, его содержанка, выложила вдоль края гроба.

Возможно, отец знал, что там, в чаду и бубнеже «Трех жеребцов», держит своего сына в последний раз. Возможно, так или иначе это чувствуется заранее, словно все уже решено – каким будет твой конец. Овсень поднял взгляд на пестрое облачко птиц, нырнувших, взметнувшихся и рассеявшихся серым пламенем на фоне заката, порхая над местными тавернами и скобяными лавками перед возвращением в гнезда, и подумал: какая жалость, что нельзя наперед знать, как повернется твоя жизнь, и даже бог с ней, со смертью. В настоящем для него все может пойти как угодно, и фишки лягут так же непредсказуемо и случайно, как движения этих голубей. Если не повезет, его будет мотать по северным городишкам, пока он не сдуется, а все его мечты не окажутся всего лишь горячим воздухом. И тогда остается только воплотить мрачное предсказание матери, которое он слышал всякий раз, когда возвращался домой, дыша

перегаром: «Закончишь свои дни в канаве, как твой отец». Скажем так, он знал, что стоит на перепутье во многих смыслах.

Теперь, когда город возвращался с работы на чай, по перекрестку торопилось больше телег с фургонами и больше пешеходов. Женщины с колясками и мужчины с вещмешками, шумные мальчишки, увлеченные жестокой и болезненной игрой в кулачки в ожидании начала сезона каштанов ²³, – все спешили по улицам, ведущим на все четыре стороны света, и переходили их пересечения, трусцой танцуя между угольными повозками, атоллами из лошадиного дерьма и – как раз сейчас – красным трамваем с рекламой перчаток «Аднитт» спереди. Трамвай появился с запада с надутым, проседающим солнцем позади него, и продолжал путь по железным рельсам направо от себя, чтобы гудеть вдаль по Золотой улице. Да уж, Овсень жил в новом мире, да только не всегда чувствовал, что он здесь на своем месте – в первые годы нового и ошеломительного века. Ему казалось, многие нервничали и чувствовали себя не в своей тарелке и что оптимистичные новые эдвардианцы существуют только в газетах. Оглядишься на прохожих – и по их лицам и одежде и не скажешь, что королева умерла восемь лет назад; впрочем, когда все вокруг бедные, они обычно выглядят одинаково в любую эпоху или правление. Бедность вечна, на нее можно положиться. Никогда не выходит из моды.

И никогда не выйдет – только не в Англии. Только вспомните дело с так называемым народным бюджетом, когда предлагали взять деньги из подоходных налогов и потратить на улучшения в обществе, а потом Палата лордов взяла и зарубила его. Их бы самих кто-нибудь зарубил, думал Овсень, копаясь в пиджаке в поисках сигарет. Англия катилась под горку, и он сомневался, что двадцатый век обойдется со страной так же ласково, как девятнадцатый. Для начала – немцы с их жуткими заявлениями и жуткими кораблями. В прошлом году они похвалялись, сколько произвели аммиака, а теперь так же хвалятся бомбами. Затем Индия, ропщет и требует реформ. Не то чтобы он винил индусов – только думал, что это знак и что в ближайшие годы в школьных атласах будет меньше розовых областей. Британская империя находилась в упадке, даже если это кажется немыслимым. На его взгляд, она уже умерла вместе с Викторией, а теперь лишь вошла в долгий медленный процесс смирения со своей кончиной, процесс тихого распада.

Задумавшись о старых временах, глядя, как мусорщик костерит сынишку бакалейщика, проскочившего на велосипеде перед лошадью и повозкой, он вспомнил первый раз, когда приехал в Нортгемптон. Ему стукнуло девять, значит, когда это было, в 1898-м? Достав из кармана пачку с десятком «Вудбайнов Уиллса», он извлек одну сигаретку из оставшихся шести и уложил на нижнюю губу, возвращая узкую упаковку в куртку. Тогда он выступал в том же самом театре, больше десяти лет назад, с труппой мистера Джексона из детей-чечеточников – «Восемь ланкаширских мальцов». Он стоял на этом самом углу с лучшим другом из труппы, Бойси Бристолем, и обсуждал двойной номер, который их прославит, – Миллионеры-бродяжки с фальшивыми усищами и большущими бриллиантами в кольцах. Тогда это место звалось Большой зал варьете, а управлял им еще Гас Левайн, но в остальном ничем не отличалось. И вот они вдвоем, Бойси и Овсень, сбегали с репетиций, чтобы убить время на этом пятачке и помечтать о славе и богатствах, что так и лежали у их ног, – так же, как сбежал сегодня он, столько лет спустя. Наперекор ощущению, что отец знал, как скоро умрет, теперь ему больше казалось, что люди только безнадежно гадают, что их ждет за поворотом. Хотя он не мог говорить за Бойси Бристоля, которого не видел уже пять лет, на свой счет он точно был уверен: какие бы новые роли ни таило будущее, Миллионера-бродяжки в их числе нет. Овсень достал из другого кармана коробок спичек, повернулся в сторону и поднял лацкан от ветра, раскуривая сигаретку.

Выпустил синий дым, и западный ветерок подхватил его и потащил за плечо, наверх по Золотой улице. Теперь Овсень смотрел на небольшой пустырь ниже по холму, через дорогу, и

²³ Ради популярной игры в каштаны, когда в них продавают нитки и колотят друг о друга, пока один не расколется.

отвлеченно вспоминал «Восемь ланкаширских мальцов» – четверо из них родились не в Ланкашире, а один вовсе был короткостриженной девчонкой, но их и впрямь было восемь. Именно здесь они повстречали черного человека – первого, которого он видел в жизни, не считая картинок в энциклопедиях.

Они с Бойси околачивались тут, обсуждали логистику двойного номера, думая, что кольца с бриллиантами придется делать из пластилина, пока те, в свой черед, не сделают ребят миллионерами, как вдруг вниз по холму скатился он на своем смешном велосипеде, через перекресток им навстречу. Кожа у малого была черна как уголь, а не какого-то оттенка коричневого, а волосы и бороду уже припорошило сольдой, так что мальчишки решили, что ему под пятьдесят. Он ехал на прелюбопытном устройстве, которого ни один из них еще не встречал. Это был велосипед с привязанной сзади двухколесной тележкой, но больше всего в глаза бросались шины, две на самой машине и две на повозке позади. Они были из веревок. Железные ободья были обмотаны той же некогда белой бечевой, что тащила прицеп, но уже побывавшей в стольких лужах с сажей, что стала ненамного ярче самого наездника.

Негр, увидев, как мальчишки устали на него, пока он катил через перекресток, улыбнулся и остановил велосипед с тележкой у тротуара чуть ниже по холму. Сделал он это с помощью деревянных брусочков, привязанных к стопам: снял ноги с педалей, чтобы они свесились и скребыхали по булыжной мостовой, пока таким манером транспорт не замер на месте. Водитель оглянулся через плечо, ухмыляясь двум мальчишкам, которые так беззастенчиво его разглядывали, и дружелюбно их окликнул:

– Надьеюсь, вы, малечышки, вдете себя карашо!

Какой же чудной у него был голос, ничего подобного они еще не слышали. Они сбежали к нему по холму и рассказали, что ждут своей очереди выступать чечеточниками, что было почти правдой, а потом спросили, откуда он. Сейчас бы Овсень постеснялся спросить это у черного прямо, но в детстве ты просто говоришь все, что думаешь. У мужчины были черная кожа и заморский акцент. Вполне естественно, что они спросили, откуда он, и отреагировал он тоже естественно, без всяких обид. Рассказал, что родом из Америки.

Конечно, после этого мальчишки ударились в расспросы об индейцах и ковбоях, и правда ли дома в городах такие высоченные, как рассказывают. Он рассмеялся и сказал, что Нью-Йорк «большой-большой», хотя, оглядываясь назад, не сказать, чтобы его собственные корни впечатляли хотя бы вполтину так же, как мальчишек. Он рассказал, что уже живет в Нортгемптоне около года, «на Алом Калодэце», что бы это ни значило, а поболтав еще немного, объявил, что ему пора возвращаться к работе. Подмигнул и велел вести себя хорошо, потом поднял деревянные бруски с земли и покатился по склону туда, где на фоне неба стоял стоймя вычурный серый барабан газгольдера. Когда он уехал, они долго еще фантазировали об Америке, а потом изображали акцент, с которым говорил черный, и Бойси хватался за живот от его пародии. Потом они опять вернулись к своим золотым мечтам о Миллионерах-бродяжках, и с того дня Овсень больше ни разу не задумывался об этой удивительной встрече.

Он сделал такую затяжку «Вуди», что больше была похожа на глоток, затем выдул дым через нос – это он подсмотрел у других и считал очень стильным. Теперь по перекрестку сновало немало народу, как на колесах, так и на ногах, а он перебирал в памяти, что еще мог позабыть из тех времен. Явно не миссис Джексон с лицом-черепом, жену бывшего учителя из Ланкастера, организовавшего театральную компанию, которая кормила младенца грудью, наблюдая за репетициями танцевальной труппы. Уж этот вид он будет помнить, даже если доживет до ста. Если задуматься, хватало немало случаев вроде встречи с тем негром, которые он позабыл ненароком, но не меньше всего он позабыл, так сказать, нароком.

Не то чтобы он стыдился своих корней, но во многом его ремесло зависело от видимости. Придется следить за тем, как подавать события, если он все же чего-нибудь добьется. Выйти из бедноты – это еще неплохо: все любят истории «из грязи в князи». Но вот «грязь» –

ее надо представить правильным образом, приукрасить и сделать презентабельной, закрасив всякие гадкие подробности. Никто бы и слезинки не пролил по Малышке Нелл, если бы она умерла при родах или от сифилиса. Публику привлекают печаль и сантименты, так называемый колорит бедных классов, но привкус нищеты не нравится никому. Пьяница будет идти на ура, только пока висит на фонаре в обнимку и беседует с ним, как с закадычным приятелем. Номер заканчивается куда раньше, чем Пьяница обосрет штаны или вернется домой и отправит жену в больницу, выпоров ремнем так, что она не сможет ходить.

Вот еще момент, от которого нужно избавляться, если хочешь представить свою историю бедности в правильном свете, – всякие драки и избиения. Если в какой-то неопределенный момент неопределенного будущего его попросят углубиться в воспоминания, поделиться чем-нибудь для журнала о театре, то он с превеликим удовольствием расскажет о «Ряженных пташках», расскажет о «Футбольном матче», где появлялся с Гарри Уэлдоном, и даже о «Восьми ланкаширских мальцах» расскажет. Но годы, когда они с Сидни были шутами и талисманами Пацанов из Элефанта, – они не заслужат упоминания. Ни паршивого словечка.

Внезапный порыв ветра с западной стороны перекрестка сдул сигаретный дым в глаза, так что на секунду они заслезились, и Овсень словно ослеп. Он переждал, затем утерся рукавом, надеясь, что прохожие не подумают, будто он плачет; что к нему так и не пришла девушка или еще что.

Когда он рос, в Лондоне, куда ни плюнь, везде были банды. Вступать в них было необязательно, а если хотелось держаться подальше от неприятностей, то лучше об этом и не думать, но все же надо отдать должное и преимуществам дружбы с бандой и стараний ошиваться на ее краю. Если выбрать шайку, заслужившую репутацию пострашнее, тогда, если повезет, другие банды постараются с тобой руки не распускать. Во всем городе и боро не было никого страшнее мальчишек из Элефант и Касла, потому Чарльз с Сидни и задружились с ними.

К этому возрасту они со старшим братом умели и петь, и танцевать, и по очереди устраивали представления на улицах ради пенни-другого, когда их матери не везло с заработком, что случалось часто. Пацаны из Элефант, которые, не моргнув глазом, увечили или грабили взрослых мужиков, остались от него с Сидни под впечатлением, прозорливо заметив очевидный сценический талант братьев. На них смотрели как на дрессированных мартышек, либо как на средство заработать пару медяков, если мелел общак, или поднять мораль до и после какой-нибудь кровавой стрелки с соперничающей подростковой бандой, например Кирпичниками из Уолворта и прочими. Специальностью Овсеня было впихнуть ноги в ручки крышек от уличных урн, а затем отбивать чечетку на металлических решетках с оглушающим грохотом. Он буквально прогремел со своей Чечеткой Овсеня. На самом деле, если подумать, именно Пацаны из Элефанта первые прозвали его Овсенем.

Кошмар во плоти. Он отбивал свою Чечетку Овсеня, а Сидни вступал на ложках, гребне или бумаге – да всем, что попадалось под руку, пока самые здоровые мордовороты банды, сидя на тротуаре, скрупулезно затачивали крюки рыночных грузчиков и свистели или хлопали, если думали, что они со Стечкой выступают особенно хорошо. Стечкой – или Стейки – называли в те дни его брата, в честь стейка и почек. И вот они на пару, Стечка и Овсень, прятались за углом, наблюдая за стычкой или побоищем, а потом выходили на победный танец с лицами, побелевшими от всего увиденного – мальчишки, бегущие домой с болтающимся на нитке ухом, вопящий паренек четырнадцати лет со струящейся по ногам кровью от крюка, подцепившего за задницу, – и все мысли Чарльза были только об этом, пока он топал по железным стокам с крышками помоек на стопах, поднимая тарарам, как на Судный день, высекая горячие искры лязгающим металлом до самых голых коленей. И сколько ему было, лет семь-восемь?

Если он чему-то после всего этого и научился, так это что не выносит мысли о боли, о том, чтобы с его телом и особенно лицом сделали что-то страшное. Только на них и оставалось надеяться, только они и могли вытащить из этой гнусности и заработать на хлеб с маслом.

Случись что с ними, тут и конец всему. Ему. Однажды он стоял и смотрел, сгорая от стыда, как Сидни лупил старший член банды, которого раздосадовали какие-то слова Сида. Овсень знал – и Сидни позже его заверил, – что ничем не мог помочь, и все же чувствовал себя последним трусом. Можно было хотя бы что-то сказать – но так он лишь стал бы следующим, и потому просто стоял и смотрел, как Стечке рассекают щеку. Если – хоть в это и трудно поверить – он когда-нибудь напишет мемуары, ничего из этого в них не просочится.

Споры или свары – это еще куда ни шло, но он пойдет на все, чтобы избежать драки. Шоумены постарше, с которыми он терся в одном цеху, говорили, что дела между Англией и Германией совсем разладились, рано или поздно быть войне. В следующем апреле ему исполнится всего двадцать один, и, как поется в песенке, «двадцать один бывает только раз, все двери открываются тотчас», но вот начнись что – а он как раз призывного возраста. Идти в армию ему нисколько не улыбалось, и он еще надеялся, что если и когда что-то начнется, то найдется какой-то способ отлежаться в безопасности в другой стране. Ранее в этом году его на месяц ангажировали играть в *Folies Bergère* у Карно, и ему так понравилось, что даже не тянуло возвращаться домой. Там он повидал больше красавиц, чем мог мечтать, а это что-то говорило о его мечтах. Там он повстречал мсье Дебюсси, композитора, и единственный раз в жизни по-настоящему подрался с бойцом Эрни Стоуном у того в гостиничном номере, перебрав абсента. Конечно, Стоун победил, но и Овсень был не лыком шит, и сдался только тогда, когда боксер легкого веса заехал ему по зубам так, что он уж думал, совсем останется без них. После такого возвращение к старым номерам «Ряженных пташек» и гастролям по мрачным северным городишкам оказалось настоящим разочарованием, и он надеялся, что уже скоро вернется за границу – и лучше не в каске призывника. Карно все болтал об Америке, но Фред Карно много о чем болтал, а плоды его разговоры приносили редко. Овсень скрестил пальцы и верил в лучшее.

Он легко затянулся еще пару раз, потом бросил окурок и раздавил ботинком, прежде чем пнуть с тротуара. Канавы наполнились пустыми пачками – «Вудбайнами», «Пассинг клаудс» – и неаппетитным салатом опавших листьев. Пришлось поозираться, прежде чем он нашел деревья, с которых, очевидно, налетели эти листья, – некоторые стояли дальше на запад от перекрестка, так что виднелись только кроны, золотые в заходящем солнце. Приглядевшись, он заметил и молодые деревца, растущие из пары ближайших дымоходов, пустив корни в грязную кладку, – например, на крыше питейного заведения через улицу, «Вороне и Подкове». Заметив знак, прикрученный на противоположном углу и почти нечитаемый из-за сажи и ржавчины, он узнал, что стоит на Подковной улице – это объясняло хотя бы вторую половину названия паба. А если деревья, верхушки которых он заметил вдали, росли на кладбище, то это, пожалуй, объясняло и первую. Он представил пухлых падальщиков, рассеявшихся и каркающих на надгробиях, чьи имена поросли мхом, и тут же пожалел об этом.

В конце концов, ему всего лишь двадцать. Еще долго не придется думать о мрачном – хотя в Бурской войне убивали ребят и куда моложе. Да что там, в Ламбете некоторые малыцы не дожили и до десятого дня рождения. Ему бы хотелось верить в Бога так же, как той ночью в подвале на Оукли-стрит, где он выздоравливал от лихорадки, пока мать на разные лады исполняла самые драматичные сцены из Нового Завета, чтобы занять его мысли. Она вложила в игру весь талант из сценической карьеры, брошенной только недавно, и даже перестаралась – он в итоге надеялся, что у его болезни случится рецидив и он умрет, чтобы встретиться с этим самым Иисусом, о котором столько рассказывают. Она пропускала притчи через себя с такой страстью, что он ни на миг не сомневался в их правдивости. Впрочем, это все было до того, как они вместе с ней и братом прошли работный дом, и до того, как ее ненадолго положили в психиатрическую лечебницу. Сегодня он уже не был так уверен в рае, который ему расписывали той ночью в красках столь живо, что не терпелось к нему прикоснуться.

Но теперь он в целом занизил ожидания, и если и думал о том, что его ждет после смерти, то только с той точки зрения, как его запомнят и скоро ли забудут. Ему хотелось, чтобы его имя осталось жить – и не просто имя завсегдатая пабов Уолворта и Ламбета, чего посмертно заслужил его отец. Ему хотелось, чтобы после смерти о нем хорошо думали и отзывались, как о ком-нибудь вроде Фреда Карно. Ну, ладно, это малость амбициозно, учитывая положение Карно в бизнесе, но хорошо было бы оказаться где-то рядом, пусть даже пониже. Он мог представить, что в будущем, когда людей везде будет намного больше, жанр мюзик-холла станет куда важнее, чем сейчас, и Овсень надеялся, что за вклад в становление традиции где-нибудь скромно упомянут и его – если, конечно, он умудрится не погибнуть на войне до прихода славы.

Из-за этих мыслей он заметно пал духом. Скользнул девчачьими из-за длинных ресниц глазами по толпе прохожих в надежде отдохнуть взглядом на внушительном бюсте или красивом личике и отвлечься от мыслей о смерти, но ему не повезло. Приличных женщин хватало, но примечательными никого не назовешь. Да и с грудями та же история. Ничего выдающегося, и пришлось вернуться к тяжелым думам.

Больше всего в смерти его пугало то, что из-за нее он как будто заперт в трамвае, который идет строго по одному маршруту, что рельсы впереди уже выложены, что все неизбежно, – впрочем, это, по размышлении, пугало его и в жизни. Иногда жизнь казалась прописанной репризой с припасенной заранее шуткой. Остается только следовать всем поворотам и твистам, пока тебя тащит сюжет, сцена за сценой. Ты родился, твой отец сбежал, ты пел и танцевал на сцене, чтобы спасти семью от работного дома, но она все равно там оказалась, брат выбил тебе место у Фреда Карно, ты ездил в Париж, вернулся, упустил из-за ларингита бывшую звездную роль Гарри Уэлдона в «Футбольном матче», застрял в «Ряженных пташках» и вернулся в Нортгемптон, а потом через какое-то время – если повезет, долгое, – умер.

Его тревожило это сплошное «а потом, а потом, а потом», сцена за сценой, когда одно событие предопределяет, как развернутся следующие акты, – прямо как долгая падающая череда домино, и словно ничего нельзя поделать с тем, как упадут костяшки, с подготовленной их точностью, отлаженной как часы. Как будто жизнь – какой-то большой безличный механизм, как всякие штуковины на фабриках, которые крутятся себе несмотря ни на что. Родиться – как угодить полой куртки в шестерни. Жизнь затянет – и готово дело, тебя перемалывает во всех ее обстоятельствах, шестернях, пока не протащит до другого конца и не сплюнет – если повезет, в красивый ящик. Как будто не было места выбору. Полжизни диктовала финансовая ситуация семьи, а другую половину – его собственные хотения, потребность в том, чтобы его обожали так же, как обожала мать, паническая спешка чего-то добиться и кем-то стать.

Но это же еще не все, правда? Овсень знал, что так о нем про себя думают все – все так называемые приятели в бизнесе: что они считают его за честолюбца, будто он вечно за чем-то гонится – за женщинами, за любой халтурой, которую учует, за славой и богатством, – но он же знал, что они ошибались. Конечно, он всего этого жаждал, жаждал отчаянно, но ведь жаждали и остальные, и вовсе не погоня за признанием подталкивала его в жизни, а рокошующий позади огромный черный взрыв происхождения. Мать, что сошла с ума от голода, отец, что раздулся до размеров вонючей водяной бомбы, все картины, что мелькали под перкуссию кулаков по мясу и помоечных крышек по решеткам, гремящих и дребезжащих в снопах искр. Он знал, что не стоит на месте не потому, что гонится за судьбой, а потому, что убегает от рока. Другие думали, что он хочет залезть повыше, но на самом деле он пытался не сорваться.

Поток транспорта и людей на перекрестке скользил, как челнок на ткацком станке: сперва с шумом с севера на юг, вниз и вверх по холму перед ним, затем с грохотом с запада на восток вдоль дороги, на которой были «Ворона и подкова» и Золотая улица. На углу, где стоял Овсень, вихрились все запахи, подогретые не по сезону солнечным днем и с закатом опускающиеся одеялом, повисшим над перепутьем. Довлел в компоте ароматов конский навоз, составляющий основание букета, но вмешивались в него и другие эссенции: слабо пахнущая перцем и элек-

тричеством угольная пыль, выдохшееся пиво, занесенное из таверн, и какой-то другой сладковатый, но тлетворный дух, что-то среднее между смертью и грушевым монпансье, который он сперва не признал, но в итоге списал на множество дубилен Нортгемптона. Как бы то ни было, все это он тут же выкинул из головы, потому что как раз в эту минуту сбоку на Подковной улице показалось то, от чего он точно не собирался воротить нос.

Ее бы никто не назвал классической красавицей – не такой, на каких он насмотрелся на Champs-Élysées, это было понятно даже на расстоянии, и все же она словно бы вся лучилась. Вверх по склону навстречу ему прогуливалась девица, в которой он отметил пухлость, что с годами наверняка станет заметнее, но пока что проявлялась неотразимыми пропорциями ладных и пышных изгибов. Ее контуры были щедрыми и приятными глазу, как пышный сад, – несколько напоминали о саде или сквере и ее походка под дешевой тонкой тканью хлопающей летней юбки, и толстые бедра, сужающиеся к крепким икрам и изящным фарфоровым ступням, выглядывающим в ленивом шаге из-под трепещущего подола, пока она, никуда не торопясь, взбиралась по холму.

Платье ее было невзрачным и в основном коричневым, но зато гармонировало с палитрой ландшафта, где она дефилировала: листья, забившие канавы пламенем и шоколадным крошечком, афиши цвета поблекшей сепии, что шуршали обрывками на фасаде старинного театра-конкурента в основании Подковной улицы. Выбивались из композиции волосы женщины. Насыщенно-рыжие, как миска полированных каштанов, и как лава там, где ловили предвечерний свет, ее кудри ниспадали на розовые щеки пружинистыми горстками кремовых трубочек. Чуть выше полутора метров – карманная богиня, – она полыхала, как огонек в лампе: слабый, но все же озаряющий прокопченные закоулки, которые она миновала.

Когда эта молодая услада глаз подошла ближе, он разобрал, что она несет что-то у левого плеча, поддерживая рукой снизу и положив на полную грудь, а второй рукой прижимая сверток к себе, – на манер, как ходят с продуктовыми сумками, у которой оторвались ручки. На полпути по крутому холму от Овсеня она остановилась, чтобы поудобнее перехватить кулек и поднять повыше. Пушистое окончание предмета вдруг зашевелилось и обернулось прямо к нему – тогда он и осознал, что это малышка.

А если точнее, не просто малышка, а, несмотря на размер и возраст, наверное – нет, не наверное, совершенно точно самое очаровательное создание, что он встречал. На вид ей было не больше года, ее локоны белого золота струились водопадом обручальных колец, а огромные глаза были уютного голубого цвета полицейских фонарей в опасную ночь. Этот ангелок с печатки встретил его взгляд не моргая, удобно устроившись в объятиях приближающейся женщины. Может, Овсень и мечтал, что из болота происхождения поднимется только благодаря своей красоте, но сейчас он удостоился встречи с великолепием, о котором однажды заговорят с тем же придыханием, что о Елене. Ничто не помешает этому чаду стать бриллиантом своего века с этим личиком – стоит лишь раз поймать его взгляд с плаката, оно будет преследовать тебя вечно. Ей не грозит остаться в жизни без уважения или любви – уже в таком возрасте это читалось в ровном, непритязательном взгляде, в неколебимой уверенности небесной орхидеи, выросшей среди клеверов и сорняков. Если на что-то в этом мире и можно рассчитывать, так это что имя крошки стяжает такую славу, какая не светит ему с Карно, вместе взятым. Это неизбежно.

Если девочку несет эта фигуристая дамочка, это еще не значит, что они мать и дитя, думал он с неугасающим оптимизмом, хотя даже с такого расстояния нельзя было не заметить сходства. И все же оставался шанс, что эта краля приходилась юному видению тетушкой, которая присматривает за ребенком, пока родители на работе, а значит, несмотря на внешность, может быть свободной. В долгосрочной перспективе это даже было не важно, ведь все, чего ему хотелось, – провести десять минут в приятном флирте, а не подорваться с ней в Гретну, – но ему отчего-то всегда было беспокойно, если он заигрывал с замужней женщиной.

Взбираясь по холму, женщина смотрела на противоположную сторону и пустырь, мечтательно созерцая запущенную буддлею, прорывавшуюся из обломков старого кирпича, и как будто не замечая существования Овсеня. Впрочем, он уже привлек внимание деточки, так что решил работать с тем, что есть, и плясать от этого. Опустил подбородок, коснувшись им воротника и толстого узла галстука, затем вскинул глаза на младенца из-под страусиных ресниц и угольно-черных дефисов бровей. Одарил смертельно серьезную красу своей самой бесовской улыбкой, сопроводив ее коротким, застенчивым трепетом век. И вдруг ударился в профессиональную чечетку на потертых бежевых булыжниках, не продлившуюся и трех секунд, после чего замер как вкопанный и отвернулся к вершине холма с невозмутимым видом, будто танцевальной интерлюдии и не было.

Далее он время от времени скрадывал робкие взгляды через плечо, словно чтобы убедиться, что херувимчик смотрит на него, хотя сам в этом не сомневался. Всякий раз, наталкиваясь на ее глаза, теперь повеселевшие и заинтригованные, он прятал лицо, словно от стыда, и миг подчеркнуто тарачился в противоположном направлении, прежде чем позволить взгляду, хотя и с заминками, подкрасться для очередной встречи, как в игре в «ку-ку». На третий раз он увидел, что красавица заметила лопотание малютки и тоже поглядывала на него со знающей улыбкой, которая казалась и одобрительной, и в то же время какой-то испытывающей, словно Овсеня мерили по не знакомой ему мерке. Теперь, когда день остывал, ветерок задувал сильнее, разбивая циферблаты одуванчиков на свалке и разнося по улице их невесомые шестеренки. Он же встрепенул кудри женщины, словно глянцевые сережки на березе, пока она изучала его и решала, одобряет ли увиденное.

Похоже, что одобряла, пусть и не без оговорок. Будучи уже всего в нескольких шагах, она приветливо окликнула Овсеня.

– А у тебя есть почитатель, – очевидно, она имела в виду ребенка.

Забавно, но ее голос тек, как варенье из черной смородины, от которого Овсень в те дни просто не мог оторваться. Одновременно уютный в своей обычности и фруктовый от полунамеков-полутонов, он отличался сладостью с обещанием темного густого наслаждения и – куда без этого – намеком на колкую остринку. Но акцент ее оказался без той странной нортгемптонской интонации, которой он ожидал. Если бы он не знал, мог бы поклясться, что она родом из Южного Лондона.

К этому времени она дошла до угла, где и остановилась всего в футах от него. Вблизи, где он смог подробнее разглядеть женщину и ребенка, они нисколько не разочаровывали ожиданий. Будь дитя еще прекраснее или совершеннее, Овсень бы возрыдал, тогда как старшую спутницу, на которую он положил глаз, словно окружали сияние и тепло – они, если уж на то пошло, только усилили первое впечатление, произведенное на расстоянии. Выглядела женщина одних лет с ним, а подходившее к концу жаркое лето вырастило на лице и руках урожай веснушек, казавшихся миниатюрными версиями пятнышек на лилиях. Овсень поймал себя на том, что откровенно пялится, и решил что-нибудь ответить.

– Ну, главное, чтобы моя почитательница знала, что я стал ее почитателем намного раньше, – речь не обязательно шла именно о малышке, но он был только доволен двусмысленностью. Женщина рассмеялась – и он услышал музыку: правда, больше пианино в пабе в пятничную ночь, нежели Дебюсси, но тем не менее. Когда она отвечала, западное небо уже обмакнули в новые краски – меланхолия золотых куч, словно просыпанной казны, над газгольдером, пастельные мазки палево-лилового и мятой мальвы по краям.

– Ой, ну ты. Расхвалишь ее – она избалуется, и больше никто не захочет с ней водиться, – тут она сменила хватку, переместив вес младенца в другую руку, так что теперь Овсень ясно видел ее левую руку и простое кольцо на третьем пальце. Ну что ж. Он понял, что все равно получает удовольствие от компании, и не расстроился, что встреча ни к чему не приведет. Сменил прицел комплиментов, чтобы теперь направлять их исключительно на детку, и, осво-

бодившись от необходимости произвести впечатление на женщину, Овсень с удивлением обнаружил, что хоть раз для разнообразия говорит их от всей души.

– Ни за что не поверю. Чтобы ее испортить, одной лести мало, и ставлю пять фунтов, что вокруг нее и без того увиваются толпы, куда бы она ни пошла. Как ее зовут?

Здесь брюнетка обратила лицо к девочке на руках, чтобы мягко соприкоснуться с ней лобиками с гордой и доброй улыбкой. Над газовой станцией полетели гуси.

– Звать ее Мэй, как и меня. Мэй Уоррен. А ты как? И че торчишь на углу Дворца Винта с бесстыдными глазищами?

Овсень так поразился, что у него отпала челюсть. Еще никто не отзывался так о взгляде, который он по-прежнему считал огненным. Впрочем, после мгновения оторопелого молчания он рассмеялся с неподдельным восхищением проникательностью и беспощадной честностью женщины. Оскорбление казалось тем смешнее, что, когда его произнесли, малышка повернулась и воззрилась прямо на него с вопросительным и участливым взглядом, словно присоединяясь к вопросу матери и интересуясь, чего это он торчит на углу с бесстыдными глазищами. От этого он смеялся только дольше и пуще прежнего, а к нему с удовольствием присоединилась и девушка, и наконец вступила ее дочурка, не желая показаться непонятливой.

Когда все замолчали, он осознал с каким-то удивлением, как же приятно после месяцев и лет загодя продуманной комедии по-настоящему, произвольно рассмеяться, особенно над шуткой в его же адрес. Шуткой, которая напомнила ему, что он задирает нос и что серьезные переживания из-за карьеры, донимавшие его не далее пяти минут назад, скорее всего, такие же раздутые и преувеличенные. Все встало на свои места. Для того-то, наверно, и нужен смех, решил он.

Он кивнул, как можно менее самодовольно, на свое имя на плакате, к которому привалился, но просил называть его Овсением. Так делали все его друзья, к тому же ему казалось, что имя «Чарльз» прозвучит для такой простой девушки слишком заносчивым. Когда они с Сидни были маленькими, их мать еще жила на широкую ногу и выводила своих мальчишек прогуляться по Кеннингтонской дороге в таких костюмах, которые, знала она, никто в округе не мог позволить даже в самых ярких мечтах. Оттого-то, конечно, падение в нищету и к плиссированному алому трико вместо колготок стало еще невыносимее, и с тех самых пор он всегда боялся, что его принимают за воображалу, потому что в случае нового падения не перенес бы излишней жестокости. Сойдет и «Овсень», подумал он. В их именах даже звучали отголоски от праздничного стола в честь урожая – Овсень и Май.

Женщина присмотрелась к нему, вопросительно сузив глаза, у уголков которых раскрылись и сомкнулись миниатюрные веера декоративных морщинок.

– Овсень. Овес и ячмень. Да ты никак с Лондона.

Она склонила голову чуть назад и набок, смеряя его как будто с глубоким подозрением, так что на минуту он забеспокоился. Девушке чем-то не угодил Лондон? Затем ее лицо снова расслабилось в улыбке, только у этой улыбки было какое-то хитрое, кошачье свойство.

– С Ламбета. Западная площадь, у дороги Святого Георгия в Ламбете. Как, угадала?

Малышка уже потеряла интерес к Овсеню и развлекалась, хватая в маленькие кулачки медные пряди волос ее матери – судя по виду, довольно больно. Он же почувствовал, как роняет челюсть уже второй раз на второй же минуте, хотя в этот раз не в прелюдии к смеху. Если честно, эти слова нагнали на него страху. Кто эта женщина, откуда она знает то, чего знать не может? Цыганка? Все это только сон, который снится ему в шесть лет, о странном мире, что ждет в будущем, пока сам он беспокойно мечется, а бритая головка шуршит по грубой ткани подушки в работном доме? В этот миг он почувствовал, словно мир ускользает из пальцев, на него нашло мимолетное головокружение, так что дороги перекрестка чуть не завертелись, как иголка сломанного компаса, а дым из труб и золоченые облака завихрились в километровых кольцах, пойманные центрифужным бегством горизонта. Он больше не знал, где он и что

происходит между ним и этой пугающей молодой матерью. Даже издали он понял, что она окажется интересной женщиной, но реальность превзошла все его ожидания. Она сбивала с толку и с ног – и она, и ее неземная дочка.

Увидев в его глазах панику и смятение, она снова рассмеялась – горловое журчание, лукавое и одновременно несколько распутное. Он почувствовал, что ей нравилось время от времени пугать людей, как ради смеху, так и чтобы показать свою силу. Хотя его уважение росло с каждой секундой, желание, которое он испытал при ее виде, съезживалось в противоположном направлении. Этот человек, несмотря на скромное сложение, был больше его самого. Эта девочка, подумал он, может его слопать, сыто отрыгнуть и отправиться дальше по своим делам как ни в чем не бывало.

Наконец она его пожалела. Выпутывая колечки волос из пальчиков девочки, пока юная Мэй как раз отвлеклась на проплывающий и позвякивающий трамвай, она доказала, что никакая не профессиональная фокусница, объяснив, как сумела прочитать мысли.

– Я сама с Ламбета, с Регентской улицы у Ламбет-уок – маленькой такой террасы. Верналл. Это я по матушке. Помню, как наши мамка с папкой гуляли со мной по округе, когда я была совсем маленькой. Они там ходили в один паб на Лондонской дороге, а домой мы срезали через Западную площадь. Там-то я ты и видала пару раз. С тобой был еще старший братец, верно?

Он почувствовал облегчение, но и не меньшее удивление. Цепкая память женщины, хотя и куда более впечатляющая, чем его собственная, была вполне типична для тех, кто рос в тесных кварталах, где все знали имена всех в радиусе двух миль, а также имена их детей и родителей и запутанные капризы и нити обстоятельств, связывающих поколения. Так и не выучившись этому трюку, – Овсень всегда надеялся, что не задержится в тех местах надолго, – он был застигнут врасплох, когда трюк провернули с ним, в этом маловероятном месте, захолустном городишке. В отличие от девушки, он, хоть убей, не помнил никаких детских встреч.

– Да. Ты права, у меня был брат Сидни. Собственно говоря, до сих пор есть. А когда ты там была? Сколько тебе лет?

В этот момент она с укоризной подняла бровь из-за отсутствия манер – негоже спрашивать девушку о возрасте, – но все же ответила:

– Как тут у нас гряд, молодая, как мой язык, но старше́й, чем зубы. Мне двадцать лет, если так уж интересно. Родилась десятого марта 1889 года.

Чем больше она убеждала, что в том, как она узнала его адрес, нет ничего загадочного, тем более жуткой казалась их случайная встреча. Эта удивительно внушительная женщина родилась с ним в один месяц и все детство жила, наверное, всего в двухстах ярдах. И вот они оба здесь, в шестидесяти милях и двадцати годах от места, где начинали, стоят на одном из сотен углов в одном из сотен городов. Он снова задумался о предыдущих сомнениях по поводу судьбы и того, могут ли люди предугадать свой путь. Теперь он видел, что это два разных вопроса, которые требуют двух разных ответов. Да, возможно, за тем, как складываются события, стоит заблаговременно очерченная схема, или на худой конец иногда так кажется, но в то же время если подобный замысел есть, то он слишком великий и неземной, чтобы прочесть или понять его, так что никто не может предсказать, чем разрешатся все его завитушки, разве что по случайности. С тем же успехом можно пробовать предсказать все формы фиолетового закатного облака, которые оно примет перед тем, как догорит, или какая телега кому уступит дорогу при встрече на перекрестке. Слишком сложно, чтобы охватить, что бы там ни говорили всякие пророки или знатоки кофейной гущи. Он тряхнул головой и ответил ей, пробормотав невпопад какую-то нелепость про тесный мир.

Очаровательная крошка теперь беспокойно ерзала, и Овсень испугался, что мать воспользуется этим поводом, решив забрать ее домой и закончить разговор, но та только спросила, что он делает у Дворца Варьете, или Дворца Винта, как она продолжала его называть. Он рас-

сказал, что в общем занимается всем понемногу, но сегодня выйдет с «Ряжеными пташками» Фреда Карно в роли Пьяницы. Она сказала, что это наверняка смех да и только, и добавила, что всегда хотела познакомиться с кем-нибудь из театра.

– Это все наш пострел, наш Джонни. Ток и твердит, как ему нейдет на сцену. Эт мой младшенький братец. Мнит, что попадет в театр или музыкальную группу, да ток это все пусто-звонство. Учиться не хочет, да и на какие шиши. Слишком это тяжело.

Он кивнул в ответ, глядя, как на свой склад в конце улицы, у подножия за ее спиной, торопится молоковоз. С места Овсень он казался всего в дюйм высотой – унылая крошечная кобыла тащила телегу по правому плечу девушки, затерявшись на какое-то время в осеннем лесу ее волос, прежде чем снова показаться слева и устало уплестись из виду.

– Да уж, если твой брат не хочет попотеть, на подмостках он недалеко пойдет. Впрочем, он еще может стать управляющим или импресарио, а там пусть ленится, сколько захочет.

На это она посмеялась и сказала, что откажется от совета. Он воспользовался паузой, чтобы поинтересоваться, почему она называла зал Дворцом Винта.

– О, его как ток не звали. Семья нашего папы жила в Нортгемптоне, скок себя помню, вечно болталась между домом и Ламбетом, вот и следили за переменами. Попервоначально он был мюзик-холлом «Альгамбра», как говорил папка, потом, как я родилась, название поменяли на «Гранд-варьете». Немного погодя, если верить папе, началась черная полоса, когда и театра никакого не было. Пять лет тут каждый месяц открывалось что-то новое. То бакалея, то велосипеды продавали. Был паб под названием «Ворона», потом переехал через улицу и стал «Вороной и подковой», а еще помню, как десять лет назад здесь стояла кофейня. Туда ходили все вольнодумцы, как они ся звали, и могу те сказать – были среди них те еще герберты. А в год, когда умерла королева, его освежили и окрестили Дворцом Варьете. Старый мистер Винт – год назад он купил заведение, но вывеску так и не сменил.

Овсень кивал, рассматривая старое здание в новом свете. Из-за того, что он выступал здесь «Ланкаширским мальцом» столько лет назад, казалось, ничего не изменилось и варьете стояло как было, что оно всегда было одно-единственное и, скорее всего, таким и останется. Небрежное перечисление девушкой назначений, для которых употребляли помещение за годы, его покорило, хотя он бы и не смог объяснить, чем именно. Овсеню показалось, это потому, что мир, где он вырос, хотя и ужасный и душный, стоял неизменным из года в год, а часто и из века в век. Даже в этом занюханном углу Нортгемптона, таком же нищем, как Ламбет, где он родился, – даже тут можно видеть, что в большинстве зданий до сих пор находятся те же заведения, что и сотню лет назад, даже если у них сменялись названия или руководство. Вот почему рассказ о переменчивой судьбе зала вывел его из душевного равновесия: потому что, хотя подобная история еще была редкой, с каждой неделей она слышалась все чаще. А что будет, спросил он себя, когда эти второразрядные театрики-однодневки станут правилом, а не исключением? Если он вернется, скажем, через сорок лет и обнаружит, что здесь продают – он даже не знает – электрические пушки или еще что-нибудь такое, а варьете нет и в помине? Вдруг тогда вообще не останется жанра варьете? Ну ладно, это он, конечно, махнул, но именно так себя почувствовал из-за бесцеремонного повествования Мэй – беспокойно из-за порядка новых дней, нового мира. Овсень сменил тему, спросив о ней самой:

– Ты так говоришь, словно все здесь знаешь. Сколько ты уже тут живешь?

Она задумчиво воздела глаза к обрывкам сиреневых перистых облаков на темно-синем поле, пока ее поразительно воспитанная и терпеливая дочь сосала блестящий палец и смотрела, как будто бы безразлично, на Овсень.

– Кажись, в девяносто пятом, когда мне было шесть, мы сюда и приехали, хотя наш папа – он-то всегда мотался туда-сюда в поисках работы. Ходит пешком всю дорогу до Лондона и обратно, старый черт. Частенько мы не видали его по шесть недель кряду, ни слуху ни духу, и

вдруг он заявляется с гостинцами, пустячками для всех и каждого. Не, здесь не так уж скверно. Здешние места – как тот же Ламбет, люди те же. Иногда кажется, будто и вовсе не переезжали.

Теперь некоторые узкие лавки на той стороне Подковной улицы зажигали огни – тусклый свет, подернутый зеленым по краям, между редкими и темными витринами. Опустив взгляд от дымоходов, старшая Мэй с гордостью посмотрела на младшую, стиснутую в крепких руках цвета тигровой лилии.

– Кажись, я тут надолго. Во всяком случае, на то моя надежда, а еще на то, что малая тож будет жить тут. Тут народ открытый, и бывают совсем старомодные особы. Тут я познакомилась со своим милым, Томом, и мы венчались в Гилдхолле. У него все местные, все Уоррены, и с нашей стороны Верналлов тут живут многие. Нет, тут ничего, в Нортгемптоне. Свиной пирог пекут на славу, и парки один другого краше – Виктории, Беккетта и Абингтонский. Ток-ток свою туда сейчас и водила, к речке. Смотрели лебедей и гуляли по островку, да, уточка моя?

Это было адресовано ребенку, который наконец начал проявлять беспокойство в открытую. Ее мать выпятила нижнюю губу и сложила брови домиком, передразнивая плаксивое выражение дочки.

– Голодная, значит. Как в парк шли, заглянули к Готчеру Джонсону, взяли две унции радужных конфет ²⁴, но я тож перекусила, вот надолго их и не хватило. Пора нам уж с ней домой на улицу Форта, на чай. Там и тушенка в консервах ждет, ее любимая. Славно было познакомиться, Овсень. Удачи те с номером.

На этом Овсень раскланялся с обеими Мэй и сказал, что ему было не менее приятно встретить их обеих. Взял влажную крошечную ладошку малышки и заявил, что надеется однажды увидеть ее имя на большой афише. Матери он только сказал: «Присматривай за ней», – а когда женщина усмехнулась и ответила, что это уж преобязательно, сам задумался, зачем такое ляпнул. Какая глупость, как можно не присматривать за такой деточкой. Воспитанница и родительница подождали, когда дорога освободится, затем пересекли основание Золотой улицы и поднялись по холму на север. Он стоял на своем углу и наслаждался видом на зад женщины, плывущим под болтающейся юбкой, представляя ягодицы в виде прижавшихся друг к другу лиц танцоров, скачущих в жарком тустепе. Или, быть может, двух мускулистых борцов в ближнем бою, и стоит одному отвоевать дюйм, как второй тут же отбивает его обратно, так что они только покачиваются в клинче. В этот момент он заметил, что ребенок, удаляясь прочь, серьезно смотрит на него через плечо девушки. Почувствовав неожиданный стыд из-за того, что девочка поймала его за любованием прелестями ее матери, он быстро отвернулся к заросшему пустырю ниже по холму, а когда всего через минуту поискал глазами, их уже не было.

Овсень посмотрел, который час, затем выудил из убывающей пачки очередную «Вуди» и закурил. Если подумать, разговор вышел тот еще. Произвел на него такое впечатление, которое в полную силу почувствовалось только сейчас. Эта женщина, Мэй, родилась всего через несколько недель после него и выросла меньше чем в полудюжине улиц, – а встретились они на углу в другом городе двадцать лет спустя. Кто бы мог поверить? Один из тех случаев, что, думал он, обязаны время от времени происходить вероятности вопреки, и все же каждый раз казались необыкновенными. В том, как устроен мир, всегда чувствуется какая-то подоплека, которую можно почти что угадать, но стоит только попытаться вычленить значение или смысл, как они просто затухают, и ты остаешься в тех же потемках, что и раньше.

А возможно, единственный смысл таких событий – тот, что налагаем мы сами, но даже если знать, что так наверняка все и обстоит, то помогает это, честно говоря, слабо. Не мешает нам гоняться за смыслом, носиться, как хорькам, в лабиринте нор своих мыслей и иногда теряться впотьмах. Овсень не мог не думать о женщине, которую только что встретил, как их разговор взбаламутил двадцатилетний осадок на дне памяти, какие чувства вызвал. Суть его

²⁴ *Rainbow drops* – разноцветная сладкая кукуруза.

волнения, думал он, – как на фоне сходств между его и ее историями не менее резко выдавались различия.

В первую очередь, он был на грани побега – по крайней мере, надеялся на это, – из затхлой от копоти тюрьмы их общего происхождения, из бедноты, малоизвестности и таких вот улиц, где небо уже нарезано на насыщенно-синие ромбы железными опорами газгольдера. Побега даже из Англии, если удастся. В случае грядущей стычки с Германией сэр Френсис Дрейк надеялся валяться в гамаке где-нибудь в тысяче миль отсюда. А у полной жизни молодой матери, Мэй, – у нее такой оказии не было. Без талантов, унаследованных или усвоенных у родителей из мира развлечений, ее жизнь была ограничена как в плане ожиданий, так и возможностей, а ее горизонты, к которым она вовсе не стремилась, были куда теснее, чем его собственные границы. Она сама сказала, что думала прожить в этом районе всю жизнь и желала того же своей прелестной дочери. Она не гналась ни за надеждами, ни за мечтами, знал Овсень. В подобных кварталах это попросту непрактично – только отягощающие и мучительные слабости. И эта бойкая девчушка, похоже, обречена жить и умереть в маленькой клетке своих обстоятельств, даже не зная, что она в клетке, и не замечая грязных прутьев. Он благодарил своего ангела-хранителя, если он был, за дар хотя бы призрачного шанса избежать пожизненного заключения, в котором обреталась она. Каждая женщина, мужчина или ребенок, проходившие мимо в пропахших дубильными трущобах, были во всех отношениях каторжниками, мотающими срок в суровых условиях без всякого шанса на снисхождение или помилование. Они пылились в шкафу, где тепло и мухи не кусают.

Но Мэй казалась довольной, а вовсе не обреченной. Мэй казалась довольнее жизнью, чем Овсень.

Он задумался над этим, выдувая дрожащий сизо-серый папоротник дыма красивыми губками, сложенными в трубочку. Некоторые экипажи, ползущие через перекресток, уже засветили фонари, а ляпис небес постепенно углублялся в оттенках. Улитки с люстрами ползли вверх по холму и искрили в тупике сумерек.

Он увидел, что в бедности – в том, чтобы не иметь ничего, даже амбиций, – было две стороны. Да, правда, у Мэй и других вроде нее нет его напора, его талантов или возможностей добиться лучшей жизни, но нет у них и его сомнений, страхов перед неудачей или гложащей вины. Эти люди, опустив головы и хрустя осенней облицовкой брусчатки, ни от чего не бежали, особенно от улиц, с которых были родом, а значит, не приходилось им и чувствовать себя все время дезертирами. Они знали свое место – во многих смыслах. Да, они отлично знали, где полагались относительно всего общества – на дне, – но самое главное – знали свое место: знали кирпичи и цемент вокруг так близко, что почти любили. Он понимал, что многие из несчастных душ, лившихся через шлюзы перекрестка, происходили из семей, которые проживали в этих краях поколениями, просто потому что расстояние для путешествий до появления железных дорог было сильно ограничено. Они топтали тротуары, зная, что сотни лет назад то же самое делали их деды и прадеды, топили беды в тех же пабах, затем изливали их в тех же церквях. Каждая грубая и ничтожная деталь района была у них в крови. Эти спутанные переулки и покосившиеся пекарни были разжиревшим телом, из которого они появились на свет. Они знали все заплесневелые подворотни, все дожесборники, где краны проржавели до толщины бумаги. Все запахи и изъяны округи были им знакомы, как родинки матери, а если лицо у нее и перепачканное, и морщинистое, они не могли просто ее бросить. Даже если она давно лишилась разума, они...

В его глазах стояли слезы. Овсень сморгнул и сделал три короткие затяжки, прежде чем стереть лишнюю влагу кончиками пальцев, притворившись, что его ослепил дым. Все равно никто из пешеходов на него не смотрел. Он вдруг разозлился на себя за то, что по-прежнему хранил сопливые сантименты, и за то, как легко рассиропился. Он уже мужчина, ему двадцать, а иногда он чувствовал себя на все тридцать, и нечего хлопать носом как мальчишка. Ему не

шесть лет. Он плачет не по остриженным кудрям в ламбетском рабочем доме, сейчас не 1895 год. И хотя он понимал, что еще не осмыслил это целиком, но на дворе двадцатый век. И этому веку нужны умные, идущие в ногу со временем и дальновидные люди, а не те, кто льет слезы над прошлым. Если он собирался чего-то добиться в жизни, лучше взять себя в руки – и в темпе. Глубоко затянувшись сигаретой, Овсень задержал дым и оглянулся на медленно темнеющем перекрестке, пытаясь взглянуть на него с современной, реалистической точки зрения, а не плаксивой и ностальгической.

Да, в этой торчащей вкривь и вкось куче выветренных остовов можно увидеть мать, он мог это представить. И в то же время, как и мать, эти дома не будут вечны. Возраст развел их переменами и не собирался сбавлять аппетиты. Как он только что думал о предыдущих поколениях, ограниченных в возможности перемещаться, так же он понимал, что в этом новом, просвещенном веке все должно быть иначе. Паровой двигатель изменил мир, на улицах Лондона уже можно встретить безлошадные экипажи, и надо думать, со временем их будет только больше. Сообщества, простоявшие бесчисленные десятки лет, как вот это вокруг, окажутся не такими спаянными, когда арестантам дадут шанс легко и дешево сбежать, отправиться туда, где работа лучше и не надо идти шестьдесят миль пешком, как папе этой девушки. Даже если не будет войны, истребляющей молодежь, он сомневался, что узы, привязывающие людей к таким местам, выдержат еще сотню лет. Подобные районы отмирают. И это никакое не предательство – желать выскочить из них на твердую почву, пока они не пошли ко дну. Любому, кто повидал мир, кто почувствовал, что волен отправиться куда захочет, – зачем ему сидеть взаперти в такой дыре, таком городишке, да даже такой стране? Любой здравомыслящий человек с возможностями вылетит отсюда пулей, как только выпадет шанс. Их здесь ничего не держало, и...

В сгустившейся темени внизу холма показался черный человек на велосипеде с веревками вместо шин, тащивший прицеп с такими же колесами, дребезжа по булыжникам, как скелет из страшной сказки.

Овсень второй раз за полчаса спросил себя, не спит ли он. Это был тот же самый человек на том же самом несуразном костотрясе, как и двенадцать лет назад, когда он стоял с Бойси Бристолем здесь, на том же самом углу, и говорил: «Да, но вот зачем миллионерам вести себя как бродяжки?»

Негр остановил странное изобретение наверху Подковной улицы, на углу напротив Овсеня, ожидая, пока поперек пройдет конка. Конечно, минувшие годы взяли свое, волосы и борода стали белыми пучками, но это, вне всяких сомнений, был тот же самый человек. Он же на сей раз не заметил Овсеня, но остался сидеть верхом на велосипеде, ожидая, пока конка уступит дорогу, чтобы продолжить свой путь на холм. На его сильном широком лице было отсутствующее и несколько озабоченное выражение, он явно пребывал не в том же общительном настроении, как когда они встречались в последний раз – когда еще не умерла старая королева, а мир был совсем иным. Даже если бы Овсень по-прежнему оставался тем же ретивым и изумленным мальчишкой восьми лет, он сомневался, что черный бы его заметил, таким меланхоличным и отстраненным он теперь казался.

К этому моменту омнибус прогрохотал мимо, и мужчина поднял ноги – на них по-прежнему были привязаны деревянные бруски. Он уперся ими в педали, привстал и наклонился вперед, натужно покотив вперед, постепенно набирая скорость, которая перенесла его с тележкой через перекресток на вершину холма, в опускающуюся темноту, где он скоро и потерялся из виду.

Глядя, как исчезает черный малый, Овсень пососал сигарету, не замечая, как сильно та прогорела, так что она обожгла пальцы, и он вскрикнул, бросив дерзкий уголек на землю и растоптав в гневном возмездии. Даже чертыхаясь и размахивая пальцами, чтобы ветер остудил ожог, он испытывал удивление из-за того, что сейчас случилось, из-за всей атмосферы этого необычного места, где подобное как будто происходит все время. Подумать только: весь

десяток лет с тех пор, как он был здесь в последний раз, пока Овсень колесил Англию вдоль и поперек и участвовал в парижском приключении, во все разные вечера в разных городах и селах, – все это время черный был здесь, каждый день ездил взад и вперед по одному и тому же маршруту. Овсень сам не знал, почему это казалось таким удивительным. А что, он думал, будто люди исчезают, если от них отвернуться?

С другой стороны, этот человек уже повидал Америку, по которой тосковал Овсень, и все-таки решил остаться здесь... может, это и не диво, но уж точно загадка. Подняв одновременно брови и плечи, чтобы, не обращаясь ни к кому в особенности, театрально выразить переигранное изумление, Овсень бросил последний взгляд на перекресток, тонуший в индиго, затем поднялся по ступенькам к крошечной парадной двери Дворца Варьете. Толкнул и вошел туда, где было ненамного теплее, миновал кассу с кивком и хмыком безразличному тучному типу внутри. Он задумался, прибыльный ли будет вечер, много ли они соберут народу, но такое не предскажешь. Прежде чем подняться в рай зрительского признания, сперва надо заполнить раек.

Побеленный сарай, который служил ему гримеркой, стоял за короткой, но запутанной серией коридоров из голых досок на тесном и древнем дворике, где протекал туалет и блестели стоячие лужицы, занявшие непоколебимую позицию в углублениях проседающих горбчатых плит. Овсень уже заскакивал в примерочную, чтобы занести реквизит, но не успел по-настоящему осмотреться. К его немалому удивлению, в нежилом на вид помещении на середине облупившейся стены был газокалильный фонарь, который он тут же запалил спичкой, чтобы пролить свет истины на окружение.

Видал и хуже. Желтая каменная раковина в углу, с латунным краном, свернутым наперекосяк, и с жидкими венами медянки цвета шпината, отчего кран был похож на испорченный сыр. Овсень нашел треснувшее зеркало размером с книгу, висящее на двери в деревянной раме на гнутом гвозде, и встал перед ним, нашаривая в нагрудном кармане пробку. Отыскав, он зажег очередную спичку и подержал и без того почерневший конец затычки, чтобы она обуглилась заново и черный цвет видели даже с галерки. Отмахнувшись от дыма и пережидая миг-другой, пока импровизированный грим остынет, взглянул в разбитое стекло. Не обращая внимания на черный разлом, пробегающий крутой диагональю по лицу его отражения, он ослабил свои черты в мешковатой, блаухаундовской осоловелости Пьяницы, его испитой скобоченной ухмылке со слезящимися глазами, что так и норовили закрыться.

Сперва Овсень раскрошил пальцами жирный пепел пробки в пыль, затем начал накладывать ее под подбородком, размусолив черную пудру вокруг сжатого рта и по щекам под самыми скулами, где та превратилась в грязно-серую щетину запойного гуляки, что не один день не мылся и не брился. Самим огарком пробки он подчеркнул складки второго подбородка, ради которого поджал челюсть, затем поработал у глазниц, добиваясь помятого вида, прежде чем перейти к тяжелым, лихо вскинутым бровям. На верхней губе, где ничего не росло, нарисовал обвисшие квелые усы, концы которых кривыми линиями сбегали у уголков рта. Практически удовлетворенный новым лицом, он втер уголь с пальцев прямо в жирные волосы, нарочно взъерошив их торчком, чтобы кудри раскинулись всюду, как маслянистые гребни на бурном море.

Он смерил взглядом облик в расколотом зеркале, выдержав собственный взгляд. Решил, что почти закончил. Приступил к мелким деталям, углубляя морщины у уголков рта и глаз. Из-за щедрых мазков пробкой его лицо стало приобретать пепельную бледность. Иногда это пугало – сидеть в тихой, пустой, незнакомой комнате и смотреть в собственные глаза, превращаясь в кого-то другого. Осознаешь, что вся личность, все, что ты считаешь собой, в основном написано на твоём лице.

Овсень наблюдал, как исчезает из виду образ, который он аккуратно создал для себя. Живой взгляд, привлекавший симпатию женщин или передававший энергию и ум, скрылся в

тумане хмельного прищура. Аккуратность, с которой он следил за своими выражениями, чтобы сообщать легкомысленную самоуверенность молодого человека в молодом веке, – заштукатурена, заляпана чумазым пальцем, стала сальной усмешкой викторианского Ламбета. Все вехи окультуривания и прогресса, которых он достиг, работая над собой, тяжело выбредая из трясины родословной, – стерты. На разделенном лице, что взирал на него из-за растрескавшегося стекла, его стесненное настоящее и большое будущее уступили место засасывающей, цепляющейся жиже прошлого. Его отцу и тысяче барных дверей, куда Овсень заглядывал в детстве, когда посылали найти отца. Лопнувшим кровяным сосудикам на щеках выпивох, прижавшихся к холодной подушке тротуара. Крови, смытой с крюков в лошадиных лоханях. Все это так и поджидало, чтобы он только расслабил свою озорную, задорную улыбку всего на миг, всего на полдьюма.

В комнате висел запах сырости и ветхости. В бессильном неровном свете у лица под размазанным и растертым пеплом больше не было красок. На серебристо-серой коже выделялись черные волосы и глаза. В рамках зеркала оказалась поблекшая фотография человека, навек застрявшего в определенном времени, определенном месте, в характерном персонаже, от которого нельзя сбежать. Навсегда застывший в бледной эмульсии портрет родственника или театрального кумира из затерянных времен, когда родители были молоды.

Овсень надел мятый пиджак на размер больше, который носил в роли Пьяницы, и наполнил из-под крана бутылку «Сан-Диего» из зеленого стекла. Где-то недалеко, надеялся он, ждет публика. Фонарь прошипел дурное предвестие.

Был слеп – и вижу свет

Знак великого человека, как думалось Генри, – это то, как он поступает при жизни и какую славу оставляет по себе после смерти. Вот отчего Генри не удивился, когда узнал, что Билл Коди предстанет перед вечностью украшением крыши из грязного камня, на котором свои дела птицы делают.

Когда он глянул вверх и увидел выпуклый лик на оранжевых кирпичях крайнего дома в ряду, вырезанный на какой-то табличке под самой крышей, то принял его сперва не иначе как за Господа. Налицо и длинные волосы, и борода, и даже, как сперва почудилось, нимб – только потом он понял, что это ковбойская шляпа, когда смотришь на поля снизу, как если мужик закинул голову. Тогда он и раскумекал, что это Буффало Билл.

Перед рядом домов – здесь их прозывали террасами, – шла улица, а позади лежали акры зеленого поля, где устраивали скачки и все такое прочее. Сам Генри стоял в коротком переулке, что вел за дома и на ипподром, и вот сюда-то и глядело лицо, вырезанное на стене. Он слышал, будто «Шоу Дикого Запада» Коди приезжало на ипподром в Нортгемптон – где-то за пять-десять лет до того, как Генри самого принесло в город, а это было в девяносто седьмом. Рассказывали, выступала и Энни Оукли, и индейские воины. Видать, кто-то из местных жителей побогаче проникся шоу Коди и решил, что ему самое место в углу под крышей. Ну и пожалуйста, на здоровье. Если спросить Генри, пусть люди делают, что вздумается, лишь бы ничего худого.

Резьба при всем при этом не очень-то походила на Коди – по крайности, не на того Коди, как его помнил Генри по одной-двум встречам. Конечно, было то давным-давно, в Маршалле, штат Канзас, в подсобке прачечной у Эльвиры Конли. Это, значит, семьдесят пятый, семьдесят шестой, что-то такое, когда Генри еще ходил юным красавцем двадцати лет – хоть только он один так и считал. Штука в том, что тогда он не очень-то присматривался к Буффало Биллу, потому как не отводил глаз от Эльвиры. И все равно Генри сомневался, что Уильяма Коди, которого знал он, можно было спутать с Иисусом Христом, Господом нашим, как там ни приглядывайся снизу вверх, пока он будет стоять, задрав нос. Правду сказать, пустой он был человек – или так уж показалось Генри. И Генри сомневался, что Эльвира хоть бы слово сказала Биллу, не будь важно, как на нее все посмотрят в Маршалле. У цветных женщин много знаменитых белых друзей не бывает.

Генри толкнул велосипед с тележкой по мощеному переулку от ипподрома, и веревки, намотанные на обода колес, захрустели листьями, сваленными в канавах. Бросил последний взгляд на полковника Коди, у которого из-за дыма от ближайшей трубы как будто горела шляпа, затем взгромоздился в седло с брусками-тормозами на ногах и пустился по боковым улочкам на большак, что уходил в самый Кеттеринг и что приведет его обратно в центр Нортгемптона.

Сегодня ему не хотелось мотать сюда крюк, а думал Генри просто объехать деревни на юго-восточной стороне города. Но по пути повстречал одного малого, который сказал, будто бы у ипподрома на дворе с железным забором, где обвалился сарай, найдется хорошая черепица, да только он оказался дурак, а вся черепица лежала побитая и не стоила ни гроша. Вдохнул Генри, несолоно хлебавши, да и покрутил педали прочь с улицы Худ и вниз по холму к городу, но потом подумал, что лучше взять себя в руки и не хныкать. Не весь же день прошел зазря. Солнце на востоке большое и алое, низко висело в молочном тумане, который мигом прогорит, стоит сентябрьскому утру как следует продрать глаза и заняться делом. Еще вдоволь было времени повернуться туда, куда душа желает, и обернуться к Алому Колодцу задолго до вечера.

Вдоль по Кеттерингской дороге в город крутить педали не пришлось. Генри надо было только катиться под горку да касаться тут и там тормозными брусками улицы, чтобы не лететь

сломя голову и не растряссти вдребезги на ухабистых булыжниках волочившийся позади прицеп. По бокам рекой протекали дома и лавки со всяческими вывесками и витринами, а он дребезжал себе к центру. Вся дорога досталась ему одному, в такую-то рань. Чуть дальше в город шла попутная конка, а по холму навстречь поднимался малый, толкавший перед собой тележку, доверху полную щетками для дымоходов. Окромя них, окрест были еще человек-другой, шли по ихним делам по тротуару. Одна старушка, которая очень удивилась, когда мимо проехал Генри и два мужичка в кепках, как будто по пути на работу, которые на него выпучились в оба глаза, но он прожил в округе довольно, чтоб не обращать внимания. Впрочем, все же на улице Алого Колодца ему больше по душе. Там народ, по большей части, даже бедней его, так что никто не смотрел на него сверху вниз, а когда встречали в округе, только кричали: «Эй, Черный Чарли! Как везет, что везешь?» – и всякое такое.

Поднялся небольшой ветерок, наигрывал на проводах трамваев над головой, покуда он катил себе под ними. Объехал церкву на углу Гроув-роуд справа и вильнул, чтобы не угодить в конское дерьмо, лежавшее на улице дорогой к площади. Еще один поворот он заложил, когда объезжал унитарную часовню с другой стороны, а там уж сплошняком пошли лавки, питейные заведения и большой старый кожевенный склад, что позади статуи мистера Брэдлоу. Кожа в местной торговле была большим делом, так сыздавна повелось, но в остальном у Генри до сих пор было невдомек, как это город сделан из одних баров да церквей. Никак пошив обуви сидел у всех в печенках настолько, что оставалось проводить досуг либо за выпивкой, либо за молитвой?

На огороженном острове слева, где на подставке стояла статуя, посапывал какой-то пьянчужка. Генри сомневался, что мистер Чарльз Брэдлоу такое одобряет, если смотрит с небес, до того он был непреклонный в вопросе алкоголя, но, обратно, раз мистер Брэдлоу не верил в Господа Всемогущего, вряд ли он и небеса одобряет. Этого у Брэдлоу Генри не мог ни понять, ни принять. Так посмотреть – этот господин был атеист, а если спросить Генри, так это только другое название для дурачка. А этак посмотреть – он вот был строжайше против крепких напитков, что Генри мог только уважать. Или еще как Брэдлоу защищал цветной народ в Индии, когда даже думать не думал о бедняках у себя дома. И все же, по всему видать, он говорил, что у него на душе, и делал то, во что верил. Брэдлоу был хороший человек, и Господь наверняка простит атеизм, если взять в расчет все остальное, потому и Генри не след об этом переживать. Этот господин заслужил себе красивую белую статую, которая кажет пальцем на запад – на Уэльс, Атлантический океан и Америку за ним, и точно так же можно сказать, что Буффало Билл заслужил свой покоцанный камень под крышей. Пусть этот Брэдлоу говорил, что не христианин, а вел он себя как есть по-христиански – и, хоть мысль была неприятная, Генри понимал, что нередко бывает и ровно наыверст.

Он проехал мимо магазина, где был шоколад «Кэдбери», а наверху стены нарисован знак с бальзамом «Лангворт» от Стортон. В последнее время Генри начал подкашливать, и уже подумывал, может, что ли, попробовать и эту штуковину, коли не слишком дорогая. Дальше был магазин с женскими вещичками, потом заведение мистера Брюггера с часами всех мастей на витрине, настенными и наручными. Впереди Генри чуть-чуть не нагнал трамвай – теперь он видел, что это шестой, который ходил до Конца Святого Джеймса, что еще прозывали Концом Джимми. На задку трамвая была оплаченная реклама увеличительных очков, с двумя большими круглыми глазами под названием предприятия, отчего казалось, будто у вагона на хвосте лицо. Тот доехал по рельсам до ближайшего перекрестка и со звоном колокольчика миновал его, тарашась на Генри, словно в удивлении или со страху, отправился себе книзу по Абингтонской улице, тогда как велосипедист свернул налево и помчал с ветерком по Йоркской дороге в направлении больницы, то и дело шаркая брусками по булыжникам, чтобы замедлиться.

Близ больницы был еще перекресток – с дорогой, что уходила в Грейт-Биллинг. Он его прокатил и продолжал ехать прямо по холму, как и ехал. На углу больничного двора, пока он

проезжал мимо, у тамошней статуи головы Короля какие-то ребятенки посмеялись над евойными колесами с веревкой. Один еще крикнул, что по Генри баня плачет, но тот сделал вид, будто это не об нем, и дул себе до парка Беккетта – это который Коровий Лужок, по-старому. Невежды они, и растили их невежды. Если не слухать, они пойдут себе дальше и найдут другую глупость, чтобы посмеяться. Зато, думал Генри, они его не вздернут и не подстрелят, а раз так, то пускай себе кричат любую чепуху, что на ум взбредет. Раз ему хоть бы хны, то они только себя выставляют полудурками, вот и весь сказ.

У подножия он взял налево, объезжая старую стену из желтого камня и попав на Бедфордскую дорогу от парка, где опустил деревянные бруски и подтащил велосипед с тележкой к питьевому фонтану, что был в тамошней нише. Генри слез с седла и приставил машину к обветренным старым камням, между которых росли одуванчики, а сам подошел к фонтану и напился. Не то чтобы его замучила жажда, но коли он бывал здесь проездом, то любил сделать пару глотков, на удачу. Тут, говорят, утолил жажду святой Томас Беккет, когда проезжал через Нортгемптон много веков назад, и Генри этого было достаточно.

Нырнув в альков, Генри нажал бледной ладонью на захватанный латунный кран, а второй ловил в пригоршню изогнутую серебряную струйку и подносил к губам – так он повторил три или четыре раза, прежде чем промочил горло как полагается. Вода была что надо и со вкусом камня, латуни и евойных собственных пальцев. По мысли Генри – как есть святой вкус. Вытерев мокрую ладонь об блестящую штанину, он выпрямился и залез обратно на велосипед, привстал, чтобы привести его в движение. Генри понесло на юго-восток по Бедфордской дороге, сперва с парком и деревьями через дорогу, а потом пустыми полями до самого аббатства в Делапре. Стены и углы Нортгемптона отвалились назад, как ноша со спины, и между Генри и игрушечными деревнями в дымке на горизонте легла лишь плоская трава. Облака нашлепали, как картофельное пюре в синюю подливу, и Черный Чарли поймал себя на том, что насвистывает на ходу что-то из Сузы.

Марш снова вернул в мысли Буффало Билла – таким же он был надутым и важным, – а это навело на воспоминания о Канзасе и Эльвире Конли. Господь Бог ты мой, а не робкого десятка была эта женщина – открыла прачечную в Маршалле куда раньше массовой миграции и неплохо поживала. Она и Билла Хикока знавала, но Хикок под конец 1870-х уже лежал в могиле, когда Генри с родителями попали на Средний запад. Так Эльвира отзывалась об этом малом – нельзя не подумать, что в Диком Билле было немало доброго и свою репутацию он заслужил. Хотя, конечно, по-тихому, промеж своих она признавала, что Бриттон Джонсон, которого она тоже знавала и который к тому времени тоже был покойник, мог хоть штаны сострелить у Дикого Билла Хикока. Чтобы одолеть Бриттона Джонсона, понадобилось аж целых двадцать пять команчей, а не какой-то одинокий забулдыга и удачный выстрел в салуне. И все же даже малые дети знали о Буффало Билле и Диком Билле Хикоке, а о Бриттоне Джонсоне ни одна душа не слыхивала, и тут не надо долго думать, почему. Выглядел он – ну есть фараон, так говорила Эльвира. Без рубашки – настоящий красавец, вот ее точные слова.

Выше и левее, за огороженным пастбищем и черными лесными просторами, Генри едва различал верхушки крыш красивой больницы, которая там была для тех, у кого с головой не в порядке, но хватает денег на лечение. А кому не хватает, тем прямая дорога в работный дом в старом приходе Святого Эдмунда, на дороге Уэллинборо, или же в лечебницу в Берри-Вуд за поворотом на пути в Дастон. Оставив здание позади, Генри навалился на педали, когда мост вздыбился над речным притоком, и почувствовал щекотку в животе, будто ничегошеньки не весил, когда на другой стороне слетел вниз навстречу Большому Хафтону. Мыслями он еще был с Эльвирой, восхищался ею на понимающий и уважительный манер, не то что в юные деньки.

Так-то, конечно, она была только одна из многих выдающихся дам в тех краях и в те времена, но все же оказалась первой, кто в шестьдесят восьмом поднялся в Канзас, и Генри

казалось, многие добрые женщины потом только шли по пути, проложенному Эльвирой, – хотя это ни в коей мере не преуменьшало их подвиг. Была там мисс Сен-Пьер Раффин – помогала людям деньгами со своей Ассоциацией облегчения. Была миссис Картер, супружница Генри Картера, – она уговорила мужа проделать с ней весь путь от Теннесси, пока он нес инструменты, а она – одеяла. Как подумать, так все переселение – женских рук дело, а мужья только плечами пожимали да делали вид, будто им и у себя неплохо. Нынче Генри видел, чего не видал раньше: это все потому, что тяжелее всего на юге приходилось женщинам, из-за тамошних насилий и того, как приходилось взводить детей. Мамка самого Генри тогда сказала евойному папке, что коли он не мужик и не может перевезти жену с сыном туда, где безопасно и прилично, то она возьмет Генри и отчалит в Канзас самолично. Сказала, что если придется, то и пешком туда дойдет, как Картеры, – хотя, когда папаня наконец уступил, поехали они ладком на фургоне, как и все люди. От мыслей о тех временах у Генри, как обычно, раззуделось плечо, так что он оторвал руку от руля, чтобы почесать через куртку и рубашку, как получится.

Справа прошла водяная мельница, где вовсю расшумелись утки, поднимаясь с близлежащего пруда, от которого так отражалось утреннее солнце, что глаза режет. Шеридан, окрест Маршалла, – вот где обосновалась Эльвира Конли, когда рассталась с мужиком из армии, за которым была замужем в Сент-Луисе. В те деньки Шеридан считался хуже Доджа из-за картежных игр, смертоубийств и распутных женщин, но Эльвира стала там как королева – с высоко поднятой головой, статная, черная как смоль. Когда она пошла в гувернантки к старому богатому мистеру Булларду и евойной семье, детки Булларда хвалились, что она не меньше как родня каких-то африканских царей, а Эльвира знай себе помалкивала и слова поперек тому не говорила. Последнее, что дошло до Генри, – что она живет в Иллинойсе, да добра наживает, надеялся он.

Он продолжал путь с взбирающимся солнцем за спиной и придорожными лужами, сверкающими в глазах. По мохнатым полям понемногу ползли тени от гор облаков, словно лето уже валилось с ног, ковыляло, небритое, как бродяга. Бурьян в канавах вскипел и пролился на дорогу или целиком проглатывал заборы, где в умирающей жимолости болтались умирающие пчелы, стараясь растянуть сезон подольше и не дать ему ускользнуть. Справа он миновал узкую дорогу, которая завела бы его в Хардингстоун, и поднажал вдоль верхнего края Большого Хафтона, где встретил пару ползущих в другую сторону фермерских телег, груженных сеном. Мужик на козлах первой отвернулся от Генри, словно видеть его не хотел или не мог, но второй телегой правил краснолицый фермер, что знал Генри по прошлым заездам в эти края, и он натянул поводья, с улыбкой остановившись, чтобы поздороваться.

– Эй, Чарли, черный ты чумичка. Снова к нам воровать пожаловал? Эх, чудо, что у нас хоть два кола осталось, так ты нас уже разорил.

Генри рассмеялся. Ему нравился этот малый, который звался Боб, и он знал, что сам в обратную нравился Бобу. А подначки – так в округе просто показывали, что ты человек свойный и с тобой можно посмеяться, так что отвечал он на тот же лад.

– Как же ты это не знаешь, что я давно приглядываюсь к твоей золотому трону – здоровому, на котором ты восседаешь, покуда слуги подают тебе оленину с разносоломи.

Боб так зареготал, что спугнул кобылу. Когда он успокоился, оба узнали друг у друга, как поживают их жены с семьями и все прочее, затем пожали руки и каждый пустился своей дорогой. В случае Генри – до ближайшего поворота направо на верхнюю улицу Большого Хафтона, мимо школы с кустами ежевики, нависающими над забором. Проехал мимо деревенской церкви, затем загнал велосипед в карман у флигеля священника, где тамошняя старушка, что вела хозяйство, иногда отдавала ему что-нибудь негодное. Слезая с седла, Генри подумал, как красиво выглядел флигель – свет лежал на грубых коричневых камнях и плюще, раскинувшимся зеленым крылом над входом. Вся площадка пряталась в тени дуба, так что солнце падало через листья горящими детальками мозаики, разбросанными на булыжниках и тропин-

ках. Кругом по веткам скакали пташки, что нисколько не испугались и не оборвали песню, когда он поднял железный молоточек с головой льва и опустил на большую дверь, крашенную в черный.

На стук ответила женщина, что звалась миссис Брюс и привечала его с радушным видом. Она пригласила Генри – главное, чтобы оставил башмаки на пороге, – и подала ему в зале чашку слабого чая и тарелку с бутербродами, покуда сама разыскивала мелочишку, отложенную впрок к евойному приезду. Он сам толком не знал, почему принимал миссис Брюс за старушку, хотя она не могла быть сильно старше самого Генри, – а значит, ей где-то лет под шестьдесят. Волосы у нее были белые, как снег, но так и у него такие же, – так что он был уверен, что это все из-за ейного поведения: имелось что-то у нее в манерах от матери Генри. Наливая ему чая, она улыбалась и, как водится, спрашивала всякое-разное про религию. Она часто ходила в церкву, как и он, – только еще миссис Брюс пела в хоре. Покуда она хлопотала по комнате и собирала для него нестаточную одежду, пересказала все свои самые любимые гимны.

– «Окончен день, что даровал Господь»²⁵. Этот мне тоже весьма угоден. А поют ли гимны там, откуда вы родом, мистер Джордж?

Опуская кукольную фарфоровую чашечку от губ, Генри подтвердил, что еще как.

– Да, мэм. Но церкви у нас и в помине не было, потому мои родители пели за работой или еще у костра ввечеру. Ох и любил я эти песни. Мне их напевали на ночь.

Приглаживая кружевные тряпицы на подлокотниках, или как бишь они называются, миссис Брюс взглядела в него с сочувствующим выражением на лице:

– Бедняжка. А вам нравились какие-нибудь больше других?

Генри кивнул, посмеиваясь, отставляя пустую чашку на белое блюдо.

– Мэм, как по мне, так одна обходила все другие напрочь. Милей всех мне была «Изумительная благодать» – не знаю, слышали вы про такую?

Старушка просияла улыбкой:

– О-о, да, замечательная песня. «О, благодать, спасен Тобой я из пучины бед». О-о, да, знаю-знаю. Замечательная.

Она подняла взгляд к планке с ейными фотографиями, чуть ниже потолка, и наморщилась, будто о чем задумалась.

– А знаете ли, кажется мне, словно тот, кто ее написал, жил неподалеку отсюда, если только я не путаю с кем-либо еще. Джон Ньютон, ведь так его звали? Или же Ньютон срубил яблоню и говорил, что не может врать?

Переважив все это и распутав, он объяснил, что, по евойному разумению, человек по имени Ньютон сидел под яблоней и разгадал, почему все падает книзу, а не кверху. А малый, что сказал, будто не может врать, это президент Джордж Вашингтон, и насколько знал Генри, срубил он вишню. Она, кивая, слушала:

– Ах. Вот где я ошиблась. Его семья тоже отсюда родом, этого генерала Вашингтона. А автор «Изумительной благодати», стало быть, мистер Ньютон. Насколько я помню, он был приходским священником выше по дороге, у Олни, – впрочем, поклясться в этом не могу.

Генри это взбудоражило так, как он сам не ожидал. Он искренне сказал, что это его любимая песня, а не просто потрафил пожилой даме. Генри вспомнил, как женщины пели ее в полях, вместе с евойной мамкой, и в припеве как будто было пол евойной жизни. Он слышал песню с самой колыбельки и с давнишних пор думал, будто это песня черных, будто она есть испокон. От слов об этом самом пасторе Ньютоне у Генри аж голова пошла кругом – подумать только, как далеко он прошел с той поры, как впервые услышал песню, только чтобы оказаться по случаю у порога того, кто ее написал.

²⁵ «The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended», 1870, автор Джон Эллертон.

Ему и самому было невдомек, откуда они с Селиной взяли в голову поселиться в Нортгемптоне и растить тут детей после того, как прибыли сюда с большим гуртом овец из Уэльса, пробираясь в сером живом море животных; о таких огромных стадах Генри даже не слышал в тех краях, откуда был родом. Жизнь помотала его по всему свету, но он не тужил и всегда думал, что это промысел Божий и что не дело Генри – знать Евойную цель. И все же чувство, что нашло на них с Селиной, когда они впервые увидели Боро – с Овечьей улицы, куда прибыли и откуда перешли к улице Алого Колодца, что и стала им родным домом, – когда они увидели низенькие крыши, им почудилось, будто что-то в этом месте да есть, теплилась какая-то душа под дымом из труб. Теперь для Генри все складывалось, стоило услышать о мистере Ньютоне, «Изумительной благодати» и прочем. Может, это какое святое место, раз отсюда вышел такой святой народ? Он сам понимал, что, обычным делом, раздувает из мухи слона, словно круглый дурачина, – но от этих вестей Генри воспарил душой, как не воспарял с самого детства, и не сойти ему с этого места, коли не так.

Они с миссис Брюс еще поболтали о том о сем в зале, доканчивая чай с хлебом, пока в свете из-за тюля блестели пылинки, а в углу по-кладбищенски тикали напольные часы. Как закончили, она всучила ему отобранное шерстяное тряпье, а потом проводила до двери, где он все сложил в тележку, волочившуюся за велосипедом. Он тепло отблагодарил ее за одежду, а еще за чай и беседу, и сказал, что обязательно наведается, когда будет здесь проездом другим разом. Они помахали друг дружке и пожелали самого лучшего, затем Генри погрохотал назад по верхней улице на своих обернутых веревкой колесах, а за ним в кувыркающихся листьях и ярких лучах полудня тянулся не в лад мотив «Изумительной благодати».

Выехав с большой улицы и воротившись на Бедфордскую дорогу, он направился вдоль по ней на восток. Солнце теперь было без малого у него над головой, так что по пути он почти не отбрасывал тень, пыхтя, когда налегал на педали, и припеваючи, когда катился сам по себе. Справа, когда он отбыл из Большого Хафтона, виднелось деревенское кладбище с белыми надгробиями, горевшими на солнце ярко, как подушки на одеяле из дремлющей зелени. Через какое-то время слева он миновал дорогу, которая привела бы в Малый Хафтон, но там ему делать было нечего, так что он отправился дальше, подчиняясь изгибу дороги на юго-запад, к Брэфилду. Вдоль пути Генри поднимались стоймя живые изгороди, порою такие высоченные, что когда он спустился в ложину, то ехал в их тени. Низко в зарослях орляка тут и там виднелись прогалины, которые наверняка вели в логовища – то ли зверей, то ли деревенских мальчишей, то ли еще какой дикости. Как ни крути, а кого-то с кровью на рыле и черной грязью на лапах.

Земля здесь была по большей части сельскохозяйственными угодьями, и до того плоской, что должна бы напоминать Канзас – но так, да не так. Примерно сказать, в Англии куда зеленей и всяких цветов будто бы куда больше, просто пропасть – может, из-за того, как местные любят разводить сады, даже жители улицы Алого Колодца в своих маленьких кирпичных двориках. А еще у местных прошло куда больше времени, чтобы стать дошлей и смекалистей в самых простейших делах: если собирали ометы, то умели уложить солому сверху, чтобы сделать крышу, а стенку из камней без цемента умели построить так, что она три сотни лет простоит. Он видал такое на всем просторе страны – всяческие пустыки, которые смекнул чей-то прапрапрадед, когда на троне еще сидела какая-нибудь королева Елизавета. Мосты и колодцы, и каналы с запорными шлюзами, где мужики в сапогах до колен бредут по глине, чтобы заняться чинкой. Всюду налицо хитрая наука, даже там, где человека будто и в помине нет. Одинокие деревья по пути, что на вид будто росли по одному только хотению слепой дикой природы, на самом деле насадили много лет назад по каким-то нарочным причинам, не сомневался Генри. Может, защита от ветра для полей, которых там уже не было, или для урожая твердых кислых дикушек, чтобы кормить свиней мешанкой. Окрест раскинулось лоскутное одеяло полей, и каждый неровный стежок был неспроста.

Он проехал через Брэфилд, когда на церкви Святого Лаврентия раз ударил колокол, обозначив час дня, и задержался на несколько минут на выезде из-за овец, заполонивших дорогу, так что пришлось ждать, пока их отправят по прогону на пастбище. Человек, который гнал блеющий скот, с Генри не заговорил, но как бы кивнул и малость приподнял козырек кепки, поблагодарив за долготерпение. Генри улыбнулся и кивнул в ответ, словно говоря, что ему не в тягость, как оно по правде и было. Пастуху следить за скотом помогал английский колли, и Генри подумал, что они всегда были приятны его глазу. Ничего не поделать, к гончим у него неровно лежала душа с тех самых пор, как он впервые увидел их в Уэльсе в девяносто шестом. Его поражало, какие у них голубые глаза и как они всё-всё понимают, что ты им ни скажи. Там, откуда Генри приехал, – а это Нью-Йорк, а перед тем Канзас, а еще раньше Теннесси, – таких собак и в помине не было. Он почесал плечо, глядя, как последние овцы волочат свои вонючие задницы через калитку на пастбище, где им и место, и затем продолжал путь. В Брэфилде не жило никого, кого бы он по-хорошему знал, и вдобавок ему была охота ехать в Ярдли долгой дорогой – куда лучший путь, покуда день не пошел к концу.

Облака над головой плыли, как корабли, будто ты ехал на велосипеде с прицепом по дну прозрачного океана, не нахлебавшись воды. Генри слушал звенящий ритм колес и мерное умиротворяющее шелканье кривой спицы. Дорога шла напрямки мимо Дентона, так что думать о пути было без надобности, только знай себе слушай сплетни деревьев или воронье в отдалении, хохочущее над чем-то скверным с голосами, как ружейные выстрелы.

Ему не понравилось путешествие по океанским волнам, на борту «Гордости Вифлеема», отчалившей из Ньюарка в Кардифф. Генри уже тогда было под пятьдесят, а в таком возрасте в море не тянет. Покуда мамка с папкой были живы, он оставался в Маршалле – провел там, можно сказать, лучшие годы, приглядывая за ними, хоть и не жалел ни об едином дне. Но когда они скончались, больше его в Канзасе ничего не держало, раз не осталось семьи или близких людей. Эльвира Конли – она тогда уже работала у Буллардов, проводила с ними много времени в отпускных разъездах, так что Генри ее почти не видал. Его понесло на восток, на побережье, в скрипучих трясучих железнодорожных вагонах, а когда подвернулась оказия отработать проезд на старом грязном пароходе с грузом стали, уходящем в Британию, он схватился за нее обеими руками. Безоглядно – хотя это не из-за какой великой смелости, а просто потому, что он и думать не думал, как далеко окажется эта самая Британия.

Генри не знал, сколько целых недель провел на воде – может, не больше парочки, да только казалось, что это тянется целую вечность, и временами ему так плохо, что он уж думал, помрет, так и не повидав снова твердой земли. Сколько мог, он держался на нижних палубах, чтобы глаза не видели бесконечных железных бурунов, – швырял уголь лопатой в котельной, где белые кочегары все спрашивали, как это он не снимает евойную рубашку, как они, хотя стоит такая жара и духота? А Генри только улыбался и говорил: нет, сэр, ему не жарко, он видал места и потеплее, – хотя, очевидно, взаправду не это была причина, отчего он не работал наголо. Кто-то пустил слух, будто он стыдится третьего соска, и Генри казалось, пусть уж лучше так говорят, раз это кончало все расспросы.

На «Гордости Вифлеема» везли листовой металл, а вместо балласта – что угодно, от конфет до детских книжек и грошового чтива. Тогда Соединенные Штаты выпускали больше стали, чем Британия, так что и продавать могли дешевле, даже с ценой отправки через море. Вдобавок на возвратном пути они везли домой шерсть из Уэльса, так что владельцы имели замечательный куш с обоих концов маршрута. Когда он не трудился в поте лица и не лежал с дурнотой, Генри проводил время за чтением баек с Дикого Запада на уже пожелтевших страницах брошюр, предназначенных для пятилетних и десятилетних детей. Во множестве историй героем был Буффало Билл – стрелял бандитов и защищал караваны от ренегатов, хотя взаправду был всего лишь клоуном в странствующем цирке. Уильям Коди. Если и есть другой

какой человек, достойный каменной рожи с одними только трубами в соседях, что пускают дым в глаза, то Генри о нем не слыхивал.

Черные поля справа от него, на которых совсем недавно жгли стерню, принадлежали Грэйндж-Фарм, что будет впереди. От одного обугленного корешка к другому скакали белые птицы, и Генри принял их за чаек, хотя эти края так далеко от моря, как только может быть в Англии. Впереди проезд разваливался надвое – к деревенской площади Дентона уходила дорога, что прозывалась Нортгемптонской. Дентон – славное местечко, но много там не соберешь. Генри туда лучше наведываться раз или, может быть, два в год, чтобы не проездить впустую, и теперь он выбрал правую тропу, чтобы объехать деревню с юга и продолжать к Ярдли – до местечка, что прозывалось Ярдли-Хастингс. У самого Дентона его застал грибной дождик, но накрапывал так слабо, что, проехав наскрозь, Генри не почувствовал и двух капель на лбу. Теперь в облаках над ним стояла пара башен из гладкого серого мрамора среди белизны, но все одно по большей части небо оставалось ясно-голубым, и старьевщик сомневался, что дождик соберется во что пострашнее.

Далеко слева Генри различал темные лоскуты лесов вокруг Касл-Эшби. Он бывал там раз, когда повстречал местного, который все уши прожужжал об этом селе и о том, как, когда в древнем Лондоне хотели поставить у ихних городских ворот двух деревянных великанов по имени Гог и Магог, деревья завезли именно из Касл-Эшби. Тот малый гордился родиной и ейной историей, как и многие в округе. Он говорил Генри, что, мол, это священный край, потому-то в Лондоне и хотели деревьев отсюда. Генри сомневался насчет святости Нортгемптона, что тогда, что сейчас, даже прослышав о преподобном Ньютоне и «Изумительной благодати». Вестимо, место особенное, но «священное» – у Генри так язык не повернется сказать. Перво-наперво, когда что-то священное, оно малость почище, чем было на улице Алого Колодца. Но, с другой стороны, думалось ему, малый хоть в чем-то прав: если что здесь и есть священного, то это деревья.

Генри помнил, и как впервые прибыл в эти края со своей новой женой, и то дерево, что они тогда увидели, когда он прожил в Британии уже больше шести месяцев. Сойдя с корабля в Кардиффе и твердо порешив, что обратного морского путешествия нипочем не снесет, Генри нашел себе кров в местечке под названием Тигровая бухта, где жили и цветные. Но оказалось, к этому душа Генри не лежала. Он как будто вдругорядь оказался в Канзасе, где все цветные сгрудились в одном районе, который гнил, покуда в Канзасе не стало прямо как в Теннесси. Да, свой народ он любил, но не когда их отмежуют от всех прочих, словно они в чертовом зоопарке каком. И Генри пешком пустился в глубь Уэльса, и там-то на пути в одном местечке – Абергавенни, что на речке Уск, – повстречал Селину. Они так скоро влюбились и без промедления женились, что от одной мысли голова кругом. И еще от того, как тут же отправились в Билт-Уэллс, на перегон скота. Не успел Генри и глазом моргнуть, как понял, что женат на белой красавице вдвое младше его, лежит в поле под растянутым брезентом с ней под боком, а в ночи снаружи кричали и ворочались сто тысяч овец, что они оба пособляли гуртовать в Англию. В дороге они провели не меньше, чем «Гордость Вифлеема» шла в Британию, но в конце концов перешли, как он теперь знал, через Спенсеровский мост, потом поднялись по Журавлиному Холму и Графтонской улице на Овечью, и там-то увидели дерево.

Генри пробрел через отару, что кишела на широкой улице, и встретил старшего погонщика в воротах церкви, что прозывалась церковь Храма Господня, – самая древняя и страшовидная церковь, что он видал в жизни. Начальник выдал ему расписку и велел отнести в место, что прозывалось Валлийский дом, на рыночной площади, где Генри и выдадут жалованье. Они с Селиной отправились по Овечьей улице в центр города, и на открытом дворе справа и стояло то дерево: здоровый бук, да такой огромный и древний, что они замерли и дивились ему, раскрыв рот, хоть расписка жгла карман Генри из-за мешканья. Оно было таким широким, то дерево, что его бы только четверо или пятеро человек охватили, вытянув руки, и позже

он слышал, что ему семьсот лет возрасту, а то и пуше. Коли видишь такое старое дерево, как тут не задуматься, чего оно успело насмотреться за все время. Рыцарей на конях, как здесь раньше были, и всякие битвы, как в английской Гражданской войне, что разгулялась сильно раньше американской. Как тут не стоять с распахнутыми глазами, как они тогда с Селиной, и не задуматься, откуда взялись все отметины и шрамы – от пики ли, а то и от мушкетной пули. Поглядели они недолго, а затем забрали оклад Генри, походили по городу и нашли себе местечко на улице Алого Колодца, что и сама была видами видная, но только Генри верил, что то дерево не хуже всяких разумных доводов сыграло важную роль в том, как они с Селиной порешили тут поселиться. От него весь город казался прочным и глубоко пустившим корни. И на ветках никто не болтался.

Было уже за два часа дня, когда он добрался до Ярдли. На первом повороте налево он поднялся на север – по дороге под названием Нортгемптонская, прямо как в Дентоне, – и въехал на деревенскую площадь, где стояла школа – красивый дом из камней цвета масла и со славной аркой, что вела на игровую площадку. В окнах школы виднелись детишки, занятые уроками – что-то вырисовывали на листах оберточной бумаги за длинным деревянным столом. У Генри было дело до зрителя школы, так что он остановил велосипед напротив главного корпуса, рядом с местом, где тот жил. Генри опережал этого малого на несколько годков, но тому не повезло лишиться почти всех полос, так что он казался старше Генри. Он ответил на стук, но внутрь не приглашал, хотя уже имел под рукой заготовленный мешок с негодными вещичками, который и вынес на порог, прибавив, что Генри может их забирать, коли хочется. Там нашлись пара пустых фоторамок – Генри стало даже интересно, что же в них было раньше, – пара старых башмаков и штаны из рубчатого плиса, рватые сзади почти до половины. Он вежливо отблагодарил зрителя, сложив все в телегу вместе с тем, что забрал в Большом Хафтоне, и только было собирался пожимать руки да отбывать, как ему пришло в голову спросить, далеко ли до Олни.

– Олни? Это рукой подать.

Зритель смахнул пыль с рамок о комбинезон, потом показал через деревенскую площадь налево.

– Видишь там Малую улицу? Тебе нужно проехать по ней до Верхней, которая вернет на Бедфордскую дорогу. Держи по ней, пока не выедешь из Ярдли, и уже скоро увидишь по правую руку проселок от большой дороги. Сворачивай – это дорога Ярдли, напрямик вниз по холму до Олни. Но надо сказать, путь выйдет в три мили туда – и пять миль обратно, учитывая, какой крутой склон.

Это и в самом деле казалось совсем близко, зная, что сюда он подоспел мигом. Генри был признателен за подсказку и ответил, залезая обратно на велосипед, что повидает зрителя еще раз до Рождества. Они распрощались, а он с силой встал на педалях и покатил по Малой улице между лавками, по которым сновали женщины – с темными узлами под чепчиками, на золотых тротуарах полудня.

Он свернул направо, на Верхнюю улицу, и она вернула его на Бедфордскую дорогу, как и обещал зритель. Он покинул деревню, миновав таверну «Красный лев» у поворота, куда с полей уже стягивались фермеры с сухими глотками и молча поглядывали на него, проезжавшего мимо. Но косые взгляды могли быть и от евойных веревочных шин, а вовсе не от цвета кожи. Генри потешало, как местные со всякими учеными способами ложить стены, вязать изгороди и всем таким вечно делали вид, будто веревка на ободах – самое дивное диво, что они видали. Он так мог бы вместо шин накрутить на колеса дрессированных гремучек, чтобы послушать соседские пересуды. А ведь Генри всего-то подсмотрел этот трюк у других цветных в Канзасе. Веревки дешевле, не сносятся, как резина, и не прокалываются, а Генри только того и надо. И ничего другого он не задумывал.

За Бедфордской дорогой, ровнехонько напротив съезда с Верхней улицы, земля проваливалась книзу, а за ней следовал и речной приток, так что получался водопад. Разлетающиеся брызги ловили скошенный свет и светились чахлой радугой, зависшей в воздухе, с такими бледными красками, что они то и дело пропадали из глаз. Генри свернул налево на большак и проехал от Ярдли с четверть мили, прежде чем нашел крутую дорожку, убегающую направо, под знаком с надписью «Олни», да только сказать, что дорожка была крутая, – ничего не сказать. Он понесся по ней как ветер, поднимая стеклянную пелену воды, когда не мог объехать лужи на трети пути донизу, где кругом были целые разливанные пруды с мошкаррой в парящей скверной мари. На такой-то скорости и пяти минут не прошло, как он уже видел впереди деревенские крыши. Генри скользил деревянными брусками по проселку, мало-помалу замедляясь, чтобы не сверзиться, прежде чем доберется по назначению. Задним умом уже думал, как много тяжче будет карабкаться назад, но отбросил такие мысли заради большого приключения, когда мчался, как бутылочная ракета, а веревочные шины шипели в высохших коровьих лепешках.

Олни, когда он доехал, оказалось побольше, чем ему думалось. Но единственное, что смахивало на церковный шпиль, было на другом конце поселения, так что туда Генри и направил велосипед. Все, кого он проезжал, на него пялились, ведь раньше Генри в их краях не бывал и, понятно, на их глаз был знатной диковинкой. Он пригибал голову и глядел на камни, по которым ехал, чтобы никого не обидеть часом. Улочки были тихие, без дневного конного движения, так что ему стало совестно за шум, с которым гремела тележка, скача по мостовой позади. Однажды он поднял голову и уловил собственное отражение, проносящееся через витрину лавки кузнеца: черный с белыми волосами и бородой на необыкновенной машине, что проскользил в висящих на обозрении горшках и сковородках, словно был не тверже призрака.

Но когда он наконец достиг церкви, все было не напрасно. Вид ее в самом нижнем конце Олни, у реки Грейт-Уз и озер, раскинувшихся на юге, был самый что ни на есть величественный и одухотворяющий. Сегодня она, естественно, была закрыта, потому как пятница, так что Генри прислонил велосипед к дереву и раз-другой обошел здание, любуясь высокими окнами со всяческими витражами и прищуриваясь на шпиль – до того высокий, что виднелся с другого конца деревни. Часы на башне говорили, что уже подходит к половине четвертого, или, как выражались на Алом Колодце, «надцать пять четвертого». Он сосчитал, что успеет и здесь осмотреться, и вернуться домой дотемна и раньше, чем примется переживать Селина.

Пожалуй, его огорчило, что на церкви ничего не нашлось о пасторе Ньютоне или «Измучительной благодати». Генри, конечно, чего только не навывдумал о повадках английского люда, но он уж ждал, что будет какая-нибудь статуя – может, с пером в руке. А тут и взглянуть не на что. Даже жалкое подобие под трубы не подвесили. Но сразу через улицу Генри заприметил кладбище. Хоть он и не ведал, тут похоронен пастор Ньютон или не тут, он решил попытать удачу, а потому перешел дорогу и вошел на кладбище через верхние ворота за тропинкой, бежавшей по лужку. В высокой траве под ногами все шуршало и скакало, но, как и в Боро, Генри не знал, то ли это крысы, то ли кролики, но приглядываться уж не стал.

Не считая Генри и деревенских покойников, погост казался безлюдным. Потому он немало удивился, когда завернул за угол по тропинке, что бежала между могильными камнями, – сразу у ангела без носу и челюсти, как у ветерана какой-то войны, – и обнаружил, что у могилы на корточках полон сорняки коренастый человечек в жилете и рубашке с закатанными рукавами да в плоской кепке на посеребренных волосах. Тот воззрился еще пораженной, чем сам Генри. Это был совсем старик, осознал Генри, старшей его – поди, к семидесяти. Но еще крепкий, с пышными белыми бачками по бокам от покрасневшего на солнце лица. Под козырьком кепки на кончике носа сидели маленькие проволочные очки, которые он задвинул выше, чтобы разглядеть Генри.

– Господи боже, я так и подскочил. Уж думал, сам Старый Ник пришел по мою душу. Что-то я тебя раньше в наших краях не видел, а? Дай-ка я на тебя погляжу.

Он с натугой поднялся на ноги от могилы, и Генри предложил руку помощи, которую старичок с радостью принял. Когда он наконец встал, оказалось, что росту в нем метр семьдесят, немного ниже Генри. Евойные синие глаза поблескивали из-за линз очков, когда он оглядывал Генри с ног до головы, лучась улыбкой, словно от радости.

– Ну что ж, кажется, ты приличный малый. Что же тебя привело в Олни, если позволишь узнать? Разыскиваешь чью-нибудь могилку?

Генри признался, что это так:

– Я с улицы Алого Колодца в Нортгемптоне, сэр, где меня чаще всего кличут Черный Чарли. Только сегодня прослышал о преподобном, который когда-то проповедовал в Олни, по имени Ньютон. Вроде как это он написал «Изумительную благодать» – песню, что я очень люблю. Я как раз обходил церкву через дорогу, надеялся увидеть какие его следы, как вдруг пришло в голову, что он может покоиться где-то поблизости. Если вам хорошо знакомо это кладбище, сэр, буду признателен, если вы укажете мне на евойную могилу.

Старик выпятил губы с наморщенным лбом и покачал головой:

– Что ты, бог с тобой, его здесь нет. Кажется, преподобный Ньютон в самом Лондоне, в церкви Святой Марии Вулнот, куда его отправили после Олни. Но вот что я тебе скажу. Я служу здесь церковным старостой. Дэн Тайт – это я. Я тут взялся прибирать участки, чтобы чем-то занять руки, но с радостью провожу тебя в церковь и пушу, чтобы ты осмотрелся. Ключ как раз у меня в кармане.

Он извлек из жилета большой черный железный ключ и поднял, чтобы Генри мог его изучить. И верно, ключ. Тут спору нет. Из того же кармана староста достал глиняную трубку и евойный кисет с табаком. Набил чашу и подпалил спичкой, когда они шагали к калитке, так что за ними среди тисов и могил тянулся сладкий кокосовый и деревянный запах. Дэн Тайт громко пыхтел с глиняным мундштуком, пока не раскурил трубку как следует, затем продолжил беседу с Генри.

– А что это у тебя за акцент? Не сказать, чтобы доводилось слышать подобный раньше.

Он кивнул, когда Дэн закрывал за ними калитку, и они двинулись по тропинке обратно к Церковной улице. Теперь Генри ясно видел, что шебуршали в траве кролики – так и торчали носики из всяких нор, что они вырыли на поляне, и виднелись ушки, что твои детские тапочки, забытые в росе.

– Нет, сэр, ничего удивительного в этом нет. Я приехал сюда из Америки всего двенадцать или тринадцать лет назад. Уродился я в Теннесси, а после того довелось пожить в Канзасе. На свой-то слух, я теперь говорю, как и все в Нортгемптоне, хотя жена с детьми замечают, что нет.

Церковный староста рассмеялся. Они как раз шли через мощеную дорогу к церкви, где к дереву прислонились велосипед и телега Генри.

– Ты их слушай. Они правы. Твой голос – в Нортгемптоне ничего подобного не услышишь, и как по мне – это к лучшему. Им же лениво лишний раз языком пошевелить, нашим местным. Им плевать на буквы на конце слов, а нередко и в середине, вот и получается каша кашей.

Здесь староста помедлил, не дойдя по тропинке до большой церковной двери, и надвинул очки, которые снова соскользнули, чтоб изучить велосипед с прицепленной тачкой, подпиравшие тополь. Он перевел взгляд с устройства на Генри и в обратную, затем покачал головой и отправился отпирать дверь, чтобы пустить их внутрь.

Первым делом замечаешь холод от каменного пола и еще как даже от самой мелочи шло эхо. В помещении впереди церкви, что называлось притвор, было большое украшательство из цветов, пшеничных венков и горшков с вареньем и прочим, что приносили дети на свойный праздник урожая, как понял Генри. От этого по церкви шел утренний дух, хотя внутри было зябко, серо и тенисто. В раме над раскинутой скатертью висела картина, и стоило ее увидеть,

как Генри мигом узнал, кто на ней, – и все равно, что картина была темная и висела в комнате еще темней.

Голова у него была почти квадратная и слишком большая для тела, хотя Генри признавал, что это мог быть и огрех художника. На человеке были одежды пастора и парик, прямо как носили во времена восемнадцатого века, – короткий с серыми войлочными валиками, круглыми, как рога барашка, по бокам. Один глаз казался каким-то тревожным, но все же полным, так сказать, опасливой надежды, тогда как на другой стороне, без света, глаз казался плоским и мертвым – с выражением, как у человека, что несет скорбное бремя и знает, что никак не может его сложить. Наверно, из-за чересчур тугого пасторского воротничка жир под подбородком вспучился, как подушка, а над ним были губы, что будто бы не знали, то ли плакать, то ли смеяться. Джон Ньютон, уродившийся в тысяча семьсот двадцать пятом году, отошедший в тысяча восемьсот седьмом. Генри вытаращился на портрет своими глазищами – что, как он знал, были цветом как клавиши пианино, – широкими и почти светящимися в здешнем мраке.

– Ах да, это он самый. Ты правильно его приметил, преподобного Ньютона. Лично мне всегда казалось, что у него измученный вид – словно у овечки, которую пустили попастись.

Дэн Тайт вытаскивал в углу что-то из стопки тамошних гимнариев, пока Генри стоял и всматривался в мрачное изображение Ньютона. Церковный староста обернулся и заковылял по звенящим и шепчущим плитам в обратную к Генри, на ходу сдувая пыль с обложки какой-то старой книжки.

– Вот, взгляни-ка. Это «Гимны Олни», впервые отпечатанные еще до тыща восьмисотых. Все это написал он со своим большим другом поэтом мистером Купером – может, тебе и о нем слышать доводилось?

Генри повинился, что не доводилось. Хотя он не видел проку признаваться без особой на то нужды, на самом деле читать он умел плохо, не считая уличных знаков и тех гимнов в церкви, слова к которым знал и без того, а уж писать за всю жизнь ни буквы не выучился. Дэна, впрочем, нимало не озаботило, что Генри не знаком с этим самым малым Купером, и он дальше листал пахнущие желтым страницы, покуда не разыскал, чего надобно.

– Что ж, пожалуй, это и неважно, разве что мистер Купер тоже был родом из Олни и они писали стихи вместе – хотя мистер Ньютон и сочинил большую часть. Тот, который тебе нравится, – мы почти окончательно уверены, что это работа одного только Ньютона.

Сторож подал книжку с гимнами Генри, который осторожно принял ее обеими руками, будто это какая-то религиозная святыня, – а как по нему, так оно и было. Заголовок на странице, где она была открыта, он не сразу разобрал толком, потому как там не было сказано «Изумительная благодать», как уж Генри ожидал. А вместо того было написано, как он наконец уяснил, «Обзор веры и ожидание», а под этим шли строчки из Библии, из первой книги Хроник, где царь Давид вопрошает Господа: «Что я, Господи Боже, и что такое дом мой, что Ты так возвысил меня?» И, наконец, подо всем под этим и были напечатаны слова «Изумительной благодати». Он просмотрел их, как бы напевая про себя в голове, чтобы легче читать. И неплохо справлялся, пока не дошел до последней строфы, не похожей на ту, какая была ему знакома. Та, что он знал, говорила, мол, пройдут еще десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. А эта, в книжке, как будто не ожидала никаких десятков тысяч лет и слыхом не слыхивала, что про смерти тень надобно забыть.

Земля истаёт словно снег,
Иссякнет солнца свет,
Тобой, призвавшим меня здесь,
Навеки я согрет.

Хорошенько поразмыслив, Генри решил, что та последняя строфа, что известна ему, куда лучше, хотя он и догадался, что ее написал не сам преподобный Ньютон. Верней всего, думал он, та, где про десятки тысяч лет и смерти тень, придумана уже в Америке, ведь там и страна моложе, чем сама Англия, и взгляд на мир будет поярче́й. А здесь земля старше, повидала приходы и уходы всяческих великих царств и государств, в этих краях Конец света будто уже на носу, земля под ногами того гляди рассыплется от старости в прах, а солнце над головой в любую минуту догорит. Генри же пуще нравилась та песня, которой его научили раньше, из-за внушения, что все будет хорошо, но в глубине души он чувствовал, что то, как писано мистером Ньютоном, может быть куда вернее. Он постоял еще несколько минут, доканчивая чтение, затем отдал книгу в обратную Дэну Тайту, промямлив, что мистер Ньютон был великий человек, как есть великий.

Сторож взял у Генри «Гимны Олни» и вернул, где они и были. Миг он с пристрастием глядел на Генри, будто над чем задумался, а когда заговорил опять, голос у него был мягче, оттого задушевней, будто вот теперь они заговорили о деле нешуточной важности.

– Так и есть. Он был великим человеком, и мне кажется, признавать это с твоей стороны – очень по-христиански.

Генри кивнул, хотя и сам не знал, зачем. По-всамделишному ему было невдомек, почему это делать обычные комплименты – такой уж христианский поступок, но он не хотел, чтоб Дэн Тайт принял его за неграмотного черного, так что не вымолвил ни словечка. Только стоял, переминая ноги, пока сторож испытывал его взглядом из-за круглых очков. Дэн заглянул в бегающие и неуверенные глаза Генри и как-то этак вздохнул:

– Чарли... Чарли же, верно? Ну, Чарли, дай-ка я кое-что у тебя спрошу. Много ли ты слышал о мистере Ньюtone там, откуда ты родом? О его жизни и прочем?

Генри повинился, к стыду своему, что до сегодняшнего полудня не слышал ни имени Ньютона, ни даже того, что это он написал «Изумительную благодать». Церковный староста заверил, что это не имеет значения, и продолжал мысль.

– Ты должен давать себе отчет, что мистер Ньютон пришел к своему религиозному призванию только к сорока годам, а до этого возраста беспутствовал вдосталь, если меня понимаешь.

Генри сомневался, что понимает, но Дэн Тайт продолжал как ни в чем не бывало:

– Видишь ли, отец его ходил капитаном торгового судна, вечно в море, и впервые юный Джон Ньютон отправился с ним в плавание в возрасте всего одиннадцати лет. Несколько раз, так сказать, путешествовал с папой, прежде чем папа отошел от дел. Кажется, ему не было и двадцати, когда его завербовали на службу на мановаре, откуда он дезертировал и был высечен.

Генри почесал руку и передернулся. Он насмотрелся на то, как драли людей. Дэн Тайт развивал свою историю, пока в углу притвора бормотало эхо, словно какой-то престарелый родственник, тронувшийся умом.

– Он просил, чтобы его перевели на службу на другом корабле. И то был невольничий корабль, отправлявшийся в Сьерра-Леоне, на западное побережье Африки. Он служил на этом судне, и третировали его жестоко – можешь представить, паренек таких-то лет. Однако ему повезло, и его выручил один капитан, знакомый отца.

Теперь Генри понимал, почему Дэн Тайт ему все поведал, несмотря на то, какая это горькая история. Он немало удивился, когда узнал, что это белый сочинил «Изумительную благодать». Ему всегда казалось, только черный мог познать такую тоску, что звучала в песне, но теперь все складывалось. Мистер Ньютон сам побывал пленником на невольничьем судне, аккуратно как мамка и папка Генри. Он натерпелся от рук дьяволов и бесов, аккуратно как они. Вот отчего он написал все эти слова – о том, как славно найти утешение в Господе от подобных страданий. Староста хотел, чтобы Генри знал, что к «Изумительной благодати» мистер Ньютон пришел через горький опыт, ясно как день. Генри был благодарен. От этого он только пуще

исполнился уважением к доброму человеку, стоявшему за гимном. Теперь, когда он будет петь «Изумительную благодать», непременно вспомнит о пасторе Ньютоне и тяготах, что тот превозмог. Генри расплылся в улыбке и протянул Дэну Тайту руку:

– Сэр, я вам очень благодарен за эту историю и за то, что уделили время и пересказали ее. Похоже, мистер Ньютон хлебнул горя, как есть, но, слава богу, все пережил и написал такую чудную песню. Услышав ваши слова, я стал думать о нем только лучше.

Сторож не взял его руки. Он только сам поднял ладонь лицом к Генри, словно в предупреждение. Теперь вид на розовом лице старика стал совсем серьезный. Он покачал головой, так что бакенбарды захлопали, как паруса.

– Ты еще не дослушал всего.

Где-то – то ли в Ярдли впереди, то ли в Олни позади, – церковные часы пробили половину пятого, когда Генри наконец вывел пешком евойный велосипед с прицепом до самого крутого склона по дороге в Ярдли, топая по лужам, которые взбаламутил на пути сюда.

Генри был разбит, не знал вовсе что и думать. Он прошел немного, потом встал и потер толстой ладонью глаза, смахивая слезы с щек, чтобы видеть, куда идет, а не сплошной один туман буро-зеленого цвета. На самом верху проселка, как раз когда пробili часы, он забрался в седло и начал долгий путь до Алого Колодца.

Джон Ньютон сам стал работоторговцем. Вот что открыл ему Дэн Тайт. Хоть того и спасли с невольничьей посуды, хоть он и узнал на собственной шкуре, что творится на борту таких кораблей, он все же таки взял и купил судно, чтобы собственноручно заниматься этим ремеслом. И озолотился на нем – озолотился на работоторговле, а уж только потом раскаялся, стал священником и написал «Изумительную благодать». Господи боже, святой Господи боже на кресте, «Изумительную благодать» написал работоторговец. Генри пришлось опустить деревянные бруски на землю, чтобы сызнова утереть глаза.

Как же так? Как можно претерпеть порку мальчишкой девятнадцати лет, бог ведь чем заниматься на службе при работоторговце, как можно все это пройти, а потом причинять то же самое остальным ради корысти? Теперь Генри знал, что это за взгляд – что он увидел в глазах на портрете. Джон Ньютон был грешником, человеком с кровью, дегтем и перьями на руках. Джон Ньютон наверняка был проклят.

Теперь Генри взял свои чувства в кулак, так что разогнал велосипед и помчал обратно по Бедфордской дороге и мимо «Красного льва», что уже видал раньше, только теперь тот был справа. Казалось, в пабе полным-полно народу, битком, мужики реготали, распевали песни, отрывки которых плыли над пустыми полями. Налево уже и в помине не было радуги, что висела над щебечущим водопадом. Солнце опускалось на западе впереди, когда он проходил второй поворот на Ярдли и направился в Дентон с душой не на месте.

Генри, обмозговав все хорошенько, понимал, что дело не только в том, как Ньютон перешел с одного конца кнута на другой. Теперь, задумавшись, Генри допускал, что наверняка хватало и других, поступивших ровно так же. Что там, он и сам знавал немало народу, к кому относились плохо, а они, в свой черед, вымещали это на других. Не это исключительно в жизни Джона Ньютона, не то, что он начинал не лучше раба, а потом взял работоторговлю в свои руки. Тут-то голову ломать не приходится – или, по крайности, не приходится ломать долго. А что точило мысли Генри – так это как Ньютон мог чинить такое злодейство, а потом взять да написать «Изумительную благодать». Неужто это все обман – все строчки, что так трогали Генри и евойный народ? Неужто это то же «Шоу Дикого Запада» Буффало Билла, только с церковью и сантиментами вместо краснокожих у Коди?

Справа от него, далеко на севере, из темных чащ у Касл-Эшби черными пятнышками поднялись брызги птиц, словно пепел, что сдули с лесного пожарища. Генри приналег по Бедфордской дороге, нахохлившись над рулем, точно ворон. С высоты, думалось ему, он, должно быть, напоминает такую жестяную игрушку, где крутишь ручку, и человек на велосипеде

движется дюйм за дюймом по прямой проволоке, переминая только евойные колени, вверх-вниз.

Даже зная о Ньютоне то, что он теперь знал, Генри никак не мог понять, как же такие прочувствованные слова могли быть от начала до конца притворством. Дэн Тайт сказал, что многие-де полагали, будто песня написана об ужасном шторме, в который Ньютон угодил на невольничьем корабле на пути домой в мае тысяча семьсот сорок восьмого года. Он сам назвал тот день своим великим спасением и говорил, будто на него снизошла благодать Господня, хотя прошло еще добрых семь лет, прежде чем он бросил работорговлю. Судя по тому, что говорил церковный староста, к рабам он относился достойно, но Генри на самом деле и не знал, можно ли ставить «достойно» по соседству со словом «рабы». Все равно как говорить, что пауки заботливо относятся к этим ихним мухам, так мыслил Генри. И все же он уступал одному: коли малый не обратился враз или за ночь, как он сам уверял, одно это еще не значит, что его обращение неискреннее. Мовет быть, ко времени, когда Ньютон написал «Изумительную благодать», он уже раскаивался во многом, чего наделал. Мовет быть, это он и имел в виду, когда писал, что спасен из пучины бед. Раньше Генри думал, что речь идет про спасение обычного грешника, любого из нас, но теперь видел, что Джон Ньютон, пожалуй, придавал словам особый смысл, личный для себя. Не обычный грешник. А блудящий, пьющий, гуляющий, богохульный грешник-работорговец. Никогда раньше Генри не задумывался о словах, слышал только самое хорошее и не слыхал ничего ожесточенного или страдальческого. Прежде сего дня он не слыхал стыда.

Теперь он подъезжал к Дентону, его тень на дороге позади становилась длиннее. Здесь ждала развилка, как на противной стороне деревни, и Генри выбрал путь слева от себя, чтобы обогнуть поселение. Съехал на юг по боковой дороге, что бежала к Хортону, а потом миновала соломенные крыши Грэйндж-Фарм, чуть дальше по пути. Черные борозды после плугов, что разграбили поля, на верхушках гряд припорошило золотом, где их касались лучи низкого солнца. В спине раскрипелись пружинки и шарнирчики – заявлял о себе возраст, пока Генри крутил педали к Брэфилду под надзором безмятежных лошадей за изгородями.

Если верить Дэну Тайту, Джон Ньютон оставил мореходство и работорговлю через несколько лет после женитьбы, что состоялась в тысяча семьсот пятидесятом. Но даже так больше казалось, будто он взялся за ум из-за болезни, а не убеждения. Затем, под тысяча семьсот шестидесятый, его рукоположили в священники Олни, где он и повстречал этого самого поэта, которого правильно писать «Коупер», а говорить «Купер», что приехал в деревню через несколько лет после Ньютона. Из того немногого, что сказал о Купере Дэн Тайт, Генри извлек, что поэт страдал и сердцем, и разумом – можно понять, почему Джон Ньютон потеплел к нему душой. Они вместе сочиняли песни для ихних служб, молитвенных собраний и прочего, но пуще всего расстарался Ньютон – написал по четыре на каждую одну куперовскую. По всему видать, язык у пастора Ньютон был подвешен что надо – понаписал не только гимны, но и дневники, и письма. Церковный староста говорил, что если б не писания Ньютона, то сегодня бы никто ничегошеньки не знал о работорговле во времена восемнадцатого века. Генри так понял, Дэн Тайт имел в виду – никто белый.

«Изумительную благодать» Ньютон написал, считается, к тысяча восемьсот семидесятому, когда ему было сорок пять или окрест того. Десять с чем-то лет спустя он уехал из Олни в Лондон, где стал пастором в церкви, что прозывалась церковь Святой Марии Вулнот. Там он с успехом читал проповеди, потом ослеп и умер, как было ему восемьдесят два. Может, ему мнилось, будто он искупил грехи, но Генри не знал преступления хуже, чем продавать других людей в рабство. Даже Господь при всем своем милосердии наслал на Египет казни, когда иудеи были ихними рабами, и Генри не знал, какое же искупление истребно для такого смертного греха.

Он так погрузился в мысли, что был ни сном ни духом, как уже проехал Брэфилд и налегал на педали на запад к Хафтонам, а красное солнце опускалось, как головешка, что готовится запалить деревья на горизонте впереди. Генри все думал о Ньютоне и как это странно, что он ослеп, хотя в «Изумительной благодати» писал ровно наоборот. Еще он все крутил в мозгах слова Дэна Тайта о времени, когда Ньютон служил в лондонской церкви Святой Марии Вулнот, читал проповеди. Почтенный староста сказал, что промеж паствы был такой мистер Уильям Уилберфорс, который после стал аболиционистом и много чего сделал, чтобы прочно покончить с рабством. Оказалось, особенную опору и вдохновение он нашел в проповедях пастора Ньютона. Может статья, кабы не Ньютон и евойное великое раскаяние, подлинное оно или нет, то и рабство отменили бы не раньше, а позже, а то и вовсе бы не отменили. Доброе и худое так и качались из стороны в сторону, пока Генри проехал поворот на Малый Хафтон справа и потом, милю спустя, поворот на Большой Хафтон слева. Небо над Нортгемптоном было как драгоценность в ложе из розовых лепестков.

Генри знал, что это по-христиански – простить мистера Ньютона за его дела, но рабство – не какое-то слово из учебников про историю, которые он все одно читать не умел. Он почесал руку и задумался, что помнит о тех днях. Было ему около тринадцати годков, когда мистер Линкольн победил в Гражданской войне и отпустил рабов. Генри к этому времени уже шесть лет как аклеймили в рабство, хотя из этого события в возрасте, когда ему было семь, он не помнил ничего, кроме как плакала евойная мамка и говорила «тише». А о дне, когда их раскабалили, он помнил только то, как всем было страшно. Как будто в глубинах душ все знали: цветных после освобождения ждут одни беды – да так оно и вышло. Бывшие надзиратели с плантаций говаривали, что рабы были счастливей до того, как их отпустили, а друзья-приятели надзирателей уж позаботились, чтобы так и было. Те десять лет, что Генри с родителями провели в Теннесси перед отправкой в Канзас, – все сплошь насилия и избиения, вешательства, убийства, поджоги; Генри было гадко на душе от одной только мысли. Их наказывали всего лишь за то, что их освободили, вот и вся честная истина.

На горах облаков на западе умирало пламя, и небо позади него замарали темно-синие оттенки, когда он проехал мимо Летнего Лужка в сторону парка Беккетта. Или в сторону Корольского Лужка, как до сих пор звали поля окрест местные с Алого Колодца, подсыпая еще щедро свойного акцента – «midder» вместо «meadow». Генри сказывали, что здесь кончилась еще одна английская война. Не Гражданская, хотя у той последнее большое сражение тоже грянуло поблизости. А то была война еще раньше, прозывалась Войной роз, хотя Генри и не знал толком, ни за что воевали, ни каким годом замирились. Он не мог не думать, что будь Англия Америкой и приди ты в такое место, где кончились и Война за Независимость, и Гражданская, то ты бы это точно заметил. Надо думать, такой уж местный обычай – умалывать события, хотя Генри всегда казалось, что англичане любят прихвастнуть ихним прошлым не меньше других, а то и поболее многих. Просто как будто те, кто пишет всякие книжки об истории, в упор не замечали Нортгемптона, словно на нем лежала пелена, либо они были как кони с шорами, а город целиком попадал в слепое пятно.

Когда Генри доехал до перекрестка с больницей по правую руку и местом, что прозывалось Крайние Ворота, впереди, он остановился у питьевого фонтана рядом с колодцем святого Томаса Беккета и прислонил велосипед к шероховатой стене, а сам слез и попил, как раньше. Вода уже не казалась такой сладкой, как утром, хотя Генри признавал, что причиной тому мог быть евойный душевный разброд. Теперь на вкус вода была горькой. Как металл на языке.

Он снова оседлал велосипед и на перекрестке повернул налево, вдоль променада Виктории, что шел по северной стороне парка. Генри прокатил среди телег, трамваев и прочего, правивших путь домой под небом почти лилового цвета, и оставил луга позади, притаптывая брусками листья, нападавшие в канавы, катил дальше через сладкую вонь со скотных дворов. Загоны, где держали животных, были слева от Генри, оттуда в сумраке то и дело слышались

мычание и блеяние. Проезжая мимо, он задумался, как днем видал, что все овцы, коровы и прочие помечены краской – пятнышками на спинах, красными да синими. Если подумать, за все разы, сколько он здесь проезжал, ни одного животного не видал с клеймом. Он дал этой мысли устаканиться, минув гостиницу «Плуг», что стояла на перекрестке с улицей Моста справа, и покатил навстречу железной махине газгольдера на фоне серого света над Газовой улицей. Здесь поднял правую руку, чтобы обозначить поворот, а потом с тяжелым сердцем принялся подниматься на север по Подковной улице.

Мысли Генри все еще бередил пастор Ньютон. Он уже сомневался, сможет ли наслаждаться «Изумительной благодатью», как раньше, зная то, что узнал. Что там, он уж даже сомневался, сможет ли заставить себя молиться в церкви, коли церковники богатели бог весть на чем. Генри ни в коем случае не изверился в Боге, это и подумать смешно, но, скорее, он изверился в его служителях. Неужто в будущем Генри опять, как когда-то евойный народ в Теннесси, вернется творить молитвы в сараях да амбарах, где потише́й? Когда встаешь на колени в сарае, знаешь, что Господь рядом с тобой точно так же, как и в церкви. Разница в том, что в сарае ты знаешь, что за кафедрой не стоит дьявол.

Генри понимал, что нечестно судить всех преподобных по грехам одного, но так уж пошатнулось его доверие к профессии. Он даже не знал до конца, как осуждать Джона Ньютона, при всех-то противоречиях в его истории, но, что ни говори, а имел полное право в нем сильно разочароваться. Мерка, с которой Генри подходил к таким вещам, была меркой обычных людей, а он знал, что ни он, ни его какие знакомые ни разу не продавали в рабство живую душу.

Конечно, никакие его знакомые в жисть не писали «Изумительную благодать» и не производили впечатления на мистера Уильяма Уилберфорса. Тут было об чем задуматься. Под грохот по мостовой, пока он насилу взбирался по Подковной улице, внутри него туда-обратно качались аргументы, но так и не приходили ни к какому выводу. Наверху, где путь пересекал Золотую улицу, с Лошадиной Ярмарки показалась большая старая конка, так что пришлось опустить деревянные бруски на улицу и стоять, пока она не пройдет.

В ожидании он краешком глаза приметил юного тощего малого, болтавшегося на углу у Дворца Варьете. Паренек таращился во все глаза на Генри, который, будучи в удрученном состоянии ума, решил, что это обратно из-за цвета кожи, веревок на колесах или еще каких глупостей. Он сделал вид, что не заметил, как на него вытупился молодой зевака, а потом, когда конка протащилась на Золотую улицу, Генри навалился на педали и поднялся дальше за перекресток и выше по холму, по дороге, что прозывалась Конным Рынком. Покуда Генри ехал по восточному краю Боро, на них опускались мелкой сажей потемки, и в окнах уже горели газовые огни. Запаляли фонари фургоны, и он порадовался, что у него белые хотя бы волосы и борода – люди завидят издали и не раздавят.

Конный Рынок показался круче обычного. Слева устроились всякие докторские домики уютного виду, а через дорогу все заросло деревьями в Садах Святой Катерины. Поднявшись до улицы Марии, на нее он и свернул. С лязгом и скрипом забрался в сереющий узел такого старого района, что когда-то он был весь город разом.

Хоть любил Генри квартал, где жил, а все же лучше бы не видеть его в сумерках. Тогда все окрест теряло очертания и формы, и то, что днем знаешь за ненастоящее, уже казалось натуральным. Хобгоблины, бесы и всякое такое прочее – в такое время их и видишь, когда краска, слезшая с деревянных ворот, кажется силуэтом, будто стоит там кто, а тени в зарослях крапивы слагаются в большое лицо, что волнуется на ветру и шурит глаза с ехидцей. Закат повсеместно играет такие шутки, это Генри знал, но иногда чудилось, будто Боро построили особенно коряво, чтобы весь сумрак и страх таить в углах – вертепах, где плодятся призраки в лохмотьях. Вереочные шины содрогались на камнях, покуда он поскрипывал по вечерним улочкам, где – как знать – в дождеборниках плескались безобразные фейри, а в стоках подсте-

регали упыри. Над ним кренились скособоченные лавочки и дома, бледные в сумерках, словно шипы известняка, что выросли в пещере. Славное по утрам, ленивое днем, а как придет мгла – это место вовсе не узнать.

Но только не по той причине, что здесь могут напасть и ограбить – Генри знал, за что держал Боро народ в районах побогачей. Если спросить Генри, нигде не найдешь места благонадежней, и никто никого не грабил, потому что знали, что все вокруг такие же – без гроша в кармане. А что до нападений или там избиений – тут спору нет, не без них; но вовсе не так, как в Теннесси. Примерно сказать, в Боро жило много народу, кто так сам себя до печенок ненавидел, что любил напиться и лезть в драку, чтобы злость выплеснуть. Непросто на это смотреть и спокойно сидеть, покуда молодые парни, да и девушки, попросту сводили друг друга в могилу – но все же это не Теннесси. Это не одна шайка-лейка, взявшая себе всю власть и вымещающая злобу на беспомощном люде, у кого ничего за душой нету. Здесь бедняки не учинят вреда никому, кроме себя самих, хоть Генри и признавал, что себе они вредили изрядно.

Нет, не то что Боро полны головорезов. Не потому они страшны ночами, ничего подобного разумного. Боро и днем отличались неопрятностью; но когда гас дневной свет – свет, который обуздывал другой мир, в котором сбывалось почти что угодно, – Боро становились поистине нечистыми. Дети, конечно, такое обожали, вечно слышишь визжащие банды, что носятся вдоль и поперек по темным улицам в газовом свете за игрой в прятки. Генри не сомневался, что мальчишки и девчонки знали, что это окаянное место, как знали и все взрослые. Только дело в том, что дети в том возрасте жизни, когда призраки – такое же обычное дело, как что угодно вокруг. Для ребенка-то призраки – тоже причина восторга. Но как подрастешь, как сам становишься ближе к могиле и успеваешь сколько-нибудь задуматься о жизни и смерти, то что ж: и призраки, и то, что они обозначают, – все становится каким-то не таким. Вот почему, по мысли Генри, никто не любил ходить в Боро после темноты, разве что всякие пьяницы да малые дети, либо же полиция. Чем старше становились люди, тем больше для них кругом фантомов, теней людей и мест, каких уже нет рядом. Эти улочки уходили в древнейшие времена, это Генри знал, так чего же удивляться, если привидения уже уплотнились и затвердели, словно какой осадок.

Он ехал вверх по улице Святой Марии, где пару сотен лет назад разразился Великий пожар, мимо Пиковой улицы на улицу Доддриджа, где спешил со своего изобретения, чтобы толкать по ухабистым захоронениям, что сбегали вниз по холму от церкви Доддриджа. Он насилу волок велосипед через заросшие курганы и влажные черные лощины пустыря, не в первый раз удивляясь, почему этот пятачок зовут захоронениями, а не погостом или кладбищем. Можно представить, что это оттого, как нигде не было надгробий или крестов – хотя почему их не было, когда здесь закопаны человеки, Генри тоже было невдомек. Лучшее, что приходило на ум, – все это как-то связано с мистером Доддриджем, что был священником на Замковом Холме, а еще нонконформистом, как их прозывают люди. Генри слышал рассказы про нонконформистские кладбища по всей Англии, где тоже устроились общие могилы для бедняков, если им не хватало денег на настоящее погребение или камешек. Быть может, так и тут. Быть может, он толкал педальную повозку над перепутанными костями от людей, у которых даже имен больше нет. Памятуя о призраках, которых так и чуял в затухающем свете, Генри извинялся пошепту перед скелетами, чтоб они не могли оскорбляться от такого непочтения и чтобы знали, что лично он против них зла не держит.

Когда Генри пересек неровную землю и оказался в Меловом переулке, у нескольких отстоящих от улицы домов, что прозывали Долгими Садами, он взгромоздился обратно в седло и поехал по склону на пути к Замковой Террасе и самой церкви Доддриджа, справа от него. Минувя часовню и отметив несуразную дверцу на высоте в каменной стене, что вела в никуда, он вспомнил все, что знал о мистере Доддридже, отчего, конечно, в свой черед задумался о мистере Ньютоне.

Ну, мистер Филип Доддридж, как здесь сказывали, был человек худого здоровья, который хотел, чтобы нищие не были обделены христианской верой. Когда он прибыл сюда, на Замковый Холм, и начал евойную службу, он, кажись, пошел в атаку на англиканскую церковь, заявлял, что у народа есть право молиться, как он того сам хочет, а не как изволят епископы и прочие. Поселился он в Нортгемптоне, будучи двадцатилетним парнем, окрест тысяча семьсот тридцатого, и прожил тут чуть больше двадцати годов, прежде чем его загубила болезнь. Пожил недолго, но за свой век изменил то, как мыслили религию люди в этой стране, а то и во всем христианском мире. И все это вершилось на грязном бугре, что теперь проехал Генри. Доддридж тоже писал гимны, только не такие знаменитые, как «Изумительная благодать», а на одном старом портрете, что Генри как-то раз видал, глаза у него были чистые, светлые и честные, как у ребенка. Не было в них ни капли стыда, ни капли вины. Ничего подобного – а вернее, ничего неподобного: одни только доброта и великое устремление.

Генри мог представить, как мистер Доддридж прогуливается здесь ввечеру, дышит тем же воздухом, глядит на те же ранние звезды, наверняка ровно так же дивясь, какой дурак и на что задрал дверцу так высоко от земли. Наверняка он, как и все, чувствовал, что пожил на свете долго, и наверняка, как и всем, ему было трудно вообразить, чтобы все в мире было устроено как-то по-другому – да с тем, чтобы он при жизни мог это повидать. И все же мистер Доддридж опочил тому назад сто пятьдесят лет, а церковь, что прозвали в его честь, так и стоит, так и несет добро всяким местным беднякам. Тогда как Джону Ньютону так и не посвятили церковь за все его дела, а об Уильяме Коди и говорить нечего – вовсе заслужил одну только табличку под дымоходами. Генри задумался об этом и решил, что, как-никак, каждому досталось по справедливости. Наверно, лучше всего верить, что Всемогущий в таких вопросах знает что делает, к такому вот умозаключению пришел Генри.

Он покори́л Замковую Террасу, над которой в узел сплетались Замковая улица, улица Фитцрой и Малая Перекрестная, и покатился по Бристольской домой напрямки. Впереди и слева Генри увидал девицу в длинной юбке – он думал, в одиночестве, покуда не приметил, что она несет ребеночка. В газовом свете кудри на головке малютки так и светились, словно взрыв на золотом руднике, потому он сразу признал Мэй Уоррен с ее мамкою, что тоже звать Мэй Уоррен. Он опустил одну ногу, проволочил брусочек по булыжникам и замедлился близ них.

– Эгей, миссис Мэй и мисси Мэй! Дамы, вы наверняка жуировали по всему городу, раз только теперь возвращаетесь домой!

Старшая Мэй замерла и обернулась с удивлением в лице, потом рассмеялась, завидев, что это Генри. Смех был глубокий, рокотал в груди, которой, признал бы Генри, ее не обделили.

– Черный Чарли! Чтоб ты черт побрал, я аж подскочила, олух ты царя небесного. Надо бы ввести закон, чтоб такие, как вы, носили бенгальские огни по ночам. Гляди-ка, Мэй. Гляди, кто приехал, пугает твою мамочку. Эт дядя Чарли.

Тут девочка, которая, спору нет, была красивше всех белых детей, что повидал Генри в жисти, посмотрела на него и сказала несколько раз «Чар». Он улыбнулся матери ребенка.

– Это у тебя подлинный ангелочек, Мэй. Ангелочек, упавший с небес.

Молодая Мэй Уоррен покачала головой вроде бы на пренебрежительный манер, будто слыхала комплимент уже столько раз, что он начал докучать.

– Не надо так грить. Все так грят.

Они еще немного почесали языками, затем Генри советовал Мэй скорей уводить дочку домой, в тепло. Все распрощались, затем две Мэй ушли вниз по улице Форта, где жили в соседстве с отцом старшей Мэй, который был Снежок Верналл. Как сказывали Генри, дедушка Мэй, что звался Эрнестом, как-то раз побелел головой со страху, и этого хватило, чтобы то же самое приключилось с евойным маленьким сыном. Волосы Снежка теперь были белее, чем у Генри, а еще говаривали, что вдобавок он тронутый, но Генри он был знаком только как не дурак выпить и мастер с талантом в руках к рисованию. Мамка с малышом – они ушли на улицу

Форта, где не было настоящей дороги, а только каменный настил, и где, по общепринятому мнению, в стародавние времена стоял форт. У улицы и правда был вид, как в катакомбах, – по крайней мере, на глаз Генри. Она всегда казалась тупичком, хоть и знаешь, что в другом ее конце переулок.

Генри продолжал дорогу туда, где мистер Бири, кого прозывали фонарщиком Боро, как раз задрал длинный шест, чтобы запалить газовые фонари, что стояли на Бристольской улице. Он окликнул Генри, по-веселому, и Генри отозвался в обратную. Он надеялся, что дети не влезут на столб и не задуют огонек, стоит мистеру Бири уйти, хотя велик был шанс, что тем дело и кончится. Генри поднажал на педали по Бристольской улице, переходившей в Банную. Свернул налево и проехал мимо Банного ряда на улицу Алого Колодца, где и проживал. Здесь темнота была совсем густой, потому как мистер Бири еще в эти околотки не добрался. Казалось, будто ночь стекала по холму, чтобы скопиться внизу большой черной лужей. Если какие лампы и горели, то из-за задернутых занавесок, так что могли бы оказаться и светящимися в темноте лампочками на лбу большущих страхолюдных рыб, что вылавливают из глубоких океанов на всяческих траулерах.

Генри выехал с Банной улицы на Алый Колодец напрямик против проулка, что местные здесь называют джитти – дороги назади Террасы Алого Колодца. Влево недалеко была большая дорога Святого Андрея, но он слез с велосипеда и покатил его вверх по холму в другую сторону. Дом, где жил он с Селиной и ихними детьми, был близко, против питейного дома под названием «Френдли армс», что стоял на другой стороне улицы. Он вспомнил, как, когда он с евойной Селиной прибыл из Уэльса, забрав оплату в Валлийском доме на рынке, они впервые спустились сюда и осмотрелись. Он еще не знал, как местные отнесутся к черному с белой девицей в женах, если такие поселятся поблизости. Могло быть так, что и не найдется места, где примут два разных цвета бок о бок. Тогда они впервые и вышли на улицу Алого Колодца и к «Дружеским рукам», где им был знак. Снаружи паба, прихлебывая себе пиво из стакана, стоял, как они позже узнали, зверь Ньюта Пратта. Зрелище так их сразило своей невероятностью, что они не сходя с места и порешили, что здесь им и искать себе дом. Какими бы необычными они ни были – две расы, зажившие в браке душа в душу, – никому на улице Алого Колодца и в голову не придет на них косо глянуть, когда через улицу так просто стоит на привязи удивительная тварь Ньюта Пратта.

Он улыбнулся при мысли об этом, заталкивая велосипед с телегой на уклон, уже сняв деревянные бруски с ног и расовав по карманам куртки, где им и было место, коли не на ногах. Он дошел до узкого поворота справа, что и приведет его ровнехонько на родной задний двор. Скинул железный крючок с калитки, затем, как и всегда, с жутким грохотом втащил свойную колымагу на двор. Из дверей вышла Селина с ихней первой дочкой, Мэри, с белой кожей, что цеплялась за материны юбки. Жена его была невысокой, а волосы расчесаны книзу, так что доставали почти до коленей, когда она улыбалась ему на пороге с теплым газовым светом из-за спины.

– Здравствуй, Генри, любовь моя. Скорей заходи и расскажешь, как твоя поездка.

Он поцеловал ее в щеку, затем выудил все вещички, которые надавали ему добрые люди, из телеги, что постоит в сохранности на дворе.

– Эх, где меня только не мотало! Нашел кой-какую старую одежду и негожие рамки. Но вот что, вперед ужина вскипяти-ка мне воды, обмоюсь. Очень уж утомительный выдался день, по-всячески.

Селина наклонила голову к плечу, приглядываясь к нему, пока он вносил в дом собранные вещи.

– Но с тобой же все хорошо? Никакой беды не случилось, нет?

Генри покачал головой и уверил ее широкой улыбкой. Ему покуда не хотелось говорить с ней о том, что он прознал в Олни, о пасторе Нютоне и «Изумительной благодати». Генри это

еще и сам в уме не уложил, не решил, какое у него мнение по этому вопросу, и заключил, что расскажет Селине позже, когда выдастся время поразмыслить. Он взял рамки и прочее в ихний зал, что выходил на Алый Колодец, и сложил к остальным вещам, за чем вернулся в гостиную к Мэри и Селине. Их младенец, что они прозвали Генри в честь него и что был черный – весь в папаню, уже спал наверху, в колыбели, хотя Генри еще обязательно его навещает, прежде чем самому лечь спать. Он оставил Селину заваривать чай в чайнике на столе, а сам ушел в кухню, чтобы помыться.

В медном баке еще было вдоволь тепловатой воды, и он наполнил себе эмалированный таз, что поставил у глубокой каменной раковины. Раковина стояла под кухонным окошком, выходящим на двор, где уже было черным-черно и ни зги не видно. Он снял куртку и накинул на бельевую корзину, что была у двери, затем принялся расстегивать рубашку.

А из головы все не шел пастор Ньютон. По мысли Генри, он сотворил великое добро и точно так же совершил тяжелый грех. Генри сомневался, не слишком ли мал, чтобы судить человека с добродетелями и пороками такого масштаба. Но, обратно, кто же еще призывает таких людей к ответу, если не Генри, его род и все, с кем обошлись не по справедливости? Всех этих важных птиц с ихними гимнами, статуями и церквами, что остаются жить после них и многие годы убеждают честный народ, какие те люди были хорошие. Генри казалось, будто все эти памятники – та же табличка полковника Коди под крышей, что он видал в начале дня. Только по тому, что кого-то крепко запомнили, еще не нельзя сказать, что он это заслужил. Генри задумался, где же тут справедливость. Задумался, кто в конце концов решает, что есть знак великого человека, и как понять, что это не просто каинова печать? Уже его рубашка и жилет лежали с курткой на корзине подле кухонной двери. В черной ночи за паром, валившим от эмалированного таза перед оконными стеклами, он видел в темноте двора собственное отражение, раздетое по пояс и глядящее на него.

Евойный собственный знак был на месте – на левом плече, где его клеймили в семь лет. И мамка, и папка носили такие же. Он плохо помнил вечер, когда его положили под железо, и даже после стольких лет так и не уразумел, на что им это сдалось. Сколько он помнил, не то чтобы окрест водились негрокрады.

Но смешная это была штука, клеймо, – не лучше каракулей, что нарисует малое дитя. Два холма и как будто бы мост промеж ними, а то – чашки на весах для золота. Под ними свиток, а то петляющая дорога. Линии на лиловой коже руки Генри стали бледные и фиолетовые, гладкие, что твой воск. Он провел по печати пальцами другой руки. Подождал мудрости и разумения, что сподобят ответами на все-все вопросы в душе – про Джона Ньютона, про все. Ждал благодати, чтобы скинуть с плечей все тяжкие чувства, хоть для такого благодать впрямь должна быть изумительной.

Снаружи в темно-синих небесах над часовней Доддриджа повысыпали звезды и запели ночные птицы. Его жена и ребенок были в соседней комнате, наливали ему чая. Генри взял в пригоршню рук теплую воду с обмылком и брызнул в лицо и глаза, чтобы все смылось в сером, всепрощающем пятне.

Атлантида

Глубоко там, триндец пердит, коты за окном орали.²⁶ Ах-ха-ха-ха. Ох ну вас к черту, ну и дайте ему полежать на дне, в тепле, под потных одеял волной он сном влеком, среди якорных цепей и крабовых клопов, русалок, что в соленых салках с гребнями в руках гребут, собой любуюсь, – но не тащите его неводом из вод, нет-нет. Лишь пять минут, лишь пять минут еще, ведь здесь, во хлябях льна и сна, он не наблюдал часов: вновь словно пятьдесят восьмой, ему – пять лет, и словно впереди вся жизнь лежит, бежит куда-то, покуда он в тепле, воде и тьме, а мысли – разноцветный свет волнятся по колоннам римским, пиратским сундукам, – но вот конец, уже всему конец. Пружина от матраса колет в спину, чрез песок, медузы руки-ноги сучат и месят взвесь, и он всплывает в иле сна на солнце, ввысь, к поверхности пестрящей, с кухни голосам от радио, что мать давно уж завела. К черту. К черту все.

Бенедикт Перрит приоткрыл глаза к первому разочарованию дня. Не 1958-й. Ему не пять. На дворе 26 мая 2006 года. Он – кашлю́чая, пердячая развалина пятидесяти двух лет, королевская кровь из тысяча девятисотых в изгнании, блуждающая по берегам чужого недружелюбного века. Ах-ха-ха-ха. Хотя с развалиной он переборщил. Он лучше многих его возраста, есть на что взглянуть. Просто он спросонья, а вчера всю ночь глушил эль. Еще раскочегарится, это он сам знал, просто утро для Бенедикта всегда было шоком. Еще не успеваешь взять себя в руки, в такую рань. Когда только просыпаешься и еще не позавтракал, мысли, от которых позже можно сбежать или отмахнуться, бросаются на тебя, как свора собак. Холодные неприукрашенные факты жизни в утреннем свете всегда были как хук в рожу: его любимая сестра Элисон умерла – авария на мотоцикле больше сорока лет назад. Батя, старик Джем, умер. Дом, где они жили, их старая улица, их район – все тоже умерли. Семья, которую он начал с Лили и мальчиками, – и той нет, он все сам заporол. Снова живет с мамой на Башенной улице, на вершине улицы Алого Колодца, сразу за высотками. Жизнь, на его вкус, не особенно удалась, как он надеялся, но все же ужасала мысль, что еще лет тридцать – и конец придет и ей. Ну или по крайней мере ужасала спросонья. Спросонья его ужасало все.

Демоны поглотили его еще пару минут, затем он решительно сбросил их вместе с одеялом и простыней, скинул костлявые волосатые ноги на пол у кровати и сел. Провел руками по рельефной карте лица и запустил пальцы во все еще черные узлы волос. Кашлянул и перднул, чувствуя себя кощунником в присутствии книжного шкафа у дальней стены комнаты. Так и видел, как на него с укором смотрят Дилан Томас, Герберт Бейтс, Джон Клэр и Томас Харди, ожидая, когда он признается и извинится. Он пробормотал «прошу прощения», потянувшись за халатом, наброшенным на стул рядом с древним письменным столом, затем встал и пошлепал босой на лестничную площадку, перднув еще раз, как бы утверждая свою независимость, перед тем как закрыть дверь спальни и предоставить буколическим поэтам искать романтику в его газах. Ах-ха-ха-ха.

В ванной он опорожился – благодаря вчерашней выпивке процесс этот выдался крайне неприятным, но и завершился довольно быстро. Далее снял халат, чтобы умыться и побриться у раковины. Центральное отопление – хоть что-то в современном мире его радует. На Школьной улице, где он рос, было слишком холодно, чтобы мыть каждый день что-то кроме лица и рук. Если повезет, в пятницу тебя отскребут в цинковом тазу.

Бенедикт наполнил раковину горячей водой – он с неохотой признает, что горячая вода – тоже достоинство прогресса, – затем плеснул на себя, прежде чем намылиться маминым «Камэй», пользуясь в качестве импровизированной губки пышными лобковыми волосами. Перед тем как сполоснуться, он стянул с вешалки полотенце на пол, чтобы не намочить ков-

²⁶ Искаженная песня Ариэля из «Бури» Шекспира: «Глубоко там отец лежит, кости стали как кораллы», пер. М. Кузмин.

рик, затем наклонился так, что гениталии свесились в белую эмалевую раковину, взял воду в пригоршню и вылил на грудь и живот. Пену из-под мышек смыл мочалкой, затем провел ею по ногам и стопам практически без мыла и вытерся насухо другим, большим полотенцем. Снова влез в халат, затем достал из шкафчика старые папины помазок и опасную бритву.

Кисть – из шерсти кабана или барсука, точно он уже не узнает, – мягко и успокаивающе взбила белую пену на щеке. Бенедикт уставился в зеркало, встретил собственный унылый взгляд, затем провел открытой бритвой по горлу отражения, в паре дюймов от трахеи, мучительно забулькал, закатил глаза и вывалил длинный и чуть пушистый язык. Ах-ха-ха-ха.

Побрислся, вымыл лезвие начисто под холодной водой – в раковине вдоль линии прибороя осталась труха щетины. Как чайники, но мельче, и он задался вопросом, можно ли разглядеть в этих случайных точках будущее. В Боро вечно говаривали, что если, например, чайная гуща похожа на лодку, то тебя ждет морское путешествие, – хотя куда там. Отложив набор для бритья, он промокнул лицо и рискнул набрать полную ладонь «Олд Спайса». Когда он шлепнул его на щеку первый раз подростком, решил, что этот фруктовый запах какой-то девчачий, но теперь ему нравилось. Запах шестидесятых. Взглянув в зеркало на выбритое лицо, он изобразил лощеную улыбку кинозвезды и многозначительно поерзал густыми бровями – нализовавшийся жиголо соблазняет собственное отражение. Боже, да кому захочется проснуться рядом вот с этим – рядом с Беном Перритом и шнобелем Бена Перрита? Ему и самому не хотелось. Если бы Бенедикт полагался только на свою внешность, ему давно настал бы конец. А значит, ему повезло, что он еще и публикующийся поэт – вдобавок к прочим достоинствам и добродетелям.

Он вернулся в спальню одеться, вспомнив про пердеж, только когда уже было слишком поздно. Черт. Натянул рубашку и штаны, стараясь дышать через рот, потом схватил жилет и туфли и рванул к лестнице, закончив свой туалет уже снаружи, в земной атмосфере. Вытер слезящиеся глаза. Господи Иисусе, вот после такого и чувствуешь, что еще живой.

Он почапал вниз. Мама, Айлин была на кухне, кружила над газовой плитой, следила, чтобы завтрак не подгорел. Она начала готовить болтунью на тосте, когда только услышала, как Бенедикт поплелся в ванную. Подтянула к себе на пару сантиметров сковороду-гриль, чтобы оценить оттенок нарезанных белков, потыкала деревянной ложкой в желтковые облака в ковшике. Взглянула на сына старыми карими глазами, в которых читалось столько же любви, сколько и укора, опустила маленький острый подбородок, поджала губки и поцокала языком, словно даже после стольких лет так и не понимала Бенедикта и что о нем думать.

– Доброе утро, матушка. Позволь заметить, что сегодня утром ты особенно лучишься! Знаешь ли, бывают и не столь галантные сыновья. Ах-ха-ха-ха.

– Да, но ищю и матери у них не такие. Не стой, подь сюда и лопай, пока не остыло, – Айлин извлекла тост, мазнула маргарином и опрокинула на него дымящуюся взболтанную массу – все как будто одним непрерывным движением. Убрала седую прядь, выбравшуюся на волю из клубка на затылке, и подала Бенедикту тарелку со столовыми приборами.

– Ну вот. Рубашку не ухряпай смотри.

– Мать, води себя прилично! Ах-ха-ха-ха.

Он сел за кухонный стол и набросился на то, что называл обязательной подстилкой для желудка. Бенедикт и понятия не имел, почему все, что он говорил, похоже на шутки или ранее неизвестные коронные фразы комиков. Он был таким, сколько себя помнил. Наверное, жизнь проще, когда представляешь ее затянувшейся серией «Малыша Клитеро»²⁷.

Он доел, махнул чашку чая, которую тем временем заварила мать. Пил большими глотками... когда я пью, я глух и нем... зырая одним светлым глазом цвета глины, в которой

²⁷ Комедийное радиошоу «The Clitheroe Kid», 1957–1972, где английский комик Джимми Клитеро, которому на начало сериала было уже 35 лет, играл тринадцатилетнего школьника, жившего со своей многочисленной семьей.

цыгане запекают ежей, на вешалку в прихожей, где его дожидались шляпа и шейный платок, пока он планировал побег. Впрочем, побег, – если не считать побега в творчество или теплые воспоминания, – то единственное, что Бенедикту никогда не удавалось. Не успел он поставить пустую чашку на блюдце и изготovitься к рывку на свободу, как его подсекла Айлин.

– Значить, идешь седни работу искать?

Вот очередной аспект утра после мыслей о смерти спросонья, который Бенедикт находил проблематичным. Пожалуй, на самом деле ему в общем не удавались две вещи. Сбегать – и искать работу. Конечно, главным камнем преткновения в поиске работы было то, что он ее, собственно, и не искал, ну или не очень старался. Его отпугивал не сам труд, а проформа: всяческие процедуры и неизбежные коллеги. Он просто не верил, что ему хватит смелости познакомиться с целой галереей новых лиц, людьми, которые ничего не знают ни о поэзии, ни о Школьной улице, и не поймут Бенедикта. Он просто не мог – только не в таком возрасте, только не с незнакомцами, только не объясняться. Если быть честным до самого конца, объяснить он не мог ни в каком возрасте и ни с кем – по крайней мере, к полному удовлетворению собеседников. Значит, три вещи. Сбегать, искать работу и адекватно объясняться. Проблемы у него только в этих трех областях. А все остальное – легко.

– Я всегда в поисках. Ты же меня знаешь. Моим глазам покой только снится. Ах-ха-ха-ха.

Мать наклонила голову набок, смерив его взглядом – одновременно с теплом и вконец усталым непониманием.

– Да вот и да-то. Если б ток твои глаза этому и зад научили. На-ка. Это те на ужин. Увидимся, как вернешься, коль ищо не лягу.

Айлин сунула ему в ладонь десяток «Бенсон и Хеджес» и десятифунтовую банкноту. Он расплылся в улыбке, словно это не повторялось из утра в утро.

– Женщина, дай я тебя расцелую.

– Ага, ток попробуй и вот чем схлопочешь, – она говорила о кулаке, который вознесся, как одинокое аборигенское плато. Бен рассмеялся, прикаrmанил чирик и сигареты, вышел в переднюю. Обернул платок жжено-рыжего цвета на кадыке, похожем больше на проглоченную бутылку «Карлсберга», прищурился на солнечный свет, просеянный через матовое стекло входной двери, и решил, что на улице достаточно светло, чтобы не надевать куртку, но все же недостаточно, чтобы уже надевать канотье. Его жилет и так напоминал гардины в борделе. Зачем сыпать соль на рану.

Он переместил курево из кармана штанов в холщовую сумку, где уже лежали салфетки «Клинекс» и апельсин, а также «Антология Нортгемптоншира» под редакцией Тренора Холда, издание «Нортгемптонских библиотек». Он ее полистывал, просто чтобы не отставать от времени. С сумкой через плечо Бенедикт попрощался с мамой, сделал укрепляющий вдох перед зеркалом в прихожей и, широко распахнув дверь, отважно бросился в суматоху и в суматошный мир, где та царила.

Над Башенной улицей – когда-то верхним концом Алого Колодца – ползли облака цвета плевков. Улицу переименовали в честь высотки Клэрмонт-корт, загородившей западное небо справа, одного из двух кирпичных колов, всаженных в бессмертное сердце района. После недавнего косметического ремонта на кирпичах цвета крабовых палочек остались слова – или, возможно, одно слово, – NEWLIFE, лежащий на боку серебряный логотип, больше подходящий для мобильного телефона или бесконечной батарейки, чем для жилого здания, думал Бенедикт. Он поморщился, пытаясь не смотреть на здание лишний раз. В основном ему было по душе по-прежнему жить на любимой малой родине, кроме тех случаев, когда он замечал, что любимая мертва уже лет тридцать и давно разлагается. Как-то сразу начинал чувствовать себя персонажем из статьи в Fortean Times ²⁸, каким-нибудь покинутым и умалишенным вдов-

²⁸ Журнал о сверхъестественном, букв. – «Фортовские вести», в честь Чарльза Форта – американского исследователя

цом, который до сих пор взбивает подушки для мумифицировавшейся невесты. Ньюлайф – Новая жизнь: городское возрождение, о котором приходится буквально писать большими буквами на видном месте, иначе что-то незаметно. Как будто если прикрутить к стене отполированную надпись, то мир изменится. И вообще, чем им не угодила старая жизнь?

Он проверил, что дверь заперта, оставив маму одну, и заметил, как по Симонс-уок, что шла вдоль Башенной улицы позади Клэрмонт-корт, бредет толстый торчок с лысой головой, Кенни как-то там. На нем были серые брюки и серая спортивная куртка, которые издали сливались и казались гигантскими детскими ползунками, будто дилер – младенец-переросток, превысивший безопасную дозу «Калпола»²⁹. Бенедикт притворился, что не заметил его, свернул налево и бодро зашагал к дальнему концу улицы – слиянию подземных переходов, затаившихся под транспортной воронкой Мэйорхолд. Как вообще можно растолстеть на наркотиках, если только не мазать их на жареные бутерброды? Ах-ха-ха-ха.

Желтые листья липли рассыпанным линотипом к мокрым макадамским орехам щебня под ногами. Бенедикт прошел мимо здания Армии спасения – панельных бараков, внутри которых, кажется, никогда не бывал. Он сомневался, что сейчас там раздают бубны, тем более бесплатные чашки чая с булочками. Вот в двадцатом веке дно общества было куда комфортней. Тогда нищету сопровождали аккомпанемент духового оркестра и полный рот сконов, растворяющихся в «Брук Бонде»; добрые теплые груди под голубым сержем с большими золочеными пуговицами. Теперь же в нагрузку шли бездушные подростки-надсмотрщики, как в лагерях смерти, и неминуемое око Центра занятости, ну и тот саундтрек, что играет снаружи торговых центров, – обычно «I'm Not In Love». Короткая улочка окончилась дорожкой к подземному переходу под высокой стеной, подпирающей аквариум Мэйорхолд с акулами-роботами. Украшенная штрихкодowymi полосами цвета охры, мандарина и умбры, стена, наверное, должна была создавать латиноамериканскую атмосферу, но выглядела как реплика блевоты, сделанная из «Лего». Бенедикт помедлил секунду, окинул взглядом округу, охватил весь исторический масштаб.

Среди прочего недалеко отсюда был один из любимых пабов его отца – «Веселые курильщики», хотя, конечно, этим историческая родословная местности не исчерпывалась. Именно здесь в тринадцатом и четырнадцатом веках стояла первая нортгемптонская Гильхальда, или ратуша, – по крайней мере, согласно историку Генри Ли. Ричард II своим указом объявил ее местом, где располагались все бейлифы и мэр. Бейлифов можно было увидеть до сих пор, хотя мэры в эти дни здесь редкость. Под конец тысяча трехсотых власть и богатство переместились на восточную сторону города, и новый Гилдхолл построили у начала Абингтонской улицы – там, где сейчас по франшизе открыто «Кафе Неро». С того момента и можно отсчитывать упадок района: больше семисот лет Боро скатывались по крутой дорожке. Спуск, очевидно, оказался длинным, хотя сейчас, глядя на рвотный кафе́ль, Бенедикт думал, что дно уже близко.

Пусть здесь и находилась первая ратуша, бывшую городскую площадь называли Мэйорхолд³⁰ не поэтому, – по крайней мере, как понимал Бен. По его теории, это случилось позже, в 1490-х, когда парламент поручил власть над Нортгемптоном всемогущим мэру и управе из четырех дюжин богатых бюрхеров – пардоньте за французский, – бюргеров, которых называли «Сорок Восемь». Бенедикту казалось, что тогда-то жители Боро, как и горожане ближайшего Лестера, положили начало великой традиции выбирать потешного мэра – чтобы высмеять правительственные процессы, из которых были исключены. Шутовские выборы проводились прямо на этой площади – отсюда и название, – и на них вручали буквальную «должностную цепь» с крышкой от горшка случайным назначенцам – часто полупьяным, полоумным или

паранормального.

²⁹ Детский сироп от кашля.

³⁰ От слов *Mayor Hold* – «владения мэра». Также существует версия, что это название было преобразовано из более старого – *Mare Hole*, «Лошадиный базар».

ополовиненным после войны, а в крайних случаях – человеку со всем вышеперечисленным. Бенедикту казалось, что однажды такой чести удостоился его собственный дед по отцовской линии, Билл Перрит, но Бен так считал лишь из-за прозвища старика – Шериф – да из-за того, что тот день-деньской просиживал пьяным в дупель у Миссии на Мэйорхолд на деревянной тачке, которую считал своим тронem. Бенедикт задумался, может ли он претендовать на государственную должность благодаря тому, что он потомок Шерифа и живет там, где стояла первая городская ратуша? Представил себя Претендентом-Тичборном, лжекоролем, – одним из тех, кто больше думал, как бы надеть корону на голову, а не как бы удержать голову на плечах. Ламберт Симнел, Перкин Уорбек и Бенедикт Перрит. Достойный ряд. Ах-ха-ха-ха.

Он свернул на утопленную дорожку-ущелье – впереди показались ступеньки, поднимавшиеся к углу, где верхний конец Банной встречался с Конным Рынком. Даже из этой ямы он видел верхние этажи обеих высоток – Клэрмонт-корт и Бомонт-корт, – торчавшие над плиткой цвета испанской тортильи, высящейся справа стены-плотины. Эти башни издавна обозначали для Бенедикта истинный конец Боро – богатой тысячелетней саги, завершенной двумя жирными восклицательными знаками. Ньюлайф. Тьфу ты. Два-три года назад призывали к тому, чтобы снести полупустые чудовища, признавали, что их вообще не стоило строить. Тогда в Бенедикте ненадолго разгорелась надежда, что он еще переживет наглые давящие глыбы, но потом «Бедфорд Хаусинг» провернул с управой какую-то сделку – все те же четыре дюжины богатых бюрхеров, все те же Сорок Восемь спустя пять веков, – и приобрел оба дома, если верить слухам, за пенни каждый. Провонявшие мочой уродливые сестры-близняшки намарафетились сверху донизу и вдруг оказались отличным жильем для бюджетников, без которых, оказывается, Нортгемптон никак не мог, – в основном наездников с мигалками: медсестер, пожарных, полицейских и тому подобных. Ньюлайф. Эту новую жизнь сбросили, как гуманитарную помощь на парашюте, чтобы помочь прежним обитателям, когда они болели, горели или когда их грабили. Но вышло так, что башни захлестнул поток человеческих отбросов – домашних больных, наркоманов, беженцев, – очевидно, не сильно отличающихся от тех, кто жил здесь до них.

Левак Роман Томпсон с улицы Святого Андрея однажды показал Бенедикту список совета директоров «Бедфорд Хаусинг», где среди прочих оказался бывший депутат-лейборист из управы Джеймс Кокки. Понятно, откуда росли уши продажи за бесценок. Бенедикт свернул налево, не дойдя до ступенек к углу Банной улицы и спускаясь в подземный переход под Конным Рынком, с указателями к городскому центру. Здесь желчная рыже-бурая мозаика окружала людей со всех сторон, поднималась до свода туннеля, где тусклые натриевые лампы через равные интервалы испускали бесполезное янтарное свечение.

Долговязый силуэт Бена брел во мраке тошнотных катакомб, где так и шуршали призраки будущих убийств. К нему на метр угрожающе подкатилась брошенная тележка из супермаркета, но, передумав, со скрипом угрюмо застыла на месте. Только под лампами вспыхивали из небытия его лицо героических пропорций и усталая, обреченная улыбка, словно портретный набросок Боза ³¹, подпаленный спичкой. Незванная мысль о Джиме Кокки – возможно, в совокупности с подземным окружением – как будто отворила прежде забытый сон с прошлой ночи, где фигурировал депутат, который внезапно возник в голове Бена, пусть и в виде расплывчатой последовательности загадочных фрагментов.

Он бродил по безликим террасам из древнего красного кирпича и опоясанным железной дорогой пустырям, что давно уже казались стандартным местом действия его снов. Где-то в глубине этого жуткого и знакомого ландшафта стоял дом – дом Боро с бестолковыми и запутанными лестницами и коридорами, ходящий ходуном от старости. На улицах царил тьма.

³¹ «Очерки Боза» – сборник коротких зарисовок о Лондоне и его жителях, публиковавшихся Чарльзом Диккенсом под псевдонимом в различных газетах.

Была глухая ночь. Бен знал, что в подвале здания его ждут семья или друзья, но путь туда давался со всеми обычными разочарованиями снов – он пробирался с извинениями по чужим квартирам и туалетам, полз по бельепроводам, полузабитым старинными деревянными партами, которые он помнил по Ручейной школе. Наконец Бен добрался до какой-то котельной или подвала, где на полу виднелись следы крови, солома и опилки, словно совсем недавно здесь находилась бойня. Стояла атмосфера кошмара и убожества, и все же она была как-то связана с его детством и почти согревала. Затем он заметил, что рядом в залитом кровью подвале стоит депутат Джим Кокки, которого в жизни Бен практически не знал, – грузный, очкастый и седой человек в нижнем белье, с искаженным от ужаса лицом. Он сказал: «Мне все время снится этот подвал. Вы не знаете, где выход?» Бен не хотел помогать перепуганному чинуше, одному из Сорока восьми, что в течение столетий уничтожали Боро, и он ответил только: «Ах-ха-ха. А я все ищу вход». И в этот момент проснулся как будто от чужого кошмара. Теперь он вышел из туннеля, стряхнув страшные сны вместе с тьмой перехода, и запыхтел по крутому уклону на Серебряную улицу.

На другой стороне автострады, в которую превратилась Серебряная улица, высилась пятиэтажная муниципальная парковка, красная и горчично-желтая, как пролитые специи. Где-то под этим куском черствого баттенбергского кекса, как знал Бенедикт, находились все лавочки и мастерские, что когда-то прилегали к Мэйорхолд. И газетчики «Ботерилл», и мясник, и цирюльня Филлиса Малина, бело-зеленый фасад «Кооперативного общества, осн. 1919, номер филиала 11». На углу стоял мрачный общественный туалет, который мама и папа Бена почему-то звали Кабинетом Джорджи Шмеля, а на Медвежьей улице были кафе с фиш-энд-чипс и Клуб работников электроэнергетики, и еще пятьдесят других интересных местечек, растолченных в единообразную пыль весом наваленных сверху внедорожников и быдломобилей. Справа от Бена стоял задний фасад Рыбного рынка, и сам возведенный на месте синагоги, куда ходили ювелиры-серебряники, в честь которых и получила название улица. Он мысленно добавил блестящие узоры звезд Давида на воображаемую свалку, томящуюся под многоэтажной автовыставкой. Форд Транзит Глория Мунди. Ах-ха-ха-ха.

Рядом с китайским рестораном, где Серебряная улица вливалась в Овечью, из кирпичной стены рос одинокий цветок, лиловый и легкий, как мальва, хотя Бен сомневался, что это она. На худосочном стебельке больнично-зеленого цвета торчали крыжовниковые волоски, настолько тонкие, что невооруженным взглядом почти не различить. Как бы цветок ни назывался, он был из скромной, доисторической породы – как сам Бенедикт. Может, он казался деликатным и хрупким, но все же пробился через цемент современного мира, неискоренимо утвердился на лице унылого дефлорированного масс-века. Бен знал, что это не лучший поэтический образ, особенно если сравнить с «Та сила, что цветок из стебля гонит...»³², но в эти дни он не брезговал ни вдохновением, ни цветами. Свернув на Овечью улицу, направился к «Медведю», где намеревался вновь взвалить на себя тяжкий ежедневный труд – убраться в доску за чирик.

Шумный, несмотря на сравнительно небольшое число посетителей в это время дня, «Медведь» мариновался в звуке своих игровых автоматов: электрическом глассандо волшебных палочек и хлюпанье сумасшедших лягушек. На мутном краю зрения переползали светящиеся мозаики золотых, красных и фиолетовых цветов – палитра «Тысячи и одной ночи». Бен вспомнил, что когда-то утренний бар был царством молочного света, проливающегося через тюлевые занавески, и осторожной тишины, которую не нарушал даже победный щелчок домино.

Бармен был вдвое моложе Бена, тот парня помнил с трудом, но тем не менее поприветствовал: «Ах-ха-ха. Здравствуй, дружище-старичок», – голосом, что когда-то ассоциировался

³² Первая строчка одноименного стихотворения Дилана Томаса, пер. Н. Левитинов.

с ныне забытой звездой «Арчеров» Уолтером Габриэлом, – при этом, как казалось Бенедикту, ловко замаскировав, что забыл имя собеседника.

– И тебе привет, Бенедикт. Что налить?

Бен оценивающе обвел взглядом полудюжину других клиентов заведения, неподвижных и хмурых на своих стульях, как выбывшие шахматные фигуры.

Прежде чем заговорить, он театрально прочистил горло:

– Кто купит пинту биттера публикующемуся поэту и национальному достоянию? Ах-ха-ха.

Никто не поднял взгляд. Кажется, двое чуть улыбнулись, но явно оказались в меньшинстве. Ну что ж. Иногда срабатывает, если рядом есть знакомый – скажем, Дэйв Терви, поджентльменски устроившийся в углу в шляпе с перышком, словно в осенний денек в богемном квартале Додж-сити, или еще кто. Но, к прискорбию Бена, в эту черную пятницу обычное место Дэйва пустовало, и с великой неохотой Бен вытянул десятифунтовую купюру из кармана и уложил на стойку – первоначальный взнос за пинту «Джона Смита», которая, надеялся он, однажды будет всецело принадлежать ему. Увы, прости-прощай, черно-белый Дарвин. Прости-прощай, ало-зеленая 3D-колибри, замороженная спиралями в гипноскопе. Прости-прощай, мой мятый дружок, мы с тобой не были знакомы и получаса, а теперь ты уходишь навсегда. На кого ты меня покидаешь. Ах-ха-ха.

Забрав заказ, он позволил увлечь себя плюшевым изгибам боковых сидений, держа в одной руке холодное пенное, а в другой – комок из восьми фунтов сдачи. Здравствуй, серовато-синяя Э. Фрай³³, и ты, хозяйка приюта из девятнадцатого века для жен семейных тиранов, – или, если присмотреться, на самом деле неодобрительно усмехающийся с аверса призрака Джона Леннона. Вполне возможно, прообразом послужил разодетый активист «Папаш за справедливость»³⁴. К пятерке шли две монеты по фунту и еще какая-то шрапнель. Скривившись, Бенедикт покачал головой. Не то чтобы он скучал по старым деньгам – всяким фартингам, полукронам, флоринам, таннерам, – хотя, конечно, скучал. Но больше скучал по возможности говорить о додесятичной валюте и не казаться старушенцией, которая дома перепутала проездной на автобус с карточкой донора почки. Он на удивление болезненно относился к теме автопародии.

Первую половину пинты он осушил одним духом и сразу окунулся в обонятельный поток памяти и ассоциаций, сыра и маринованного лука, сигарет «Парк Драйв» по пять в пачке, розовеющих в зеленой барной пепельнице, мыслей о том, как стоял с гордостью шестилетки со своим стариком у жуткого и наверняка докембрийского длинного писсуара. Быстрыми размеренными глотками он хлебал пропавшие поля – высокотехнологическое воссоздание тепло любимой, но вымершей провинциальности. Бен отставил полупустую кружку, пытаясь обмануть себя, что она наполовину полная, и стер полосатым рукавом с причмокивающих губ почти сорок лет устной традиции.

Он поднял клапан полотняной сумки, примостившейся рядом на теплом сиденье, и извлек изнутри «Нортгемптонширскую антологию». Без Дэйва Терви и беседы о высоком с живыми Бенедикт решил, что с таким же успехом может завести разговор с мертвыми. Дешевая и толстенькая книжка показалась из сумки обратной стороной твердой обложки. В орнаменте золоченой рамы на темно-красном фоне с брызгами гуталина был портрет Джона Клэра 1840 года авторства Томаса Гримшоу. Картина никогда не нравилась Бенедикту, особенно огромное луновидное чело. Если бы не каштановый кустарник волос и вstopорщенных баков, обрамля-

³³ *Элизабет Фрай* (1780–1845) – социальная активистка, реформатор английской тюремной системы. Была изображена на пятифунтовых банкнотах выпуска 1975–1992 и 2002.

³⁴ *Fathers 4 Justice* – движение активистов за права отцов, акции часто проходят в ярких маскарадных костюмах.

ющий овал, мужское лицо с тем же успехом могло быть нарисовано на пасхальном яйце. Шалтай-Болтай в луже желтка и скорлупы на газоне больницы Андрея, и некому его собрать.

Клэр неловко позировал на фоне неопределенного буколического пятна – лиственной аллеи в Хелпстоне, Глентоне, где угодно, – сразу после заката или, быть может, перед самым рассветом, важно заткнув большой палец за лацкан пиджака. Он смотрел направо, повернувшись к теням со слегка встревоженной улыбкой, уголки губ вздернулись в неуверенном приветствии, а в разочарованных глазах уже виднелись первые дурные предчувствия. Не отсюда ли, подумал Бенедикт, он перенял свое собственное характерное весело-обреченное выражение? Ведь между ним и кумиром всей его жизни имелось сходство, размышлял он. У Джона Клэра тоже был выдающийся нос, не хуже носа Бена, – по крайней мере, если судить по портрету Гримшоу. Те же грустные глаза, неуверенная улыбка, даже шейный платок. Если Бена побрить налысо и слегка подкормить, он вполне мог бы выступить из пара дым-машины на сцену шоу «Звезды в их глазах», с большим пальцем за отворотом и репьем со двора дурдома в бакенбардах. «Сегодня, Мэтью, я буду деревенским поэтом». Ах-ха-ха.

Под совиным ликом в нижнем правом углу обложки прилепился бесцветный слизень, которым пятнадцать лет назад выстрелил аппарат для ценников: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «VOLUME1», £6.00. К своему ужасу, Бенедикт на миг не мог вспомнить, даже где находился «VOLUME1». Там, где сейчас «Уотерстоунс»³⁵? Когда-то в Нортгемптоне было столько книжных, что за день не обойти; теперь почти все превратились в офисы по продаже недвижимости и винные бары. В молодости Бена даже в больших магазинах вроде «Аднитта» имелись книжные отделы. И в северном, и в южном филиалах «Вулворта» лежали лотки с книжками в мягких обложках от одного до трех пенни, и еще целая россыпь дешевых коммисионок по всему городу, неотличимых от лавок старьевщиков, с неразборчивыми пожилыми хозяевами, где из-за пыльных стекол неосвещенных витрин глядела порнографическая классика 1960-х в выцветших обложках. Желтушные ню Обри Бердсли поверх нашлепанных Хэнком Джексонем технокolorовских шлюх, – капля соуса, чтобы оживить кастрюлю с Деннисом Уитли, Симе-ноном и Алистером Маклином. Куда же они ушли – эти неряшливые, забрызганные слюной архивы?

Бенедикт поднял кружку для поминального глотка – глотка в полгилла³⁶, после чего от пинты осталось еще приблизительно глотков восемь. Достав из наплечной сумки пачку «Бенсонов» и купленную на улице зажигалку (по три за фунт), он зажал одну из сигарет в вечно ухмыляющихся губах, запалил аметистовой палочкой с жидкой сердцевиной. Прищурился и сквозь первые синие клубы дыма оглядел бар. Тот наполнялся, хотя по-прежнему незнакомыми лицами. Где-то слева булькающий звуковой каскад виртуальных монет прослаивали ноты научно-фантастической цитры. Неопределенно вздохнув, Бенедикт раскрыл сборник местных поэтов на разделе с Джоном Клэром, написанное от лица божьей коровки «Лето» которого, как он надеялся, станет антидотом от вспышек и дребезжания современности, казавшейся ему чужой. Миниатюристская образная система действительно одухотворяла, но, к сожалению, Бен не смог вовремя остановиться и прочел напечатанное тут же другое стихотворение – написанное Клэром в лечебнице «Я есмь».

В ничто, где шум, упрек и глум царят,
В злой океан кошмаров наяву
Где нет мне ни покоя, ни усад,
А лишь швыряют волны на плоту;
И все, кто были светочем душе,

³⁵ Сеть книжных магазинов.

³⁶ Гилл – четверть пинты.

Мне чужды – нет, мне всех иных чужей.

Стихотворение пришлось близко к сердцу, настроение Бенедикта, и без того накренившееся с пробоиной ниже ватерлинии, мгновенно пошло ко дну. Он сунул книгу назад в сумку, опорожнил три оставшихся от пинты глотка и заказал новую раньше, чем сам понял, что делает. Это избавило его от буфера мелочи, но опасно обнажило королеву – Э. Фрай. Ее дождливо-бирюзовые глаза с последней банкноты смотрели прямо на него, напомним об усталой обреченности во взгляде матери, когда она смотрела на Бена и горевала по его безвинной печени-страдалище.

Не успел он и глазом моргнуть, как уже настал разгар дня. Он выходил из узкого помещения «Шкипера» – в сущности, коридора со стойкой, где почти у каждого была своя вешалка, – на Барабанный переулок. Справа через дорогу виднелась церковь Всех Святых, слева – редущая суতোлка Рыночной площади. Э. Фрай уже оставила его ради другого – видимо, какого-нибудь бармена. Траурному взгляду предстали оставшиеся под его опекой крохи, – серебряные и медные сиротки всего в восемьдесят семь пенсов. Булькающий протест давно затонувших в пиве инстинктов самосохранения подсказал, что мелочь стоит вложить в покупку пирожка. Свернув направо, Бенедикт отправился по вечно темному каналу Барабанного переулочка к пекарне напротив церкви Всех Святых в Шелковом Ряду.

Десять минут спустя он проглотил остатки того, что, очевидно, сойдет за сегодняшний обед, оптимистично шаря языком по таинственным недрам рта в поисках блудного фарша, клейкого теста или упорной картофелины. На манер – как он воображал – денди девятнадцатого века Бенедикт промокнул губы салфеткой, в которой подавали перекус, скомкал платок с поцелуем из подливки и кинул в одну из мусорных урн на Абингтонской улице, куда как раз вышел. Он поднялся по ней примерно до фотомагазина у входа в самый новый торговый пассаж – «Павлин». Этот хрустальный дворец занял бывший Павлиний проезд – открытый участок, выходивший на Рыночную площадь, где в кондитерских и кафе в подростковом возрасте он заедал угрюмое настроение кексами, страдая из-за очередной умопомрачительной школьницы из Нотр-Дама или Крайних Ворот, которая только что заявила Бену, что любит его как друга. Изначально больше пятисот лет здесь простоял «Отель Павлин» – таверна или постоялый двор. Люди до сих пор говорили о чудесном витражном павлине – одном из украшений интерьера этого заведения, которое наверняка пало жертвой строителей во время бесчувственного сноса отеля в ноябре 1959 года. Над стеклянным входом в пассаж теперь осталось лишь его бледное подобие-наклейка – стилизованный конвейерный продукт труда какой-нибудь незаслуженно дорогой дизайнерской команды.

Проходя мимо «Джессопа», магазина фототехники, Бенедикт спросил себя, не осталась ли еще у них его фотография от Пита Корра, вывешенная в рамочке на продажу. Корр был папарацци местного разлива – судя по всему, он уже женился и жил где-то в Канаде под псевдонимом с голландским привкусом Пьет де Щелкк. Ранее просто Пит Щелк, он специализировался на портретах потусторонней фауны города: одноклассница Бена по Ручейной школе Альма Уоррен, мрачно позирующая в солнечных очках и косухе, овца, одетая под Оливию Ньютон-Джон; Том Холл – местный музыкальный бог с культурным и физическим весом Юпитера, ныне покойный, в повседневной одежде – фирменных школьной пижаме и подсмотренной у османов феске с кисточками; Бенедикт Перрит, с помпой и горестной улыбкой рассеявшийся в окружении змеящихся корней восьмисотлетнего бука на Овечьей улице. Будто бывают другие улыбки. Ах-ха-ха-ха.

Он продолжал путь по розовым извивам пешеходной Абингтонской улицы. Без бордюров, которые ограничивали и упорядочивали неистовое движение, что бурлило на этой большой дороге не меньше пятисот лет, теперь она как будто привлекала таких же, как она сама, несосредоточенных и непутевых людей. Вроде Бенедикта, если подумать. Он понятия не имел,

куда держит путь, с двадцатью семью-то пенсами после порыва взять пирожок, от которого остались только воспоминания да отрывок с призраком вкуса. Может, ему пойдет на пользу долгая прогулка по дороге Уэллинборо до Абингтона – по крайней мере, она ничего не стоит.

Продолжая взбираться на холм, уютно защитившись от бытия теплым обволакивающим коконом, он заметил, как навстречу слева подползает вход в «Гросвенор-центр». Он попытался вызвать в мыслях узкий въезд на Лесную улицу, тридцать с чем-то лет назад занимавшую это место, но обнаружил, что силы его воображения притупило пиво. Полузабытая щель между террасами оказалась слишком хилым привидением, чтобы превозмочь стеклянную стену с двустворчатой дверью, блестящий крытый бульвар за ними, где лунатили лунатики, подсвеченные, как узорчатые хрустальные звери, коммерческими аурами, в которых они ходили. В вездесущем освещении все казались декоративными. Все казались хрупкими.

Двадцать семь пенсов. Он сомневался, что хватит даже на батончик «Марс», – хотя все еще можно бесплатно посмаковать жалость к себе. У верхнего «Вулворта» – вернее, в эти дни единственного «Вулворта», – Бенедикт слегка ускорился, надеясь, что стремительность выпрямит его мотыляющую походку. Примерно через тридцать секунд отказался от этой идеи за отсутствием результатов, вернувшись к меланхоличному шкандыбанию. Какой смысл идти быстрее, если он никуда не идет? Скорость только раньше приведет к встрече с проблемами, а в его состоянии может и невольно толкнуть через размытую линию между пьяным блужданием и пьяным дебошем. Нежеланный образ Бена, взбесившегося в «Маркс энд Спенсер», орущего и бегающего голым по пудингам с шоколадной лавой, должен был отрезвить, но Бен только захихикал. Хихиканье не укладывалось в его тактику не казаться пьяным, поздно сообразил он. Но даже так получалось всего четыре вещи, в которых он бесполезен, как-то: сбегать, искать работу, объясняться и не казаться пьяным. Четыре тривиальнейших недостатка, успокоил себя Бен, никак не затрагивающих обычную жизнь.

Он лавировал против восточного ветра, посмеиваясь только изредка, когда оказался у широкого фасада «Пассажа Кооп» в стиле ар-деко, заброшенного и опустевшего, с лишенными товаров витринами, которые незряче смотрели на улицу, так и не оправившись после новостей о своем закрытии. Всю торговлю из Нортгемптона высосали загородные моллы, хотя она и без того много лет представляла собой неутешительное зрелище. Вместо того чтобы остановить гниение, управа дала главным венам города атрофироваться и усохнуть. «Спинадиск», старинный независимый музыкальный магазин, на противоположной стороне улицы от которого сейчас шел Бенедикт, закрылся и уступил место реабилитационной клинике или чему-то в этом духе. Предсказуемо, количество употребляющих вещества в этом месте только сократилось с исчезновением магазина и той эпохи.

По выходным и на школьных каникулах вокруг площадки перед мертвым поп-эмпорием до сих пор собирались группки подростков в черном. Бен думал, что это скейт-готы или гангста-романтики. Гоп-оптимисты или кто там нынче бывает. Он безнадежно отстал от моды. Перевел тоскливый взгляд со стайки худи на дальнем краю Абингтонской улицы на сторону, вдоль которой шел сам. Мимо него и мимо до сих пор великолепного фасада городской библиотеки струились расплывчатые лица, и вдруг его пронзила синаптическая молния – реальность передернулась и перестроилась, когда Бенедикт осознал, что одно из них принадлежит Альме Уоррен. Ах-ха-ха.

Альма. Всегда утягивала его в прошлое – ходячее напоминание о всех тех годах, сколько они знали друг друга с тех пор, как в четыре года вместе учились в классе мисс Корье в Ручейной школе. Даже тогда Альму было невозможно принять за девочку. Да и за мальчика, раз уж на то пошло. Слишком крупная, слишком непосредственная, слишком пугающая, чтобы считаться кем-то, кроме Альмы – человека своего собственного пола. Оба они были причудами природы, каждый по-своему, и потому оставались неразлучны как в детстве, так и в подростковом возрасте. Вместе дрожали зимними вечерами на чердаке амбара лесного склада его папы

на Школьной улице, когда телескоп Бена устремлялся в звездный свет через пустую раму во время НЛО-дозора. И в непростое постпубертатное время, когда он занялся поэзией, а она – живописью и когда Альма впадала в припадки яростной злобы и каждую вторую неделю переставала с ним разговаривать – как она утверждала, из-за художественных разногласий, но скорее всего – потому что стала коммунисткой. Оба выставляли себя дураками в одних и тех же пабах, в одних и тех же мимеографических журналах артгрупп, но потом она вдруг умудрилась раскрутить свою мономанию до успешной карьеры и репутации, а вот Бен – нет. Теперь он редко с ней сталкивался – с ней вообще редко сталкивались, кроме подобных случаев, когда она влетала в город в образе байкерши или, если была в своем претенциозном плаще, в образе расстриженной за мастурбацию монашки из пятнадцатого века, – и с каждым разом под ее глазами было все больше колец, чем на нарочито безвкусно украшенных пальцах.

Сейчас они взметнулись в артериальном взрыве лака для ногтей и драгоценных камней, оттягивая рваную противопожарную штору волос с пантомимы лица. Подведенные сурьмой и, похоже, полные презрения глаза размеренно обводили округу – словно Альма прикидывалась камерой наблюдения, – просеивая иссыхающий образный ряд Абингтонской улицы в поисках вдохновения для какого-то будущего «монстр-опуса». Когда медленный размах таких неморгающих, что как будто вовсе лишенных век противотуманных фар захватил Бенедикта, то в глубине черных глазниц вдруг вспыхнул антрацитовый проблеск. Пунцовые губы растянулись в улыбке – скорее всего, по задумке дружелюбной, а не хищной. Ах-ха-ха-ха. Старая добрая Альма.

В тот же миг, когда встретились их взгляды, Бенедикт вошел в роль и, нацепив выражение неприязненного ужаса, резко развернулся на месте и двинулся в противоположную сторону по Абингтонской улице, словно бы в панике притворяясь, что он ее не видел. Закончил спектакль он круговой траекторией, которая вернула его к Альме, и в этот раз хватался за бока в беззвучном смехе, чтобы она поняла: перепуганная попытка побега на самом деле была шуткой. Ему бы не хотелось, чтобы она подумала, будто он правда хотел удрать – тем более не успел бы сделать он и пяти шагов, как она бы его настигла и повалила.

Их пути пересеклись у портика библиотеки. Он протянул руку, но Альма застала его врасплох – вдруг набросилась и прижалась кровавыми губами к щеке, чуть не вывихнув ему шею своим коротким одноруким объятием. Этих повадок она набралась, заключил он, от американцев с галереями, которые проводили ее выставки. Эксгибиционистов, другим словом. В Боро такому не научишься, был уверен Бенедикт. В районе, где они росли, проявления чувств никогда не переходили на физический уровень. Или вербальный – или вообще уровень любого из пяти традиционных чувств. Любовь и дружба в Боро были подсознательными. Он отпрянул, вытирая испачканную щеку тыльной стороной длиннопалой ладони, словно сконфуженный кот.

– Отвали! Ах-ха-ха-ха-ха-ха!

Альма ухмыльнулась, явно довольная тем, как легко сбила его с толку. Наклонила голову к плечу и слегка нагнулась, словно чтобы лучше слышать в разговоре, но на самом деле лишний раз напоминая, какая она высокая, – этот трюк она проделывала со всеми: один из целого ассортимента приемов тонкого (как думала только Альма) запугивания.

– Бенедикт, лощеный ты ловелас. Неожданное удовольствие. Как дела? Еще пишешь?

Голос Альмы был не просто темно-коричневым – он был инфра-коричневым. Бен рассмеялся из-за интереса к его творчеству – из-за чистой нелепости таких вопросов.

– Всегда, Альма. Ты меня знаешь. Ах-ха-ха. Всегда пописываю.

Он уже много лет не брался за ручку. Он был публикующимся поэтом только в переносном смысле, а не в прямом. Даже сомневался, что смеет называться поэтом в прямом смысле, и втайне этого боялся. Альма же теперь кивала, довольная ответом.

– Хорошо. Рада слышать. Я как раз недавно перечитывала «Зону сноса» и думала, какие же классные стихи.

Хм. «Зона сноса». Он и сам был ими весьма доволен. «Кто теперь скажет / Что здесь что-то было / Кроме пустырей / С дикими дворнягами / И детьми, что бьют бутылки о цемент?» Вздвогнув, он осознал, что им уже почти двадцать лет – этим словам. «Бурьян, дворняги и детвора / Терпеливо ждали, / Когда они уйдут. / Бурьян – под землей; / Дворняги и детвора – / Нерожденные в утробе». Он отклонил голову, не зная, как отвечать на комплимент, кроме разве что нерешительной улыбки, словно ожидая, что в любой момент она заберет слова обратно, доиграет свою жестокую постмодернистскую шутку – иначе что это еще может быть. Наконец рискнул с робким ответом.

– Я был неплох, да? Ах-ха-ха.

Он хотел сказать «Это было неплохо», с отсылкой к стихам, но получилось все наперекос. Теперь казалось, будто Бенедикт думал о себе в прошедшем времени, а он имел в виду вовсе не это. По крайней мере, так ему казалось. Только Альма нахмурилась – кажется, укоризненно.

– Бен, ты всегда был значительно круче, чем «неплох». И сам это знаешь. Ты – отличный писатель, друг. Я серьезно.

Последнее было сказано в ответ на откровенно пристыженный смешок Бенедикта. Он правда не знал, что и сказать. Альма состояла хотя бы в Z-списке успешных знаменитостей, и Бен не мог не почувствовать, что сейчас к нему в чем-то отнеслись со снисхождением. Как будто она думала, что ее доброе слово поможет, вдохновит, поднимет из мертвых и исцелит по мановению руки. Вела себя так, словно все разрешится сами собой, если он просто продолжит писать, – а это, на его взгляд, только показывало ее поверхностное понимание проблем Бенедикта. Она со своими деньжищами и отзывами в «Индепенденте» вообще представляет, что это такое – иметь в кармане только двадцать семь пенсов? Хотя вообще-то представляет. Она родом из тех же мест, так что это нечестная претензия, но все же, все же. Из осадков пива на дне разума Бена всплыла зудящая мысль о его плачевном финансовом положении, по крайней мере в сравнении с положением Альмы, и теперь никак не тонула. Он еще сам не сообразил, что делает, как уже поступился жизненным принципом и попросил у Альмы взаймы.

– Кстать, а у тебя пары лишних фунтов не будет, а?

Стоило словам покинуть рот, как он сам им ужаснулся – непростительный грех. Он хотел взять их назад, но уже было поздно. Теперь он оказался у Альмы в руках и не сомневался, что она почти наверняка не преминет сделать еще хуже. От удивления ее щетки-ресницы почти незаметно раскрылись, но она тут же пришла в себя и изобразила стереотипную заботу.

– Ну конечно. У меня денег до хера. Вот.

Она вытащила банкноту – банкноту – из узких джинсов, подчеркнуто не глядя на ее достоинство, с напором сунула в открытую ладонь Бена. Ну вот, а он о чем – Альма умеет все испортить еще больше, но так, что тебе еще придется ей «спасибо» сказать. Раз она не посмотрела, сколько дает, Бену показалось, что и ему не комильфо поступать иначе, так что он убрал мятую купюру в карман на ощупь. Теперь он чувствовал себя откровенно виноватым. Коньки нависших бровей невольно поползли к его вдовьему пику, пока он возражал против незаслуженной щедрости.

– Ты уверена, Альма? Уверена?

Она усмехнулась, отмахнувшись:

– Ну конечно. Забудь. Как ты вообще, друг? Чем теперь занимаешься?

Бенедикт был благодарен за смену темы, хотя теперь ему пришлось безнадежно искать что-то, способное с полным правом сойти за хоть какое-нибудь занятие.

– А, то да се. Недавно был на интервью.

Альма заинтересовалась, но только из вежливости.

– О, да? И как прошло?

– Не знаю. Еще не слышал. Когда брали интервью, все хотелось признаться и заявить, что «я публикующийся поэт», но сдержался.

Альма пыталась кивать с мудрым видом, но так очевидно сдерживала смех, что ни ту ни другую попытку нельзя было назвать безусловным успехом.

– Это ты правильно. Всему свое время и место, – она склонила голову набок, сузила черные птицеедские глаза, словно вдруг что-то вспомнила.

– Слушай, Бен, только сейчас подумала. Я тут писала картины, про Боро, и завтра к обеду у меня будет предварительный смотр на Замковом Холме, в яслях, где еще была школа танцев Питт-Драффен. Может, и ты придешь? Буду рада тебя видеть.

– Может, и приду. Может, и приду. Ах-ха-ха-ха, – в глубине пропитанной биттером души он знал почти наверняка, что не придет. Если честно, он ее почти не слушал – все еще вспоминал, чем занимался, кроме интервью. Вдруг вспомнил про свои походы в киберкафе и воспрянул духом. Широко известно, что Альма на пушечный выстрел не подходила к интернету, а значит, как это ни поразительно, перед ним стоял человек, который хотя бы в одной области меньше приспособлен к современности, чем сам Бенедикт. Он торжественно улыбнулся.

– А знаешь, я тут стал лазать по интернету. – Одной рукой он гордо пригладил темные кудри, а второй поправил воображаемый галстук.

Теперь Альма рассмеялась открыто. По взаимному согласию они оба закругляли беседу, начиная медленно двигаться – он вверх по склону, Альма – вниз. Словно они добрались до предписанного конца встречи и теперь обязаны разойтись вне зависимости от того, договорили или нет. Нужно торопиться, если они хотят не выбиваться из графика, занять в predetermined время в своем будущем все пустые места, которые должны занять. Все еще смеясь, она бросила через ширящуюся между ними пропасть:

– А ты у нас дитя двадцать первого века, Бен.

Смех откинул его голову, как хороший удар – боксерскую грушу. Через пару шагов он был уже в полуобороте по направлению к верхнему концу Абингтонской улицы.

– Я Кибермен. Ах-ха-ха-ха.

Их краткий узел веселья и взаимного недопонимания распутался на две свободных хихикающих нитки, что поползли каждая в своем направлении. Бенедикт уже достиг верхнего предела квартала и переходил на светофоре Йоркскую дорогу, когда наконец залез в карман и достал на свет мятую бумажку, пожалованную Альмой. Розовая, сливовая и фиолетовая – банкнота с голубым ангелом, из трубы которого изливался сиятельный фонтан нот. Они восторженной космической бурей бомбардировали Вустерский собор, а на заднем фоне возлежала на траве, впитывая ультрафиолет, святая Сесилия. Двадцатка. Добро пожаловать в мои скромные штаны, сэр Эдуард Элгар. Ранее мы были знакомы лишь мимолетно, вы уже и не вспомните, но позвольте сказать, что «Сон Геронтия» – выдающееся достижение в жанре пасторалей. Ах-ха-ха.

Божий дар. Спасибо, Господи, и передай мои благодарности Альме, которую ты явно выбрал своим представителем на Земле. Бог знает, что... в смысле, только Ты знаешь, зачем ты это удумал, но берегись последствий. И все же – просто фантастика. Он решил, что все-таки завершит свой оздоровительный моцион по дороге Уэллинборо до Абингтонского парка, несмотря на то что уже в нем не нуждался, завладев богатством, чтобы кутить где пожелает. Под настроение Бенедикт умел кутить всем на зависть, но пока что убрал банкноту в карман и, насвистывая, направился к Абингтонской площади, замолчав только тогда, когда понял, что исполняет вариацию на тему из сериала «Эммердейл». К счастью, никто как будто не заметил.

Когда-то здесь стояли восточные ворота города – как раз там, где сейчас шел Бенедикт, – в 1800-х их называли Концом Эдмунда в честь церкви Святого Эдмунда, находившейся чуть дальше вдоль дороги Уэллинборо, пока ее не снесли четверть века назад. Бену нравилась мест-

ная архитектура на подходе к самой площади – если не обращать внимания на безвкусовые метаморфозы первых этажей. Прямо через дорогу стоял роскошный кинотеатр 1930-х годов – в разные времена побывавший «АВС» и «Савоем». Он сам играл там в снайпера с вылизанной палочкой от леденца, хотя и ни разу не выбил никому глаз, как его предостерегали. Теперь здание принадлежало, как и четверть или треть основной городской недвижимости, коммуне евангеликов под названием Армия Иисуса; когда-то они начинали с маленького гнезда душе-спасенных оборванцев в близлежащем Багбруке, а потом расползлись, как выюнок-певунок, со своими богослужениями под пляски и гитару, пока радужные автобусы уже не устраивали пикники для бедняков почти по всей средней Англии. Впрочем, не сказать, чтобы Нортгемптон и религиозная мания не были знакомы. Бенедикт вышел прогулочным шагом на Абингтонскую площадь, размышляя, что в последний раз эти места видели Армию Иисуса при Кромвеле, вот только вместо брошюр та размахивала пиками. Так что какой-то прогресс наблюдается, пожал плечами Бен.

Площадь в полуденном свете казалась почти очаровательной, если не знать округу в ее молодые годы – и сравнение будет не в пользу современности. Фабрика тапочек уступила место шоуруму «Ягуара» под названием «Гай Сэлмон». Старый Ирландский центр превратили в магазин одежды бренда «Городской тигр». С тех пор, как сменилась вывеска, ноги Бенедикта внутри не было. Клиентуру он представлял себе в виде отряда разъяренных тамильцев, изучающих боевые искусства.

Стоял на постаменте, направляя движение, ослепительно-белый Чарльз Брэдлоу. Бенедикту никогда не казалось, что великий трезвенник, атеист и активист за равные права просто показывал на запад – уж скорее он напрашивался на драку в каком-нибудь салуне. Да, ты. Ты. Урод. А на кого я показываю? Ах-ха-ха-ха. Бен оставил статую слева и позади, а справа прошел непривлекательный новый паб под названием «Работный дом». Бен понимал намек: дальше по дороге Уэллинборо, напротив забранного стенами участка, где когда-то стояла церковь Эдмунда, находились остатки больницы Эдмунда: в викторианские времена – рабочего дома. Но это же все равно что открывать тематический паб под названием «Плетка» в черном квартале или «Эйхман» – в еврейском. Самую малость бесчувственно.

Бен обнаружил, что набрал крейсерскую скорость, даже несмотря на завывающий ветер в лицо. Всего как будто через мгновения слева уже маячила заброшенная громадина больницы Эдмунда – дворец в разоре, задушенный наступающими сорняками, с привидениями в разбитых глазах. Привидениями и, если верить слухам, неудачливыми просителями убежища, беженцами, не получившими заветный статус и вынужденными раскинуть лагерь в бывших палатах для смертельно больных, чтобы не возвращаться домой к деспотам или заплечных дел мастерам, от которых эмигрировали. Дом там, где больно, – золотые слова. Ему вдруг пришло в голову, что этот рабочий дом, хотя и в упадке, в своем преклонном возрасте должен быть счастлив. Ведь в него вернулись ютиться перепуганные отщепенцы, его втайне грели их тайные костры.

На другой стороне, за стеной, вдоль которой он шел, зияло отсутствие церкви Святого Эдмунда – пустой зеленый провал с торчащими тут и там надгробиями: кариозными, обесцвеченными, под бляшками птичьего помета – пораженные рецессией зеленые травянистые десны. Впрочем, с другой, положительной стороны, Бенедикт мог разобрать в гуле трафика на главной дороге песнь жаворонка – искрящиеся ноты сияющего накала, отвлекающие котлов от птенцов, спрятавшихся в кладбищенской траве. Хороший денек. А вечное – вечное никуда не делось, многообещающе выпирает из-под обшарпанной ткани настоящего.

Двигаясь на восток из города вдоль серии пабов и магазинов, Бенедикт думал об Альме. В семнадцать лет она была яростной великаншей из Грамматической школы для девочек, и казалось, будто ее гнев на мир вызван тем, что на самом деле ей двадцать девять и на нее не лезет ни одна форма. Она участвовала в создании эстетствующего студенческого журнала

«Андрогин» – рисовала карандашные иллюстрации для такого плохого, что даже хорошего словотворчества учеников пятой формы ³⁷. Бенедикт к этому времени был в Грамматической школе для мальчиков, и, несмотря на расстояние между двумя учреждениями, коммуникация продолжалась. Время от времени они виделись, и Альма – тогда пребывавшая в периоде возвышенного футуристического презрения к романтизму Бена – неохотно просила его что-нибудь дать на публикацию в их попеременно ванильной и матерной макулатуре.

Воодушевленный этой вялой просьбой, Бенедикт написал несколько строф, впоследствии вылившихся в эпическое юношеское произведение, из которого явно разочарованная Альма отобрала только короткие отрывки, остальное забраковав со зрелым критическим вердиктом: «сопливая сентиментальная херня для девочек». Его охватил стыд при мысли о том, что он до сих пор помнит ее отказ, слово в слово, тридцать пять лет спустя. А в то время, когда он обладал еще меньшим чувством меры, чем сейчас, Бен негодовал и поклялся страшно отомстить. Он возьмет отвергнутые Альмой отрывки стихотворного цикла и воздвигнет из них новый шедевр, что сотрясет мир до основания. А вот когда его призовут на литературный Олимп, он и разоблачит неспособность Альмы разглядеть его магнум опус и растопчет ее репутацию. Она станет посмешищем и парией. И поделом ей, вместе с ее эндиурхоловскими бриджетрайливскими мигреневыми каракулями. А станет это грандиозное творение душераздирающим гимном уходящему миру – пасторали Джона Клэра, золотым аллеям, по которым Бенедикту не выпало пройти вживую, а лишь в воображении, потому что он опоздал родиться. Поэму он вымучивал почти два года, пока не понял, что ничего толкового не выходит, и не бросил. А называлась она «Атлантида».

Бенедикт поднял взгляд и обнаружил, что далеко зашел по дороге Уэллинборо с последнего места, которое запомнил, – облупившегося остова «Парящего орла» на углу за больницей Святого Эдмунда. Теперь он приближался к Стимпсон-авеню, уже сомневаясь в запланированной прогулке по парку, успев отходить все ноги. Клэр, пешком преодолевший восемьдесят миль из Эссекса в Нортгемптоншир, поднял бы его на смех. В те дни чокнутых поэтов делали покрепче, на века. Бен решил, что погуляет по Абингтонскому парку в другой раз, пока удовлетворившись визитом в «Корону и подушку», чуть выше по оживленной улице. О вылазке на природу он думал, только когда было нечего делать, до встречи с Альмой, но теперь дела пошли в гору. Теперь у него есть бизнес-план.

Он давненько не заходил в «Корону и подушку», хотя когда-то – сразу после расставания с Лили – был там завсегдатаем. Его отношения с клиентурой паба в лучшем случае можно было назвать амбивалентными, зато ему нравилось само место. Почти не изменившаяся пивная по-прежнему сохраняла историческое название и не стала каким-нибудь «Веселым придурком», «Работным домом» или «Мышью и астролябией». Бенедикт до сих пор со смесью стыда и гордости помнил, как однажды ворвался в бар, требуя сатисфакции, когда решил, что собутыльники не воспринимают его статус публикующегося поэта всерьез. Стихи Бена только что опубликовали в местном «Хроникл энд Эхо», и, влетев в распашную дверь «Короны и подушки», словно буйный ковбой, при виде которого замолкает пианино, он швырнул тридцать газет в воздух с торжествующим воплем «Выкусите! Ах-ха-ха-ха!» Естественно, его тут же выперли и сделали персоной нон гранта, но это было много лет назад, и если повезет, то персонал и посетители той эпохи либо уже покойники, либо склеротики.

А если и нет, по традиции паб всегда демонстрировал поразительную терпимость и даже дружелюбие к разным эксцентрикам, что переступали его порог. Очередная причина, почему Бену там нравилось, думал он, толкая дверь и заходя с яркого, режущего глаз дневного света в уютный полумрак. Здесь сживали субчики и похуже его. Вспомнилась история из самого начала 1980-х, согласно которой над баром снимал комнату сэр Малкольм Арнольд, великий

³⁷ Пятая форма – предпоследний старший класс в английской средней школе.

трубач и аранжировщик такого хита, как «Полковник Боги», душевнобольной алкоголик, в некоторых случаях гость паба, а в некоторых – буквальный пленник: почти каждую ночь его сволокивали вниз на потеху пьяной и наглой публики. Тот самый человек, что написал «Тэм-о-шентер», лихорадочный аккомпанемент к бернсовским ужасам о пьянстве – где пирующего героя гонит во мраке высокогорья Дикая Охота фейри под медные и деревянные духовые. Тот самый сэр Малкольм Арнольд, который, если Бен не ошибался, когда-то был директором Королевской школы музыки – музыкальный эквивалент придворного поэта, – бренчал на джоанне³⁸ для зубоскалов и горлопанов. Старый и измученный бисексуал шестидесяти лет – кто знает, какие бесы и белочки, джинны и тоники неслись табуном в его воспаленной голове, блестящей от испарины и склоненной над трезвоном желтых клавиш?

Бенедикт встал у самой двери, пока зрачки не расширились и не нашли стойку. Он обратил внимание на то, что персонал и декор с его последнего визита обновились. Это и к лучшему, особенно в случае персонала – ведь, насколько знал Бен, декор он ничем не оскорбил. Хотя кто-то может не согласиться. Ах-ха-ха-ха. Бенедикт подошел к стойке и заказал пинту биттера, с форсом шлепнув двадцатку на недавно вытертую и еще влажную поверхность. Хотя хорошее настроение омрачило сожаление из-за расставания с Элгаром. По большому счету Бен жалел себя, но отчасти искренне переживал из-за сэра Эдуарда, изводился, что оставлял композитора без присмотра в «Короне и подушке». Сами посмотрите, что они учинили с Малкольмом Арнольдом.

Забрав кружку на пустой столик, каких было не по сезону много, Бен ненадолго предался мрачной фантазии, что было бы, если бы в наказание за случай с газетами его заключили здесь так же, как Арнольда. Каждую ночь в его комнату врывались бы хмельные головорезы и тащили в салун, где бы накачивали допьяна и заставляли декларировать свои самые искренние и надрывные сонеты перед глумливыми обывателями. Если честно, не так уж и плохо. У него бывали такие пятничные вечера, причем без невообразимой роскоши, чтобы его еще бесплатно накачивали. Если задуматься, у него бывали такие целые годы. Например, когда Лили сказала ему искать себе новое жилье, и он поселился в превращенном в коммуналку доме на дороге Виктории, был как многомесячный «Тэм-о-шентер» на повторе. Приходил на бровях под дверь в три ночи без ключей, требовал, чтобы чернь впустила публикующегося поэта, затем включал на граммофоне Dansette на полной громкости Дилана Томаса, читающего «Под сенью молочного леса», пока его не угрожали убить все соседи. Да что он вытворял? Однажды ночью прокрался на общую кухню и съел целых четыре куриных блюда, которые приготовила на завтра угрюмая и жестокая татуированная парочка сверху, потом перебудил других жильцов, чтобы похвастаться. «Ах-ха-ха! Я сожрал у придурков обед!» Оглядываясь назад, Бен осознавал, как ему повезло пережить те отчаянные дни без линчевания, не говоря уже – без единой царапины.

Он отпил биттер и, воспользовавшись светом, падающим из окна, под которым сидел, достал из сумки «Нортгептонширскую антологию» и начал читать. Первым делом его глаза упали на «Песнь рыболова» – произведение Уильяма Басса, буколического поэта семнадцатого века с неопределенным, но, скорее всего, местным происхождением.

Как для утех мы ищем слов,
Кто хвалит ястребов, кто псов,
Кому-то по душе лишь спорт,
Другой – в объятьях игр ждет.
Но я не чту досуг иной,
Как на берегу сидеть с удой.

³⁸ Сленг основанного на рифмах диалекта кокни для слова «пианино», которое в оригинале рифмуется с именем Джоанна: piano – joanna.

Бену понравилось стихотворение, хотя сам он не рыбачил с первых юношеских проб, когда, замахиваясь удочкой, случайно подцепил крючком другого ребенка. Он помнил кровь, крики, а хуже всего – полную невозможность сдержать неуместный стыдливый смех во время оказания первой помощи. На этом и заканчивались все отношения Бенедикта с рыбалкой, хотя сама идея ему импонировала. Это часть его аркадской мифологии наравне с фавнами и пастушками – рыбак, дремлющий у ручья, полуденное тиховодье реки, – но, как и с пастушками, на практике он с этим не сталкивался.

По зрелом размышлении, наверняка потому-то Бен и не закончил много лет назад «Атлантиду» – из-за ощущения, что она не от сердца, что он пошел по ложному пути. Начиная от ее школьником из темного дома на Школьной улице и сетовал на грязные фабричные дворы, как бы делал, по его мнению, Джон Клэр; оплакивал буколическую идиллию, на смену которой пришли современные злые улицы Боро. Только когда снесли сами кирпичные крыши и поросшие деревьями каминные трубы, к нему пришло запоздалое понимание, что вымирающим ареалом, который нужно увековечить в памяти, были как раз эти узкие проулки. Бутылочные крышечки, а не полевые колокольчики. Он выкинул центральную метафору – тонущие, стонущие шпалеры континента, который он якобы утратил, хотя никогда в жизни не видел, – и взамен написал «Зону сноса». Когда того района, что знал Бенедикт, не стало, поэт наконец обрел голос – голос искренний, голос Боро. Оглядываясь назад, он думал, что новая поэма была скорее о том, как сравнивались с землей воздушные замки его иллюзий, а не родной район, – впрочем, по сути это было одно и то же.

Он закурил, отметив, что в истощенной пачке еще шуршат шесть сигарет, и пролистал компендиум с алфавитным порядком, в этот раз проскочив мимо Клэра, пока не наткнулся на бесспорно подлинный голос Боро – Филипа Доддриджа. Хотя стихотворение называлось «Послание Христа» и основывалось на строчках из Евангелия от Луки, это был текст самого известного гимна Доддриджа: «Чу! Радости внемли! Идет! / Идет Спаситель наш!» Бенедикту нравились восклицательные знаки, которые кричали о Втором пришествии, как хриплый трейлер киносиквела. В глубине души Бен не был в восторге от христианства – на это не в последнюю очередь повлиял несчастный случай с лихачившей сестрой, когда ему было десять, – но все же он слышал и уважал сильную интонацию Боро в строках Доддриджа, его переживание за сырых и убогих, явно обострившееся за время службы на Замковом Холме. «Идет разбитые сердца / И души исцелить, / И благодатью нищету / Тотчас обогатить».

За это можно выпить. Подняв кружку, Бенедикт заметил, что отливная прибойная пена уже опустилась наполовину. Осталось всего глотка четыре. Ну что ж. Сойдет. Будет смаковать подольше. Больше здесь он брать не будет, несмотря на оставшиеся семнадцать с чем-то фунтов. Бен странствовал по книге, пока не добрался до Фейнов из Эйпторпа: Майлдмэя Фейна, второго графа Вестморленда, и его потомка Джулиана. Он задержался на них только из-за имен и названий – «Майлдмэй» и «Эйпторп», – но скоро его не на шутку увлекло описание Джулианом родового гнезда – места, которым восхищался и фанат Нортгемптона поэт Джон Бетчмен. «Мой отчий дом, что из седых камней, Среди пейзажей Англии стоит – Лишь в ней дано узреть сию красу. / Над ним свод зелени густой; внизу / По пастбищам струится вдаль ручей...» Ручей так и журчал, пока он допивал свою пинту и брал новую, даже не приходя в сознание.

Вдруг на часах уже десять минут четвертого, а он в полумиле от паба, выходит с Люттервортской дороги на Биллингскую, чуть ниже места, где когда-то была Грамматическая школа для мальчиков. Зачем его сюда занесло? Он смутно помнил, как стоял в туалете «Короны и подушки» – призрачный момент, когда таращился сам на себя в зеркало, прикрученное над раковиной, – но, хоть убей, не помнил, чтобы выходил из паба, не говоря уже о сказочном пути в духе фейри, который, очевидно, проделал сюда от дороги Уэллинборо. Может, он хотел вернуться в центр города, но выбрал долгий, хотя и приятный глазу маршрут? Выбрал, пожа-

луй, сильно сказано. Путь Бена по жизни предопределял не столько выбор, сколько могучее подводное течение его причуд, не раз выносившее на неожиданный пляж, как сейчас.

Через улицу и в некотором отдалении слева высился красный кирпичный фасад бывшей грамматической школы за плоскими газонами и гравийным двориком, где торчал голый флагшток – а как без знамени не разберешь, на чьей стороне учебное заведение. Бенедикт понимал эту скрытность. В наши дни перед школами ставили цели – а вернее, устрашающие целевые показатели, – а не они сами стремились к ним. За спокойным фасадом и отрешенным взглядом высоких белых окон тянулись классы, кабинеты рисования, физкультурные корпуса и игровые площадки, подлесок и бассейн, пытавшиеся не видеть гибельную тень, что отбрасывали на них рейтинги частных школ. Конечно, срочного повода для беспокойства не было. Хотя и позорно пониженная в середине 1970-х от снобской грамматической до простецкой общеобразовательной, школа по-прежнему пользовалась тающей аурой и остаточной репутацией в качестве уникальных преимуществ на конкурентном рынке, которым стало образование. Призывы к давнему элитному статусу школы и призрак знатного прошлого как будто достигли цели и завоевали интерес обеспеченного родителя с разбегающимися от выбора глазами. Оказывается, как слышал Бен, они даже монастырский подход к раздельному обучению сумели преподнести в лучшем свете. Всякий, кто хочет отправить сюда сына, сперва должен написать скромное сочинение и объяснить, почему же конкретно его ребенок выиграет от занятий в атмосфере строгого гендерного апартеида. И что они ожидают услышать от людей? Что все, чего они хотят для маленького Джайлса, – чтобы в лучшем случае он вырос неуклюжим и бестолковым в отношениях с женщинами, а в худшем – геем-маньяком-насильником? Ах-ха-ха-ха.

Бенедикт пересек дорогу и свернул направо, возвращаясь в центр и оставляя школу позади. Когда-то он здесь учился, и ему не понравилось. Среди прочего, потратив первые десять лет на планете, как говорила его мама, «валяя дурака», он не сдал с первого раза экзамены «одиннадцать плюс»³⁹. Пока все умные детишки вроде Альмы пошли в грамматические школы, Бенедикт посещал Спенсеровскую, что теперь в устрашающем Спенсеровском районе с быдлом и гопниками. Он был не глупее Альмы и остальных, просто не принимал какие-то там экзамены всерьез. Впрочем, после года-двух в Спенсере его интеллект засиял в окружающей серости, и уже скоро его перевели в грамматическую школу.

Но там он как будто жил со стигмой, даже среди исчезающе малой группы других мальчиков из рабочего класса, которым в одиннадцать хватило мозгов расставить галочки в нужных клеточках. А с подавляющим большинством из среднего класса, особенно учителями, у Бена и вовсе не было шансов сблизиться. Другие мальчики в основном были еще ничего, вели себя и говорили так же, как он, но все равно хихикали, когда кто-нибудь поднимал руку и отпрашивался не в туалет, а в нужник. Но если задуматься, пожалуй, он сравнительно редко сталкивался с подобными предубеждениями. Он хотя бы не был черным, как Дэвид Дэниэлс на класс старше – тихий и добродушный паренек; его Бен знал через Альму, разделявшую увлечение мальчика американской научной фантастикой и комиксами. Бен помнил одного учителя математики, который отправлял во внутренний двор под окно класса чистить губки для доски только небелого, чтобы он стучал ими одна о другую, пока черная кожа не бледнела от меловой пыли. Стыд и позор.

Бен на своей шкуре испытал несправедливость учебного процесса, при котором жизни и карьеры детей определял экзамен в одиннадцать лет. И как тут не вспомнить, что как раз в прошлом году Тони Блэр установил целевые показатели по успеваемости для детей младше пяти лет? Скоро будут стандарты для зародышей, чтобы и они чувствовали себя отсталыми и никчемными, если пальцы окончательно не разлепят к третьему триместру. Станут обыч-

³⁹ Экзамены для 11—12-летних по окончании начальной школы для выбора следующего учебного заведения.

ным делом предродовые самоубийства из-за учебного стресса, эмбрионы в депрессии будут пачками вешаться на пуповинах, царапая прощальные записки на плаценте.

Бенедикт осознал, что мимо стробоскопом мелькают прутья забора, за которыми высятся темные хвойные деревья, и вспомнил, что идет мимо больницы Святого Андрея. Неужели поэтому он выбрал такой маршрут домой – импульсивное паломничество туда, где больше двадцати лет продержали Джона Клэра? Возможно, он безотчетно вообразил, будто мысль, что его кумир Клэр был еще бо́льшим безнадежным клоуном, чем сам Бен, поднимет боевой дух?

Если так, то он просчитался. Только что он завидовал пленнику паба сэру Малкольму Арнольду – который, кстати говоря, тоже был выпускником грамматической школы для мальчиков и пациентом больницы Андрея, – теперь же Бенедикт поймал себя на том, что рисует в мыслях просторные земли учреждения за оградой и завидует Джону Клэру. Спору нет, в 1850-х больница Святого Андрея, когда она еще называлась Нортгемптонской психиатрической лечебницей, была не такой уж роскошной, но все же, скорее всего, куда более уютным прибежищем для заблудших и настрадавшихся поэтических душ, чем, скажем, Башенная улица. Чего бы только Бен ни отдал, чтобы променять свои текущие условия на условия дурдома девятнадцатого века. Если кто-нибудь спросит, почему не ищешь работу, можно ответить, что уже на полную ставку занят на должности старинного сумасшедшего. Можно весь день бродить по Елисейским полям или же прогуляться в город и посидеть под портиком церкви Всех Святых. Пока все расходы оплачивает литературный меценат, пиши свободно, сколько влезет, – в основном про то, как плохо тебе живется. А когда даже поэтические усилия окажутся неподъемными (а это может случиться с каждым, подумал Бен), всегда можно забыть свою утомительную личность и побыть кем-нибудь другим – папашей королевы Виктории или Байроном. Серьезно: если ты лишился разума, то есть места для его поисков и похуже, чем кусты у больницы Андрея.

И, очевидно, Бен в своем мнении был не одинок. В годы с поры Клэра стенающие и слоняющиеся палаты лечебницы стали залом больной славы. Женоненавистник и поэт Дж. К. Стивен. Малкольм Арнольд. Дасти Спрингфилд. Лючия Джойс, дитя куда более знаменитого Джеймса Джойса, щекотливое психологическое состояние которой впервые стало заметно во время работы главным помощником отца над нечитаемым шедевром, «Поминками по Финнегану» – тогда он еще назывался «Неоконченный труд». Дочь Джойса прибыла сюда, в дорогой и расхваленный, хотя вполне заслуженно, оздоровительный центр на Биллингской дороге в конце сороковых и, по-видимому, осталась под таким впечатлением, что прожила там все оставшиеся тридцать лет до самой смерти в 1982-м. Но даже смерть не разлучила Лючию с Нортгемптоном. Она попросила похоронить ее здесь, на Кингсторпском кладбище, где теперь и покоилась в паре метров от надгробия мистера Финнегана. До сих пор странно думать, что все время, пока Бен учился в грамматической школе, по соседству жила Лючия Джойс. Он рассеянно задумался, не сталкивалась ли она с Дасти или сэром Малкольмом, ненадолго представив все трио на сцене ради какой-нибудь арт-терапии, с меланхоличным видом распеваящим хит Спрингфилд «Я просто не знаю, что с собой делать». Ах-ха-ха-ха.

Бенедикт слышал, что одним из посетителей Люции был Сэмюэл Беккетт – сперва в Святом Андрее, а позже – на кладбище в Кингсторпе. Одна из безумных иллюзий Люции была уверенностью, будто бы Беккетт, заменивший ее в работе над «Неоконченным трудом», влюбился в нее. Каким бы катастрофическим ни было это заблуждение для всех вовлеченных лиц, эти двое, похоже, смогли остаться друзьями – по крайней мере, если судить по количеству визитов. Закадычный приятель Бена Дэйв Терви, компаньон по любительскому крикету покойного Тома Холла, рассказал Бенедикту о единственном появлении Беккетта в «Альманахе Уиздена»⁴⁰: он играл против Нортгемптона на «Каунти граунд». Среди команды гостей Беккетт отли-

⁴⁰ Ежегодный справочник о крикете, прозванный однажды «Библией крикета».

чился не так заметно, как впоследствии на художественном поприще. Вечер после игры он провел в одинокой прогулке по нортгемптонским церквям, пока его коллеги знакомились с другими развлечениями, которыми славился город, а именно с пабами и шлюхами. Бенедикт находил его поведение достойным уважения, по крайней мере в теории, хотя невысоко ценил Беккетта-автора. Длинные паузы, безумные монологи. Уж слишком похоже на жизнь.

Теперь Бен прошел больницу Андрея, пересек верх Клифтонвиля, отмеренными заплетающимися шагами направляясь по Биллингской дороге в город. В школьное время он проделывал этот путь каждый будний вечер – домой на Школьную улицу верхом на велосипеде, уезжая в закат, словно каждый день был фильмом – а в случае Бена так часто и казалось. Обычно «Утиным супом», с Бенедиктом в роли и Зеппо, и Харпо – с инновационным подходом он представлял их в качестве двух сторон одной и той же проблемной личности. Поток в целом приятных и только изредка ужасающих воспоминаний – словно карусель с кое-где развешанными лошадиными кишками – принес Бена к центру. Там, где Биллингская дорога кончалась перекрестком с Чейн-уок и Йоркской дорогой, у Городской больницы, Бен протанцевал по зебре и двинулся вдоль Спенсеровского проезда.

Над тротуаром нависали ветви от церкви Святого Эгидия, по трещинам мостовой шуршали живой графикой обрезки света и тени. За низкой стенкой справа от Бена были низкая трава и мраморные надгробия, облезавшие скамейки, покрытые инициалами сотен мимолетных отношений, и карамельные камни самой церкви – возможно, одной из остановок в одиночном ночном туре Сэма Беккетта. Церковь Святого Эгидия была старой – не древней, как Святого Петра или Храма Господня, но старой, простояла здесь дольше, чем помнит кто-либо из живущих. Она уже явно была открыта ко времени, когда Джон Спид подготовил городскую карту 1610 года, факсимиле которой хранилось у Бенедикта до сих пор, в рулоне где-то за шкафом на Башенной улице. Передовой технический чертеж в свое время, современным глазам его слегка мультяшные изоморфные ряды домов казались произведением ребенка – талантливого, но наверняка аутиста. И все же образ Нортгемптона начала семнадцатого века, грубый срез сердца с множеством лишних желудочков, приносил радость. Когда Бенедикт чувствовал, что современный городской пейзаж ему вконец опостылел, – ну, скажем, каждый пятый день, – он представлял, что прогуливается по простой и безжизненной флатландии на плане Спида, пока вокруг на глазах вырисовываются давно сгинувшие достопримечательности, темные от штриховки пером. Обрамленные чернильными тротуарами белые улицы, лишённые человеческой сложности.

Бенедикт продолжил путь на улицу Святого Эгидия, пройдя мимо еще действующей нижней части полузакрытого, полузабытого «Пассажа Кооп», ненужные верхние этажи которого хмуро взирали на параллельную Абингтонскую улицу – в паре шагов по отлогому склону южного бока города. После зияющего трескового рта Рыбной улицы стоял «Парик и ручка» – стерилизованная и переименованная оболочка места, которое некогда звалось «Черным львом» – только не тем «Черным львом», что на Замковом Холме, куда более старинным. В 1920-х «Черный лев» на улице Святого Эгидия был салоном городской богемы и гордился – или позорился – этой репутацией до конца восьмидесятых, когда и воплотились нынешние реновации. По словам экспертов, включая Эллиота О’Доннела, была у этого заведения и другая репутация – одного из самых больших скоплений призраков в Англии. Когда баром владел Дэйв Терви – примерно тогда же, когда завсегдатаями «Черного льва» были Том Холл, Альма Уоррен и вообще большая часть потусторонней портретной галереи Пьета де Шелкка, – на лестницах то и дело слышались шаги, переставлялись и передвигались предметы. Весь срок Терви здесь являлись наваждения, чего-то пугались животные, как и у предыдущих хозяев. Бен празднично задумался, не заставили ли заодно обновиться и призраков, чтобы соответствовать родному пабу, и если вдруг еще раздастся звон цепей и скорбные вопли, то одно из при-

видений только оторвется от своего «обеда пахаря» и зароется в пиджак, бормоча: «Простите, ребят. Это у меня. Алло? А, привет. Да. Да, я в астрале». Ах-ха-ха-ха.

Направо от Бена теперь поднимались широкие имперские ступеньки к парящему хрустальному дворцу, напоминающему собор из Дэна Дейра ⁴¹, только там всего лишь приходилось платить налоги. Из-за этого, несмотря на весь изысканный и величественный дизайн, у здания всегда была аура лобного места, как и у старого Центра занятости на Графтонской улице. Счета, обложение и взрослая ответственность. Такие места были точильными брусками, что стесывали людей, стирали с них целое измерение. Бенедикт заторопился мимо, и мимо прилегающего Гилдхолла, по которому не скажешь сразу, то ли его недавно отчистили, то ли камни выбелили бесчисленные залпы вспышек на бесчисленных свадьбах. В углах парадных каменных ступенек скопились геологические страты конфетти – брачной перхоти.

Это было третье и, вполне возможно, последнее место, где остановилась ратуша после забытой Мэйорхолд и промежуточной позиции в основании Абингтонской улицы. Бен поднял глаза мимо святых и регентов, украшавших затейливый фасад, туда, где на высоком коньке меж двух шпилей стоял святой – покровитель города с жезлом в одной руке, щитом в другой и сложенными за спиной крыльями. Бенедикт до сих пор не понимал, как архангела Михаила приняли в святые – ведь, если Бен не ошибался, канонизировали людей, стремившихся к святости посредством тяжелого труда и набожности и исполнявших какие-нибудь волшебные чудеса. Разве у архангела нет несправедливой форы, раз он сам по себе чудо? Так или иначе, как известно любому школьнику, архангелы в небесной иерархии стоят выше любого святого. Как же Нортгемптон умудрился заполучить в покровители одного из четырех замов Господа? Какими посулами город приукрасил такую низкую по небесной табели о рангах должность?

Бен перевалил за Лесной Холм и спустился вдоль северной стороны Всех Святых, где некогда в нише портика привычно сиживал Джон Клэр – дельфийский оракул в увольнительной. Перешел дорогу перед церковью, продолжая путь по Золотой улице в изобилии витрин, словно ему до сих пор шестнадцать и он катился на велике. У подножия, пока он ждал светофора, чтобы пересечь Конный Рынок, бросил взгляд налево, где Подковная улица бежала к Пути Святого Петра и бывшему Газовому управлению. Согласно местной мифологии, именно сюда, где в паре ярдов от угла Бенедикта стоял старый бильярдный зал, во времена до нашествия норманнов приходил пилигрим с Голгофы – места, где, предположительно, распяли Христа, в самом Иерусалиме. Оказывается, монах откопал у распятия древний каменный крест, а мимопроходящий ангел велел ему отнести артефакт в «центр его земли» – то есть, видимо, в Англию. На полпути нынешней Подковной улицы ангел явился вновь и подтвердил страннику, что он-де нашел нужное место. Крест из далеких краев заложили в стену церкви Святого Григория, что в англосаксонские времена стояла прямо тут, через дорогу, монаха похоронили под ней, и это место само стало объектом паломничества. Крест называли рудом в стене. Здесь-то, в наших палестинах, на грязной окраине Боро, полагался мистический центр Англии, причем так думал не один только Бенедикт. Так думал Бог. Ах-ха-ха-ха.

Цвет сменился, светящийся зеленый человек обозначил, что работникам ядерной индустрии можно спокойно переходить дорогу. Бен выбрал на Лошадиную Ярмарку, направляясь к западу и церкви Святого Петра по улице, которая для Бенедикта навсегда останется главной в городе. Он по-прежнему абстрактно размышлял об ангелах – из-за архангела, примостившегося на Гилдхолле, и того, что показал монаху, где оставить крест на Подковной улице, – и вспомнил как минимум еще одну историю о небесном вмешательстве, имевшем место на дороге, которую он как раз мерил шагами. В одиннадцатом веке в церкви Святого Петра впереди случилось чудо: ангелы указали молодому крестьянину по имени Айвальд на утраченные мощи святого Рагенера, скрытые под плитами нефа, и он извлек их в ослепительном свете

⁴¹ Британский герой послевоенных комиксов, пилот космического флота.

под аккомпанемент из брызг святой воды от Святого духа, явившегося в виде птицы. Калика-попрошайка, видевшая произошедшее, встала и пошла – так уж гласит предание. Оно только укрепляло Бена в отчетливых подозрениях, что в Темные века и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на ангела, который пошлет на Лошадиную Ярмарку.

Бенедикт дошел до верха Школьной улицы, убегающей от Ярмарки налево, и только тут понял, что наделал. Вне всяких сомнений, это все его экскурсия на Биллингскую дорогу – она подтолкнула к мысли пройти по старому велосипедному маршруту от школы к дому, который давным-давно снесли. Блаженно поплыв на протекающем каноэ по затянутому ряской потоку сознания, он словно умудрился забыть предыдущие тридцать семь лет жизни, а взрослые ноги без труда вернулись в старые колеи, проторенные в мостовой их былыми маленькими версиями. И что же это с ним не так? Ах-ха-ха-ха. Но серьезно, что с ним? Это что же, начало маразма с мокрыми панталонами и попыток вспомнить, какая из палат – его? Честно, даже несмотря на солнечный полдень, ощущение было довольно жуткое – словно обнаружить, что посреди ночи пришел во сне на могилу отца.

Он стоял, глядя на узкую дорогу, пока пешеходный поток Лошадиной Ярмарки разбивался о него, как ручей, словно Бенедикт был забытой тележкой из супермаркета, – он даже не замечал бурлящей суматохи вокруг. К счастью, Школьную улицу было не узнать. Лишь миниатюрные щепки прошлого все же кололи занозами в сердце. Булыжники, которые так и не переложили, и заросшие мхом трещины составляли знакомую до боли дельту. Сохранившиеся нижние пределы фабричной стены, доходившей до самой улицы Григория, папоротник и юные ветки, пробивавшиеся в гнилые рамы бывших окон, которые теперь сложно было назвать даже дырами. Он был благодарен, что поворот улицы загораживал место, где когда-то жило семейство Перритов, – теперь там, где они смеялись, спорили и ссали в раковину, если на улице было слишком холодно, все вместе в одной комнате (передний зал превратили практически в витрину для самой ценной собственности семьи), раскинулся склад какой-то фирмы. Вот это, думал он, и есть настоящая Атлантида.

Будучи претенциозным подростком, он скорбел по утрате хлебов и пашен, которых никогда не знал, по которым было прилично скорбеть Джону Клэру. Бенедикт слагал элегии по сгинувшей сельской Англии, не замечая плодородной кирпичной природы вокруг, но оказалось, что траву, цветы и заливные луга можно найти всегда, если только захотеть. А вот Боро – уникальный подлесок человеческих жизней; ищи его сколько хочешь, но этого вымирающего ареала больше нет. Континент в полумиллю диаметром ушел на дно под потоком паршивой социальной политики. Сперва все громче рокотал Санторини понимания, что земля Боро будет куда ценнее без своих обитателей, затем бульдозерным приливом нахлынули «Макалпайны». По району плеснула желтая пена касок, разбившись о берега Конца Джимми и Семилонга, человеческие обломки вынесло мусорным прибоем в стариковские квартиры в Кингс-Хит и Абингтоне. Когда сошла строительная волна, остались лишь моллюски-небоскребы, остовы затонувших предприятий и редкий бывший житель, трепыхающийся и хватающий ртом воздух в каком-нибудь осушенном подземном переходе. Бенедикт, допотопный изгой, стал Старым Мореходом исчезнувшего мира, его Измаилом, его Платоном, ведущим учет существ и деяний столь фантастических, что кажутся невероятными – в последнее время даже самому Бену. Заложенный кирпичом вход в его подвале в средневековую туннельную систему – не сам ли он это выдумал? Лошадь, что каждый вечер привозила отца домой, пока сам Джем дрых за поводьями, – возможно ли это? Неужели правда были смертоведки, коровы на вторых этажах домов и чумная телега?

Кто-то едва не врезался в Бенедикта, извиняясь, хотя виноват явно был сам Бен – встал, разинув рот, и перегородил пол-улицы.

– О-о, прости, мужик. Не вижу, куда иду.

Молодая полукровка, или, как их нынче зовут, женщина смешанной расы, тощая, но приятная, не старше тридцати. Прервав грезы Бена о затонувшем Эдеме, она вдруг предстала настоящей ундиной – по крайней мере в его воображении. Сохранившаяся наперекор одному из родителей легкая бледность кожи, что казалась глубоководным фосфоресцирующим свечением, волосы, расчесанные на полоски веточками кораллов, влажный глянец куртки – все подкрепляло подводную иллюзию. Хрупкая и экзотичная, как морской конек, – теперь Бен уже представлял ее в роли лемурской султанши, с сережками-дублонами с потопленных галеонов. Из-за того, что такая загорелая сирена извиняется перед уродливым, побитым ветрами рифом, на который ее выбросило без спросу, Бенедикт почувствовал себя вдвойне виноватым, вдвойне пристыженным. Он ответил высоким полузадушенным смешком, чтобы успокоить ее.

– А-а, ничего, милая. Все в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Ее глаза чуть расширились, а накрашенные жидкие губы – два облизанных леденца – вздрогнули в какой-то судороге. Она вопросительно смотрела на него, но Бену были незнакомы схема рифмовки и стихотворный размер в ее глазах. Что ей нужно? То, что их встрече суждено было произойти на улице, где Бен родился и где оказался по не более чем пьяной случайности, стало опасно пахнуть роком. Неужели... ах-ха-ха-ха... неужели она его узнала, каким-то образом разглядела в нем поэзию? Заметила мудрость за нервозностью и пивным дыханием? Неужели это предопределенный момент – блуждая напротив отеля *ibis* на Лошадиной Ярмарке в лучах вечного солнца с бледными звездами втопанной жвачки у дверей «Доктора Мартинса», встретить свою царицу Савскую? Маленькие мышцы в уголках ее рта заходили – она готовилась заговорить, что-то сказать, спросить, художник он или музыкант, или даже не он ли тот самый Бенедикт Перрит, о котором она столько слышала. Блестящие, вымоченные в «Мэйбеллине» лепестки наконец разомкнулись, распустились.

– Не хочешь развлечься?

А.

Запоздало, но до Бена дошло. Они не две родственные души, сведенные неизбежной судьбой. Она – проститутка, а он – пьяный дурень, вот так все просто. Теперь, узнав ее профессию, он увидел измождение на лице, темноту у глаз, отсутствующий зуб и дерганое отчаяние. Свою оценку он сместил с тридцати до подросткового возраста. Бедняжка. Надо было сразу догадаться, как только она с ним заговорила, но Бен вырос не в том Боро, который теперь стал нортгемптонским районом красных фонарей; теперь приходилось постоянно напоминать себе о его новой главной функции. Сам он никогда не пользовался услугами проституток, даже никогда не задумывался – не из-за ощущения превосходства, но больше потому, что считал целевой аудиторией ночных бабочек преимущественно средний класс. Зачем парню из рабочего класса платить девушке из рабочего класса, если только не из-за личной некомпетентности или неизбежного одиночества? Ведь с такими, как она, он вырос и в какой-то степени их впоследствии деэротизировал. Бену казалось, что это скорее всякие хью гранты нашего мира считают прилагательные вроде «грубый» или «грязный» возбуждающими концепциями, тогда как он рос в обществе, где подобные слова приберегали для кошмарных кланов вроде О’Рурков или Пресли.

Он почувствовал себя не в своей тарелке, впервые столкнувшись с этой ситуацией, и делу вовсе не шло на пользу растущее разочарование. Какой-то миг он был на грани романтики, прозрения, вдохновения. Нет, конечно, он не верил, что перед ним лемурская султанша, но все же тешил себя надеждой, что она чувствительная и сочувствующая девушка, разглядевшая в нем барда, вилланели и бросовые сестины в его осанке. Но все оказалось ровным счетом наоборот. Она приняла его за очередного одинокого пошляка, романтические устремления которого не простирались дальше дробки в подворотне. Как же она могла так в нем ошибаться? Ему казалось, он должен донести, как она его недооценила, как это абсурдно – из всех людей увидеть потенциального клиента именно в нем. Впрочем, из-за жалости к девушке и нежелания

огорчать ее мыслью о том, как она его задела, он решил передать свои чувства при помощи комедии в духе «Илингга»⁴². Он находил такой подход лучшим почти для всех деликатных или неловких социальных обстоятельств.

Бенедикт искажил резиновую физиономию в викторианском моральном шоке, словно мистер Пиквик при встрече с малолетним уличным торговцем дилдо, затем так могуче перевернул плечами в афронте, что сотряслись все внутренности. У девушки к этому моменту вид стал несколько испуганный, так что Бен решил получше подчеркнуть, что его поведение – комичная гипербола. Повернув голову, он обратился от нее взглядом туда, где находились бы телезрители, если бы жизнь на самом деле была шоу розыгрышей со скрытой камерой, как он иногда подозревал, и вместо закадрового смеха захохотал сам.

– Ах-ха-ха-ха. Нет-нет, все в порядке, милая, спасибо. Нет, бог с тобой, все в порядке. Я в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Казалось, представление хотя бы лишило ее уверенности, что Бен – потенциальный клиент. Теперь девушка уставилась на него так, словно и понятия не имела, с кем столкнулась. Явно выбитая из колеи, непонимающе сдвинув брови и нахмутив лоб, она снова попыталась удачи:

– Точно?

Как ей еще втолковать? Ему что, изобразить весь номер с доской, ведром с краской и кожурой от банана, чтобы она поняла, что он слишком поэтичен для секса за помойкой? Одно было очевидно: тонкость и недомолвки не сработали. Придется расписать в более широких мазках.

Он закинул голову с насмешливым гоготом, представлявшимся ему в духе Фальстафа, – и был бы близок к правде, будь Фальстаф известен как костлявый тенор.

– Ах-ха-ха-ха. Нет, милая, я в порядке, что ты. И все в порядке. Чтобы ты знала, я публикующийся поэт. Ах-ха-ха.

Это сработало. Судя по выражению лица, у девушки не осталось ни малейших сомнений, кто такой Бен Перрит. С застывшей улыбкой она начала отступление, не спуская с него настороженного взгляда и пятясь к Лошадиной Ярмарке – очевидно, опасаясь поворачиваться спиной, пока не отойдет подальше, на случай, если он бросится за ней. Она процокала мимо Дома Кромвеля в направлении вокзала, замерла у церкви Святого Петра, чтобы рискнуть и взглянуть через плечо на Бенедикта. Очевидно, она приняла его за психопата, потому он закатился беспечным визгливым смехом, чтобы ее окончательно переубедить, после чего она прошла мимо церкви и растворилась в толпе возвращающихся с работы людей на Холме Черного Льва. Его муза, его русалка скрылась, напоследок вильнув хвостом и блеснув виридиановой чешуей.

Значит, уже пять. Пять вещей, которые не удавались Бену. Сбегать, искать работу, нормально объясняться, не казаться пьяным и разговаривать с женщинами, если не считать маму или Альму. Лили – она оказалась исключением, она действительно видела его душу и поэзию. Ему всегда казалось, что с Лили можно разговаривать по-настоящему, хотя, оглядываясь назад, Бен мучился от понимания, что по большей части нес пьяную ересь. Наверное, именно поэтому между ними все и кончилось. Выпивка и, если быть до конца честным, настояние Бена, чтобы правила в отношениях с Лили были такими же, что тридцать лет назад устраивали его родителей, Джема и Айлин, – а особенно те, что устраивали Джема. Тогда Бен еще не понял, что все меняется – не просто улицы или районы, но умонастроения; то, что люди готовы терпеть. Он думал, что хотя бы у себя дома сохранит осколок жизни, которую видел прямо здесь, на Школьной улице, где жены переносили постоянное пьянство мужей и почитали за счастье, если их хотя бы не колотили. Он притворялся, что мир по-прежнему таков, и был поражен до самой глубины души, когда Лили забрала детей и продемонстрировала, что он ошибается.

⁴² *Ealing Studios* – лондонская киностудия 1947–1957 годов, прославившаяся серией комедий.

Неловкая встреча Бена с проституткой уже растворилась до слабой тоскливой боли. Его взгляд вернулся к Школьной улице – детскому раю, что захлебывался в собственном будущем, пока вода поднимается день за днем, миг за мигом. Как ему хотелось нырнуть в облицовку по большей части пустеющих офисных зданий и квартир, подняв красные кирпичные брызги там, где пронзит поверхность. Он бы на одном дыхании проплыл сорок лет жизни. Он бы опустился к отцовскому лесному складу и собрал все сувениры, какие сможет, чтобы поднять на поверхность и в современность. Он бы постучал в окно гостиной и сказал сестре: «Сегодня никуда не уезжай». Наконец он бы вынырнул, хватая ртом воздух, из мениска нынешней Лошадиной Ярмарки с полными руками сокровищ, пугая прохожих и стряхивая капли истории с мокрых волос.

Он почувствовал отдаленную потребность в еде. Решил прогуляться домой по Конному Рынку, может, заглянуть в продуктовый на улице Святого Андрея. Вдруг вспомнил, что у него осталось чуть больше пятнадцати фунтов – Дарвин и Э. Фрай, что переплелись в страстном комке где-то в недрах карманов. Хватит на рыбу с картошкой, да еще и на стаканчик вечером, если захочется, хоть он в этом и сомневался. Самое лучшее развитие событий – перекусить и вернуться на Башенную улицу ради экономного домашнего вечера. Тогда на завтра у него останутся почти все деньги и не понадобится терпеть с утра унизительную пантомиму с подачками Айлин. Значит, решено. Сказано – сделано. Приготовившись сойти с места и подняться по Конному Рынку, Бенедикт попытался обуздать блуждающее внимание, заигравшееся где-то в выпотрошенных развалинах улицы Григория. На семиметровой высоте в остатках карнизов опасно зависли одуванчики – робкие самоубийцы с золотыми волосами Чаттертона ⁴³...

Было одиннадцать тридцать пять. Он вышел из «Синицы в руке» на Регентской площади в пылящую, кричащую тьму пятничной ночи. На мостовой Овечьей улицы отражались лужи артериальной крови светофора – оказывается, в какой-то момент прошел дождь.

Бандами по четыре-пять человек опирались друг на друга девчонки в коротких юбках – множество ножек в колготках на пятнадцать ден поддерживали единую структуру, моментами невольно превращаясь то в гигантское хихикающее насекомое, то в подвижную мебель в столь же красивых, сколь и непрактичных чехлах. Парни передвигались, как шахматные слоны с контузией, вальсирующие мыши с Туреттом, их кучки вдруг ударялись то в смертоносное панибратство, то в доброжелательную поножовщину, а ведь еще даже не время закрытия. Здесь времени закрытия не бывает. Постановлением правительства часы продажи спиртного были продлены до бесконечности – якобы чтобы как-то остановить запойное пьянство, но на самом деле чтобы нелепые английские обычаи не мешали дезориентированным американцам. Очевидно, никуда не делись и запойные пьяницы. Просто лишились последних периодов просветления рассудка.

Бен помнил, как пару часов назад ел камбалу с картошкой, а вскоре после этого темный паб – он с кем-то разговаривал? – но в остальном он будто заново родился, выполз из утробы на эту ветреную улицу, в эти канавы, без малейшего понятия, как он тут оказался. Но в этот раз, заметил Бен с благодарностью, он хотя бы не плакал и был в одежде. Может, одежды маловато – зябкий вечер уже начал заползать под бушующий закат его жилета, пробиваясь через пивную теплоизоляцию и вызывая гусиную кожу, – но хотя бы не голый. Ах-ха-ха-ха.

Порыскав непослушными пальцами в карманах, он убедился, что хотя бы в этот раз вероломная шлюха Э. Фрай не оставила Бенедикта ради какого-нибудь невоспитанного кабатчика, который будет ею просто пользоваться, а не любить и ценить так, как Бен. За этой мыслью тут же последовала другая, подкупающая: немедленно заскочить в паб и взять пару баночек на вынос – но нет. Нет, нельзя. Иди домой, Бенедикт. Иди домой, сынок, подбери-поздорову.

⁴³ Томас Чаттертон (1752 — 1770) – поэт, покончил с собой.

Он повернул направо, поплелся по Овечьей улице к огням, где та встречалась с Регентской площадью, – к уродливой штриховке из дорог на месте, где много столетий назад стояли северные ворота города. Тут для украшения насаживали на пики черепа предателей, как ластики-троллей на карандаши. Тут сжигали еретиков и ведьм. В эти дни перепутье в конце Овечьей улицы обозначал только аляповато-лавандовый ночной клуб, а еще год-два назад тут было место готских сборищ под названием «У Макбета», оно пыталось создать готическую атмосферу на углу, который и так по уши сидел в отрубленных головах и вопящих колдуньях. В Ньюкасл со своим углем не ездят, как и в Трансильванию – со своим аконитом. Бен ковылял по всем зебрам, что довели его невредимым к верхней части Графтонской улицы, по которой он принялся нетвердо спускаться. Недалеко впереди метались по кругу синие огни, бились мотыльками об окружающие здания сапфировые вспышки, но его слишком оглушила выпивка, чтобы придавать им какое-то значение.

Он поднял взгляд на крышу автомастерской через дорогу, где до сих пор виднелся рельеф солнечного логотипа прачечной «Санлайт», даже в желто-мочевом свете фонаря, заливавшем все вокруг. Навек застывшее на своем месте, это солнце радостно светило, когда наконец наступил день круглосуточного пьянства, ведь теперь ему и вовсе незачем стало заходить за нок-рею⁴⁴. Бенедикт обратил взгляд на неровные булыжники перед собой и впервые сосредоточил внимание на одинокой полицейской машине на тротуаре впереди – источнике цветомузыки. Там произошла авария – разбитую машину неопределенной модели поднимал за уцелевшую заднюю часть эвакуатор. С оживленной улицы выметали осколки лобового стекла мрачные мужчины во флуоресцентных жилетах, пока из-за них сверкала полицейская машина, предупреждая других автомобилистов. По всему асфальту были щедро разбросаны – видимо, вылетев из распахнувшегося багажника, – таинственные и случайные предметы вроде детских игрушек или садовых перчаток. Опрыскиватели, шапочки для душа и одна-единственная чешка. Стоя у патрульной машины в стробоскопическом свете ее маяка, офицер угрюмо всматривался в расплавленный след шины, видимо, разбитый автомобиль вывернул на тротуар – наверное, чтобы не столкнуться с чем-то на дороге, – где и повстречал стену, фонарь или что-то еще. При появлении Бенедикта молодой пухлый коп оторвался от изучения выжженного рисунка протектора, и Бен с удивлением осознал, что это его знакомый.

– Привет, Бен. Нет, ты только глянь, – офицер, розовые мальчишеские щечки которого покраснелись от возмущения, обвел рукой крошево стекла и всякую всячину, усеивавшую улицу. – Ты бы пришел полчаса назад, когда медики снимали долбака с рулевой колонки. А самое паршивое – сегодня даже не я должен дежурить.

Бенедикт прищурился на работников, подметающих мусор. Крови он не видел – но, возможно, самое месиво осталось внутри изувеченной машины.

– Понимаю. Несчастный случай со смертельным исходом. Не спрашивай, по ком звонит колокол, а? Ах-ха-ха-ха. Какой-нибудь угонщик-малолетка? – Черт. Он не хотел смеяться, не над трагической же смертью, и тем более не собирался спрашивать, по ком звонит колокол, когда сам только что озвучил предостережение Донна. К счастью, мысли копа были заняты другими делами или он привык и терпел эксцентричную манеру Бена. В каком-то смысле выбора у него не оставалось – его собственная полицейская куртка шерbetно-лимонового цвета резала глаз сильнее жилета Бена.

– Малолетка? Не. Не, какой-то мужик под сороковник. И машина – его, насколько мы поняли. Семейная, – он сумрачно кивнул на яркий межпоколенческий хлам, просыпавшийся на улицу из распахнувшегося багажника. – И когда его вырезали изнутри, по запаху не сказать, чтобы пил. Наверное, свернул отчего-то, вот и влетел, – павший духом полицейский как будто

⁴⁴ «Солнце над нок-реей» – английское выражение для обозначения подходящего времени выпить: в северных широтах солнце оказывалось над нок-реей в районе полудня.

чуть посветлел. – Хотя бы не меня послали рассказывать его жене. Если честно, это ненавижу больше всего. Вопли, сопли – ну не мое это. Я тебе отвечаю, последний раз, когда я ходил к чьей-то жене, я чуть не... погоди-ка... – его прервал взрыв помех из рации, которую он отцепил от куртки, чтобы ответить.

– Да? Да, все еще на Графтонской. Уже заканчивают прибираться, так что подъеду через минуту. А что? – повисла пауза, во время которой офицер с личиком херувима без выражения тарашился в пространство, затем сказал: – Ладно. Буду, как только закончим с аварией. Да. Да, понял.

Он вернул рацию на место, посмотрел на Бенедикта и скривил рожу, выражая обреченное презрение к своей злосчастной судьбе.

– Очередная шлюшка на дороге Андрея. Кто-то из местных принял ее на время к себе, но мне надо взять показания до того, как приедет скорая. И почему у меня всегда такая непруха?

Бенедикт хотел спросить, неужели его тоже насилуют и избивают, но потом передумал. Оставив удрученного констебля надзирать за уборочными процедурами, Бен продолжил путь вниз по склону, необычно отрезвленный неожиданным разговором. Он свернул на улицу Святого Андрея, думая о проститутке, на которую напали, о человеке, который всего час назад жил себе, ехал домой к семье, даже не подозревая о грядущей смерти. В этом-то и есть ужас реальности, думал Бен: смерть или кошмар могут поджидать в любой момент, а никто об этом не знает до самых последних страшных секунд. Он задумался о сестре Элисон, несчастном случае с мотоциклом, но мысли оказались слишком болезненными, и Бен попытался сменить тему. В процессе ненароком наткнулся на размытое воспоминание о девчонке с панели, которая подходила к Бену ранее, с косичками. Он знал, что это не на нее напали у основания улицы Алого Колодца, но в то же время знал, что с тем же успехом это могла быть и она. Такая же, как она.

Как же Боро скатились до такого? Как они превратились в место, где тех, кто мог вырасти и стать красавицей, музой поэта, каждую неделю насилуют и избивают до полусмерти? Всплеск похищений и сексуальных надругательств всего за одни выходные в прошлом августе – большинство случилось в этом районе. Тогда думали, что за преступлениями стоит некая «банда насильников», но зловещим образом выяснилось, что как минимум одна серьезная атака никак не связана с другими. Бенедикт предполагал, что когда подобные вещи случаются с тревожной регулярностью, как это бывает здесь, то предположить организованную деятельность банды или еще какой сговор вполне естественно. Хотя мысль и пугающая, она все же куда лучше, чем альтернатива: что это просто происходит случайно и часто.

Все еще безотрадно переживая из-за наверняка обреченной девушки, встреченной у Лошадиной Ярмарки, и несчастном случае, последствия которого он видел пять минут назад, Бен свернул на улицу Герберт, опустевшую к приближению полуночи. Силуэты Клэрмонт-корт и Бомонт-корт на фоне темного неба цвета «Лакозейда» были черны, как монолиты Стенли Кубрика, телепортированные непознаваемым инопланетным разумом, чтобы разжечь искры идей среди косматых вшивых обезьян. Идей вроде «Прыгай». С его точки зрения теперь даже не было видно то небольшое, что осталось от Ручейной школы, – путь загораживал НЬЮЛАЙФ. Под сводом ночи Бен доволочил себя до Симонс-уок, ставшей оранжевой и беззвездной. Свернув налево по брусчатке, обрамленной по краям дерном, ведущей к дому мамы, он, как обычно, впал в раздражение из-за Симонс-уок и отсутствующего апострофа. Если только рядом не жил какой-нибудь местный благодетель по фамилии Симонс – а Бен о таком слыхом не слыхивал, – логично предположить, что название улицы – отсылка к строителю церквей и соборов, норманнскому рыцарю Симону де Сенлису, а в этом случае правильно писать «Симон'с»... ох, какая разница? Всем плевать. Любой умелый пиарщик или шарлатан может что угодно превратить в полную противоположность. История и язык стали такими гибкими, их так расшатывали, чтобы подогнать под любые нужды, что кажется, они скоро просто сломаются пополам,

и тогда останемся мы барахтаться в море правок безумных боговеров-креационистов и пунктуации безграмотных бакалейщиков.

Топая мимо Олторпской улицы, он слышал из притона плешивого Кенни в конце улицы крикливый смех и странную какофонию, еще более искаженную громкостью. В охровой темени над ночной цементной саванной издавали джунглевый рев двигатели машин. Свернув на Башенную улицу, Бен дошел до дома Айлин, потом еще пять минут хихикал над собой и пытался открыть дверь бесшумно, тыкая ключом в звонок. Ах-ха-ха.

Дома было тихо, все выключено – мама уже легла. Он прошел мимо закрытой двери в переднюю комнату, до сих пор забитую семейными ценностями для вида, а не для дела, – прямо как на Школьной улице, – и отправился на кухню за стаканом молока перед тем, как подняться наверх.

Его комната – как ему казалось, единственное место на планете, поистине принадлежавшее ему, – терпеливо дожидалась, готовая простить и принять еще раз несмотря на то, как он с ней обращался. Здесь была его одиночная кровать, здесь стоял стол, который он до сих пор со смехом звал письменным, здесь строились ряды поэтов, которых Бен недавно пытался отравить газом. Он уселся на край кровати, чтобы развязать шнурки, но не закончил – устался на ковер. Все думал о случае на Графтонской улице, а значит, думал об Элисон, ее парне-лихаче, который решил обогнать грузовик без сигналов о негабаритном грузе. Он думал о смерти, как каждое утро просонья, – только теперь не было надежды, что мрачные мысли развеет первый дневной стакан, ведь последний уже испустил свой гадкий дух под языком Бена. Он остался в комнате наедине со смертью – в своей комнате, со своей смертью, с ее неизбежностью, и ничто его не спасет.

Однажды, совсем скоро, он умрет, станет пеплом или кормом червей. Его остроумие, его существо – все это просто исчезнет. Его не будет. Жизнь продолжится со всей своей романтикой и восторгами, но без него. Он останется в стороне, как на отменной вечеринке, где дали понять, что ему больше не рады. Бена вычеркнут из списка гостей, удалят, словно его никогда и не было. Все, что останется, – пара преувеличенных баек, несколько заплесневевших стихов в уцелевших изданиях малотиражных журналов, а потом не будет и того. Все зря, и...

Оно ударило внезапно – это черное озарение – и выбило из него дух: он привычно думал о смерти, чтобы не думать о жизни. Проблема не в смерти. Смерть ничего ни у кого не просит, кроме непринужденного разложения. Это не в смерти бывают ожидания, разочарования и постоянный страх, что может случиться что угодно. А в жизни. Смерть, устрашающая с перепуганной точки зрения жизни, на самом деле за пределами страха и боли. Смерть, как добрая мать, возьмет все беспокойные обязанности и решения в свои руки, поцелует на ночь и подоткнет теплое зеленое одеяло. А жизнь – испытание, проверка, где надо успеть разгадать, что от тебя требуется, пока она не кончилась.

Но ведь Бенедикт все уже разгадал. Он еще в романтической юности скоропалительно решил, что если ему не быть поэтом, то не быть никем. В то время он и не задумывался об альтернативе – что он вполне может оказаться никем. Но успех, о котором он мечтал в молодости, так и не пришел, и Бен понемногу падал духом. Практически забросил писательство, хотя так сжился с ним, что уже не мог признать, даже перед самим собой, что забросил его. Он притворялся, что бездеятельность – лишь передышка, что он как поле под паром, собирает материал, хотя где-то внутри отлично знал, что собирает только пыль.

Он видел свою роковую ошибку, как в тумане. Ему так не терпелось добиться успеха и одобрения, что он вбил в голову, будто без успеха ты вообще ненастоящий писатель. А в миг этого беспрецедентного просветления он вдруг понял, какой это вздор. Взять Уильяма Блейка, непризнанного и забытого, пока не прошли годы после его смерти, почитаемого современниками за сумасшедшего или глупца. И все же Бенедикт был уверен, что Блейк за свои шестьдесят девять лет ни разу не испытывал и мига сомнений, что он истинный творец. Беда Бена

в этом новом и безжалостном свете проста – он дрогнул. Если бы он где-то нашел смелость продолжать писать, – пусть даже каждую страницу отвергнет каждый издатель – он все равно бы мог посмотреть себе в глаза и сказать, что он поэт. И даже сейчас ничто не мешает вновь взяться за ручку, кроме легко преодолимой гравитации Земли.

В эту ночь Бен может изменить все. Надо всего лишь пройти по комнате, сесть за письменный стол и что-то сделать. Кто знает? Вдруг эти строчки обеспечат Бену репутацию. А если и нет, если его стихосложение без практики покажется плоским и неуклюжим, то это будет лишь первый шаткий шаг на тропу, с которой он сошел в горькое и обездвиживающее болото. Сегодня ему дан шанс возродиться. Его пронзила яркая мысль: возможно, шанс последний.

Если он не сделает этого сейчас, если придумает какое-нибудь оправдание – что лучше писать с утра, когда голова свежая, – наверняка он не сделает этого никогда. Будет находить причины откладывать поэзию, пока не станет поздно, пока жизнь не скажет закругляться, пока он не станет статистикой Графтонской улицы, а безучастный полицейский констебль пожалуется, что смерть Бена испортила ему ночь отгула. Бенедикт должен писать прямо сейчас, прямо в этот миг.

Он встал и побрел к письменному столу, спотыкаясь о путающиеся под ногами шнурки. Сел и достал с полки бюро свою тетрадь, со стыдом смахивая ладонью толстый слой пыли, прежде чем открыть на чистой странице. Он выбрал самую жизнеспособную ручку из стеклянной банки на верхней полке стола, снял колпачок и занес липкий мохнатый шарик цвета индиго над голым пергаментом. Просидел так добрых десять минут, с ужасом осознавая, что сказать ему нечего.

Значит, есть всего шесть вещей, в которых Бен Перрит совершенно бесполезен: сбегать, искать работу, нормально объясняться, не казаться бухим, разговаривать с женщинами и писать стихи.

Нет. Нет, неправда. Это он снова пытается сдаться – может, навсегда. Но он твердо решил что-то написать, пусть даже хокку, пусть даже строчку или просто фразу. Он покопался в путаной памяти о небогатом событиями дне и поразился, сколько нахлынуло образов и случайных мыслей. Работный дом, лечебница Клэра, Малкольм Арнольд и русалка – в шапку пены темного и вихрящегося сознания Бена искусно вплетались клеверные мотивы. Он думал о саднящем разломе Школьной улицы и об утонувшем континенте, исчезнувшем ландшафте. Он думал просто бросить этот пьяный бред и лечь уже спать.

Из черноты слышались сирены, бой техно, улюлюканье медвежьей потехи. Правая рука дрожала в нескольких дюймах от белоснежной пустой страницы.

Как хочешь, так и делай⁴⁵

Внутри него, под белой глазурью волос, – церкви-бордели, где в одну дверь врывается широкий Атлантический океан, а в другую вырывается цирковая ярмарка с клоунами и тиграми, девицами в перьях и витиеватыми буквами на каруселях, переливающийся поток звуков и образов, эскизов, выхваченных молниеносным мелом горячего салонного карикатуриста, умопомрачающих от смысла мелодраматических зарисовок, что разыгрывались перед пышными розовыми кулисами век, весь мир разом с сияющими мраморными часами, замшелыми столетиями и щекочущим яйца восторгом, и каждая его секунда наяву постоянно взрывается тысячами лет случайностей и фанфар – вечное возгорание чувств, посреди которого неподвижно стоял Снежок Верналл: с распахнутыми глазами и неколебимый в ярко-карнавальном сердце собственного бесконечного пламени.

Повествование читаной-перечитаной, любовно замусоленной книжки жизни с картинками дошло до страницы, до мига, до увлекательного случая, о котором Снежок, даже переживая его теперь, знал, что уже не раз переживал его прежде. Когда другие рассказывали о своих редких и тревожных налетах дежавю, он хмурился и чувствовал, что чего-то недопонимает, – не потому, что он никогда не испытывал этого чувства, а потому что не знал ничего другого. В детстве он не проливал слез над поцарапанными коленками, потому что почти их ожидал. Не разрыдался в тот день, когда с работы домой привели его отца Эрнеста с побелевшей головой. Сцена шокировала, но она была лишь одной из большой любимой истории, слышанной столько раз, что больше не могла удивить. Бытие для Снежка – галерея-пассаж, вырезанный из монолитного застывшего самоцвета, будоражащий чувства призрачный поезд, ползущий мимо дорогих сердцу диорам и знакомых глазу ужасов на пружинках, а блеск далеких ламп над выходом очевиден с самого первого шага через порог.

Конкретный эпизод, в котором он участвовал сейчас, – тот знаменитый сюжет, когда Снежок стоит на крыше высоко над Ламбет-уок громким, сияющим утром марта 1889 года, пока его Луиза рождает первого ребенка в канаве внизу. Они прогуливались в Сент-Джеймском парке, чтобы поторопить важное событие упражнениями: ребенок задерживался на несколько дней, а жена была вся в слезах и изможденной от веса, который пришлось столько носить. Затея оказалась слишком удачной: во́ды Луизы отошли у берега озера с внезапным плеском, превратившим испуганных уток в моментальную скульптуру – веер коричневых, серых и белых красок, взлетевший то ли в подражание спиральной горке, то ли стрехам пагоды, пока вокруг мимолетным созвездием застыли бриллиантовые капли-бусины. Будущие родители хотели вернуться на Восточную улицу, торопливо ковыляя по Миллбанк, через Ламбетский мост и на Парадайс-стрит, но добрались только до Ламбет-уок, когда на каждом шагу начались схватки и стало ясно: им не успеть. Да и как иначе. Хаотического деторождения на мостовой Южного Лондона было не избежать; оно вписано в будущее. Возвращение домой на Восточную улицу без происшествий – нет такого куплета в уже высеченной легенде. А вот взлететь на ближайшую отвесную стену, когда покажется детская головка, бросив при этом кричащую Луизу в центре собравшегося сгустка зевак, с другой стороны, – один из многих памятных моментов саги, который непременно случился бы. Снежок так же не мог помешать тому, что ползет по невидимой лестнице из трещин и уступов на синюю черепичную крышу, как не мог помешать восходу солнца на востоке завтрашним утром.

Теперь он торчал на коньке с двойной каминной трубой за спиной, как изваянный Атлас, удерживая на плечах огромный стеклянный шар ясного и молочного неба. Протертая до блеска

⁴⁵ Строчка из песни «Ламбет-уок», впервые прозвучавшей в мюзикле 1937 года *Me and my girl* и породившей танец «ламбет-уок».

черная куртка даже на мартовском ветру висела неподвижно под тяжестью хрустальных дверных ручек, которые он забрал этим утром для ремонтной работы на следующий вторник. На улице под ним, вокруг распластавшейся и завывающей жены, скучились в нервный, суматошный кружок прохожие в темных одеждах, перебегая внезапными и беспорядочными порывами, как комнатные мухи. Она раскинулась на холодной мостовой, закинув пунцовое лицо, со злостью и изумлением уставившись в глаза мужа, глядевшего на нее с высоты трех этажей равнодушно, как орел в гнезде.

Хоть черты лица Луизы и умалились расстоянием до обрывка розового конфетти, Снежку казалось, что он все равно мог прочитать на нем столкновение разнообразных чувств, когда поверх одного горячего всплеска эмоций быстро рисовался следующий. Непонимание, гнев, бессилие, ненависть, неверие, а под ними всеми – любовь, дрожащая на грани ужаса. Она никогда его не оставит, несмотря на все пагубные капризы, яростные припадки, неисповедимые выходки и других женщин, которые, как он знал, ждут его в будущем. И он знал, что еще много, много раз напугает ее, ошеломит и ранит ее чувства в грядущие десятилетия, хотя сам этого не желал. Просто так все будет, и им ничего не изменить – ни Луизе, ни Снежку, никому. Луиза не понимала толком, что такое ее муж, – да и сам он не понимал, – но все же повидала достаточно, чтобы осознать: чем бы он ни был, в первую голову он феномен, который нечасто встречается в обычном человеческом порядке, и что другого такого она не увидит никогда в жизни. Она вышла замуж за геральдического зверя, химеру из неузнаваемой мифологии, существо без пределов, что может взбегать на стены, рисовать и писать, считаться одним из лучших мастеров своего ремесла. Порою из-за чудовищности Снежка она не могла даже посмотреть на него, но развеять чары тоже было не в ее силах, а потому она никогда не отворачивалась от Верналла.

Джон Верналл поднял голову – молочные локоны, подарившие ему прозвище, развевались на ветрах третьего этажа, – и всмотрелся бледно-серыми глазами в Ламбет, в Лондон. Однажды папа Снежка объяснил ему и его младшей сестре Турсе, как, меняя высоту, свой уровень на вертикальной оси якобы трехмерного бытия, можно краем глаза поймать ускользающее четвертое измерение, четвертую ось, то есть время. Или – по крайней мере, как вывел Снежок из бедламских лекций отца, – то, что люди считают временем, понимая мир как нечто скоротечное и хрупкое, что с каждым мгновением уходит в ничто и воссоздается из ничего заново, словно все его содержание исчезает в прошлом, невидимом с нового угла и потому как будто отсутствующем вовсе. Для большинства, осознал тогда Снежок, предыдущий час уходит навсегда, а следующий еще не существует. Они заключены в тонкой движущейся плоскости Настоящего: пленочной мембране, что в любой момент может роковым образом распасться, растянувшись между двумя страшными безднами. Этот взгляд на жизнь и бытие как на бранные, хлипкие вещицы, которым скоро приходит конец, ни в коем случае не совпадал с взглядом Снежка Верналла, особенно с такой великолепной точки обзора, как его нынешняя – с грязными рождением внизу и лишь рифами несущихся облаков наверху.

Его вознесение пропорционально уменьшило и урезало ландшафт, придавив здания так, что если бы он мог каким-нибудь образом взобраться еще выше, то все дома, церкви и гостиницы совсем сжались бы лишь в двух измерениях, расплющились в виде уличной карты или плана, дымящейся мозаики, где дороги и переулки – мощенные серебряные линии между черными от сажи керамическими осколками на мильтоновской картине. С конька крыши, куда он взгромоздился, где встал носками внутрь, чтобы не соскользнуть с мокрой плитки, текучая Темза была неподвижна – железный стежок между пыльными стратами города. Он видел отсюда реку, а не просто стремительную воду в потрясающих объемах. Он видел историю артерии, записанную в ее русле, ее змеящемся пути наименьшего сопротивления через долину, образованную в результате огромного сдвига мела где-то на юге позади Снежка, когда в нескольких сотнях футов и нескольких миллионах лет от него бились белыми гребнями белые

эскарпы. Выступ Ватерлоо, к северу от него, – просто место, где скала и грязь замерли и затвердели, утопанные мамонтами до пастбища, на котором в итоге распустились тысячи дымоходов – кольчатых червей с дегтем в глотке, сгрудившихся у теплых миазмов железнодорожного вокзала. Снежок видел отпечаток пальца гигантской математической силы, видел несметные поколения, пойманные в магнитные паттерны ее петель и витков.

На дальней стороне развязанного шнура реки устроилась горелая метрополия, здания которой этаж за этажом росли в особом времени – долговечный континуум архитектуры, в корне отличный от подчиненной часам суеты человечества на земле. В лондонских шпилях и мостах разных стилей и возраста слышатся прерванные беседы с покойниками – с тринтовантами, римлянами, англосаксами, норманнами, их забытые и неясные цели рассказаны в камне. В прославленных достопримечательностях Снежок слышал одинокие самовлюбленные монологи королей и королев, пронизанные тревогами по поводу своей значимости; жизни, потраченной в погоне за славой; оптической иллюзии временного мира, который они населяли. Улицы и монументы под ним служили баррикадами от забвения, ажурными редутами против наступления будущего, где не существует ни великих построек, ни воспоминаний о тех, кто их заложил.

Он смеялся, хотя и не вслух. И куда же, они думали, все денется, включая их самих? Снежку в этот момент жизни было только двадцать шесть, и он не сомневался, что найдутся те, кто скажет, что он еще и не видал ничего, но все равно знал, что жизнь – зрелищное сооружение намного надежнее, чем верит большинство, и что сгнать из бытия куда сложнее, чем можно предположить. Люди всегда расставляли свои приоритеты, не задумываясь об общей истории, общей картине. Кенотафы вовсе не так важны, как солнечные дни, потраченные на их создание. Красоту, знал Снежок, следует творить ради нее самой, а не превращать в изысканные надгробия, гласящие лишь, что здесь был тот-то. Ведь никто никуда не денется.

Над буксирными маршрутами реки человек-птица с твердым взором улыбнулся при виде своих чудесных владений, пока вопли Луизы внизу периодически перемежались задыхающимися криками: «Снежок Верналл, ты скотина, ебаная скотина!» Он взирал на Вестминстер, Викторию и Найтсбридж, на взрыв рябящей репейной зелени Гайд-парка, демонстрирующего еще один аспект разворачивающегося времени, воплощенный в виде деревьев. Тополя и платаны почти не двигались в отношении к трем самым очевидным осям мира, но запись прогресса в отношении скрытой четвертой застыла в их облике. Высота и толщина стволов измерялись не в дюймах, но в годах. Мшистые разветвления – утвердившиеся воплощения колебаний перед выбором, сучья – не более чем продолжительные причуды, а глубоко под толстой корой, знал Снежок, таились наконечники стрел и мушкетных пуль, простреливших кору и прошлое, застрявших в ранних периодах, ранних кольцах, навеки погребенные в древесном волокне вечности, как и все на свете.

Если верить мистеру Дарвину, то люди спустились именно из безвременной пестроты лесного полога, и именно лесные корни выпивали досуха человеческие тела после их смерти, возвращая жизненные соли в доисторические кроны, поднимая в золотых клетках лифтов, сделанных из смолы. Парки, эдемские лоскуты темно-оливкового цвета среди твидовых зубов жилых рядов, были форпостами изумрудной эпохи, лужицами дикой природы, оставшимися после отступившего океана, который однажды вспенится у городского пляжа, заглушит его трамваи и шарманки набегавшим шуршанием. Снежок раздул ноздри, пытаясь уловить в фабричной вони настоящего запах будущего, которое наступит через полмиллиона лет. Когда население Лондона исчезнет, изничтоженное каким-нибудь еще не родившимся Наполеоном, самым долговечным завоевателем города быстро окажется буддлея, так казалось Снежку. Из шепчущих мраморных берегов и расплзшихся помоек взорвутся белыми рассыпчатыми языками цветов благоуханные кусты – там, где Юлий Агрикола поднял всего горстку трепещущих штандартов, а королева Боудикка – лишь огненную бую.

Густая бордельная сладость приманит бабочек в акварельных вихрях, попугаев, сбежавших из зоопарков для охоты на бабочек, и ягуаров, сбежавших для охоты на попугаев. Диковины и великолепные чудовища Кью-Гарденс вырвутся на свободу и наводнят повергнутый град до самых горизонтов, расколотые бульвары украсятся эвкалиптовыми колоннами, а дворцы падут пред исполинскими папоротниками. Мир кончится так же, как начался, – блаженным вертоградом, и если среди гудящих ульев и жимолости еще проглянут родовые гербы, бюсты светочей или надгробные названия заведений, то с них сотрется всякое значение. Значение – пламя свечи на предметах, и оно мечется и меняется на ветрах обстоятельств каждого мгновения, всегда разное. Смысл – феномен мира Сейчас, и его не сохранить внутри урны или монолита. Смысл – ураган, сделанный из настоящего, нескончаемый вихрь клочущих перемен, и Снежок Верналл, который стоит и взирает на грань города через гранитные поля времен на дальние рваные рубежи календаря – это громоотвод, искрящийся и торжествующий, в опасном и горящем оке циклона.

В пятидесяти футах внизу разносился поток чередующихся испуганных завываний и негодующих тирад Луизы – обыденная, но внушающая трепет человеческая музыка, где глубокие духовые ноты мучений становились все настойчивее и чаще, преобладавая в аранжировке, заглушая пикколо оскорблений, чертыханий и божбы. Опустив взгляд, Снежок заметил, что вокруг жены собрался импровизированный ансамбль, и теперь аккомпанемент мягких и сочувствующих струнных, рокошующих ударных неодобрения в адрес мужа, взгромоздившегося на крышу над ними, поочередно холил и хаял членов четы. Причем никто из них не мог помочь страдающей женщине в родах больше самого Снежка, даже если бы он стоял на мостовой, подле нее. Толкущиеся прохожие были нестройным оркестром в постоянной настройке, его укоризненный ропот и плачущие ласки мучительно стремились к какой-то гармонии, хрипящий разлад плыл по Парадайс-стрит на Юнион-стрит, чтобы слиться с цимбалами Ламбета – их звоном на заднем фоне, с веками тот постепенно нарастал, словно стремясь к торжественному апофеозу: к нему слагали неувядающую прелюдию цокот копыт, песни пьянчуг и перебивы причитаний попрошаек.

Словно торопливый работник сцены, свежий ветер поднимал раскрашенные занавесы облаков, и по углу наклона внезапно пролившегося света Снежок рассудил, что сейчас все еще утро, солнце высоко над головой и взбирается с крепнущей уверенностью по последним голубым ступеням к полудню. Своим праздным вниманием впередсмотрящего Верналл блуждал от публичных родовых потуг к кишечному завороту окружающих улочек, где туда-сюда ходили собаки и люди, закутанные в коконы собственного опыта, – нити событий на ткацком станке района, что либо расплетаются из одного узла потенциальных обстоятельств, либо нечаянно спутываются в следующий. На другой стороне Ламбетской дороги, едва видимой из-за низких крыш зданий справа, с Геркулес-роуд показалась красивая беременная женщина в приличной одежде, чтобы перейти улицу между ползучими подводами и вихляющими велосипедами. Чуть ближе к нему расстреливали друг друга из пистолетов с пистонами мальчишки лет двенадцати, в ходе перестрелки неторопливо пробираясь под столбами дыма по грязному шву проулка, ведущего от Ньюпорт-стрит, а потом задворками под флагами из подгузников. Глаза Снежка сузились, и он кивнул. Часовой механизм момента исправен.

Судя по свету и поднимающемуся вою Луизы, ему оставалось еще минут тридцать безделья на крыше, так что его чувства возобновили просветленный анализ города. Лондон вращался вокруг, как ярмарочная карусель, работником которой был сам Снежок, замерший в центре в равновесии среди нарисованных молний и комет. Обернувшись к северо-востоку, он посмотрел над Ламбетом, Саутварком и рекой на собор Святого Павла – лысый белый купол задремавшего профессора теологии, забывшего о своих непослушных подопечных, что грешат направо-налево, пока он клюет носом. Именно на реставрации купольных фресок безумие выбелило отца Снежка, Эрнеста Верналла, уже почти два десятка лет назад.

Снежок и его сестра Турса ходили навещать отца в Вифлеемскую лечебницу, но редко. Снежку не нравилось называть ее Бедламом. Иногда они брали с собой других детей Эрнеста – Аpellину и юного Поса, но, поскольку отца забрали, когда они еще были маленькими, те не успели узнать его близко. Не то чтобы хоть кто-то, даже их мать Энн, знал Эрн Верналла от корки до корки, но Джон с Турсой все же были с ним в чем-то близки, особенно после того, как он сошел с ума. С маленьким Посланником и Аpellиной у отца такой связи никогда не было, их только пугали визиты к незнакомцу в дурдоме. Когда они подросли и осмелели, то иногда сопровождали Снежка и Турсу, пусть исключительно из чувства долга. Снежок не пенял на брата и младшую сестру. Лечебница был воплощением ужаса – полна мочи, говна, криков и хохота; людей, обезображенных на ужине ложкой своим же соседом. Если бы его с Турсой не захватывали бредовые лекции, припасенные отцом исключительно для них, они бы и близко к дурдому не подошли.

Папа говорил с ними о религии и геометрии, об акустике и истинной форме вселенной, о множестве всего, что узнал, утром 1865 года ретушируя во время бури фрески собора Святого Павла. Он, как умел, объяснил, что случилось с ним в тот день, наказав, чтобы ни мать, ни одна живая душа не узнали о святом видении Эрн Верналла, стоившем ему разума и огненных бронзовых волос. Он рассказывал, что остался один на огромной высоте, смешивал темперу и готовился приступить к работе, когда заметил, что в стене англ. Так он и говорил, и дети в конце концов пришли к пониманию, что у этого оборота по меньшей мере пара значений – очередной пример словесных игр и изобретенных выражений, которыми Эрнест обогатил свою речь со времен нервного срыва. Во-первых, *angle* – «англ» – означало «угол», то есть Эрнест каким-то образом обнаружил новый угол внутри стены, а не между ее поверхностями. Второе, более расплывчатое толкование термина касалось исключительно Англии и ее древнего прошлого, когда стране дали название англы – племя, завоевавшее остров после ухода римлян. Это второе значение по ассоциации напоминало о фразе Папы Григория, прореченной во время посещения английских пленников в Риме – «*Non Angli, sed Angeli*»⁴⁶, – каламбуру, который постепенно натолкнула старших детей Эрн на осознание, кого отец повстречал в верхних пределах собора Святого Павла в тот поворотный день.

От сумасшедшего рассказа отца, от одного воспоминания о нем над Ламбет-уок и несчастной плачущей Луизой стоял запах холодного церковного камня, порошковой краски, опаленного молнией оперения и огней святого Эльма. Что-то чудесное проскользнуло и проползло по внутренности купола, рассказывал Эрнест своим отпрыскам в кишечнике пресловутой ламбетской лечебницы. Оно заговорило с их папой фразами изумительнее, чем даже сам невероятный лик, который их рек, и голос создания бесконечно отражался эхом в каком-то пространстве или на каком-то расстоянии – их отец оказался попросту не в силах его описать. Эта подробность, думал Снежок, более всего впечатлила Турсу – воображение девочки с музыкальными наклонностями мгновенно ухватило за идею резонанса и эхо в дополнительном измерении, с новыми высотами и невообразимыми глубинами. А Джона Верналла, рыжие волосы которого уже в десять лет стали белыми, больше заинтриговала новая концепция математики Эрнеста, с ее чудесными и пугающими следствиями.

Ниже на улице шайка мальчишек уже вывалилась из переулка кипучей, кричащей кучей на Ламбет-уок. Привлеченные бурно бездеятельной толпой вокруг Луизы, они подобрались поближе, пялиться и скалиться с краю, очевидно, отчаянно желая увидеть щелку, не обращая внимания на кроваво-серый мяч из плоти, что грозил ее разорвать. Двенадцатилетки возбужденно присвистывали и искали место обзора получше, паясничали и юлили туда-сюда за взрослыми зеваками, которые старательно притворялись, что не слышат невежественных и вульгарных прибауток.

⁴⁶ Полная цитата – *Non angli, sed angeli, si christiani*, то есть «Не англы, но ангелы, если христиане» (лат.)

– Ё, зырь на дырку! Будто Джек Потрошитель еще одну покромсал.

– Ё, и впрямь! Прямо в манду! Свезло ему попасть!

– Ах вы грязная никчемная шантрапа. И куда только ваши родители смотрят? Им что, понравится, что вы бранитесь, как шлюхины дети, возле женщины, которой так больно, как вам в жизни не будет? А ну отвечайте!

Последние слова грозным граненым голосом донеслись от кстати явившейся женщины на сносях, виденной Снежком на Геркулес-роуд, когда она переходила Ламбетскую дорогу и дворами выбралась на Ламбет-уок всего в паре шагов от группки рискованных и раскованных юнцов. Поразительно красивая, с узлом черных волос и темным сверкающим взглядом – все в ней, от дорогой одежды до осанки и произношения, выдавало женщину театральной профессии, с той приковывающей взгляд манерой, благодаря которой в зале стоит почтительная тишина. Неловко обернувшись к ней, воззрившись огорошенными и удивленными глазами, мальчишки обескуражились, поглядывали друг на друга искоса, словно, не раскрывая рта, пытались понять, какую бандитскую тактику применить в такой неожиданной ситуации. Их глаза-рыбки сновали вокруг покусанных краев момента, так и не найдя решения. С высокой позиции Снежку казалось, что это могут быть Пацаны из Элефанта и Касла, которые ватагой не боялись угостить кулаком или ножом даже констебля или матроса.

Однако эта крошечная и потому еще более зримо беременная женщина представляла для охаверников такой вызов, которому они оказались неспособны что-либо противопоставить – по крайней мере, без необратимой потери лица. Они отвернулись, открестились от собственных принципов и присутствия на Ламбет-уок, начали молча рассеиваться по боковым улочкам – отдельные пряди проясняющегося тумана. Спасительница Луизы – какая-то актриса или участница варьете – наблюдала за их ретировкой с невозмутимым удовлетворением, наклонив голову к плечу и сложив щуплые ручки на непреодолимой оборонительной баррикаде раздутого живота, выступавшего перед ней, как перевернутый турнюр. Убедившись, что юные бесчинники не вернутся, она перевела внимание к редкому собранию зрителей вокруг уличных родов, которые наблюдали за произошедшим в пристыженной и бессильной тишине.

– А вы, люди добрые, что же вы столпились кругом несчастной девочки, если никто не может ей помочь? Хоть кто-нибудь стучался в двери, просил одеяла и кипятку? Ну-ка, пустите меня.

Сконфуженные, люди расступились и позволили ей приблизиться к Луизе, которая хватала ртом воздух, развалившись промеж окурков и сора. Один из укоренных ротозеев решил последовать совету новоприбывшей и попросить горячей воды, полотенца и прочей родовой атрибутики на одном из порогов вдоль улицы, пока сама она присела у Луизы, насколько ей позволяло неповоротливое положение. Поморщившись от неудобства, она пригладила лакированные потом пряди жидких волос на лбу охающей женщины, заговорив с ней.

– Будем надеяться, я твоему примеру не последую, не то пойдет потеха. Ну, как тебя звать, дорогуша, и как с тобой встретилась такая досада?

Пыхтя, жена Снежка отвечала, что она Луиза Верналл и пыталась вернуться домой на Лоллард-стрит, когда начались роды. Избавительница два-три раза коротко кивнула, на ее точном личике отразились размышления.

– А где же твой супруг?

Так как вопрос совпал со следующей схваткой, бедная Луиза не могла ответить иначе, кроме как поднять мокрую дрожащую руку, указуя обвинительным перстом в небеса. Сперва истолковав жест как знак, что Луиза – вдова, а ее муж на небесах, добрая самаритянка в тягости не сразу смекнула поднять темные глаза с длинными ресницами в направлении, обозначенном стонущей девушкой. Оседлав конек крыши над мизансценой, как истукан, не считая пурги волос, хотя даже пиджак на удивление висел неподвижно на крепком ветру, Джон Верналл – если судить по выражению его лица, когда он ответил на изумленный взгляд женщины

безбоязненно и без всякого любопытства, – мог показаться беленым флюгером. Она смотрела всего несколько мгновений, прежде чем сдаться и продолжить разговор с его молодой женой в беде, бьющейся и трепыхающейся, как рыба без воды, на камнях мостовой возле устроившейся рядом будущей повитухи.

– Ясно. Он сумасшедший?

Вопрос прозвучал прямо, без осуждения. Жена Снежка, отдыхая в слишком короткой долине между волнами боли, отчаянно кивала и согласно бормотала:

– Да, мэм. Боюсь, очень даже.

Женщина хмыкнула:

– Бедолага. Что ж, от этого не заречешься. И все же покуда предлагаю забыть о нем и думать о тебе. Давай-ка поглядим, как у нас дела.

С этими словами она сползла на колени, чтобы с большим удобством выручить сестру по материнству в нужде. К этому времени мужчина, обходивший соседей в поисках одеял и кипятка, вернулся с дымящимся эмалевым тазом в обеих руках, накинув полотенца на руку, словно официант в дорогом отеле. Несмотря на нарастающую частоту криков несчастной Луизы, все как будто шло своим чередом, хотя, конечно, иначе и быть не могло. Как и знал Джон, все происходит вовремя. Или во времени. Улыбаясь собственной двусмысленности – несомненно, перенятой у отца, – Снежок запрокинул голову и вновь осмотрел небо. Протертую простыню облаков наспех сдернули и стянули с середины оголенного солнца, которое, судя по хилым и поджавшимся теням на земле, находилось ровно в зените. Оставалось еще добрых двадцать минут, прежде чем родится его дочь. Они назовут ее Мэй, в честь матери Луизы.

Он был полюсом Ламбета в снежной шапке, а боро стлался у его ног. К северу, за дымоходами, лежал чумазый Ватерлоо. Слева от Снежка и к югу, подумал он, стоит церковь Марии, или Святой Марии в Ламбете, как ее следует называть полностью, где похоронены капитан Уильям Блай и знатоки флоры Традесканты, тогда как на западе перед ним был Ламбетский дворец. Недалеко к востоку – для него, разумеется, всегда чересчур близко, – находился Бедлам.

Он не видел его уже семь лет, с тех пор, как был юнцом девятнадцати лет, старше Турсы на два года, когда Эрн наконец скончался. Из лечебницы пришло извещение, по получении которого они с сестрой отправились в короткое путешествие, чтобы повидаться с родителем перед погребением. Путь, занимавший не больше десяти минут пешком, с каждым проходящим годом становился словно длиннее и тяжелее и сокращался от ежемесячного до ежегодного ритуала, обычно под Рождество, которое для Снежка с тех пор казалось страшным праздником.

В тот сырой июльский день 1882 года Снежок и его сестра впервые увидели мертвого человека – это случилось за несколько лет до того, как мама отца, их бабушка, тоже опочила. Двух необычно притихших подростков с сухими глазами отвели в сарай на задах, там складывали трупы, – холодное и пасмурное место, где алебастровое тело Эрни Верналла казалось чуть ли не единственным источником света. С обращенным горе́ лицом, на бледном мраморе, как у торговца рыбой, с все еще открытыми глазами папа Джона и Турсы хранил выражение армейского новобранца, вставшего по стойке смирно на каком-то последнем парадном плацу: аккуратно нейтральный, целиком сосредоточенный на какой-то дали, изо всех сил стараясь не привлекать пристального внимания офицера. Его беленая кожа – теперь под опасливо пытливыми пальцами Джона твердый и холодный шпон – стала цвета его волос, цвета простыни с высеченными, ниспадающими складками, накрывавшими голое тело чуть выше пупа. Джон и Турса уже не могли определить, где кончалась белизна отца и начиналась белизна смертного одра. Смерть обточила его, пропесочила и отполировала, преобразовала в резкий и прекрасный барельеф.

Таков был конец их отца. Они оба это понимали, хотя и не так, как понимали бы другие люди, для которых «конец» лишь синоним смерти. Для Джона и Турсы, натасканных покой-

ным Эрном Верналлом, это был не более чем геометрический термин, как если бы речь шла о концах отрезков, улиц или столов. Бок о бок они в благоговении взирали на приковывающую внимание недвижимость, зная, что впервые видят строение человеческой жизни с торца. Оно разительно отличалось от бокового вида, который люди имеют при жизни, когда их еще можно застать в протяжении и видимом движении через время вдоль незримой оси Творения. Снежок и сестра стояли, лицезрея мертвого отца, и осознавали, что заглядывают в изумительное и страшное жерло вечности. Турса начала мурлыкать – хрупкий напев ее собственной торопливой и импровизированной композиции, растущие музыкальные фразы, зависающие между неестественно долгих интервалов, в течение которых, как знал Снежок, сестра слышала каскадный раскат дробящихся эхо, спешащих заполнить пробел. Он склонил голову и сосредоточился, пока не услышал того же, что слышала она, и тогда взял теплую влажную руку Турсы, и они вдвоем стояли в шепчущей пелене и трепете покойницей под предполагаемую музыку, одновременно величественную и бездонную.

Теперь, на скатах Ламбета, Снежок думал, что они с Турсой всегда по-разному относились к мировоззрению, внушенному отцом. Со своей стороны Снежок предпочел целиком погрузиться в шторм переживания, нырнуть в новую раздавшуюся жизнь, как в детстве без колебаний нырял в железно-зеленую стену каждой набегающей волны на желтом берегу Маргейта. Каждый его миг был ревущей золотой бесконечностью, а Снежок кружился в сердце-омуте, окрыленный и лучезарный, за пределами смерти и вовне рассудка.

Турса же, с другой стороны, как она сама призналась ему вскоре после кончины папы, видела в блистательной буре брата всепожирающую силу, которая значила лишь разрушение ее более хрупкой личности. Она предпочла забыть о самых широких следствиях дурдомных уроков Эрна Верналла и сконцентрировать все внимание на одной узкой теме – прикладном применении новой геометрической концепции отца в звуке и его передаче. Она наловчилась слушать один-единственный голос в хоре, нежели рисковать тем, что ее засосет фуга, поглотившая Снежка. Она изо всех сил держалась за себя, крепко цепляясь за якорь клавишного аккордеона – расцарапанного ветерана, зверя буро-коричневого окраса, которого Турса таскала с собой повсюду. В настоящий момент и она, и ее какофонический инструмент квартировали у родственников на улице Форта в Нортгемптоне, пока ее старший брат маятником проделывал путь между родиной и Ламбетом, проходя по шесть десятков миль туда и обратно.

Под ногами женщина со сценическим акцентом просила Луизу тужиться сильнее. Жена Снежка – ее толстые конечности и широкое лицо блестели от испарины, – только выла.

– А я, блядь, будто не тужусь, сдалось мне твое сраное «тужься»! О нет, простите. Прошу, простите. Я не хотела. Я не хотела.

Снежок души не чаял в Луизе, любил всеми фибрами души, каждой странной и искривленной мыслью, что полоскали праздничными вымпелами на ветру в ледовласой главе Снежка. Он любил ее за доброту, любил за крепко сбитое сложение, разом невзрачное и приятное глазу, как свежееиспеченный хлеб. Благодаря массе ее личности жена неизбежно была человеком приземленным, земным, укорененным в материальном мире улиц, счетов и деторождений, тела и биологии. Ей было плевать на шпильки, небо или шаткость, она предпочитала очаг, стены и потолок высотам мужа – одержимость верхолазанием он унаследовал от покойного отца. Она покорялась гравитации – которую, как знал Снежок, он будет стараться превозмочь весь остаток своего необычного существования, – и тем самым становилась противовесом Снежка, спасительной привязью, не дававшей унести в небеса, как потерянному воздушному змею.

Взамен Луиза могла наслаждаться более отдаленными и в каком-то смысле безопасными ощущениями хозяина змея, глядеть с упавшим или воспарившим сердцем, как он справляется с каждым свежим порывом, вздрагивать и сочувственно прищуриваться в воображаемом ветре и свете, вчуже. Он знал, что через пятьдесят лет, после его смерти, она не будет переступать порог дома, отвергая небосвод, куда давно унесет ее разноцветного бумажного дракона, оста-

вив за собой только воспоминания о ветре, что так упорно тянул за нитку, о стихийной силе, что наконец победила и вырвала Снежка Верналла из ее пальцев, хватающих пустой воздух.

Все это, конечно, было в сейчас-потом, а внизу, в сейчас-сейчас, он слышал за криками Луизы и приглушенным ворчанием зрителей глухой штормовой рокот грядущей жизни дочери, приближающейся к земной остановке. Снежок задумался о кресте перешептываний и перетолков, что предстоит понести ребенку, пересудах о безумии в семье, точно сошедшем со страниц готического романа. Сперва ее прадедушку Джона, в честь которого назвали Снежка, а затем беднягу Эрна – дедушку, которого она никогда не узнает, – заперли в Бедламе. Снежок знал, что его не постигнет этот удел, но это не преуменьшит ни репутацию безумца, ни тяжелое наследие, что придется взвалить на себя рождающейся дочери. Опустив взгляд на квадрат мостовой, где вскоре появится ребенок, его и Луизы, он вспомнил жуткое чудо, заговорившее с отцом в соборе Святого Павла много лет назад; слова, которые, если верить Эрну Верналлу, положили начало сему необычайному разговору. Снежок рассеянно улыбался, но все же чувствовал, как покалывают глаза горячие слезы, когда тихо повторял про себя эту фразу, наблюдая за бурной деятельностью на Ламбет-уок под ногами.

– Тебе придется очень тяжело.

Он имел в виду ребенка, жену, себя, имел в виду всех, кто когда-либо выбирался из утробы в место, где было ярче, холоднее, грязнее и не так уютно. Это, ЭТО, это место, это завихрение в супе истории – это будет для них очень тяжело. Это понятно и без снизошедшего с небес ангела. Всем придется очень тяжело, потому что они жили в подвижном мире смерти, утрат и бренности, мире постоянных видимых перемен, бурлящем пулеметами, моторными экипажами, о которых он слышал, размазанными картинками, развратными книжонками, новинками – всегда всякой всячиной. Очень тяжело придется Снежку, потому что он жил в мире, где все было навсегда, не кончалось, не менялось. Как объяснил его покойный отец, Снежок жил в мире как он есть. Как следствие он стал, вопреки своим всевозможным общепризнанным умениям, чокнутым и безработным. Стал человеком, который торчит на крышах со стеклянными дверными ручками в карманах.

Но, взвесив все это, Снежок чувствовал себя благословленным, а не проклятым. Нет смысла чувствовать себя иначе – в мире, где каждое мгновение, каждое ощущение тянется вечно. Лучше жить в бесконечном благословении, чем в бессмертном проклятии, и, в конце концов, именно от выбора взгляда на мир зависит, как проляжет узкая грань между адом и раем. Хотя его состояние – отчасти унаследованное, отчасти приобретенное – имело в материальном плане немало недостатков, их значительно перевешивали почти невообразимые достоинства. Он жил без страха, был способен покорять отвесные стены, не боясь покалечиться или умереть, – так как знал, что погибнуть ему уготовано не от падения. Смерть найдет его в длинной анфиладе комнат, словно купе в поезде, а рот Снежка будет забит цветами. Он еще не знал, почему так, – только что так будет. До тех пор он мог рисковать, ничтоже сумняшеся. Как хотел, так и делал.

Свобода была одновременно тем свойством его состояния, которое Снежок ценил выше всего, и величайшим противоречием. Он волен вытворять самые вопиющие безрассудства только потому, что все поступки уже расписаны в так называемом будущем, и потому что он был вынужден их вытворять. Если взглянуть объективно, он понимал, что истинный предел его свободы – свобода от иллюзий о свободе воли. Он не был отягощен уютным миражом, в который веруют остальные, заблуждением, позволявшим им гулять, бить жен или завязывать шнурки, когда заблагорассудится, будто у них есть выбор. Будто они и их жизни – не самый мелкий и абстрактный мазок кисточкой, не крапинка пуантилиста, зафиксированная и неподвижная в лаке времени, навечно застывшая на неизмеримом холсте, – часть замысла слишком обширного, чтобы его могли охватить мыслью или хотя бы взглядом его же составные части. Ужас и величие ситуации Джона Верналла – ужас и величие пигментного пятна, вдруг

осознавшего свое место в углу шедевра: точки, которая понимает, что навечно останется на своем месте на раскрашенной поверхности, что она никуда не денется, и все же восклицает: «Как страшно и как славно!» Он знал себя, знал, что он такое, и знал, что несколько превозносит его над собратьями-закорючками на картине, которые не так чувствовали свое истинное несчастье, его грандиозность и множество дарованных им возможностей.

Он владел волшебством, не считая бесстрашия, поднимавшего его над кровельными холмами горизонта. Он без труда мог преодолеть невыносимо долгий путь или любое другое испытание на истощение, применяя техники, усвоенные от отца. Эрнест объяснял ему и Турсе, что наше ощущение пространства можно складывать так же легко, как мы складываем карту, чтобы совместить на ней две точки – скажем, Боро Нортгемптона и улицы Ламбета. Эти два места на самом деле необычайно легко свести друг к другу благодаря неисчислимому множеству людей, уже проделавших этот путь и тем самым превративших складку в разболтанный и побелевший сгиб. Снежок прибегал к нему всякий раз, когда приходилось странствовать между Турсой в Боро и своей мамой с маленькими Посланником и Аппелиной в Ламбете. Нужно всего-то начать путь и затем, как научал папа, вознестись к другому мышлению, что двигалось, как события во сне, вне реалий минут, часов и дней. Время легко ложилось в эту старую знакомую морщину, и глазом не успеешь моргнуть, как уже прибываешь к назначению, с гудящими ногами, но без усталости, без воспоминаний о скуке – да и вообще без всяких воспоминаний. Эрнест преподавал детям, что в путешествии сознание проще сдвигать по оси протяженности, нежели чем расстояния, хотя башмаки ты сносишь одинаково скоро что так, что эдак.

На этом не исчерпывались изученные способности Снежка. Он знал будущее – туманно, не как пророк, но скорее узнавал его, когда видел, знал, чем кончится дело, только с ним стал-киваясь: так бывает со сценами в книге, которую пускаешься читать, позабыв, что она уже прочтена каким-то давнишним летом, и ощущаешь мучительное предвосхищение того, что ожидает на следующей странице.

Еще он видел призраков. Видел обычных – духов прошлых зданий и событий, врезанных в невидимую временную ось, фантомные постройки и сценарии, которые другие люди принимают за воспоминания. Видел он и более редких, но и более известных привидений – неупокоенных мертвых: терзаемые души, что не желали повторять свои мучительные жизни, но не были готовы или склонны переходить в следующее состояние. Иногда он улавливал их краем глаза – дымные фигуры, бесконечно кружащие по своим старым районам в поисках призрачных бесед, призрачной случки, в поисках призрачной еды. Всего год назад он видел тень мистера Дадда, художника, рисовавшего фейри, который обезумел и убил собственного отца. Сам Дадд умер в начале 1886 года в Бродмурской больнице – заведении для душевнобольных преступников. В том случае Снежок видел, как фантомная форма художника стояла почти в раскаянии у ворот Бедлама, где Дадд когда-то находился в заточении. Снежок следил за слабым периферийным пятном, когда оно сорвало что-то равно неразборчивое с воротного столба лечебницы из обшарпанного камня и, похоже, съело. Мертвый художник, судя по расплывчатому намеку в позе и поведении, казался не столь одержимым или маниакальным, как при жизни, а, напротив, трезвомыслящим и преисполненным глубокого сожаления. Скорбное видение задержалось на несколько секунд, угрюмо жуя таинственную находку и глядя на мрачное строение, затем растаяло в сырой бесцветной кладке стены.

Художник Уильям Блейк, что жил выше по Геркулес-роуд около века назад, тоже знался и беседовал с существами из другого мира – с умершими, с ангелами, демонами, поэтом Мильтоном, который входил в Блейка течением через пятку левой ноги. Упоминания о четырехмерном и вечном городе ламбетского визионера порою казались столь близки мировоззрению Снежка – вплоть до точного количества измерений, – что иногда он задавался вопросом, не могло ли поощрять такие мысли какое-то свойство самого Ламбета. Возможно, часто размышлял он, из-за какого-то нюанса формы или положения района – если рассматривать его в четы-

рех планах, а не трех, – округа становилась особенно благоприятной для конкретного настроения, для уникальной точки зрения, – хотя и понимал, что в его случае превалирующим влиянием было наследство. Он был Верналлом, а его отец Эрн приложил все усилия, чтобы Снежок с сестрой точно знали, что это влечет.

«Nomen est omen», – так объяснял их папа, неграмотный, но каким-то образом цитирующий выражения на латыни. Это же был довод – если его можно так назвать – в пользу наименования младших детей Посланником и Апеллиной: одно прозвание намекало на ангела-вестника, а другое – на нашу павшую мать Еву. Nomen est omen. Имя есть знак. Эрн учил Джона и Турсу, что «наверху» есть место, где то, что внизу нам кажется только именем, во многих случаях может предстать должностью. Верналлы, как определил термин их отец, ведают границами и углами, краями и канавами. Невысокий пост в небесной иерархии, но он незаменим и обладал своим сверхъестественным авторитетом. В понимании Снежка, по странным лингвистическим законам высшего измерения, о котором рассказывал Эрнест, «Верналл» было словом с коннотациями, близкими к слову «verger»: как в старом смысле – то есть человек, который следит за межами, так и в смысле духовной традиции – «жезлоносец», обладатель символа власти. Но «наверху» язык, если верить Эрну Верналлу, был формой словно бы взорвавшейся речи, и каждая фраза расправлялась в прекрасное и мудреное кружево ассоциаций. «Жезл» – rod – был как знаком должности, так и линейкой и мерой измерений – потому-то, предположительно, название verge приняли «роды» земли вдоль участков, полосы травы, оживающие с приходом весны, в день весеннего равноденствия – vernal equinox, что опять отсылает к фамилии Верналл. Этот аспект плодородия отражается и в староанглийском, где слово «жезл» – verge или rod – было сленговым наименованием для того, что мужчины прячут в штанах; по крайней мере, так преподносил этимологию их отец, который не умел ни читать, ни писать. В целом Верналл блюдет границы и пределы, периферию мира и неухоженные окраины здравого смысла. Вот почему, настаивал Эрн, Верналлы, как правило, – бредящие безумцы без гроша в кармане.

Взглянув на появление ребенка, которому суждена участь сия, Снежок позволил своему осознанию времени кристаллизироваться вокруг четверти дюйма на оси протяженности – эта мелочь представляла нынешний момент, – и все вокруг стало двигаться еле-еле, а течение событий – едва заметно. Вот очередной талант или недуг, который унаследовали они с Турсой, – средство зачаровывать мир до замирания. «Голубиный взор» – так называл дар их папа, не объясняя, почему. Облака остановились и свернулись в синем соке неба, спрятав солнце, которое перевалило за пик и находилось чуть позади Снежка – скудное тепло лежало на плечах и затылке.

Дорога под его парашютом на Ламбет-уок стала садом скульптур, полуденные суэта и беготня замерли. Мусор и пыль, подхваченные мартовским ветром, оцепенели в дерзком вознесении, зависнув в воздухе различным пунктиром, так что незримый ток воздуха поместился трухой и стал видимым – стеклянная винтовая лестница, несущаяся над улицей. Ссущая лошадь производила бусы невесомых топазов, крошечных золоченых корон на месте, где капельки поймало в процессе удара по липким булыжникам. Прохожие, полоненные моментом на ходу, теперь выстроились, как танцоры в диковинном балете, невозможно балансируя на одной ноге с весом, переброшенным вперед в незавершенном шаге. Нетерпеливые детишки парили в дюймах над квадратами «классиков» и ждали, когда закончатся их прерванные прыжки. Шейные платки мужчин и незаколотые волосы женщин разлетелись в неожиданном порыве, но так и остались, торчали жестко, как деревянные флажки на сигнальных будках у железной дороги.

Шум тоже замедлился, хоровой голос Ламбет-уок теперь доносился ленивыми волнами, словно через что-то вязкое, стал темным смазанным басом, аудиальным болотом. Бесшовный цокот копыт превратился в бесконечно гремящие удары по наковальне через продолжительные

промежутки, словно в мастерской утомленного и невоодушевленного кузнеца, тогда как быстрые трели таинственной птичьей песни теперь звучали с темпом пустой и приятной беседы стариков за домино. Крики уличных торговцев с Принсес-роуд скрипели, как двери из историй о привидениях, раскрывающиеся с мучительной неспешностью перед каким-нибудь ужасом в кандалах. Два пса, подравшихся на Юнион-стрит, пародировали фоновый рокот промышленной машинерии, их лай растянулся в урчание закопанных двигателей, в гудящие обертоны насилия – в бесконечную вибрацию мостовых, которую редко замечают, но она всегда есть. Среди всего этого наливалось контрапунктом дрожащее сопрано последнего крика бедной Луизы, перелившегося в арию. Беременная акушерка на коленях рядом с ней на замызганной улице осеклась посреди нового призыва к супруге Верналла тужиться и издавала протяжный рев минотавра, в котором Снежок узнал раздутую до треска гласную.

Жена Снежка казалась накачанной, как шарик, того гляди лопнет. Снаружи показалась почти половина головы младенца – синеватый разрыв, смазанный кровью, в распираемых половых губах Луизы, теперь невозможно разросшихся, словно болезненный круг, воротник пуловера. Тор.

В кошмарных чертогах Бедлама Эрнест Верналл придвигался к детям – последние клочки волос на голове были неухоженными и белыми, как живые изгороди на тропе овечьих гуртов. Голосом, опустившимся до драматичного шепота, одновременно заговорщицкого и поспешного, он доносил до них важность этого доселе неслыханного слова, термина, чаще применяемого в архитектуре или стереометрии. Тор, объяснял им отец, – фигура в виде резиновой шины, получаемая в результате вращения конического диска по кругу, начертанному на смежной плоскости, или же объем, который охватывается подобным пространственным движением. Торы – по крайней мере, как их определял отец, – самая главная фигура во всем космосе. Все живые существа Земли, что могли похвастаться больше чем одной клеткой, по сути своей были торами, по крайней мере с топографической точки зрения; неправильные торы, масса которых сосредоточена вокруг центральных отверстий пищеварительного тракта. Их планета на зафиксированной орбите вокруг солнца, если отбросить иллюзию течения времени, описывала тор. Как и все остальные планеты и их спутники. Сами звезды, вращаясь в спиральной воронке галактики, были торами потрясающих масштабов с диаметрами в сотню миллионов лет. Эрнест поведал, что и сверкающая вселенная во всей своей полноте обращается вокруг точки в несотворенном ничто (хотя у нас не существует средств замерить это движение относительно буквального ничего), и что если пространство и время представить однородной субстанцией, то все Божье творение можно считать тороидальным.

Вот почему, оказывается, скромный дымоход был такой всемогущей и тревожной конфигурацией. Отчасти поэтому старший сын Эрна Верналла так много времени проводил на крышах, среди вонючих труб: за ними нужен глаз да глаз.

Дымоход – с топографической точки зрения по сути своей вытянутый тор, – это материализация фигуры в ее самом ужасающем и разрушительном аспекте, это воплощение заключенной в ней великой губительной бездны, где центральное отверстие становится трубой крематория, с помощью которой можно легко избавиться от всего, что больше не отвечает требованиям; каменные или терракотовые пасти смерти зловонными миазмами отгрызают в оскорбленные небеса покойников, сломанные кровати рамы и вчерашние газеты. Потому почерневшие дымовые трубы служат и социальным каменным мешком, куда заталкивают нижние классы, начиная с детей. Дымоходы тлели с запахом отвратительного дыхания пустоты. Четыре трубы, вставшие в ряд за спиной Снежка на коньке, были хрупкими оболочками, окружающими пустые бездны того же небытия, из которого люди приходят и куда уходят, были кривым отражением другого тора, что зиял между бедрами Луизы и проливал жизнь, тогда как они проливали ее противоположность.

Внизу – хотя женщина, помогавшая родиться ребенку Снежка, все отдавала приказ тужиться, теперь пойманная в ветреном шорохе шипящих согласных, – уже полностью показалась головка ребенка. Жена Снежка напоминала деревянные куклы-палочки с головой и конечностями на каждом конце – переворачивай как хочешь. Всматриваясь в блистательной патоке момента в кровавую макушку полуорожденного младенца, Верналл понял, что эта точка зрения обратна торцовому виду на их покойного отца, который они с сестрой наблюдали однажды в мертвецкой. Теперь жизнь – впервые на его опыте – предстала перед ним с другого конца. И если смотреть через этот конец захватывающего дух телескопа, зрелище было еще восхитительней и еще ужасней.

Он оглядел длинную инкрустированную трубку – завидный смертный век его дочери – и увидел, как яркие и прекрасны уже близкие корни кораллового дерева по сравнению с заско-рузлой тьмой на ее далеком противоположном конце. Он видел полдюжины распускающихся наростов – ее собственных детей, которые расцветут и разрастутся от материнского стебля где-то на четверти его длины. Все шесть самоцветных отпрыска испускали благолепное сияние – повод для материнской гордости, – но когда он увидел самый ближайший, а значит, перворожденный побег – как его несравненную красу, так и краткость, – то почувствовал комок горя в горле, обжигающую соль в глазах. Такой драгоценный – и такой маленький. Теперь Снежок заметил, что другая ветвь, предпоследняя, тоже обрубается на несколько десятилетий раньше кончины его девочки-дочки, и спросил себя, не эти ли утраты объясняют насыщенную меланхолическую расцветку, различимую на дальнем конце человеческого туннеля.

Жизнь его дочери протягивалась больше чем на восемьдесят лет в то, что одни называли «будущим», а он называл «там». Мрачный и бесцветный дальний край дочери лежал в неузнаваемой для Снежка Англии – царстве блоков, кубов и слепящего света. Она умрет в предместьях Нортгемптона, одинокая, в чудовищном доме, который казался целой улицей, сжатой в одно здание. Он видел, как она лежит ничком в ярком коридоре, с толстыми щеками, пигментными пятнами, почерневшим от прилившей крови лицом. Она попытается добраться до входной двери и свежего воздуха, но предопределенный сердечный приступ доберется до нее раньше и выбьет почву из-под ног. Его и Луизы любимая маленькая девочка. Кулек старых лохмотьев – вот на что она была похожа в том коридоре, где упала в дюймах от дверного коврика без букв; ее найдут только спустя два дня.

Он не мог этого вынести. Это слишком. Снежок предполагал, что, поддавшись безумной роскоши теорий отца, он в каком-то смысле станет полубогом, станет мудрее и сильнее, чтобы справляться с прозрениями, станет неуязвимым к атакам обыденных чувств. Оказалось, все не так. Теперь он словно вспомнил, что в тот день, когда он стоял на крыше и лицеизрел родовые муки Мэй в грязи в присутствии ее же одинокой смерти, уже врезанной в будущее, Снежок воистину осознает гнет обязанностей Верналла. Устрашающий вид на жизнь в перспективном сокращении – всего лишь взгляд из-за угла, и к нему лучше привыкать. В конце концов, на деле Снежок не более одарен или проклят, чем любой другой. Разве люди не говорят, как в опасной ситуации время для них словно останавливается? Разве не рассказывают о предвидениях, удачных догадках, сверхъестественном ощущении, что какое-то событие уже произошло? Разве не правда, что все испытывают эти ощущения, но по большей части предпочитают игнорировать – возможно, предчувствуя, куда могут завести подобные мысли? Все знают туда дорогу – э-ге-гей! И конечно, все родители знают, что в рождении ребенка заключается и его смерть, но в глубине души – возможно, сами того не замечая, – принимают решение не вглядываться в этот великолепный и трагичный кладезь, куда теперь вглядывался Снежок.

Он их не винил. Если вкратце, рождение – это преступление, караемое смертной казнью, с неопределенным сроком заключения. Только естественно, что люди пытаются притупить свое осознание столь ужасного обстоятельства – если не выпивкой, то уютной, теплой и шерстяной неопределенностью. Только от таких пылающих душ, как Снежок Верналл, можно с полным

основанием ожидать, что они перенесут бурю бытия без шубы, а на ее сияние будут взирать не через матовое стекло, – лишь стоя обнаженными в резком бессмертном реве всего. Он тотчас же принял непоколебимое решение, что не передаст своей дочери незамутненные знания Верналлов так, как папа передал их ему и Турсе. Почти рожденного ребенка ждала пара десятилетий счастья и безбедной красоты, прежде чем жизнь начнет навьючивать ее своим бременем. Он позволит Мэй насладиться принадлежащими ей по праву годами счастья, не омрачая их тенью предсказания неизбежного итога. Хотя в его состоянии были свои ограничения и пределы, и он не мог изменить то, что определено им обоим, он мог подарить своему первенцу хотя бы эту мелочь – благословенный бальзам неведения.

Теперь он позволил своему непоколебимому сосредоточению рассеяться, ослабив хватку на шкурке времени, чтобы мгновение стронулось, лошадь dokonчила ссать, мальчишки продолжали скакать. Замерший и замерзший гомон момента внезапно оттаял, так что вульгарный галдеж Ламбет-уок ускорился из бывшего бубнящего ступора – подобно восковому цилиндру, который замедлили и остановили, чтобы перемотать, и теперь его мелодия пьяно раскручивается обратно к обычному многогласию и крещендо.

– ...жсья! – докрикивала акушерка. – Тужсья сильнее! Уже выходит!

Последний вопль Луизы взобрался к зазубренному пику, затем изможденно сомлел и упал в объятия облегчения. Мокрая и серебристая, как рыбка, девочка без труда выскользнула в мир, в руки повитухи-самоучки, в поджидающие полотенца и одеяла. По зевакам пронесся теплый шепот одобрения, как ветер – рябью по спокойному водохранилищу, а потом и его дочь провозгласила собственное прибытие нарастающим, заикающимся плачем. Луиза рыдала в ответ и спрашивала коленопреклоненную женщину, все ли хорошо, здоров ли ребенок, успокоенная в ответ мягким голосом, что это милая девочка и что ручки-ножки на месте. Солнце раздвинуло свои кучевые кулисы и пригревало шею Снежка, спустившись на нескольких градусах за спиной, отбрасывая широкую полосу прохладной тени на камни Ламбет-уок – сплюснутый треугольник с укороченным черным абрисом Верналла на вершине. Небрежно, словно действие не было размеренно до последней доли секунды, Снежок опустил руки в нагруженные болтающиеся карманы куртки и извлек тяжелые резные ручки, взяв в каждую ладонь по холодному латунному стержню.

Он воздел обе руки так, как, по словам папы, поступали ангелы, желая утешить или возрадоваться, – движение голубя, поднимающего крылья, чтобы ударить ими и взлететь. Сверху хлынули потоки солнца, нарезались на ленточки о края хрустальных сфер. Стружка многоцветного сияния, лучи в таких тонких дольках, что можно было видеть их блестящие слои – синий, кровавый и изумрудный, опали на Ламбет-уок брызгами палитры, перьями окунутого в краску света, что задрожал на бордюрах и камнях, а ярче всего – в лоскуте тени, накрывшем с головой его жену и ребенка. Передавая вытертую и спеленатую новорожденную нервной матери, способствовавшая родам женщина наморщилась от удивления при виде одной такой переливающейся гепардовой кляксы, проплывшей по ее полотенцам и деликатным пальчикам. Испачканная самоцветами, она закинула голову, всматриваясь, чтобы определить источник феномена, и изумленно охнула, вслед за чем последовали ее примеру Луиза и люди на родильной мостовой, подставив лица павлиньему дождю.

Джон Верналл, безумный Джон Верналл, был безликим силуэтом на коньке с солнцем за головой, из-за белых волос словно охваченной огнями святого Эльма или фосфором, с вознесенными ввысь руками – сухотелый буревестник, вернувшийся после потопа с распотрошенными в задранных лапах радугами, лучистыми ручьями, струящимися меж сомкнутых огненных когтей. Спектр плеснул на замолкнувшую толпу светозарными и живыми крыльями мотыльков, разлился, но еще трепетал по сточным трубам, порогам, щекам и распахнутым челюстям. Новорожденное дитя перестало плакать, недоуменно прищурилось навстречу первому проблеску бытия, а его жена, освободившаяся от потуг и самозабвенная от роздыха,

рассмеялась. Присоединились и другие из собравшейся толпы, один даже заплодировал, но быстро бросил, пристыженный и одинокий, в звуках общего веселья.

Наконец Снежок опустил руки, вернув стеклянные ручки в карманы пиджака. С улицы снизу он слышал, как Луиза велела ему прекратить валять дурака, спускаться и посмотреть на их дочь. Выудив из-за торчащего уха спрятанный там кусочек пожелтевшего мела, он обернулся спиной к краю крыши и сделал три осторожных шага по коньку к высокому кирпичному дымоходу, нависавшему над ним. Размашистым и витиеватым почерком нацарапал на кладке: «Здесь был, есть и будет Снежок Верналл», – отступил на миг оценить свой труд. Его не смоеет следующим дождем, который принесет с востока, но ливнем сразу после него.

Снежок вздохнул, и улыбнулся, и покачал головой, а затем спустился вниз, обратно на дорожку бесконечной музыкальной пластинки.

Ветер, что колеблет ЕЕ фартук

С мертведкой на улице Форта была миссис Гиббс, и когда она послала за ней в первый раз, передник у той был накрахмален и белоснежен, а на подоле вышиты бабочки. Мэй Уоррен тогда исполнилось девятнадцать лет, она окаменела от страха на последней стадии родов, но даже через неожиданную боль и обжигающие слезы поняла, что таких женщин ей видеть еще не доводилось.

Все еще стояла стужа, и уличный туалет заledenел, так что последние два дня им приходилось сжигать свои дела на огне. В гостиной еще несло, но миссис Гиббс и носом не повела, скидывая пальто и демонстрируя изящный фартук – белый во мраке первого этажа, как фонарь, с летней мошкаррой розовой и оранжевой ниткой, поднимающейся по крепким бедрам и животу с зимним жирком.

– Ну-ка, голубка моя, посмотрим, что у нас тут, – ее голос был, как запеченный пудинг, густой и теплый, и, пока мать Мэй, Луиза, наводила свежий чай, смертведка извлекла жестяную табакерку – маленькую, как спичечный коробок, с эмалевой миниатюрой покойной королевы на крышке. Загнув большой палец, чтобы получилась ямка на месте встречи ладони и фаланги, миссис Гиббс затем с великой точностью сыпанула щепоть душистой бурой пыли в образовавшуюся неглубокую полость. Подняв руку и опустив голову, она смела пороховую кучку в два смачных шмыга – по половине в каждую ноздрю, а затем оглушительно разрядила в носовой платок – сам по себе этюд в коричневых тонах. Улыбнувшись Мэй, она убрала жестянку и опустила между ее коленей.

Молодая будущая мать ни разу не видела, чтобы женщина нюхала табак, и только было собиралась узнать об этой привычке побольше, как схватки выдавили вопрос из мыслей. Мэй заревела и застонала, и в дверях кухни появилась мама с чаем для миссис Гиббс. Она сочувственно взглянула на дочку, но не могла удержаться и не заметить, что роды самой Мэй оказались передрыгой куда хуже.

– Думаешь, тебе плохо, девочка? Ты и не знаешь, как я с тобой намучилась. Ты не в постели, потому что наверху у нас нету огня, вот и лежишь тут на кушетке, но хоть порадуйся, что не валяешься на Ламбет-уок, как я в свое время, пока твой папочка прохладжался на крыше.

Мэй пыхтела, обожгла мать страшным взглядом и отвернулась к обоям за диваном, закопченным так, что узоры в виде пупырчатых роз в неверном домашнем свете превратились в грустных коричневых львиц. Она выслушивала это уже сотни раз – историю о том, как родилась на камнях мостовой, испещренных харчой и апельсиновой коркой, когда ее отец примостился, как горгулья, над улицей; словно мать даже отчего-то гордилась, что посадила семейное древо с корнями одновременно в доме призрения и доме для умалишенных.

Она услышала из передней комнаты приглушенный стук: капризничали ее братья или сестра – скорее всего, расстроились, что им пришлось безвыходно сидеть в зале. Сестре Мэй, Коре, недавно исполнилось шестнадцать и не терпелось узнать, что влекла за собой беременность, тогда как Джим питал противоположные интересы. Маленькому Джонни, доросшему до грязного возраста, просто свербело залезть женщине под юбку.

Ее мать, которая тоже услышала шум, вышла из комнаты, цокая языком, чтобы найти его источник, оставив Мэй один на один с миссис Гиббс. Смертведка исследовала стыдные места Мэй, словно хрупкую книгу учета, внимательно, как поверенный или судья. Она, казалось, была выше мяса и месива – словно, думала Мэй, друид, бесстрастно режущий глотку агнцу на рассвете. Огонь в очаге – зеленоватый, из-за растопки дерьмом, – не столько освещал сцену, сколько придавал ей настроение тусклого оскала пыточной и шугал тени под стульями. С отсветом пламени на и без того багряной щеке женщина подняла взгляд на Мэй. Прекратив

интимный осмотр, прополоскала руки и вытерла их тряпкой, еле заметной улыбкой сказав, что все в порядке.

– Света бы нам поболее, верно, голубка моя? Статочно ли ребенку родиться в мире без тепла.

Взяв лампаду с каминной полки и сняв с нее молочное стекло, смертоведка зажгла спичку. Коснувшись вялого черного фитиля-гусеницы, она произвела маленький огонек таинственного голубоватого света, с фабричным запахом, безопасный и деловитый. Высокий цилиндр лампы – по-тигриному полосатый у основания от сажи, с изъёмом в виде призрачной трещины, – вернулся на муфту, так что комната погрузилась в бледное тепло-желтое свечение. Истрепанные занавески казались бархатным вином. Стекланные поверхности комнаты засверкали, как дублоны, – роскошный блеск на зеркале и барометре, циферблате медленно тикающих часов с римскими цифрами. Темно-рыжие волосы Мэй запылали ярко, как утесник в сумерках, даже где пристали ко лбу или прилипли к влажному и блестящему лобку. Гадкая родильная яма будто преобразилась в картину Джозефа Райта из Дерби, как его воздушный насос или кузница. Мэй хотела что-то сказать о переменах, но на полуслове ее прервали новые схватки, самые изматывающие.

Когда наконец ее крик разбился, как волна – на галечный шепот в ручейках всхлипов, испуганная девушка медленно поняла, что миссис Гиббс рядом, держит ее за руку, сочувственно убаюкивает и мурлыкает – такая природная и уютная, как пчелы. Пальцы ее на ощупь казались сухими, как бумага, и хотя бы прохладными в сравнении с руками Мэй. Голос ее напомнил Мэй о яслях.

– Боже ты мой, голубка, как же тебе, поди, больно. Но уже недолго осталось, если я что-то понимаю. Просто отдохни чуток, пока я выскочу на минутку побеседовать с твоей мамочкой. Лучше ей оставаться там и утихомирить твоих братьев с сестрой, а мы с тобой разберемся ладком промеж собой, чтобы никто свой нос не совал. Если только, конечно, сама не хочешь ее кликнуть?

Миссис Гиббс словно читала мысли Мэй. Та любила мать яростной, свирепой любовью, как любила всех своих родных и друзей, но в эту минуту обошлась бы без повестей Луизы о страданиях еще страшнее или куда более обильно отошедших водах, словно она состязалась в боли и сраме с дочкой. Мэй живо подняла взгляд к миссис Гиббс.

– О-о, нет, если вы не против, пусть она побудет там. Если услышу, как она вдругорядь рассказывает, как я вылезла на чертовой Ламбет-уок, пока папка смотрел с чертовой крыши, богом клянусь, не удержусь и шею ей скрочу.

Миссис Гиббс хихикнула – чрезвычайно приятный звук, словно по ступенькам скатились яблочки.

– Ишь ты, а нам этого не надо, верно, голубка? Сиди смирно и я вмиг обернусь.

На этом смертоведка выскользнула из комнаты, забрав с собой слабый перченный аромат табака – незамечаемый, пока не пропал. Мэй лежала на кушетке и тяжело пыхтела, прислушиваясь к приглушенному разговору в зале. Короткий возглас протеста, который, по мыслям Мэй, наверняка озвучил их Джонни, – затем голос миссис Гиббс, резкий и отчетливый, несмотря на кирпичи и штукатурку.

– На твоём месте, голубок мой, я бы голоса не поднимала. Коли смертоведка говорит, значит, делай. Мы приводим жизнь. Мы все про все о ней знаем. Мы ежились от сквозняка на каждом ее конце. То, чего ты страшишься, нам хлеб с маслом, и нам недосужно воспитание невежественных неотесанных мальчинок. С места сходить не смей, пока я занята.

Раздались подавленное согласное бормотание, шаги и стук двери в коридоре, потом миссис Гиббс вернулась в комнату, и ее щеки, как у Панча и Джуди, все шли морщинами от улыбки, словно не она только что напугала двенадцатилетнего мальчика до полусмерти. Ее голос, всего минуту назад ледяной от строгости, стал сладким и вызревшим в дубе, как настойка.

– Ну вот, другое дело. Кажись, мы все уладили. Твой младшенький взялся было спорить, но я прикрикнула разок.

Мэй кивнула:

– Наш Джонни любит чудить. Трещит без умолку, как станет звездой на сцене или в мюзик-холле, а только как – и сам не знает.

Миссис Гиббс засмеялась:

– Ну, выступать он уже умеет на славу, артист такой.

Тут и вернулась волна боли, хлестнув кости, как морской плавник, прежде чем унести в отлив, который, как знала Мэй, мог уволочь ее прочь из этого мира. По сей день при родах умирала одна из пяти матерей, и Мэй становилось дурно от одной мысли, сколько раз эти мучительные тяготы были последним, что знало в жизни несметное число женщин. Уйти от горячки к смерти, зная, что ребенок, которого ты так долго носила, наверняка последует за тобой, зная, что родословная твоей семьи раздавлена в пыль в шестернях мира, кровавых жерновах, грохочущих до скончания времен. Она стиснула зубы от ужаса. Захныкала и вся натянулась, пока ее лицо не покраснелось, а веснушки едва не попрыгали со щек, чем заслужила беспощадную отповедь миссис Гиббс.

– Тужишься! А кто тебе велел тужиться? Сделаешь только хуже и себе, и ребенку. Дыши, девочка. Только дыши. Как собачка дыши.

Мэй попыталась сопеть, но ударилась в слезы, когда схватка ослабила силу, улеглась лишь до остаточной боли. Она знала, что умрет в этой самой комнате, вдыхая горячие экскременты – красавица Мэй Уоррен, которой нет и двадцати. Она испытала ужасное предчувствие, приближалось что-то грандиозное – необыкновенное, парящее поблизости, – и приняла это за собственный конец. Не сразу она заметила, что вцепилась в руку смертоведки, пока миссис Гиббс присела у дивана, смахивая росу родовых мук Мэй, утешающе воркуя и шепча:

– Не страшись. Все у тебя получается. Все будет хорошо. Моя мама была смертоведкой, и ее мама, и бабушка. Не буду божиться, что мы ни разу не теряли мать или дитя, но теряли мы их редко. Я – ни разу. Ты в надежных руках, голубка моя, какие только бывают. К тому же ты из старой здоровой семьи. Ты же девочка Снежка Верналла.

Мэй поморщилась и пожала плечами. Ей всегда было стыдно за папу. Все знали, что он полоумный – по крайней мере, с прошлого года, когда его судили за то, что он влез на крышу Гилдхолла, просидев все утро в пабе, и там, пьяный как сапожник, приобнял за пояс каменного ангела и декламировал вздор озадаченной толпе, сгрудившейся на улице Эгидия. Никто и не знал, чем он только думал. Незадолго до того он работал в ратуше, на лесах под ее потолком, ретушировал старые фрески по краям, но, когда об этой эскападе раструбили все газеты, стало ясно, что больше его туда никогда не пригласят. Народ любил потеху, но это никак не выручало: из-за поведения Снежка они жили в нищете.

Из-за подобных фокусов он редко находил работу, но не это досадовало Мэй крепче всего. Прodelки и близко не были тем препятствием к достатку, каким оказались принципы ее папы – принципы, которых никто не мог взять в толк, кроме самого папы и ее сумасбродной тетушки. Два года назад, в тысяча девятьсот шестом, один земляк, восхищавшийся умениями ее отца, предложил ему деловое партнерство в стекольной компании, которую завел. Теперь он зарабатывал тысячи, а тогда обещал папе Мэй половину доли при одном обязательном условии: сумеет Снежок две недели не переступить порог паба – должность его. Папа долго не думал. Сказал: «Вот еще, будут мне указывать, что делать. Ищи себе партнера в другом месте». Чертов дурак. Мэй так и плюнула бы – подумать только, она рожала на улице Форты, а у стекольщика был дом в три этажа на Биллингской дороге. Когда бы папа не ходил мимо него с мамой Мэй, он получал головомойку за то, что наделал, – обрек семью на захудалое существование, причем, скорее всего, на много поколений. Мэй пробормотала кое-что из этого миссис Гиббс.

Все еще улыбаясь, смертоведка покачала головой:

– Его в наших краях очень уважают, хотя могу понять, какое это испытание, если с ним жить. Дело в том, что он Верналл. Как и ты. Такое слово, как и «смертоведка», не услышаешь нигде, кроме Боро. И даже при этом половина не знает, что это значит. Это старые имена, и скоро их не останется на свете, голубка моя, как не останется и нас, кто их носит. Прояви уважение к отцу и к тетушке прояви, мастерице аккордеона. Сомневаюсь, что мы еще встретим подобных людей, особенно раз они так легко разбрасываются деньгами. Да, ты бы могла быть богачкой, но сама подумай. Ты бы стала слишком хороша для венчания со своим Томом, и где бы тогда был твой малыш? Что ни делается – все к лучшему, по крайности в наших местах.

Мэй вняла словам миссис Гиббс, когда услышала о своем муже. Том Уоррен относился к Мэй с таким уважением, какого она никогда не встречала в мужчинах. Ухаживал за ней так, словно она голубых кровей, дочка короля, а не деревенского дурачка. Смертоведка была права. Будь Мэй богата, она бы решила, что Том гонится только за большим фунтом. Живи она на Биллингской дороге, он бы к ней и на десять ярдов не подошел. А этот ребенок, которого Мэй хотела так отчаянно, оказался бы очередной ненаписанной страницей.

Не то чтобы она все простила Снежку. Он же так себя вел не из соображений о благе Мэй, а из собственных прихотей. Откуда ему было знать, что она выйдет за Тома, если только он сам не предсказатель? Как и всегда, он поступал, как ему вздумается, без единой мысли о других. Как в тот раз, когда вдруг сорвался с места, прошел всю дорогу до Ламбета и пропал на несколько недель, и чем там занимался – никто и не догадывался. О, конечно, он не тунелствовал и приносил домой жалованье, но Мэй знала, что ее мама Луиза подозревала, будто у него есть и другие женщины. Мэй казалось, что мама вполне может быть права. Он был блудливым сукиным котом, который мог бить баклуши со своими приятелями, а сам все строил глазки их женам. Мэй надеялась, Том, который замечательно спелся с тестем, не подхватит эту слабость на передок. Этим утром, когда все началось, они вместе улизнули в паб, чтобы не мешаться. Хотя прогнала их сама Мэй. Не хотела, чтобы Том видел ее такой.

Сладкий, как масло, свет из очага лежал густым слоем на латунных шишках, венчающих решетку. Сгорбленная тень, отброшенная миссис Гиббс на стену в бумажных розочках, словно принадлежала великанше или самой Судьбе. В полудреме от усталости Мэй чувствовала, как надвигается что-то великое, что-то осязаемое все ближе, но затем на ее утробе сомкнулся жестокий кулак и вырвал все хлипкие нити мыслей, как волосы.

В этот раз, хотя мучения были еще страшнее, Мэй хотя бы не забыла дышать, пытела и хватала воздух не хуже, чем – вспомнилось ей – во время зачатия этого болезненного узелка. Мысль показалась комичной, и она рассмеялась, но снова свалилась в крик. Миссис Гиббс подбадривала мягким шепотом. Говорила, какая Мэй храбрая и умница, и сжимала ладонь, пока волна не обмелела.

Перепутанные детали мозаики из мыслей Мэй разбросало по ковру воображения – тысяча цветных и чуть разных фигур, которые она не могла не перебирать, находя все уголки, затем все краешки, отличая синие кусочки с небом от земли, крапчатой, как пасхальное яйцо. Она терпеливо восстанавливала картину самой себя – кто и где она и что происходит, – но тут снова протопал носорог деторождения, которого она не ждала так скоро после предыдущего набега, и, грубо махнув рогом, свел на нет все ее усилия собраться. Смертоведка отпустила руку и переместилась к концу лежанки, между коленей Мэй. Голос миссис Гиббс был твердым и командным, распоряжался без лишней тревоги.

– А вот теперь можешь стараться и тужиться. Чуть-чуть – и готово. Терпи, голубка, терпи. Уже недолго осталось.

Мэй сомкнула губы на kloкочущем крике и выдавила его в направлении чресл. Ей казалось, будто она пыталась высрать мир. Она толкала и тужилась, хоть и верила, что так из нее вывалятся все внутренности. Боль наливалась, распирала шире, чем, как Мэй знала, она была там, внизу. Она лопнет, треснет, ее разорвет напополам, придется зашивать от носа до зада.

Вой, пойманный за сжатыми зубами, звенел в ушах песней, как чайник, и вырвался, чтобы наполнить тесную золотую каморку, когда все внутри вскипело и убежало пеной.

Миссис Гиббс сдавленно охнула. Вышла головка ребенка, и если бы Мэй могла заглянуть за горизонт талии, то разобрала бы рыжие кудри, как огоньки, куда ярче ее собственных. Миссис Гиббс выпучила широко распахнутые глаза, словно обратилась в камень. Придя в себя, смертоведка подхватила сложенное полотенце и наклонилась, готовая принять дитя. Но почему она так бледна? Что пошло не так?

Момент словно плыл перед глазами, скользил из яви в сон и обратно. Ей показалось или в какой-то момент по дому пронесся крепкий ветер, хотя двери и окна были накрепко закрыты? Что потревожило занавески, скатерть и вышитых бабочек, роившихся на хлопающем подоле фартука на смертоведке? Голос миссис Гиббс, словно доносящийся из-за шквала, говорил, что еще чуть-чуть, вот еще крайний рывок, – и тут неудобства последних девяти месяцев вышли из Мэй на диван, растаяли в облегчение, блаженное и всеохватнее, чем она могла себе представить. Миссис Гиббс взяла острый нож, вонзенный ранее лезвием в свежую бурую почву у корней герани, пожухшей в горшке на подоконнике. Одним решительным движением она отхватила пуповину.

Мэй пыталась сесть, вспомнив выражение лица миссис Гиббс, когда вылезла голова ребенка.

– Он здоров? Что случилось? Что-то случилось?

Голос Мэй охрип – словно надтреснутый скрип. Смертоведка с сумрачным видом подняла обернутое в полотенце тельце, лежавшее на руках.

– Очень боюсь, что так, голубушка моя. Страсть какая красота заключена в твоём дитятке.

Мэй протянула руки к ребенку, но не смела смотреть, шурясь из-за лампы и огня, на один бок младенца, медный от света, и второй – сливочный. О чем говорит эта женщина? Она с внезапным приступом паники осознала, что ребенок не плакал, и тут услышала, как он пищит. Она почувствовала, как тяжелый сверточек в руках шевелится, и, дрогнув, рискнула раскрыть глаза, словно перед пышущей печью или жаром полудня.

Головка была как бутон розы: хотя и туго сморщенный, Мэй знала, что он распустится во всем великолепии. Глазки, призрачно-голубые, как яйца малиновки, были большие, как брошки, и сосредоточились на глазах Мэй. Их цвет идеально дополнял пылающе-рыжие волосы новорожденного – ясное летнее небо в конце террасы в обрамлении нортгемптонских кирпичей, озаренное последними лучами заходящего солнца. Кожа младенца была белоснежной, блестя, как под тальком из толченого жемчуга, припорошенная блеском на бедрах, пальчиках – терпеливое полотно, готовое к мягкой кисти времени, обстоятельств и характера. Взгляд сраженной молодой матери обегал первенца, не зная, где и задержаться, но всегда возвращался, как привороженный, к этим глазам, необыкновенному лицу. Как будто всю Вселенную вместили в калейдоскоп, блестящий колодец, в котором с каждой стороны сомкнулись обожающие глаза матери и чада, отраженные и навечно застывшие в янтаре момента. Мэй наблюдала, как розовый цветок губ птенчика раскрывается вокруг первых булькающих звуков, как сбегает в уголке блестящая капелька ртутной слюны, повиснув на нитке. Вокруг матери и ребенка словно зависла аура, лакируя картину, придавая лоск ренессанса. Она поцеловала коричневую маковку, пахшую теплым молоком в постели на ночь, и поняла, что держит в руках сокровище. Каким-то чувством осознала, что принесла в мир такое изысканное видение неземной прелести, что даже напугала миссис Гиббс.

Запоздало, словно задней мыслью, еще Мэй осознала, что это девочка.

– Как назовешь ее, голубка? – спросила миссис Гиббс. Мэй огляделась пустым взглядом, уже успев позабыть, что в комнате есть кто-то, кроме нее и крошечной дочурки.

Она договорилась с Томом, что мальчика они назовут Томас, в честь него, а девочка получит имя в честь нее.

– Мы думали назвать ее Мэй, как меня, – ответила она. Уши ребенка словно наострились при звуке имени, круглая головка каталась, беспокойно ворочаясь на желтом от лампы нимбе полотенца. Миссис Гиббс кивнула, слабо улыбнулась, словно еще не вполне оправилась от ошеломляющего очарования малышки, ее воздействия, как от красоты Медузы. Неужели она боялась? Мэй оттолкнула такие мысли. Чего можно бояться в этом драгоценном цветке? Бредни, только разыгравшееся воображение Мэй, сверхъестественная околесица вокруг деторождения, которой она нахваталась от мамы. Не так уж много сотен лет минуло с тех пор, как таких, как миссис Гиббс, заставляли приносить клятву, что они не будут ворожить над ребенком, молвить во время рождения какие-либо слова или подменять в колыбели на фейри. Еще до того, как их стали звать смертоведками, еще когда эти женщины носили другие имена. Но то было тогда. А сейчас – 1908 год. Миссис Мэй Уоррен – современная девушка, которая только что произвела на свет чудо. Она будет его кормить, лелеять, холить, и это важнее, чем слушать сказки старух или читать знамения в чайниках или голосе повитухи.

Ребенок, свернувшийся на пышном бюсте Мэй, засыпал. Мать обернулась к миссис Гиббс:

– От нее глаз не оторвать, от моей дочули, правда?

Миссис Гиббс усмехнулась, вытирая свои вещи:

– Что правда, то правда, голубка моя. Так и есть. Я ее всю жизнь не забуду. А теперь накройся-ка, пока сюда не ворвалась охочая до встречи ватага.

Смертоведка наклонилась между ног Мэй и одним движением, ловким и неброским, рывком извлекла послед за обрезанную пуповину, спрятав прежде, чем Мэй даже осознала, что он вообще был. Пока миссис Гиббс избавлялась от него, Мэй привела себя в порядок, как могла. И тогда, как и предсказывала миссис Гиббс, в комнату набилась семья.

Мэй удивилась тому, как смирно они себя вели – вошли на цыпочках и переговаривались шепотом. Ее мама Луиза ворковала и хлопотала, а Джим весь покраснел то ли от стыда, то ли удовольствия, лучась улыбкой и радостно кивая. Кору привела в смятение внешность малышки, и лицо ее стало, как ранее у смертоведки. Даже Джон лишился дара речи.

– Она красавица, сеструха. Просто чертовская, – вот и все, что он вымолвил.

Луиза заварила всем еще по чашечке чая на скорую руку, и Мэй не отказалась. Это был горячий нектар, крепкий, с сахаром, и, пока мама и сестра осторожно передавали ребенка по кругу, Мэй благодарно отпила из чашки. Атмосфера – тихое бормотание с нечастыми сонными вскриками ребенка Мэй – была как в церкви, и ее не покорило даже возвращение домой Тома и отца.

От папы пахло пивом, но Том все утро потягивал одну половинку пинты, и потому его дыхание было свежим. Мэй отставила чай, чтобы поцеловаться и обняться, прежде чем Том взял их ребенка. Он стоял с пораженным видом, все переводил взгляд между двумя Мэй. Его выражение говорило, что он не мог поверить, как им повезло с такой картинкой, а не ребенком. Он вернул малышку, а потом отправился покупать Мэй цветы.

Ее папа, под мухой, отказался держать малышку, что избавило всех от хлопот его отговаривать. Он пропустил шесть пинт до полудня и две на обед, купленные благодаря карикатурам и грубым шаржам – Снежок рисовал смешные картинки с любого желающего, и за эти оскорбления расплачивались элем. Даже несмотря на творчески плодотворное утро, Мэй казалось странным, что ее отец ушел в такой загул из-за рождения внучки. Не менее редким оказалось то, что выпивка привела его в меланхоличное настроение. Он не мог отвести взгляда от малышки Мэй, хотя и видел ее через дрожащую линзу слез – совсем рассиропился. Она и не знала, что где-то в пучеглазой, тарачившейся, тщедушной фигуре отца есть место для сентиментальности. Она обнаружила, что теплеет к нему душой. Вот бы он всегда был таким.

Теперь Снежок смотрел на старшую Мэй. К этому времени его сморщенные веки переполнились, и влага заструилась по щекам.

– Я и не знал, милая. Даже не мечтал. Знал, что быть ей красой, под стать тебе и твоей маме, но не таким золотцем. Ох, как же тяжело, девочка. Настолько она хороша.

Снежок положил ладонь на руку Мэй, сказал с плохо скрытым надломом в голосе:

– Люби ее, Мэй. Люби ее, что есть мочи.

И с этими словами отец бросился вон из комнаты. Они слышали, как он топчет наверх – наверняка проспаться после всего выпитого пива. Все это время миссис Гиббс сидела молчком, попивая чай и открывая рот, только если к ней обращались. Мама Мэй, Луиза, сунула смертоведке два шиллинга – вдвое больше обычной платы. Миссис Гиббс твердо вернула один.

– Ну-ну, миссис Верналл, со всем уважением, – будь она страшненькой, я же не стала бы просить вдвое меньше.

Склонившись у дивана, она простилась с Мэй, которая отблагодарила смертоведку за все, что та сделала.

– Вас как бог послал. Когда будет на подходе следующая, обязательно кликну вас. Я твердо решила, что хочу двух девочек, а потом и хватит. Потому надеюсь, вы вернетесь, когда подойдет срок второй дочурки.

В ответ Мэй удостоилась вялой улыбки.

– Поглядим, голубка моя. Поглядим, – отвечала миссис Гиббс.

Она попрощалась с семьей – дольше всего прощалась с крошкой Мэй, – затем сказала, что провожать ее не надо. Надела шляпу и пальто. Было слышно, как она ступает по коридору и, повозившись с замком, выходит на улицу, со щелчком прикрыв дверь.

* * *

По поверхности реки со светом поплыл плач расстроенного аккордеона и поднял рябь на сентябрьском дне. На кованом железном мостике, перекинутом между речным островком и парком, стояла Мэй с восемнадцатимесячной дочкой на руках. Отсюда можно было различить тетушку Турсу, далеко-далеко – коричневая точка, шагавшая по противоположному берегу парка к скотному рынку.

Хоть ее было не разглядеть, Мэй слишком легко могла представить во всех жутких подробностях тетушку, которую, наряду с папой Снежком, считала худшим позором семьи. Она так и видела птичью головку Турсы с гордым клювом, бледные и пронзительные глаза, серые волосы клоками такого вида, словно у нее дымятся мозги. На ней обязательно будут коричневое пальто и коричневые туфли, чертов аккордеон на шее – вылитый старый мореход с альбатросом. И день и ночь она бродила по улицам и играла экспромты, пальцы бегали по серым клавишам громоздкого инструмента. Мэй бы не так сгорала от стыда, если бы у Турсы был хотя бы намек на музыкальный слух. Но тетушка лишь поднимала безбожный тарарам, выколачивала нарастающие и опускающиеся аккорды, смазанные в хрипящий визг баньши, обрывавшийся у внезапной пропасти частых случайных пауз. С полудня до полуночи семь дней в неделю слышалась ее леденящая душу какофония, струилась среди дворов и дымоходов, распугивала кошек и будила детей в колыбелях, шугала птиц и провозглашала, что Верналлы проснулись. Стоя на мосту, Мэй наблюдала, как пятнышко шумной сепии – ее тетушка-безумица, – как цапля, выбирала путь по берегу в парке Беккетта, где вдоль променада Виктории пенились листья. Когда Турса и ее мрачный аккомпанемент смолкли вдали, Мэй отвернулась к светловолосому чаду на руках.

Рыжие волосы, выющиеся на голове дочери при рождении, выпали и вернулись белым золотом, сиятельными сережками нимба, что казались даже великолепно жаркой меди, с которой она родилась. Уж точно еще более неземными. Юная Мэй хорошела с каждым днем, к

вящему удивлению Мэй и Тома. На нее становилось больно смотреть. Оба родителя сперва думали, что ребенок кажется чудесным только им, что друзья просто делают комплименты, но постепенно осознали по реакции, которую она вызывала, где бы ни появлялась, что это беспримерная красота, красота, вызывавшая хор вздохов, нервное благоговение, словно зрители видели вазу династии Минь или первого представителя новой расы.

Мэй помурчала и приблизила ребенка к себе, чтобы коснуться лбами – галка к глыбе, – и чтобы их ресницы почти бились друг о друга, как два влюбленных мотылька. Дитя гугукнуло в неудержимой радости – единственный ее ответ почти на все вокруг. Казалось, она просто счастлива жить и, похоже, находила окружающий мир не менее изумительным, чем тот находил ее.

– Вот так. Гадкий шум наконец затих. Это все твоя полоумная тетушка Турса, грохочет на всю улицу своей тархтелкой. Но она уже ушла, так что мы с тобой можем дальше гулять по парку. На островке бывают лебеди. Лебедушки. Хочешь посмотреть? Так, вот что я тебе скажу, дай-ка мама залезет в карман, угостимся еще радужными конфетами.

Копаясь в боковой прорези на юбке, пальцы отыскивали маленький рожок из коричневой бумаги с завернутым верхом, купленный в лавке Готча на Зеленой улице по дороге в парк. Одной рукой, пока вторая была занята ребенком, Мэй развернула и открыла кулек, достала три шоколадные конфеты в кондитерской обсыпке – одну для малышки, две – себе. Она поднесла сладость к губам дочери – те открылись с комичной готовностью, чтобы Мэй поместила лакомство на крошечный язычок, – затем сжала два оставшихся шоколадных диска в один, словно в виде объектива, а цветные пятнышки испещряли поверхность их боков, словно на картинах французских художников. Забросила в рот и рассосала до гладкости – ее любимый способ есть радужные конфеты.

С маленькой Мэй у плеча, как отложенной для отдыха волынкой, она прогулялась по невысокому мосту на редкую и пожелтевшую траву острова. Островок – всего два или три акра – рассекал Нен на северном приверхе, и два ее потока воссоединялись единой рекой на южном ухвостье. Край острова обходила протоптанная тропинка, окружая заливной луг в центре, который иногда становился прудом, но не сегодня. Сойдя с моста, Мэй повернула направо и начала обход речного берега против часовой стрелки, с ветром в темно-рыжих волосах и с дочкой, чавкающей шоколадкой у шеи. В лазури над головой скользнули облака, так что тень Мэй сперва поблекла, затем выскочила снова, но в остальном денек был вёдрый.

Теперь справа от нее была вода и за ней широкий простор парка Беккетта – с позелевшим ото мха старым павильоном, скамейками, кустами и общественными туалетами, деревьями, обожженными осенью и начавшими заниматься огнем. Зеркальная лента реки бежала под темным навесом ветвей, отражая под медальным переливом своей зыбкой груди трещины умбры, расплывчатую полынь, обрывки неба таусинного цвета.

Если бы сегодня было воскресенье, то у облезшего сарая, построенного между тесными вязами на берегу ближе к скотному рынку, парни брали бы напрокат лодки. Чаще всего в выходные, если погода подходящая, в парке можно встретить половину Боро – в лучших чепчиках, рука под руку, визжащих и смеющихся, если шутки ради гребут вверх по течению через цепкие пальцы ив. Трубочист с Зеленой улицы, мистер Пейн, который приобрел заводной граммофон, брал его с собой на взятую лодку. Так красиво – слышать музыку на улице; отраднo видеть, как мистер Пейн играет старые славные песенки, дрейфуя вниз по реке среди воркующих парочек и плескающихся семей. Сразу казалось, что все не так уж и плохо.

Мэй поладила с мистером Пейном. Однажды он показывал ей, какие цветы вырастил у себя на заднем дворе, что был чуть ниже по улице от лавки Готчера Джонсона. В кирпичный прямоугольник втиснулось больше красок, чем она видела в жизни, вырывалось из разномастного набора кустарных горшков. Из консервов распускались гвоздики. Из аптекарских банок переливалась календула. Потрескавшиеся ночные горшки до краев наполнились пахучими буке-

тами жасмина. Мэй нравились люди на Зеленой улице. Она часто думала, как они с Томом возьмут там приличный дом внаем, подальше от улицы Форта и ее мамы с папой, зато поближе к затейному трубочисту с Эдемом в сотейниках, чья мурлыкающая «Виктрола» очаровывала гуляющих на воскресных берегах. И он души не чаял в малышке Мэй. А разве может быть иначе?

Речная тропка плавно загибалась налево, ее трава стала дырявым ковром, протертым флагирующими стариками, возлюбленными, прогульщиками. Мэй последовала по ней к противоположной стороне островка, неторопливым шагом, пока тонкий подол юбки обвивал лодыжки на ветру. Прильнув головкой к плечу матери, маленькая Мэй бегло болтала, необремененная такими малозначительными заботами, как смысл или слова.

Разумеется, Мэй понимала, что, хотя ее ребенком восхищались почти повсеместно, восхищение некоторых могло выражаться в невыносимо жестокой манере. Однажды днем несколько месяцев назад она с Томом прогуливалась в этом же парке, наслаждаясь воскресным досугом с младшей Мэй. Они иногда несли ее, а иногда позволяли семенить между ними, держа за руки, приподнимая в замедленных подвисяющих прыжках над лужами и кустиками лютиков. Навстречу шествовала прилично одетая пара, держась стороной от людей из Боро – воротили нос, как это было в их привычке. Женщина в перчатках и с зонтиком уставилась на Уорренов и их дочку и заметила мужу, проходя мимо: «Знаешь, меня порою удручает видеть, что такое чудное дитя растет у людей их сорта».

Ну и хамство. Беспардонное, беспардонное хамство, как же можно так говорить. Том выкрикнул в их удаляющиеся спины «Что-что?», но они шли себе, как ни в чем не бывало. Мэй помнила, как в ту ночь плакала, пока не уснула, с горячим и красным от стыда лицом. Можно подумать, они с Томом животные, которым нельзя доверить девочку. Мэй знала по одной только интонации той женщины, что если бы пара могла найти способ отнять у Мэй дочь, то они бы так и сделали, не раздумывая. Происшествие распалило тогда яростную решимость, пламя, что обожгло горло и саднило глаза. Она им всем покажет. Она вырастит Мэй на зависть любой богатейке.

Теперь мать и дочь бродили по северной оконечности острова, ближе к скотному рынку, мешкая у кромки реки, убегавшей к Летнему лугу и югу. Глаза девочки, чисто-голубые, как зимнее небо, увлеченно всматривались в срединную топь, где у почти опустевших гнезд еще щипали траву и чистились утки с головками зеленого, бутылочно-изумрудного цвета. Вдали коротко и кротко пожаловался заводской гудок.

У тупоносых туфель Мэй лежали призрачно-зеленые листья со странными наростами на сорванных стебельках. Если раздавить их ногтем, можно увидеть личинок – потомство (или так однажды объяснял папа Мэй) мелких черных мушек, что откладывали яйца в почку, уродуя ее и превращая в так называемый выплывок. Скверная мысль, но куда лучше, чем ее первая мысль: что черви и опарыши каким-то образом росли на деревьях – признаки смерти, противоестественно расцветающие на лиственных ветвях, символизирувавших жизнь. Не считая больных листьев, берег был усеян всяким прочим сором: собачья какашка, выбеленная диетой из обглоданных костей, пустая пачка из-под десяти сигарет «Крейвен А» с черной кошкой-символом в полдюйма размером на размокшей картонке, оставшейся на милость островным птицам.

Помимо того, лежали здесь штаны – женские панталоны на траве в корнях дерева, белые и смятые. Какая-то парочка удалилась сюда подальше от газовых огней променада Виктории, заглушив журчание речки стопами, а потом не прибралась за собой, когда закончила. Мэй поцокала языком, хотя до свадьбы они с Томом забавлялись точно так же – в ночи у реки, он сверху, – затем посиживали здесь и беседовали, привалившись к дереву. Положив голову на грудь Тома, она слышала его сердце, и оба смотрели на другой берег протоки – кустарники и железную дорогу, тянувшуюся отсюда до аббатства в Делапре. Мэй слушала его, молчали-

вая и охваченная восхищением, пока он рассказывал про историю – предмет, который больше всего любил в школе. Вся Война роз, объяснял он, вся война между Ланкастерами и Йорками разрешилась на земле через реку от места, где теперь прогуливалась Мэй. Короля пленили на пустоши, которую Боро по сей день считали своим задним двором. А она раскинулась на траве, удивляясь в полусне, какие большие дела повидали эти поля, тихому голосу ее будущего мужа, семя которого стыло на одуванчиках. От воспоминания у Мэй потеплело между ног, так что пришлось остановиться и тряхнуть головой, чтобы снова вполне сосредоточиться на пятничном дне с дочкой. Она продолжала путь, обходя ухвостье острова и двигаясь обратно по направлению к мосту.

Возвращаясь на основную территорию парка, она озиралась, не видно ли поблизости Турсы. Однако тетушка давно скрылась, как и прочие прохожие. Быть может, увела их за собой, как Гамельнский крысолов, несуразным наигрышем на аккордеоне, хлопая коричневым пальто, пока серые волосы развевались, как горящая сажа в дымоходе. Мэй рассмеялась, и младшая Мэй присоединилась.

Из всех пешеходов она видела только матерей или гувернанток у Крайних ворот и больницы, толкающих коляски у колодца Беккетта в восточном углу парка. Снобы. Даже их слуги не терпели Мэй, косились на нее так, словно ей не терпится свистнуть их сумочку, хотя самито родились не выше ее... хотя, строго говоря, это не так. Мэй вылупилась на грязной обочине и потому не могла сказать, что кто-то родился ниже ее.

Но это же не значит, что она плохая мать. Не значит, что та женщина права. Мэй лучше печется о своей дочке, чем эти ветреные дамочки – о своих. Мэй берегла дочь даже с чрезмерным усердием – по крайней мере, если верить доктору. Вышло так, что маленькая Мэй все время простужалась – кашляла да сопливила, как многие дети. Врач, который приходил ее осмотреть, доктор Форбс, рассердился, что за ним шлют так часто, и вызвал старшую Мэй на серьезный разговор. Он вывел мать на ее же порог и показал на простую девчонку по соседству, которая сидела дальше по улице Форта на холоде, устроив чаепитие на холодных неровных плитах и разливая черную воду из луж в чашечки куклам.

– Видите? Этот ребенок здоровее вашего, потому что мать пускает ее играть на улице. Ваша девочка, миссис Уоррен, живет в такой чистоте, что не может выработать сопротивления к заболеваниям. Дайте же ей испачкаться! Разве в народе не говорят, что перед тем, как умереть, приходится поесть землицы?

Ему-то легко говорить, с его докторским домом на Конном Рынке. Ему или его жене никто не попеняет, что они не годятся в родители ребенка, как ляпнула та старая корова про них с Томом. Его дети, знала Мэй, могли с ног до головы изгваздаться, но никто и слова не скажет. Не на него показывают пальцами, не его жена засыпает в слезах от унижения. Деньги избавляют от подобного. Доктор не знал, каково им приходилось.

Тут младшая Мэй завозилась в руках матери и скорчила рожицу. Это была ее самая скверная – впрочем, и она бы посрамила любое произведение искусства. Даже если удача переменится и малышка Мэй навсегда останется такой, она все равно переплюнет «Мисс Пирс». Причиной беспокойства ее дочери, более чем вероятно, было желание съесть радужных конфет. Мать полезла за кульком в карман юбки, обнаружив, что тех осталось только три. Отдав одну дочке, она сжала пару других в очередной сэндвич для себя. С миниатюрным видением на изгибе руки Мэй-старшая продолжала шагать мимо оград и туалетов к навозному концу променада Виктории. Солнце было ниже. Время шло. Ей не хотелось долго продержат девочку на улице, несмотря на совет старого Форбса. Мэй недавно избавилась от кашля, потому свежий воздух в парке казался хорошей идеей, но и перестараться не следовало. Лучше засветло вернуться домой, в тепло, а дорога предстояла неблизкая. Выступив из-под деревьев чайного цвета, они свернули по извилистому променаду налево и пошли через ароматы скотного рынка к пухлому корпусу железного газгольдера.

Мэй прошла гостиницу «Плуг» на другой стороне дороги у устья улицы Моста, шагала прямо, пока пара не достигла основания Подковной улицы, где и свернула направо, начиная долгий подъем на холм вдоль этой восточной пограничной линии в грязные радостные объятия Боро, в гостеприимные руки в саже. Солнце было монгольфьером, опускавшимся на сортировочную станцию вокзала. Ветер взбивал бледный творог прически дочери, и мать порадовалась, что вывела ее сегодня погулять. В воздухе было разлито ощущение, возможно, принесенное рассветом или осенней прохладой, словно эти часы – какой-то прощальный драгоценный взгляд – на лето или на день, – из-за чего они казались вдвое безупречнее и приятнее. Даже Боро со стертymi кирпичами пытались принарядиться. Богатство свежерастопленного света позолотило черепичные крыши и канавы, заиграло ослепительной накипью на дождебсорниках. Клочки сиреневого облака над улицей Беллбарн казались кусочками афиши, сорванной, но оставшейся местами приклеенной к великой марките темнеющего синего цвета над головой. Мир казался таким насыщенным, таким значительным, как картина маслом, по которой шла Мэй со своей малышкой кисти Гейнсборо на руках.

За цокотом и скрипом Подковной улицы, за булыжниками в волокнистых оливковых пятнах лежал пустырь, где когда-то была церковь Святого Григория, – так однажды рассказывал папа Мэй. Ходили сказки о старом каменном кресте, что сюда принес из Иерусалима монах, чтобы отметить центр своей земли. Крест поместили в алькове церкви, и несколько веков это было святилищем, куда люди совершали паломничества. Его называли рудом в стене. «Руд» означало крест, но в разуме Мэй все спуталось со словом «грубый», и потому каменный крест ей представлялся простым или шершавым, выбитым примитивными инструментами из твердой серой скалы, необделанным и библейским. Монаха прислали ангелы – так он объявил. Тогда ангелы в Боро были обычным делом, а сейчас совсем пропали, если не считать маленькой Мэй. Давно не стало церкви, и только близлежащая улица Григория напоминала, что она вообще тут стояла. Теперь пятачком правили буддлея да крапива, первая – с толстыми, мясистыми опавшими лепестками, вторая – подняв белые старческие головы к последним скудным лучам солнца, загоровшись цитриновым цветом на кончиках. Подумать только, центр земли.

Малышка хихикнула, прижавшись к боку Мэй, и мать обернулась посмотреть, что тут смешного. Выше по холму, где Конный Рынок и Подковную улицу перерезали Золотая улица и Лошадиная Ярмарка, образуя перекресток, на углу у Дворца Варьете Винта к стене прислонился статный молодой человек, отворачиваясь и лукаво оглядываясь, словно играя с маленькой Мэй в «ку-ку».

Он словно зачаровал ее дочь, и, присмотревшись, Мэй была вынуждена признать, что зачаровываться было чем. Невысокий, но стройный, он казался гибким, а не жилистым, как Том. Волосы были чернее его туфель – пружинистое гнездо раскрученных лакричных ленточек. Еще темнее словно девичьи глаза, а длинные ресницы кокетливо трепетали, чтобы подразнить ребенка. В восторге от себя, подумала Мэй. И в восторге от нее.

Она знала этот тип и их стратегию с ребенком: начать разговор через малыша, чтобы авансы были не так очевидны. Из-за прогулок с Мэй за последние полтора года она успела такого наслушаться. С очаровательным отпрыском иногда и самой отрадно стать предметом внимания. Мэй не возмущалась из-за присвиста или подмигивания – главное, чтобы не от пьяни или хамов. А если и так, их она умела одернуть – умела постоять за себя. Но если мужчина оказывался презентабельным, как вот этот, она не видела никакого вреда в том, чтобы немного пофлиртовать или поговорить минут пять. Не потому, что разлюбила Тома или приглядывалась к другим, но в юности она была настоящей красоткой, и с тех пор иногда скупала по взглядам и комплиентам. А кроме того, приблизившись к этому малому, Мэй вдруг померещилось, что ей знакомо его лицо, но, хоть что ты делай, она не могла вспомнить, откуда его узнала. А если она ошибается, тогда это дежавю – чувство, словно что-то уже происходило раньше. К тому же дочери Мэй как будто нравился этот парень с талантом смешить детей.

В следующий раз, обернувшись с деланной застенчивостью, чтобы стрелкнуть глазами на маленькую Мэй, он обнаружил, что теперь на него смотрит и ее мать. Мэй заговорила первой, перехватив инициативу, заметила, что у него появился новый почитатель, а он в ответ ляпнул какую-то глупость, что сам стал почитателем девочки. А ведь не хуже собеседницы знал, что это только слова и что он положил глаз на взрослую Мэй, но в это притворство можно было поиграть вдвоем. Кроме того, теперь он видел, что она замужем.

Парень расхваливал малышку Мэй до небес, но по большей части казался искренним, когда говорил, что она попадет на сцену, станет знаменитой красавицей своего времени и тому подобное. Он сам выступал на сцене, сыграет позже в Дворце Винта, а пока что прохладился на углу с сигаретой, хотел нервишки успокоить. И на женщин поглазеть, подумала про себя Мэй, но не стала говорить этого вслух, потому что беседа ей нравилась. Она представила себя и крошку Мэй. В ответ он предложил звать себя «Овсенем», а это прозвище она не слышала много лет – с тех пор, как в детстве жила на юге Ламбета. Тут в разуме Мэй завертели колеса, и она поняла, где уже видела этого Овсеня.

Он тогда был мальчишкой возраста Мэй, жил на Западной площади у дороги Святого Георгия. Она его видала на прогулках со своими мамой и папой и признала по красивым глазам. У него был брат – постарше, насколько она помнила, – но стоило ей все это выложить, как он уставился на нее, точно увидел привидение – из прошлого, которое, как думал, оставил позади. Он смотрел с таким видом, словно его разоблачили. Конфуз и удивление, потешно вытаращенные глаза рассмешили Мэй. Не ожидал он такого. Отхватил больше, чем мог прожевать. Она еще немного позабавилась, потом, пожалев, перестала морочить ему голову и призналась, что тоже родом с Ламбета. Он вздохнул с облегчением. Очевидно, принял ее за сивиллу или оракула, а не просто сбежавшую кокни вроде себя.

Когда его поставили на место, Овсень как будто понял, что незачем пускать пыль в глаза, и их разговор на углу стал непринужденнее и теплее, без всякой необходимости чиниться. Они потрепались о том о сем – амбициях ее брата Джона на сцене, истории Дворца Винта, рядом с которым стояли, и прочем, – он, она и малышка Мэй в веселой компании, пока небеса Боро превращались из парчи в сапфир. Наконец дочь заворочалась на руках, и, памятуя о том, что радужных конфет не осталось, Мэй поняла, что лучше вернуть девочку домой, к сэндвичам с мясным паштетом и чаю. Распрощалась с обаятельным клоуном и пожелала ему удачи с вечерним выступлением. Он велел ей присматривать за маленькой Мэй. Ей не показалось это странным – на тот момент.

Хотя подъем по Конному Рынку не занял много времени, после нескольких часов прогулок ребенок в усталых руках Мэй казался тяжелее. Когда она поднималась мимо благородных домов, резиденциями врачей под теплым светом, ей стало интересно, какая принадлежит доктору Форбсу. За раздвинутыми шторами на пухлых софах рядом с ревущим огнем сидели дети, вернувшиеся из школы, ели маффины либо же читали полезные книги. Ее уколола обида на папу. Если бы он не погнушался должностью директора, если бы хоть раз старик подумал о ком-нибудь, кроме самовольного себя, то там могли бы сидеть она и маленькая Мэй, сытые и довольные, дочка – на ее коленях, читала бы сейчас книжки с тисненными обложками и вставными страницами с разноцветными картинками. Мать фыркнула и свернула на улицу Святой Марии.

Небо на западе набрякло фингалами после того, как ему намял бока день, лиловея до темноты над крышами Пикового и Квартового переулков. Мэй даже опешила – как резко падают ночи ближе к концу года. Улица Святой Марии во мраке казалась прибежищем нечистой силы. Двери в альковах всасывали тени, а растрескавшиеся ворота складских дворов звенели на цепях. Мэй подняла ребенка перед собой, словно белокурую свечку в сгущающихся сумерках.

Надо сказать, она нисколько не удивилась, когда узнала, что именно здесь двести с чем-то лет назад разгорелся великий пожар. Вокруг ощущалось какое-то кипение, словно готовое

в любой момент излиться во вред – и ахнуть не успеешь. Несомненно, так повелось еще со времен Гражданской войны, когда здесь разбили бивак круглоголовые, а Кромвель и Фэрфакс столовались на Лошадиной Ярмарке, параллельно улице Марии, прежде чем на следующий день отбыть к Несби и предрешить судьбу короля Чарли и страны. Не потому ли Пиковый переулок так называется, что здесь делали пики? По крайней мере, так говорил папа Мэй. Она продолжала путь через улицу Доддриджа, к Меловому Дому. Преподобный Доддридж, который здесь проповедовал, хотя и не был ужасной разрушительной силой, как старый Оливер Кромвель или как пожар, все же стал разжигателем по-своему, сражался за неконформистов и бедноту и пришелся кстати к смутьянскому духу места. Мэй шагала через заросший могильник, надеясь, что дочь не мерзнет.

В Меловом переулке, у западной стены часовни, та начала брыкаться и тыкать пальцем в странную дверь на высоте, словно желала знать, зачем она нужна.

– Меня не спрашивай, милая, сама ума не приложу. Давай-ка лучше отведем тебя домой и затопим печь к приходу твоего старого доброго папочки.

Не считая отрывки, юная Мэй не ответила, и Замковая Терраса привела их на Бристольскую улицу. Горящие на дальнем конце фонари значили, что где-то поблизости обретался мистер Бири, ходил от столба к столбу с длинным шестом, поднося к вершине газовых фонарей и придерживая пламя около горелки, пока не займется огонек. Казалось, будто он рыбачит во тьме с маленьким червячком-светлячком вместо наживки. Дитя Мэй что-то мяукнуло при виде отдаленных зеленоватых проблесков, словно это фейерверк с римскими свечами.

Они не останавливались, направляясь к повороту на улицу Форта, когда из-за спины Мэй с неосвещенной террасы донеслась деревянная канонада – треск, словно кто-то позади волочил по ухабистым булыжникам доску. Голос, густой как бульон, окликнул: «Эгей, миссис Мэй и мисси Мэй! Дамы, вы наверняка жуировали по всему городу, раз только теперь возвращаетесь домой!»

Это был Черный Чарли, с Алого Колодца, хозяин драндулета – велосипеда с тележкой и веревками на колесах вместо шин. Грохот, слышанный ранее, издавали деревянные бруски, которые он надевал на ноги вместо тормозов. Мэй рассмеялась при его виде, но потом выговорила за то, что он их так пугает, хотя по правде не напугалась. Он был местным чудом, она его любила. Он привносил в окрестности толику волшебства.

– Черный Чарли! Чтоб тебя черт побрал, я аж подскочила! – она заявила, что следует ввести закон, по которому черные будут носить бенгальские огни после темноты, чтобы было видно, когда они подкрадываются, а потом сама поняла, какую глупость сказала. Перво-наперво, в округе не было черных. Только он один – Черный Чарли, Генри Джордж. А еще она знала, что в ее колкости смысла не больше, чем если бы он сказал, что белым следует черниться, чтобы он видел их днем. Впрочем, он и не обиделся. Только рассмеялся и рассыпался в обычных похвалах малышке Мэй, рассказывая, какой она ангелок и все такое прочее, – этот комплимент Мэй отмела. Ангелы были для нее в основном большой мозолью – без них не обходилось безумие клана Верналлов. Ее папа, дедушка и чокнутая тетушка хором твердили, что ангелы существуют, а это, на взгляд Мэй, говорило само за себя. Никто не относился к этой ерунде серьезно – по крайней мере, никто из местных. Со времен того старого монаха, который принес сюда крест из Иерусалима. Единственный ангел в округе, за исключением маленькой Мэй, был белым и каменным, на крыше Гилдхолла, – это с ним братался ее папа, когда напился. А кроме того, Мэй такие мысли пугали – великие крылатые субчики, надзирающие за жизнями людей и знающие все, что случится, наперед. Они, как привидения и тому подобное, напоминали о смерти или о том, что жизнь – большое, туманное, ошеломляющее место, которое убьет тебя, стоит выйти за порог. Мэй не забивала голову неземными материями. И вообще, ангелы – снобы и осуждают ее, как та парочка в парке Беккетта, не сомневалась Мэй.

Она еще поболтала с Черным Чарли, а маленькая Мэй, благослови ее Бог, держалась изо всех сил, звала его Чар-Чар и хватала за бороду, белую и курчавую. Наконец они отпустили его катить себе дальше по Бристольской улице, с которой он выкрикнул прощание глубоким голосом янки, – домой на Алый Колодец – на эту улицу Мэй ходить не любила. Там у нее мурашки бегали по коже, вот и все, хотя никакой причины на то не было. Был там по воскресеньям забавный зверь Ньюта Пратта, напивался у «Дружелюбных рук», но не поэтому Мэй страшилась улицы. Может, из-за какого-то кровавого названия, или потому, что у Алого Колодца держали чумную телегу – с высокими окнами со свинцовым переплетом: они пропускали свет, но не позволяли увидеть уезжавших в лагерь на окраинах города бедолаг с алой лихорадкой или еще той болезнью, которую Мэй не умела толком произнести. Из-за чего бы старый холм ни действовал ей на нервы, а можно уверенно сказать, что улицу Алого Колодца не назовешь самым любимым местом Мэй в округе. Наверное, она еще передумает через пару лет, когда будет подниматься туда каждый день и водить малышку Мэй в Ручейную школу, но до того будет обходить за версту.

Мэй свернула налево, на улицу Форта, где уже не было мостовой – просто каменные плиты от стены до стены. Конечно, она знала, что дальше путь идет направо, до начала улицы Рва, а потом спускается к Банному ряду, но все равно родная улица казалась ей тупиком, куда не может проехать транспорт и где все равно нет ничего такого важного. Теперь дочь скакала в веснушчатых руках Мэй с пронзительным восторгом – ребенок уже узнал ряд домов, вдоль которого они шли. Мэй цокала по грубым перекошенным камням мимо дома своих мамы и папы – номера десять. Из их передней в трещины косо навешенной входной двери просвечивал газовый фонарь; окно зала темно, пусто, не считая украшений.

Джонни, Кора и ее мама с папой в этот вечерний час наверняка сидели за чаем в гостиной, лакомились хлебом с джемом и кусочком пирога. Она дошла до собственного дома – номер двенадцать – и открыла незапертую дверь одной рукой, не опуская Мэй на пол, пока не вошла. Сперва зажгла газопокалильный фонарь, потом запалила огонь в очаге, сунув дочку в высокое кресло, пока сама пошла доставать консервы из жестяного буфета для хранения мяса ⁴⁷ на вершине подвальной лестницы. Заварила малышке чай и подала ужин, прежде аккуратно срезав с хлеба корочку. Маленькая Мэй медленно умяла сэндвичи, не торопясь и насвинячив, а мама не теряла времени и свернула славный рулет с луком и печенкой, поставив в печь для себя и Тома.

Затем вечер пролетел незаметно. Вернулся с работы из пивоварни Том, с пятничной зарплатой в руке, чтобы как раз успеть пожелать спокойной ночи маленькой Мэй, пока ее не унесли наверх в кровать – «на яблоки и груши к дяде Неду» ⁴⁸. Дальше они с Томом поужинали сами, потом разговаривали, пока тоже не отправились ко сну. Обнялись, стоило задуть свечу, и Мэй попросила Тома задрать ее ночнушку и влезть на нее. Это было их любимое время – вечер пятницы. На другой день никуда не надо вставать спозаранку, а если повезет, девочка проспит достаточно, чтобы Мэй и Том успели еще разок потрахаться поутру. Под своим мужчиной Мэй едва ли вспоминала о том малом у Дворца Винта.

В субботу кашель дочери вернулся, и казалось, ей стало тяжело дышать. Они послали за старым Форбсом, днем в воскресенье, когда планировали гулять в парке. Доктор пришел – как всегда, жалуюсь на испорченный выходной, но, увидев маленькую Мэй, тут же замолк. Кожа ребенка приобрела желтоватый оттенок, который, как они оба надеялись, им только при-
виделся.

Он сказал, что у малышки дифтерия.

⁴⁷ *Meat-safe* – невысокий шкаф, где хранились продукты до широкого распространения ледников и холодильников.

⁴⁸ Сленг кокни, основанный на рифмовке, обозначает «наверх в постель».

Вызвали фургон с вершины Алого Колодца. Маленькую Мэй приняли на борт, и он уехал. Окна со свинцовым переплетом по бокам были задраны слишком высоко, чтобы заглянуть внутрь. Копыта и колеса едва гремели по немощенной улице, когда единственный лучик света, освещавший сердце Мэй, забирали на чумной повозке.

* * *

Когда миссис Гиббс пригласили второй раз, она пришла в фартуке другого цвета – черном, тогда как предыдущий был девственно-белым. Когда Мэй вспоминала его позже, ей казалось, что у него был расшитый подол – египетские жуки виридианового цвета вместо бабочек. Впрочем, это все разыгралось ее воображение. Простой черный фартук, без прикрас.

Мэй сидела в одиночестве в зале. Маленький гробик на двух стульях, как доброволец из публики гипнотизера, лежал у окна в другом конце комнаты. Спящее лицо малютки казалось серым, его заливал пыльный свет, процеженный тюлем. Когда детка проснется, оно будет сиять, как обычно. О, хватит, подумала Мэй. Просто хватит. Потом снова затряслась и заплакала.

Самое жестокое – что ее привезли домой. Через неделю ребенка Мэй вернули на улицу Форта из далекого больничного лагеря, а потому родители решили, что все будет хорошо. Но что они знали о дифтерии? Они даже не умели произнести это слово и звали болезнь «диф», как все остальные. Они не знали, что она протекает в двух частях и что большинство переживают первую только затем, чтобы их забрала вторая. Ослабев в начале болезни, люди не могли найти сил, когда она останавливала их сердца. Особенно, говорят, маленькие дети. Особенно, подумала Мэй, если мамы держали своих мальчиков и девочек в чистоте. Если мамы переживали, что люди скажут, будто эти мамы не годятся воспитывать ребенка, а потом только доказывали, что те люди правы.

Это она виновата. Она сама знала, что виновата. Она возгордилась. Гордыня до добра не доводит, все так говорят – и так оно и есть. Мэй казалось, словно она выпала из жизни, прекрасной жизни, что была у нее всего две недели назад. Выпала из своей мечты, своих надежд. Выпала из той женщины, за которую себя принимала, в этот ужасный момент и эту комнату, к гробику и чертовым громким часам.

– О, бедная моя, хорошая. Ягненок мой. Я здесь, любовь моя. Мама рядом. Все будет хорошо. Я не позволю плохому... – Мэй осеклась. Она не знала, что хочет сказать, ненавидела собственный бессильный голос, раздающий пустые, уже нарушенные обещания. Сколько раз она успокаивала ребенка, говорила, что всегда будет ее беречь – священные обеты, которые дает каждая мать, – а потом так вероломно подвела дочь. Говорила, что всегда будет рядом с маленькой Мэй, а теперь даже не знала, где это «рядом». Всего восемнадцать месяцев, больше им не отвели провести вместе; дольше они не смогли сохранить ей жизнь. Они вошли в тот трагический и эксклюзивный клуб, о котором люди сочувственно перешептываются, но все же предпочитают держаться подальше, словно Мэй попала в траурный карантин.

Она даже не думала, пока сидела в комнате. Мысли больше не ладились, не вели никуда, куда она была бы готова отправиться. Ее наполняла бессловесная, бесформенная боль и огромный масштаб этой маленькой коробочки.

В половике у очага прожжены черные дыры, которых она не замечала прежде этого дня. Распускается плетеная подставка под ноги. Почему всему обязательно приходит конец?

Дверь, как обычно, была закрыта на замок, и Мэй не услышала, как вошла смертоведка. Только подняла взгляд от коврика – а миссис Гиббс уже стояла у стула, и пылинки на фоне ее фартука казались толчеными крыльями черного мотылька. Словно предыдущих восемнадцати месяцев вовсе не было, словно миссис Гиббс в тот первый раз так по-настоящему и не ушла из дома. Только сменились освещение, фартук, улетели бабочки, день вышитого лета сменила ночь. Найди отличия между картинками. И ребенок у Мэй тоже изменился. Исчезла ее медно-

головая деточка, а вместо нее оказалась эта твердая белокурая кукла. И сама Мэй – очередная перемена. Она была уже не той девушкой, что рожала ребенка.

На самом деле при ближайшем рассмотрении Мэй поняла, что вся картина стала иной, состояла из одних отличий. Лишь смертоведка оставалась прежней, хотя и надела новый передник. Щеки ее, как апельсины в рождественских чулках, нисколько не изменились, как и выражение, которое говорило все, что только хочешь услышать.

– И снова здравствуй, голубка моя, – сказала миссис Гиббс.

«Здравствуйте» в ответ было отлито из свинца. Оно покинула уста Мэй и ухнуло на циновку – слиток речи, тупой и бесцветный, из которого не построишь разговора. Смертоведка аккуратно обошла его и продолжила:

– Если не хочется говорить, голубушка, то и не говори. Но если это тебе нужно, а ты не знаешь, как, то Расскажи мне все, что твоей душе угодно. Я тебе не родная и я тебе не судья.

Единственным желанием Мэй было отвернуться, хотя она и признала, по крайней мере внутренне, что миссис Гиббс задела за живое. В последние два дня ей не с кем было поговорить по-настоящему, – разве что с самой собой. Она не могла сказать Тому и двух слов, не разрыдавшись. Они доводили друг друга до слез, хотя оба ненавидели плакать. Это слабость. А кроме того, Тома не было рядом. Он работал. От мамы Мэй, Луизы, тоже не было никакого проку, и не только потому, что мама легко то и дело ударялась в слезы. Скорее, Мэй словно подвела мать. Не стала хорошей матерью в свой черед, не продолжила ткать родительский гобелен. Спустила петли и опозорила семью. Она не могла посмотреть им в глаза – а они не могли помочь. А попытка тетушки вовсе кончилась ужасной сценой, которую Мэй вытаскивала из памяти.

В итоге Мэй осталась одна. В этом тоже виновата она, как и во всем остальном, но теперь ей некому было поведать, что творится на душе, о страшных мыслях и идеях, слишком скверных, чтобы произносить вслух. И все же говорить надо, а рядом миссис Гиббс – незнакомка вне клана Мэй и любого другого, насколько понимала Мэй, не считая только самих смертоведок. Миссис Гиббс казалась вне всего, такая же осторожно безучастная, как небо. Ее фартук, глубокий и тайный, как ночь или как колодец, был сосудом, куда Мэй могла опустошить весь ужас, чтобы он не звенел в думах многие годы. Мэй подняла воспаленные красные глаза, только чтобы встретить серые глаза пожилой женщины.

– Простите. Я не знаю, как мне быть. Не знаю, как жить дальше. Завтра днем ее похоронят, а потом у меня ничего не останется.

Голос Мэй был ржавым, скрипел после простоя, – голос карги, не двадцатилетней девушки. Смертоведка подтянула расплетающийся стул, села у ног Мэй и взяла ее за руку.

– Ну-ка, миссис Уоррен, выслушай меня. Не надо мне говорить, будто ничегошеньки у тебя не осталось. И сама даже в мысли не бери. Если ничего не осталось, чего же стоит вся жизнь твоей дитяти? Или все наши жизни, коли на то пошло? Либо они целиком имеют ценность, либо ничего не имеет. Или ты жалеешь, что вовсе ее родила? Ты бы предпочитала не видеть меня и однажды, лишь бы не видеть дважды?

Она прислушалась и поняла, что это правда. Если подать так, спросить напрямую, не лучше ли, если бы маленькая Мэй совсем не родилась, мать могла только глупо покачать головой. Вялые рыжие пряди упали непричесанными на лицо. Нельзя сказать, что у нее ничего не останется, – остались восемнадцать месяцев кормежки, отрыжки, походов в парк, смеха и слез, смены маленькой одежды. Но у нее по-прежнему не осталось Мэй. Остались воспоминания о ее девочке, любимых выражениях лица, жестах, любимых звуках, но они ранили знанием, что к списку не прибавится новых. И это была лишь эгоистичная часть тоски – она жалела себя из-за того, что потеряла. А нужно больше жалеть ребенка, который отправился во тьму совсем один. Мэй подняла безнадежный взгляд на миссис Гиббс:

– Но как же она? Как же моя Мэй? Мне хочется верить, что она в раю, но ведь нет? Так только детям говорят про кошку или собаку, когда найдешь их с переломанным хребтом на улице.

На этом она снова заплакала, вопреки себе, и миссис Гиббс подала ей платок, потом сжала руку Мэй своими сухими пальцами – словно на ладони Мэй закрылась Библия.

– Я и сама не очень-то верую в рай или то, что там у нас внизу. Чушь какая-то. А знаю я только, что дочь твоя наверху, и веришь ты мне или нет – дело не мое и не ее. Просто она там, голубка моя. Вот и все, что я знаю, и я бы так не говорила, если б не была уверена. Она наверху, где все мы будем. Осмелюсь сказать, твой папа это уже тебе толковал.

От упоминания об отце Мэй вздрогнула. Он и впрямь так говорил. Теми же самыми словами. «Она наверху, Мэй. Не страшись. Теперь она наверху». На самом деле, задумавшись, она поняла, что иначе он о смерти никогда не отзывался. Ни он, ни его родня, никто в округе. Никогда не говорили «в раю» или «с Богом», ни даже «на небесах». Говорили «наверху». Загробная жизнь казалась вторым этажом с ковриком.

– Правда ваша, он в самом деле так сказал, но что это значит? Вы говорите, это не как рай в облаках. А где же тогда оно, это «наверху»? Какое оно?

В собственных ушах Мэй голос прозвучал обиженным, злым из-за того, как миссис Гиббс самоуверенна в таком страшном вопросе. Она сама испугалась своего тона и думала, что смертоведка оскорбится. К ее удивлению, та лишь рассмеялась:

– Если честно, там примерно так же, голубка моя, – она обвела рукой кресло, комнату. – А чего еще ты ожидала? Там почти так же, только выше на ступеньку.

Теперь Мэй не злилась. Только чувствовала себя странно. Разве ей уже не говорили те же самые слова? «Почти так же, только выше на ступеньку». Так знакомо и так верно, хотя и непонятно, что это значит. Напоминало те случаи, когда ее в детстве посвящали в какие-нибудь тайны – точно как когда Энн Берк рассказывала Мэй про то, как делают детей. «У мужика малафья на конце хрена, он его сует в твою щелку». Хотя Мэй и думала, что малафья – словно кучка мыльных хлопьев, которые подают на плоском конце хрена, как на ложечке, она откуда-то знала, что все это правда; понимала то, о чем раньше не догадывалась. Или когда мама отвела ее в сторонку и загробным голосом рассказала, зачем нужны тряпки-затычки. Теперь, с миссис Гиббс, все было так же. Один из тех моментов в человеческой жизни, когда узнаешь то, что уже знают все, но не говорят вслух.

Мэй глянула на гроб в другом конце комнаты и тут же поняла, что все это белиберда. «Наверху» – только рай с другим названием, та же сказочка, чтобы утешить и заткнуть скорбящих. Просто из-за самой атмосферы миссис Гиббс, из-за ее манер слова сходили за полуистину. Откуда ей-то знать про то, что бывает после? Она такая же жительница Боро, как Мэй. Только, конечно, смертоведка, что придавало ее чуши больше веса. Миссис Гиббс снова заговорила, сжимая ладонь Мэй:

– Я же говорю, голубка, – ты хочешь верь, хочешь не верь. Мир круглый, даже если мститися, что плоский. Разница есть только для нас. Если мы знаем, что это шар, то и ни к чему ежечасно переживать, что мы свалимся с края. Но давай не будем о твоей дочери, голубка. Что случилось, то случилось, и ее горю помочь уже нельзя – а твоему можно. Как ты себя чувствуешь? Что случилось после всего с тобой?

И снова Мэй обнаружила, что ей нужно задержаться и подумать. Об этом ее никто не спрашивал, в эти последние два дня. Не спрашивала это у себя и она – не смела в гулком колодце слез, в который превратились ее мысли. Как она себя чувствует? Что с ней случилось? Она высморкалась в поданный чистый платок, заметив, что на нем нет бабочек, только одна вышитая пчела. Закончив, туго свернула тряпицу и сунула в рукав свитера – миссис Гиббс пришлось отпустить руку Мэй, хотя как только маневр был исполнен, та сама охотно скользнула

пальцами в ладони смертоведки. Ей нравилось прикосновение женщины: теплое, бумажное и надежное в круговерти обоев комнаты. Все еще шмыгая носом, Мэй попыталась объяснить.

– Чувствую себя так, словно все провалилось сквозь землю и ахнуло в колодец, как камень. Я даже как будто сама не своя. Сажу, плачу и никакой мочи нет. Не вижу, зачем что-то делать – причесываться или кушать, что угодно, – и конца-края не вижу. Хочется умереть, вот вам правда. Чтобы нас положили в один гроб.

Миссис Гиббс покачала головой.

– Ты так не говори, голубка. Это мысли пустые и малодушные, сама знаешь. А на деле, если не ошибаюсь, ты вовсе не желаешь умирать. Ты только не хочешь жить, потому что жизнь тяжела и в ней не видно толку. А это разные вещи, голубка. И хорошенько думай, что говоришь. Одно исправить можно, а другое – нет.

Часы тикали и в лучах, косо падающих на пол, кувыркались парящие пылинки, а Мэй думала. Миссис Гиббс была права. Ей не хотелось смерти по-настоящему, но она потеряла резон жить. Хуже того, начинала подозревать, что у жизни – всей жизни на всем белом свете – никогда и не было резонов. Это мир случайностей и беспорядка без всякого божественного промысла за событиями. Пути Господа не неисповедимы – их просто вовсе не видишь. Какой же смысл продолжать, причем всему человечеству? Зачем все рожают детей, когда знают, что они умрут? Дают им жизнь, потом отнимают, только чтобы не было скучно. Как жестоко. Как же раньше она иначе смотрела на мир?

Мэй попыталась передать все это миссис Гиббс, бессмысленность всего.

– В жизни нет смысла. Я не вижу смысла с самого времени, как доктор Форбс сказал, что у Мэй диф. Чумная лошадь пришла прямо по плитам, где нет дороги, хотя обыкновенно телеги ждут в конце улицы. И раз – нет ее. Забрали в темном фургоне, увезли по Банному ряду – и все на этом. Я стояла на дороге, редела и платок жевала. Никогда не забыть, как я там стояла...

Наклонив увенчанную узелком голову к плечу, миссис Гиббс молча сжала горячую руку Мэй с новой силой, побуждая продолжать. Мэй даже не понимала, как ей нужно было выговорить все это хоть кому-то, облечь в слова и снять камень с души.

– Рядом был Том. Том держал меня в руках, чтобы я не сорвалась за телегой. Моя мама, в доме номер десять, – она не вышла, следила, чтобы Кора и Джонни сидели тихо, не выскочили и не мешались.

Миссис Гиббс испытующе поджала губы, затем спросила то, что было у нее на уме:

– А где же был твой отец, голубка, если можно спросить?

Мэй задумалась, потом продолжила:

– Он стоял на своем пороге и... нет. Нет, он сидел. Сидел. Я его почти не видела, не до того было, но теперь вспоминаю – он сидел на ступеньке, как в июльское воскресенье. Как ни в чем не бывало. Вид у него был хмурый, но не расстроенный или удивленный, как у других. По правде сказать, его больше потрясло, когда она родилась.

Она помолчала. Прищурилась на миссис Гиббс.

– И если подумать, то и вас тоже. Когда она показалась, вы побелели как простыня. Я даже спросила, не случилось ли чего, а вы сказали, что боитесь, будто случилось. Сказали, что это все красота – что у нее страсть какая красота, я помню. А потом, когда вы уходили, никак не могли с ней расстаться.

Все сложилось. Мэй уставилась в неверии. Смертоведка бесстрастно смотрела в ответ.

– Вы знали.

Миссис Гиббс даже не моргнула.

– Ты права, голубка моя. Знала. И ты знала.

Мэй охнула и попыталась отнять руку, но смертоведка не пустила. Что? Это еще что? Что говорит эта женщина? Мэй не знала, что ее ребенок умрет. Даже в голову не приходило. Хотя...

Хотя ведь приходило, тысячу раз, и как ее только не пугало. Самым худшим чувством было, что это ошибка, что красавицу дочку отдали ей, а предназначалась она явно для королевской семьи. Что-то перепутали, где-то проглядели. Рано или поздно об этом узнают, словно большую бандероль доставили не по адресу. Кто-нибудь зайдет ее забрать. Она знала, что ей это не сойдет с рук – это дитя, которое так сияло. Где-то в глубине души Мэй знала всегда. Вот истинная причина, почему она приняла так близко к сердцу слова той женщины в парке Беккетта. Потому что они говорили о том, что Мэй и так знала, только ей духу не хватало признать: у нее отнимут дочь. Однажды раздастся стук в дверь, войдет кто-нибудь с печальным видом из управы или полиции, или женщина из «Барнардо»⁴⁹. Просто Мэй не думала, что это будет доктор Форбс.

Часы тикали, и она мимолетно задумалась, сколько прошло времени с последнего удара стрелок. Миссис Гиббс наблюдала за ней, пока не убедилась, что Мэй все поняла, затем продолжила:

– Нам ведомо куда больше, чем мы сами себе говорим, голубка моя. По крайней мере, некоторым. А если бы я еще тогда, на родах Мэй, открыла все, что предвидела, сказала бы ты спасибо? Рассказывать такое попросту незачем. Ежели бы ты сама прислушалась к предчувствиям, то все равно не смогла бы предотвратить ничего, кроме разве что восемнадцати месяцев счастья.

Смертоведка наклонилась на стуле, ее накрахмаленный черный фартук чуть ли не захрустел.

– Ну-ка, ты уж прости, что это говорю, голубка моя, но кажется мне, ты много взяла на себя. Думаешь, что ты плохая мать, но ведь нет. Дифтерия не выбирает, не смотрит, кто как живет, – хотя бедные, конечно, на очереди первые. Но это болезнь, голубка, не наказание. Не кара тебе или твоей деточке, не последствия того, как ты ее растила. Ты будешь только лучшей матерью, не хуже. Ты научилась тому, что ведомо не всем матерям, и научилась на горьком опыте, рано. Ты потеряла одного ребенка, но не потеряешь другого и всех остальных. Посмотри на себя! Ты мама от бога, голубка моя. В тебе еще столько детишек.

Мэй отвернулась к плинтусу, и тогда смертоведка сузила глаза:

– Прости уж, если сказала не к месту или то, чего говорить не следовало.

Мэй покраснела и снова вскинула взгляд на миссис Гиббс:

– Ничего такого. Просто вы угадали одну мысль, что так и ходит кругом в голове. Детишки во мне, говорите. Глупость, но мне кажется, один уже на подходе. И не знаю, с чего я взяла, и частенько думаю, будто сама себе, дуреха такая, выдумываю, чтобы не тужить по Мэй. Никаких знаков – но и откуда. Если чувство верное, тогда понесла я всего две недели назад. Чепуха это, сама знаю, просто выдумала, чтобы было о чем думать хорошо, а не плакать часами навзрыд.

Смертоведка гладила руку Мэй – то ли ласка, то ли целебный массаж.

– А почему ты думаешь, если это не слишком личный вопрос, что ты в положении?

Мэй снова покраснела.

– Чепуха, говорю же. Просто... ну, это было в ночь пятницы, перед тем как прислали чумную телегу за Мэй. Я весь день гуляла с ней в парке, и она притомилась, бедняжка. Мы пораньше уложили ее спать, потом подумали – раз пятница, пойдем наверх и мы. И потом... ну, сами знаете. У нас было. Но было как-то по-особенному – просто не могу сказать, как. Прошел такой чудесный день, и я так любила Тома. Той ночью, когда мы ложились, я знала, как сильно его люблю, и знала, как сильно он любит меня. Потом мы лежали в настоящем блаженстве, беседовали и шептались, как когда впервые познакомились. Вот вам крест, не успел пот обсохнуть, как я решила: «От этого родится ребеночек». Ох, миссис Гиббс, что вы теперь

⁴⁹ Фонд детской благотворительности.

подумаете? Не надо было вам это рассказывать. Никому не надо. Вы приходите только делать свою работу, а я тут вываливаю весь сор из избы. Должно быть, считаете меня теперь кошкой грязной.

Миссис Гиббс похлопала Мэй по руке, и та улынулась.

– Позволь сказать, слыхала и похуже. Да и все это входит в мой шиллинг, голубка. Слушать и говорить – это самое главное. Не рождение или проводы. А уж беременна ты или нет – верь своим инстинктам. Они наверное не соврут. Не ты ли мне говорила, что хочешь двух девочек, а потом и хватит?

Мэй кивнула.

– Да, говорила. И в ту ночь лежала и думала: «вот и дочка номер два». Только вот нет, правда? Она все еще одна. – Она ненадолго задумалась, затем продолжила: – Что ж, ничего не меняется. Я по-прежнему хочу двух дочек, как уже и говорила. Если окажется, что одна уже на подходе, рожу еще одну – и все на этом.

Мэй сама поражалась, когда слышала, как все это говорит. Ее дорогая девочка лежит, холодная, в махоньком ящике у стены зала, меньше чем в двух метрах отсюда. Как тут вообще можно думать о ребенке, тем более после всего? Почему она не плачет в три ручья, пытается взять себя в руки, как прошлые два дня? словно в сердце завернули кран, слезы наконец прекратились. Ей уже не казалось, что она падает, осознала Мэй с удивлением. Не переполняли ее и счастье с надеждой, но она хотя бы не летела в дыру без дна и без света над головой. Она упала на твердую почву, где можно отдохнуть, почву, которая не уходила из-под ног от горя. Забрешил слабый шанс, что она сможет выбраться.

Она знала, что этим обязана смертоведке. Они ведали кончиной, рождением и всем, что те влекли. Такая у них работа. Этим женщинам – очевидно, всегда только женщинам, – надо находиться вонне всего. Их не затрагивали превратности смертных. Не их перевернут прибития, не их разобьет вдребезги уход. Все потрясения жизни они выстаивали непоколебимо, неизменно, неуязвимые и для радости, и для горести. Мэй еще молода. Рождение и смерть дочери стали ее первой встречей со всем этим, первым уроком о существовании жизни, о тяжести и пугающей внезапности, и, если честно, они выбили ее из колеи. Как жить дальше, если жизнь вот такая? И она смотрела на миссис Гиббс и видела способ – женский способ – укрепиться, но смертоведка заговорила прежде, чем Мэй додумала мысль.

– Прости, голубка, я тебя перебила. Ты рассказывала про день, когда чумная телега увезла твою малышку. А я влезла и спросила про папу...

С мгновение Мэй смотрела на нее отсутствующим взглядом, затем вспомнила незаконченную историю.

– О-о, да. Да, вспомнила. Папа в это время сидел на пороге, будто уже смирился, а я стояла и редела на улице с Томом. Я папу почти и не замечала, не до того было, и даже сейчас не могу на него обижаться. Знаю, что все время склоняю его на все лады, какой он старый дурень и кем нас выставляет, когда лазает по трубам, но с самой смерти Мэй он был со мной добр. Мама, другие – с ними я и слова не могу сказать, чтобы не разрыдаться, но папа – он, оказывается, кремень. Не шатался по пабам, не устраивал своих выходок. Всегда по соседству, всегда откликается. Сам не вмешивается. Заглядывает время от времени, чтобы узнать, не надо ли мне чего, и хоть раз в жизни я рада, что он есть. Но в тот день он просто сидел сиднем на пороге.

Мэй нахмурилась. Пыталась вернуться мыслями на улицу Форта в обеденное время в субботу, когда содрогалась в объятьях мужа, провожая глазами гремющую чумную телегу, увозившую малышку Мэй по покосившимся плитам. Пыталась восстановить все звуки и запахи, из которых складывался момент: где-то на плите подгорали сосиски, с запада доносились железнодорожные стук и лязг.

– Я стояла и смотрела, как катит чумная телега, а во мне все поднималось – я ее потеряла, потеряла мою маленькую Мэй. Поднималось, и я выла, выла белугой, как никогда в жизни. Как я голосила, вы в жизни не слышали. Я сама от себя такого не слыхала, от такого плача стекло бьется и молоко сворачивается. И тут слышу из-за спины такой же вой, но изменившийся, эхо с другим настроением, и такое же громкое, как мои вопли.

Я бросила разорваться и обернулась, а там, в дальнем конце улицы, стояла моя тетюшка с аккордеоном. Стояла, как... ну, даже не знаю, что, и волосы торчали у нее на голове, как хлопок на кустах, и играла она ту же ноту, с которой я кричала. Ну, не прямо ту же ноту, как будто ниже. Ту же, но в нижнем регистре. Раскат грома, вот на что было похоже, по всей улице Форты. Какой-то только туманный и медленный. И Турса стоит – зажала клавиши, вся с костлявыми пальцами и зелеными глазищами, тарашится на меня, а лицо у нее пустое-пустое, будто она во сне ходит и сама не понимает, что делает, не говоря уже о том, куда попала.

Ей было все равно, что со мной или что моего ребенка забрали. Просто впала в очередной свой безумный сон, и я ее тогда за это возненавидела. Думала, она бесчувственная, бесполезная мымра, и весь свой гнев из-за того, что случилось с моей девочкой, я выместила на Турсе, прямо там. Вдохнула поглубже и как заору – но не от грусти, как в первый раз. От злости. Я горланила, словно сожрать ее хотела, выкричала все одним затяжным разом.

А тетка так и стояла. Как с гуся вода. Дождалась, пока я выдохнусь, а потом переставила пальцы на клавишах, чтобы сыграть аккорд еще ниже. Получилось так, как когда я кричала в первый раз, заново: она сыграла ту же ноту, но ниже, будто возомнила, что мне аккомпанирует. И снова зарокотало, как гроза, но теперь ближе, страшнее. Тогда я сдалась. Сдалась и расплакалась, и чтоб мне провалиться, если эта бестолковая кобыла не пыталась подыграть и плачу – с трелями нот, как шмыгание, и такими звуками, как из горла. Не упомяну, что случилось потом. Кажется, с порога встал старый Снежок и пошел утихомирить свою сестру. Только знаю, что, когда я отвернулась и посмотрела в другой конец улицы Форты, Мэй уже не было.

Вот что было хуже всего – аккордеон Турсы. Из-за него-то мне и показалось, будто ни в чем нет смысла, будто мир такой же полоумный, как моя тетка. Все без толку. Справедливости нет, а порядка и резонов не больше, чем в ее песнях. Я и до сих пор не знаю. Не знаю, почему умерла Мэй.

Здесь она погрузилась в молчание. Миссис Гиббс выпустила руку Мэй, мягко и крепко ухватила за плечи.

– Я тоже, голубка. Никто не знает, для чего все дееся или почему случается так, как случается. Кажется нечестным, когда видишь, как всякие негодяи доживают до спокойной старости, а твою милую дочурку забрали так рано. Могу тебе сказать только то, во что сама верю. Есть правосудие над улицей, голубушка моя.

Где Мэй уже слышала эти слова? И слышала ли? Или это ложное воспоминание? Произносили при ней эту фразу или нет, она казалась знакомой. Мэй понимала, что та значит, – или, во всяком случае, вроде бы догадывалась. Она звучала так же, как слово «наверху», звучала, как слова о чем-то выше и в то же время приземленном, без всяких религиозных расшаркиваний и приблуд, что только отваживают людей. Одна из тех истин, мелькнуло в мыслях Мэй, которые многие знают, хотя и не ведают, что знают. Она живет на задворках разумов, иногда люди чувствуют, как она раз или два трепыхнется, но обычно забывают о ее существовании, как тут же случилось и с Мэй. Осталось только впечатление от теплой идеи, словно отпечаток попы в мягком кресле, мимолетное ощущение наличия высшей власти, будто бы обобщенной в лице миссис Гиббс. Теперь к Мэй вернулась прежняя мысль: о том, что смертоведки – женщины особой породы, которые нашли себе в обществе уступ, где высились над бурлящим потоком жизни и смерти, ставшими для них ходовым товаром, а яростные течения мира, что в последние дни едва не унесли Мэй, их не трогают. Они смогли устоять в жизни, где, как это ни страшно, похоже, вовсе не было устоев. Нашли скалу, вокруг которой бился хаос. Захлебыва-

ясь в море слез, в миссис Гиббс Мэй увидела землю. Она знала, что ей нужно, чтобы спастись, выпалила прежде, чем передумала:

– Я хочу знать все, что знаете вы, миссис Гиббс. Я хочу стать смертоведкой, как вы. Хочу окунуться в рождение и смерть, чтобы больше их не страшиться. Теперь, когда Мэй нет, мне нужна цель в жизни, будет у меня другой ребенок или не будет. Если единственная цель в детях, то ведь ничего не останется, когда их приберут смерть, полицейские или просто взросление. Я хочу научиться полезному ремеслу, чтобы стать кем-то для себя, а не просто чьей-то женой или чьей-то мамой. Я хочу быть вне всего, хочу быть тем, кому не бывает больно. Можно меня выучить? Можно стать одной из вас?

Миссис Гиббс отпустила плечи Мэй, чтобы снова сесть на стул и рассмотреть ее. Кажется, ее не удивила просьба Мэй, но она как будто никогда ничему не удивлялась, кроме того случая, когда родилась маленькая Мэй. Она глубоко вдохнула и выдохнула через нос – звук задумчивый, но и усталый.

– Что ж, и не знаю, голубка моя. Ты очень молода. Молодые плечи, хоть на них и старая голова – если не сейчас, то скоро будет. Только ты пойми, что ошибаешься. Нет такого места вдали от жизни, куда можно уйти, чтобы она тебя не трогала. Нет места, где не бывает больно, голубка моя. Остается только найти, откуда видно бурление жизни, явление деток и кончина стариков. Встать к смерти и рождению и не близко, и не далеко, чтобы ясно их видеть и проникнуть в самую суть. Ведь когда все понимаешь, лишаешься страха, а без страха и боль не так уж тяжела. Вот и весь секрет смертоведок. Вот кто мы такие.

Она помолчала, чтобы убедиться, что Мэй поняла ее слова.

– А теперь, держа это все в уме, голубка моя, если думаешь, что у тебя призвание к моему ремеслу, то не будет большого вреда кое-что тебе показать. Коли не шутишь, тогда, быть может, сама и расчешешь волосы дочери?

Такого Мэй не ожидала. До сих пор это было только домыслом. Она не думала, что ее желания так скоро подвергнутся испытанию, и точно не такому. Не с собственным покойным ребенком. Провести гребнем по бледным, спутанным локонам. Расчесать волосы дочери в последний раз. Она давилась от комка в горле из-за одной только мысли и бросила взгляд на гроб в конце комнаты.

Снаружи облака освободили солнце, и в зал под резким уклоном пролился яркий свет, пробиваясь через сероватый тюль, рассеявшись в молочном тумане-поземке над гробом и ребенком. Отсюда виднелись кудри малышки, но сможет ли она выдержать? Сможет ли их расчесать, зная, что это в последний раз? Но равно устрашающей была мысль уступить этот священный труд другой. Дочь Мэй уходит, и должна выглядеть прилично, и если бы она могла просить, она бы попросила помочь маму, Мэй несколько не сомневалась. Чего же она боится? Это всего лишь волосы. Она перевела взгляд с гроба на миссис Гиббс и кивала, пока не обрела голос.

– Да. Да, думаю, я справлюсь, если потерпите, пока я найду ее гребень.

Мэй встала, встала и смертоведка, кротко ожидая, пока Мэй копалась в безделушках на каминной полке, где нашла детский деревянный гребешок с нарисованными цветами, который искала. Она вцепилась в него, сделала решительный вдох и заставила себя пойти к концу зала, где ждал маленький гробик. Миссис Гиббс предостерегающе положила ладонь на руку Мэй:

– Ну-ка, голубка, я вижу, ты настроена решительно, но сперва, может, поделишь со мной табачку?

Из кармана фартука показалась жестянка с королевой Викторией на крышке. Мэй установилась на нее и побледнела, покачала головой.

– О-о, нет. Нет, спасибо, миссис Гиббс, не стоит. Не считая вас, я всегда считала это за грязную привычку, не для меня.

Смертоведка улыбнулась тепло, зная, все еще протягивая Мэй табакерку с откинутой эмалевой крышкой.

– Поверь мне, голубка, нельзя работать с мертвыми, пока не попробуешь понюшку табачка.

Мэй пораздумала, затем подала ладонь, чтобы миссис Гиббс отсыпала щепотку огненно-коричневого порошка. Смертоведка посоветовала, если получится, занюхать по половине в каждую ноздрю. Опасливо опустив лицо, Мэй вдохнула обжигающую молнию до самой глотки. Это оказался самый пугающий опыт в ее жизни. Она уж думала, что умрет. Миссис Гиббс поспешила ее успокоить:

– Не страшись. У тебя в рукаве мой платок. Пользуйся, если нужно. Я не против.

Мэй выдернула скомканный квадратик льна из выпуклости на отвороте свитера и прижала к взрывающемуся носу. В итоге вышитую в углу пчелку задумило обильное желе. Содрогнувшись еще пару раз, Мэй наконец смогла взять себя в руки. Привела себя в порядок измятым лоскутком, затем сунула испорченную тряпку обратно в рукав. Миссис Гиббс оказалась права насчет табака. Теперь Мэй не чувствовала вообще ничего – и сомневалась, что когда-нибудь почувствует снова. На том же месте она приняла твердое решение, что если последует своей фантазии о смертоведении до конца, то найдет другой способ прятать запах. Возможно, сойдет эвкалиптовое драже.

Неторопливо, плечом к плечу, женщины прошептались в дальний конец комнаты и миг постояли у ящика, просто глядя на светящееся, неподвижное дитя. Часы тикали, и обе принялись за работу.

Сперва миссис Гиббс сняла одежду ребенка. Мэй удивилась, каким податливым оказалось дитя, и призналась, что ожидала, будто тело будет твердым.

– Нет, голубушка. Сперва они коченеют, но потом это из них уходит. Тогда и знаешь, что им пора отправляться в землю.

Далее они одели маленькую Мэй во все самое лучшее, давно уложенное на кресле, и смертоведка украсила ее руки и лицо белым порошком и толикой румян.

– С этим нельзя перестараться. Как и нет ничего.

Наконец Мэй позволили вычесать волосы. Она удивилась тому, как долго это заняло, хотя, вполне возможно, она намеренно тянула и не хотела заканчивать. Чесала нежно, как всегда, чтобы не дернуть дочку до боли. Когда закончила, волосы словно спряли из льна.

Похороны на следующий день прошли хорошо. Среди прочего пришло много людей. Затем все вернулись к своей жизни, и Мэй обнаружила, что была права насчет второго ребенка на подходе. У них родилась еще одна девочка, в 1909-м, маленькая Луиза, названная в честь мамы Мэй. Мэй по-прежнему хотела народить двух девочек, но после малышки Лу подождала год-два, чтобы передохнуть. Рождение следующего ребенка пришлось отложить дольше, чем задумывалось, потому что застрелили австрийского герцога и все ушли на войну. На Замковой станции Мэй и пятилетняя Лу махали Тому на прощание и молились, чтобы он вернулся. Он вернулся. В Первую мировую войну Мэй отделалась легко, и секс потом пошел лучше. Она родила четверых – тут же, одного за другим.

Хотя Мэй думала, что будет еще одна девочка, а потом и хватит, их второй ребенок, в 1917 году, оказался мальчиком. Его они называли Томом, в честь папы, – как малышку Мэй, их первенца, назвали в честь мамы. В 1919-м, надеясь на вторую девочку в компанию к Лу, она родила еще мальчишку. Это был Уолтер, а следующим стал Джек, а после него – Фрэнк, и тут уж она махнула рукой. К этому моменту они с Томом и пятью детьми переехали на Зеленую улицу, ближе к углу, и все это время Мэй была смертоведкой, царицей посмея и гроба, подчинившей себе оба конца жизни. К этому времени руки и ноги у нее уже стали как колоды, сама она раздалась и погрузнела, а красота молодости ушла. Ее отец умер в 1926 году, а мать – спустя десять лет, в 1936-м, перед смертью она уже годами не выходила из дома. Ей

становилось все труднее передвигаться, но не поэтому она не ступала за порог. Сказать по правде, у нее ум за разум зашел. Брат Мэй, Джим, однажды привез матери инвалидное кресло, но не успели они прогуляться до конца Бристольской улицы, как она раскричалась и умоляла вернуться домой. Все из-за машин – она увидела их впервые.

Муж Мэй умер через два года после этого, и это выбило почву у нее из-под ног... Их дочь Лу уже выросла и вышла замуж, у Мэй были внуки – две маленькие девочки. Мэй уже не была смертоведкой. Она хотела лишь мирной жизни, после всех горестей и страхов. Казалось, она немного просила, но это было до того, как заговорили о новой войне.

Чу! Радости внемли!

Паучья клавишная музыка пробиралась в холодном тумане от библиотеки на Абингтонской улице к рабочему дому на дороге Уэллинборо. Пока ноги стыли в грубых башмаках, Томми Уоррен затаился последний раз «Кенситас», затем кинул тлеющий огрызок на землю, и крошечный огонек поскакал по мраморной темноте, разлетелся искрами на подмороженных булыжниках брусчатки.

В эту ноябрьскую ночь от Карнеги-холла над библиотекой прокрадывался далекий перезвон, словно от игры на сосульках. Источником его служила Безумная Мэри, концертная марафонская пианистка, ангажированная выступать в холле этим вечером, хотя ее концерты могли длиться часами. Днями. Том удивился, что ее слышно даже здесь, у больницы Святого Эдмунда, бывшего рабочего дома, у которого он ждал, пока где-то внутри учреждения разродится первенцем его жена Дорин. Пусть слабая и неузнаваемая, но рассыпчатая мелодия слышалась вопреки расстоянию и ватному туману.

Движение на дороге Уэллинборо в такое время было редким – где-то около часу ночи, как ему казалось, – так что было очень тихо, но Томми все-таки не мог разобрать, какую песню выколачивает из пианино Безумная Мэри. Может, «Выкатывайте бочку», а теоретически и «Люди севера, возрадуйтесь». Учитывая поздний час, Томми решил, что Безумная Мэри уже могла стать жертвой усталости и скакала от одной песни к другой, не представляя, что играет или в каком городе находится.

То, как он теперь стоял в вихрящейся тьме и слушал откуда-то издалека старую песенку, что-то ему напоминало, но он сразу об этом позабыл, голову занимали другие мысли. Сейчас у него на уме была только Дорин, в больнице за спиной, в родах, которые как будто собирались тянуться целую вечность – прямо как тарарам Безумной Мэри. Том сомневался, что живот его жены последние месяцы распирала музыка, хотя, судя по воплю, достойному волынки, который Дорин издавала десять минут назад, вполне могло оказаться и так. Причем Дорин наверняка закатила крик мелодичней безбожной какофонии, которую брэнчала Безумная Мэри, но теперь Томми задумался, что за мелодия созревала во время беременности супруги – слезливая баллада или боевой марш? «Мы соберем лилии» или «Британские гренадеры»? Девочка или мальчик? Главное, лишь бы не какая-нибудь причудливая импровизация Безумной Мэри, когда никто понятия не имеет, что играют. Лишь бы это не люди севера выкатывали бочки и не британские гренадеры собирали лилии. Лишь бы не ребус. Их и без того у Уорренов и Верналлов народилось за годы в достатке – куда больше, чем они заслужили. Неужели для разнообразия у них с Дорин не мог появиться нормальный ребенок – не безумный, не талантливый, не то и другое сразу? И если это судьба распределяет квоту проблемных детей, неужели не настала очередь для другой семьи понести бремя? Люди со здоровыми родственниками только отлынивают от общего дела, так рассуждал Томми.

Из большого серого облака, в которое будто бы погрузился Нортгемптон, выплыла одинокая большая серая машина, поднимая светом фар перед собой брызги цвета мочи, и скрылась снова. Тому показалось, что это «Хамбер Хоук», но он мог и ошибаться. Он мало что знал об автомобилях, не считая того, что их сейчас уже засилье, и конца-края этому не предвиделось. Конь с телегой отправились на выход и не оглядывались. В пивоварне Фиппса в Эрлс-Бартон, где работал Томми, еще держали старых ломовых лошадей – дымящихся, фыркающих шайрских кобыл; не животных, а потные локомотивы. Но есть компании и больше, как «Уотни», у которых грузовики занимались доставкой по всей стране, тогда как «Фиппс» по-прежнему местная. Том мог представить, что еще лет десять – и «Фиппс» вытеснят с рынка, если в начальстве не образумятся. Тогда в Эрлс-Бартон уже не найдешь ни работы, ни коней. Том бы не сказал, что сейчас самое лучшее время привести в мир ребенка.

Он вывернул голову с набриолиненными волосами через плечо, окинул взглядом двор работного дома, где стоял, и подумал, что, по справедливости, и худшим время язык назвать не повернется. Война окончена, хоть еще и остались пайки, и спустя восемь лет после Дня Победы появились обнадеживающие признаки, что Англия снова возвращается в седло. Не успела еще упасть последняя бомба, а Уинни Черчилля прогнали голосованием, чтобы Клем Эттли вернул все на круги своя. Верно, пока что Черчилль снова на посту и трубит во все колокола, как денационализирует стальную промышленность, железные дороги и все прочее, но за годы после войны народ уже добился столько хорошего, что к былым временам все равно не откатиться. Есть теперь и Национальное здравоохранение, и Национальное страхование, и дети могут ходить в школу за так, пока им не исполнится – сколько, семнадцать, восемнадцать? А то и дольше, если экзамены сдадут.

Не то что Томми: он заслужил стипендию за успехи в математике и теоретически поступил бы в Грамматическую школу, да только мама и папа Томми, старики Том и Мэй, ни за что не могли себе ее позволить. Ни книги, ни форму, ни канцелярию, ни, конечно же, огромную дыру, которую бы проело дальнейшее обучение Тома. Пришлось бросать учебу в тринадцать, искать работу и по пятничным вечерам приносить домой жалованье. Не то чтобы он хотя бы на миг чувствовал себя ущемленным или хотя бы даже от нечего делать воображал, что бы с ним стало, согласись он на стипендию. На первом месте у Томми стояла семья, и потому он делал все, что должен был, и жил со спокойной душой. Нет, он нисколько не жалел об упущенных шансах. Просто радовался, что у его мальчика жизнь будет лучше. Или девчонки. Тут никогда не угадаешь, хотя, сказать по правде, надеялся Том на мальчика.

Он походил перед больницей туда-сюда, притопнул ногами, чтобы не застаивалась кровь. Каждый выдох становился на зябком воздухе индейским сигналом к сбору, а прямо через улицу из тумана, как история о призраках, проступал черный бок церкви Святого Эдмунда. Над дымкой во дворе за оградой торчали покосившиеся надгробия – каменные изголовья уличного дормитория, между которыми расстелилась сырая серебристая перина испарений. Высокие полуночные тисы стали столбами с бельевыми веревками, где сушилась серая отжата пелена холодной мглы. Ни луны, ни звезд. Со стороны городского центра долетал дрожащий рефрен, напоминавший «Университетский флаг», которым размахивали перед «Старым быком и кустом».

Почему он предпочитал мальчика? У его братьев и сестры уже родились мальчики, которые сохраняют их фамилию. Сестричка Лу, на шесть лет старше его и на целый фут короче, родила сперва двух девочек, но со своим мужчиной, Альбертом, принесла наконец на свет и мальчишку, уже лет двенадцать назад. Уолт – младший брат Тома и гордость черного рынка, – женился незадолго до конца войны и уже воспитывал двух мальцов. Даже юный Фрэнк – и тот обогнал Томми на пути к алтарю, и всего год назад у него родился сынишка. Если бы Томми – в конце концов старший из всех – остался бездетным до сорока, этого ему бы никогда не спустила Мэй, его мама. Мэй Минни Уоррен, старая сушеная кошелка с голосом, что кулак докера, которым она, и сомневаться нечего, забила бы Тома до смерти, если б они с Дорин не приняли смену и не продолжили род Уорренов. Томми боялся мамы – а впрочем, ее боялись все.

Он помнил, как на свадебную ночь Уолта в 1947 году – или около того – мама поймала его с Фрэнком в коридоре у кассы – а дело было в дансхолле на Золотой улице. Она встала у распашной двери, пока вокруг входили и выходили люди, так что ей приходилось перекрикивать гремющую музыку – играла группа под управлением Джонни, младшего брата Мэй и дяди Томми, – там-то мама и зачитала ему с Фрэнком ультиматум. В руке она держала полпирог со свиной, который взяла со стола с угощениями, а вторая его половина была у нее во рту – комки жирной сдобы, толченого розового мяса и желтоватого желе липли к жерновам немногих оставшихся зубов или брызгали в съестной пене, поливая Тома с его младшим бра-

том, пока они тряслись перед этой женщиной – да не женщиной, а рождественским тортом со стрихнином.

– Ну вот, Уолтер с Лу женились и с моей шеи слезли, теперь и вам пора брать ноги в руки и искать себе ту, кто от вас нос не поворотит, сладкие вы мои. Не потерплю, чтоб пошли пересуды, будто я вырастила пару дурачков, за которых все мамка должна делать. Тебе уже за тридцать, Томми, а тебе, Фрэнк, двадцать пять стукнет. Того гляди, спрашивать начнут, что с вами не так.

Это было больше шести лет назад. Томми уже исполнилось тридцать шесть, и пока он не повстречал два-три года назад Дорин, и сам начал задумываться, что же с ним не так. Не то чтобы он никогда ни с кем не встречался – была одна-две девушки, но ничего из этого не вышло. Отчасти потому, что Том был застенчив. Не такой проказливый авантюрист, как его сестричка Лу. Не мог зачаровать птиц в небесах и продать им доли в облачных квартирах, как Уолтер, не умел раскованно, на грани неприличия шутить с девушками, как Фрэнк. Том, по своим собственным прикидкам, был самым умным из родных. Не мудрым, как Лу, не находчивым, как Уолт, или даже не ушлым, как Фрэнк, но зато Томми много знал. А чего он не знал, – как употребить свою ученость себе же на пользу, и когда речь заходила о женщинах, то он терялся и, хоть что ты делай, не понимал, с чего и начинать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.